

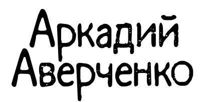
Хлопотливая нация
Аркадий Аверченко
Аркадий
Аверченко
Хлопотливая
нация








ЕРНА ВИШИ
AINS DE VICHY
ПРОТИВЪ
ЗАПОРА
-2 веч. передъ обѣдомъ
Во всѣхъ аптекахъ.





ХЛОПОТЛИВАЯ НАЦИЯ

Составил книгу, написал предисловие
и сделал примечания
к некоторым страницам
Михаил Андраша



Аркадий
Аверченко



Хлопотливая нация



Юмористические произведения

Москва
Издательство
политической
литературы
1991

ББК 84Р1
А19

Аверченко Аркадий Тимофеевич

А19 Хлопотливая нация: Юморист. произведения.— М.: Политиздат, 1991.— 464 с.
ISBN 5—250—01629—4

Известный русский писатель-юморист Аркадий Аверченко (1881—1925), не приняв Октябрьской революции, уехал за границу, скитался на чужбине, стал эмигрантом. Многие годы он был причислен к «неблагонадежным» русским писателям и книги его не выходили. Теперь произведения талантливого юмориста возвращаются читателям. Его оригинальное искусство не утратило своих красок и актуальности.

В книге — повесть «Экспедиция в Западную Европу сатириконцев...», пародийная «Новая история», рассказы и фельетоны, написанные до первой мировой войны, а также роман «Шутка Мецената».

Адресована широкому кругу читателей.

А $\frac{4702010000—152}{079(02)—91}$ 212—92 **ББК 84Р1**

Заведующий редакцией *В. Е. Вучетич*
Редактор *В. В. Устенко*
Младший редактор *Н. М. Жилина*
Художник *Г. С. Златогоров*
Художественный редактор *П. В. Меркулов*
Технический редактор *И. А. Золотарева*

ИБ № 9041

Сдано в набор 16.01.91. Подписано в печать 23.04.91. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36. Уч.-изд. л. 25,61. Тираж 150 тыс. экз. Заказ № 1543. Цена 4 р. 70 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

ISBN 5—250—01629—4

AVE, АВЕРЧЕНКО...

Большие хлопоты

Читатели присылали в «Сатирикон» свои сочинения, отбивали телеграммы, слали специально для редактора сюжеты, но чаще всего подсказчиком А. Т. Аверченко была сама жизнь.

...Дело происходило в десятом году. Аверченко шел в канцелярию генерал-губернатора — за разрешением пожить немного в Крыму. Неужели, размышлял он, о таком пустяке надо еще хлопотать? Впрочем, другие писатели тоже хлопочут: Куприн хлопотал насчет разрешения, Арцыбашев хлопотал. Аверченко живо представил себе, как Куприн и Арцыбашев суетливо бегают по берегу Крыма, бормочут, размахивают руками. И он написал фельетон «Хлопотливая нация». Вот отрывок:

— *...Я православный русский гражданин, имею прекрасный непросроченный экземпляр паспорта — и мне же еще нужно хлопотать! Стоит после этого делать честь нации и быть русским... Гораздо выгоднее и приятнее для собственного самолюбия быть французом или американцем.*

В канцелярии генерал-губернатора, когда узнали, зачем я пришел, то ответили:

— *Вам нельзя здесь жить. Или уезжайте немедленно, или будете высланы.*

— *По какой причине?*

— *На основании чрезвычайной охраны.*

— *А по какой причине?*

— *На основании чрезвычайной охраны!*

— *Да по ка-кой при-чи-не?!!*

— *На осно-ва-нии чрез-вы-чай-ной ох-ра-ны!!!*

Мы стояли друг против друга и кричали, открыв рты, как два разозленных осла.

Заканчивался фельетон так:

— *Если бы человек захотел себе ярко представить Россию — как она ему представится?*

Вот как:

Огромный человеческий русский муравейник «хлопочет».

Никакой никому от этого пользы нет, никому это не нужно, но все обязаны хлопотать: бегают из угла в угол, часто почесывают затылок, размахивают руками, наклеивают какие-то марки и о чем-то бормочут, бормочут, бормочут.

Хорошо бы это все взять да изменить...
Нужно будет похлопотать об этом.

...Прошло семьдесят лет. Фельетон «Хлопотливая нация» затерялся среди многочисленных рассказов и фельетонов писателя. И был прочно забыт.

Мне понадобилось прочесть несколько книг писателя, изданных в Москве в двадцатых годах и вышедших еще при его жизни в зарубежных русских издательствах. Дома у меня этих книг не было. Я направился в самую главную библиотеку страны и, найдя, конечно, по совету библиографа, отдел специального хранения, спросил, каким образом я могу почитать зарубежные издания писателя Аверченко.

— Нужен допуск,— сказала мне работник библиотеки.

— Я — литератор, член творческого союза.

— Нужен специальный допуск для чтения.

— Да весь мир давно прочел эти книги! — сказал я.

— Похлопочите в своем Союзе писателей. Не исключаю, что вам разрешат почитать писателя Аверченко у нас. Такой порядок. Допуск! До-пуск!

Тогда я отправился в историческую библиотеку. Мне нужно было прочесть книгу Аверченко, изданную в 1927 году в Москве.

— Вот такая книга,— сказал я.— «Развороченный муравейник».

— Подымитесь в наш отдел особого хранения,— ответили мне любезные работники библиотеки.— Там, наверное, находится «Развороченный муравейник».

— У меня нет допуска,— ответил я печально.

— А вы получите его! Пусть ваша редакция, где вы сотрудничаете, похлопочет за вас.

Я понимал, что нет смысла идти в отдел специального хранения — для меня. А вот избранники, прошедшие всевозможные проверки и награжденные убедительными характеристиками, могли спокойно получить допуск к книге, изданной у нас в двадцать седьмом году.

Теперь я направился в государственный литературный архив. В шестидесятых годах один из наших известных литературоведов совершил акт, сравнимый с подвигом: он вывез из Парижа в Москву архив писателей-сатириконцев, скончавшихся на чужбине. Литературовед все мечтал напечатать наиболее интересные материалы, но так и не дожил до этого светлого дня. В литархиве я намеревался прочесть автографы Аверченко, Тэффи,

мемуары издателя журнала «Сатирикон». Все это, как я знал, там было и лежало без движения.

— Вам нужно принести нам допуск из редакции альманаха «Архивная летопись»,— сказали мне.— Без допуска мы вам не сможем показать парижские материалы.

— Так я же... Как же... Я же...— лепетал я.

— «Архивная летопись» наложила запрет, похлопочите у себя в творческом союзе и получите разрешение читать письма Аверченко.

Так я оказался в длинной, вполне культурной очереди вместе с такими нашими уважаемыми писателями, как А. И. Куприн, М. П. Арцыбашев, и, конечно, с хлопотавшим о разрешении пожить рядом с царскими дачами Аркадием Аверченко. Где, кроме нашего отечества, найдешь такое общество? Так что историческую очередь в связи со своими хлопотами мы начали не в конце двадцатых годов, когда было введено жесткое распределение продуктов и благ, а еще в царские времена. И тут не следует идеализировать нашу сегодняшнюю бюрократию, которая на то и бюрократия, чтобы регулировать, разрешать и давать указания.

Охранная грамота

С облегчением скажем, что ныне книги сатириконцев, в том числе и Аверченко, освобождены от оков спецхрана, их выдают всем читателям, не требуя проверки на благонадежность. Многие издания сохранились в библиотеках благодаря «охранной грамоте» В. И. Ленина.

Осенью двадцать первого года в газете «Правда» появилась небольшая рецензия на юмористическую книжку, вышедшую в русском издательстве в Париже. Рецензия называлась просто: «Талантливая книжка». А сама книга — «Дюжина ножей в спину революции». Вообразите себе веселый рисунок, шарж, где изображен высокого роста человек, Аркадий Аверченко, с травинкой в зубах. Он говорит кому-то:

— Знаешь, у меня теперь есть преотличный рецензент. Солидная подпись, хорошо разбирается в политике и литературе. Дал ход моим книгам.

— Кто же?

— А мой старый читатель-почитатель Владимир Ульянов-Ленин. Я его в своих фельетонах весьма задевал, да он зла не помнит. Наши сатириконцы в большевистской печати сотрудничали. Почитай «Правду».

Тут все истинно. И то, что сатириконцы сотрудничали в большевистских изданиях, и то, что Ленин любил их юмор и был, видимо, согласен с критикой царского строя на страницах журнала «Сатирикон».

— Талант надо поощрять,— написал в конце рецензии самый авторитетный большевик и этим самым озадачил многих партийцев, видевших в писателях-эмигрантах не только классовых врагов, а врагов на уничтожение...

После рецензии в «Правде» книги Аверченко начали издавать массовыми тиражами.

И, понятно, от своих читателей блюстители чистоты идеологии запирали то, что отцам, дедушкам и бабушкам этих читателей было хорошо известно.

Тогда же, в двадцатых, в пору нового расцвета вольных типографий, мелкого частного предпринимательства и частноиздательской практики, классовую чистоту крови блюли пролеткультовские критики. Они, как известно, устраивали шумные литературные погромы, разделяя писателей, «доставшихся нам от старого мира», на сочувствующих, попутчиков, полупопутчиков и чистокровно пролетарских писателей. Таким пролетписателем был для них Максим Горький, весьма страдавший от литературной селекции. Смех, звучавший со страниц многих сатирических газет и журналов, критики такого рода разделяли на «наш» и «ненашенский». В одном случае им слышалось здоровое «гы-гы-гы», в другом — негромкое интеллигентское «хе-хе». Книги Аверченко совмещали в себе оба смеха и многим мозолили глаза. «Охранная грамота» Ленина представляла для этих людей непреодолимое препятствие. Но уже прекращалась ленинская культурная политика, на общественной сцене появились новые спецы по культуре и искусству.

Выше было сказано, что я хотел получить книгу «Развороченный муравейник» двадцать седьмого года. Это была, в сущности, книга-прощание: за два года до ее выхода в Праге умер ее автор.

Книга, составленная из его рассказов, часто очень горьких, написанных на чужбине, открывалась предисловием московского критика, не стану называть его имя, желающие могут взять книгу в библиотеке. Свое вступительное слово, приглашение почитать Аверченко, критик начинал так: «Труп врага всегда хорошо пахнет».

Дальше шел довольно уничижительный разбор дореволюционного и послереволюционного творчества скон-

чавшегося писателя. Критик пренебрежительно называл Аверченко петрушечником, наследником Смердякова, автором мелкотравчатых сатириконских острот, человеком без определенных политических взглядов, словом, врагом пролетариата и всего мирового сообщества. Прочитав предисловие, я удивился погромности высказываний критика, но тут мне пришлось вспомнить, что такого рода разборы творчества — тогда! — из случаев превратились в норму жизни, и уже травили Зощенко, ставшего народным любимцем, Михаила Булгакова и многих других литераторов.

«Память революции сбережет много имен,— заканчивалось предисловие.— Это будут имена вождей и героев, авантюристов и предателей. Быть может, она не забудет и покойного сатириконца — Аркадия Аверченко. И тогда, произнося его имя, новый человек скажет:

— Это тот самый Аверченко, который не принял величайшую в мире революцию за то, что она помешала ему доесть у трактирной стойки соус кумберленд».

А обозначенный в рецензии-предисловии новый человек был уже на подходе.

Нового человека плохо и мало учили, все больше — ускоренное и поверхностное, позже он всю жизнь посещал курсы повышения квалификации. Права прийти в публичную библиотеку и прочесть книги Аверченко, даже изданные у нас, новый человек был лишен. Ему нужно было оформить допуск. К тому же книги Аверченко, изданные до революции, можно было найти не во всех библиотеках, а книги эмигрантского периода вообще в каталогах не значились. «Для служебного пользования»! И много-много лет об Аверченко знали только любители русского юмора да специалисты по литературе и истории журналистики. В годы «оттепели» критик и прозаик Олег Михайлов сумел «пробить» сборник рассказов Аверченко. Эта прекрасно составленная книга вышла в московском издательстве и быстро стала редкостью. Но прошло двадцать лет, прежде чем вышла вторая книга — избранные рассказы. За пятьдесят лет — две книги известного русского писателя-юмориста...

Ледниковые периоды

Развитие сатирической литературы зависит от уровня развития сатирической журналистики. Есть развитая журналистика, журналы, отделы фельетонов в газетах; значит, есть и сатирическая литература.

А в развитии русской сатирической журналистики все зависело от монарха.

Первое лицо в государстве напрямую влияло на журналистику.

Возьмите недавно принятый Закон о печати, в чем-то похожий на Временное положение о печати 1905 года. Советский Закон о печати — в прогрессивных традициях европейской демократии. И тоже напрямую связан с именем первого лица в государстве.

Самый длинный ледниковый период в русской сатирической журналистике, да и в литературе, продолжался более полувека. Окончился он совсем недавно, в середине восьмидесятых, был славен очень короткой переменой, названной хрущевской «оттепелью».

Ну а другие ледники?

Были. То суровая погода, крещенский мороз на мысли и высказывания, то солнышко выглянуло и сосульки повисли.

Таяние первых льдов в сатирической журналистике связано с именем русского просветителя, издателя, известного общественного деятеля Н. И. Новикова — эпоха Екатерины Второй. Новиков пострадал из-за открытой приверженности к масонству, напечатанные им книги по распоряжению императрицы были сожжены. Но, как было не раз отмечено, костры из книг не разгоняют мрака. Н. И. Новиков, издававший сатирические журналы («Трутень», «Живописец» и др.), вошел в историю нашей сатирической журналистики.

Не знаю дату начала второго ледникового периода. Может быть, начался он сразу после событий на Сенатской площади, зато известно, когда началось очередное потепление. Это — эпоха императора Александра Второго. Появились сатирические и юмористические журналы. Лидером был радикальный журнал «Искра», редактировавшийся поэтом В. С. Курочкиным и карикатуристом Н. А. Степановым. Журнал приучил своих читателей знакомиться с сатирическими текстами не оглядываясь. В эту эпоху пошли веселить народ юмористические наши журналы-долгожители «Будильник», «Осколки», «Стрекоза».

Конец второго ледникового периода обозначен точной датой — 24 ноября 1905 года.

«Как будто кроваво-красная ракета взвилась в 1905 году...— писал Аркадий Аверченко.— Взвилась, лопнула и рассыпалась сотнями кроваво-красных сати-

рических журналов, таких неожиданных, пугавших своей необычностью и жуткой смелостью.

Все ходили, задрав восхищенно головы и подмигивая друг другу на эту яркую ракету.

— Вот она где, свобода-то!..»

Двадцать четвертого ноября было издано Временное положение о русской печати и свободе слова.

Отменялась любая предварительная цензура.

Отменялось право министра внутренних дел запрещать обсуждение в печати «вопросов государственной важности», кроме вопросов оборонного значения.

Разрешалось всем российским гражданам, достигшим двадцати пяти лет, становиться ответственными редакторами изданий.

Разрешалось открывать собственные газеты и журналы, нужно было только представить программу издания и выходные данные.

Каждый номер вышедшего из печати издания следовало представлять местным представителям царской цензуры — представителям «по делам печати». Цензор мог только арестовать номер, если находил в нем нечто противозаконное.

Закрывать издание по представлению прокурора мог только суд.

Рассказывая о том, как работали сотрудники «Сатирикона», Аверченко пишет: «И над каждым номером напряженная работа, масса усилий, затрачиваемых на обход цензурных волчьих ям. Громадная, титаническая работа, о которой читатель и не подозревает. И, как всегда, бывает: просматривая теперь эту вереницу номеров — помнишь хорошо, как создавался каждый номер, помнишь все тягости его рождения и тернии, с его выпуском связанные...— но вместе с тем совершенно не помнишь и не постигаешь, как созданы все эти триста номеров в их общей массе.

Неужели все это сделано нами, пятью-шестью людьми, единственным оружием которых были карандаш, перо и улыбка... Не верится».

Это было написано к пятилетию «Сатирикона».

По данным историков журналистики, чутких хроникеров ледниковых периодов, в 1905—1907 годах у нас в стране выходило более 300 сатирических и юмористических изданий. Уточню: в Петербурге — 178. В Москве — 43. В провинции — 88.

А теперь? В Москве — 1 (один) журнал.

...Не выдержав конкуренции на газетно-журнальном рынке, многие из «кроваво-красных» журналов тут же и закрывались. Иные оставались без редактора, который по приговору суда отсиживал в городской тюрьме за свои сатирические вольности, иные не выдерживали штрафных санкций.

После всего сказанного мы вправе найти «Сатирикону» место в культурно-историческом ряду наиболее известных русских журналов, сыгравших важную роль.

Новиковские журналы «Трутень» и др., курочкинская «Искра», затем — «Будильник», «Осколки», «Стрекоза» и «Сатирикон» под редакцией Аркадия Аверченко.

Новый журнал

Журнал «Стрекоза», издававшийся более тридцати лет, принадлежал Герману Карловичу Корнфельду, который учился журнальному и книжному делу у известного издателя и книгопродавца М. О. Вольфа. Глава Синода К. П. Победоносцев был с Вольфом на дружеской ноге. Постоянными клиентами книжной лавки Вольфа были многие русские государственные деятели и писатели. Герман Корнфельд вел в лавке подписку иностранных изданий и все время, пока работал и учился у Вольфа, мечтал открыть свой юмористический журнал. Такая финансовая возможность представилась, Корнфельд основал «Стрекозу», имея, между прочим, и свое фабричное дело — предприятие по изготовлению каучуковых штемпелей, по некоторым данным, он владел еще и производством в мыловаренной отрасли. Говоря иначе, «Стрекоза» не могла бы выходить без солидной дотации. Для своего времени журнал был весьма интересным, однако не посягал на устои. После царского манифеста 17 октября 1905 года в культурную жизнь страны, как уже говорилось, влились новые сатирические издания. Журналы «Бич», «Плеть», «Скорпион», «Пулемет», «Жупел», «Пощечина» — какая музыка названий! — старались перекричать друг друга, сатира разила политических деятелей, депутатов Думы, общественные установления. Тещами и дачными мужьями с кошелками в руках уже не проживешь. И вполне заслуженная в девятнадцатом столетии «Стрекоза» пришла в упадок. Нужны были реформы. И скорые.

Сын Корнфельда, Михаил Германович, после смерти отца вместе со «Стрекозой» получил в наследство банковский счет, отцовские связи в литературных и худо-

жественных кругах. Все эти блага были вложены в новое издание, получившее название «Сатирикон». Годовые подписчики «Стрекозы» и оглянуться не успели, как им стали доставлять совершенно новый журнал.

В редакцию были приглашены новые силы, издатель заручился поддержкой известных русских писателей и поэтов, художников, работавших в столичных журналах. Старшему из редакционных сотрудников, Алексею Радакову, шел тридцать первый год. Он был назначен основным художником-карикатуристом «Сатирикона». Радаков учился в Париже у известных мастеров, успел поработать в печати. Младшему из сатириконцев, Александру Яковлеву, шел семнадцатый год, еще вчера он учился у известного художника Д. Н. Кардовского. Да и сам издатель журнала Михаил Корнфельд был молод, ему исполнилось двадцать четыре... Впору его было называть Мишей, что и звучало иногда в редакционной комнате. И тут из Харькова приезжает в Петербург Аверченко. Ему двадцать семь лет, он бродит по столичным улицам, раздумывая, куда бы пристроить несколько юмористических рассказов. Редакции журналов «Стрекоза» и «Серый Волк» были в центре города, на Невском и на набережной Мойки, а другие редакции — «Шута» и «Осколков» — скрывались где-то в глубине Петербурга. И вот Аркадий, а правильнее было бы сказать — Аркаша Аверченко решает зайти в ближайшую редакцию — к Мише Корнфельду, который его встретил весьма приветливо.

«Пойду я сначала в «Стрекозу»,— вспоминал потом Аверченко.— По алфавиту. Вот что делает с человеком обыкновенный скромный алфавит: я остался в «Стрекозе»... Через неделю я уже был приглашен в качестве секретаря редакции и торжественно вступил в исполнение своих обязанностей... Атмосфера царила самая товарищеская, несмотря на то что любое мнение и взгляд высказывались в самой резкой определенной форме. Взаимное уважение страховало от обид, а общее увлечение любимой работой сглаживало все шероховатости».

Реформа старого журнала удалась: за пять лет редакция выпустила около трехсот номеров журнала, два миллиона юмористических книг. Издательство Корнфельда превратилось в известное, процветающее предприятие. Через несколько лет, увеличив основной капитал и обзаведясь легионом подписчиков, издательство смогло основать еще два журнала, один из них — юмористический, для детей...

«Сатирикон» (с 1913 года — «Новый Сатирикон») был веселым знаком общественного и экономического подъема довоенной России. Тогда, на рубеже веков и эпох, машиностроительные заводы строились за два-три года, на четвертый год уже выпускали паровозы и вагоны, плуги и двигатели, ткацкая фабрика, от нулевого цикла до первой партии полотна, требовала двенадцати месяцев. Купцы на глазах у изумленного мира превращались в известных промышленников, промышленники — в щедрых меценатов. Для предприимчивых русских молодых людей вакансии были на каждом шагу. Вот же: приехав под Новый год в Петербург, Аркаша Аверченко завернул в редакцию реформируемой «Стрекозы» и сразу же был при деле: секретарь редакции, а спустя краткое время — редактор журнала.

По старой русской формуле: Аверченко лег спать провинциальным журналистом, вчерашним конторщиком, а проснулся утром всероссийской знаменитостью.

Славное десятилетие

Аверченко написал и издал на родине, круглым счетом, сорок книг. Но самым главным, самым известным его произведением был журнал «Сатирикон». В течение почти десяти лет он писал в номер по рассказу, давал фельетон и — непременный «Почтовый ящик», под которым ставил краткую подпись «Ave». Кроме этого он писал еженедельно еще и скетч или инсценировал свой рассказ для эстрады, по просьбе провинциальных газет сочинял для них юморески, успевал работать над повестями. Он начал подписывать своим именем «Сатирикон» с лета 1908 года и оставался на редакторском посту до самого конца: в середине 1918 года журнал был закрыт...

В те времена, когда вышло постановление закрыть «Сатирикон», выходных пособий в связи с ликвидацией не выдавали. Были национализированы запасы бумаги, принадлежавшие Аверченко и некоторым из сатириконцев, товарищам по издательству «Новый Сатирикон», власти конфисковали счета в банке, отобрали помещение редакции. В одночасье вполне состоятельные издатели, заработавшие себе благополучие смехом и улыбкой, остались без средств к существованию. И еще: нужно было спасать жизнь... Аверченко и некоторые из писателей-юмористов уехали на Украину, оттуда на юг и далее — в Константинополь.

Осенью 1920 года Аркадий Тимофеевич Аверченко по-

кинул Россию навсегда. Свое недлинное признание — рассказ «Как я уехал» — он предваряет эпиграфом-анекдотом:

— Ехать так ехать,— добродушно сказал попугай, которого кошка тащила из клетки.

В нашей литературе, наверное, нет более смешных рассказов о беде и горе интеллигентных беженцев из России, об аристократах, спасающихся от голода любой работой в чужих городах. Смех рыдающего человека... «Русский в Европах», «Трагедия русского писателя», «Русские в Византии» — называет он эти полные горечи истории.

Так закончилось десятилетие «Сатирикона» и сатириконцев в России. Блистательный взлет и — чужие города: Константинополь, Париж, Берлин, Прага, Белград.

«Сатирикон» всегда полемизировал с министрами царского правительства, высмеивал черносотенных депутатов Государственной думы, его называли часто «красным» журналом. В номере, который был посвящен Февральской революции, А. Т. Аверченко поместил свой радостный отклик. И вдруг... революция оборачивается против тебя и заставляет покинуть любимую родину.

«За что они так нас? За что?» — этот свой вопрос Аверченко вкладывает в уста многих своих героев, из рассказа в рассказ кочует эта горестная тема.

Действительно, у «Сатирикона» были свои заслуги перед революцией, он был близок всем читателям, ожидавшим ветра перемен...

«Не будем обманывать и себя, и других,— писал Аверченко в предисловии к «Дюжине ножей в спину революции»,— революция уже кончилась, и кончилась она давно!

Начало ее — это светлое, очищающее пламя, середина — зловонный дым и копоть, конец — холодные обгорелые головешки.

А разве мы сейчас не бродим среди давно потухших головешек,— без крова и пищи, с глухой досадой и пустотой в душе?

Нужна была России революция?

Конечно нужна».

Материалы к биографии

«Сатирикон» выжил в наших классовых битвах благодаря уму и талантам своих сотрудников. Книги сатириконцев выходят из печати одна за одной. Рассказы,

фельетоны, пародии, повести, впервые появившиеся на страницах журнала семьдесят и восемьдесят лет назад, не утратили своей остроты, а во многих случаях и злободневности.

Читатель найдет в предлагаемом его вниманию сборнике произведения А. Т. Аверченко, написанные им дома, в мирное время, до начала первой мировой войны. Это — молодой и счастливый Аверченко. Тогда все его мечты сбывались. Пришла мысль выпустить номер журнала, посвященный нарождающемуся воздухоплаванию, и, смотришь, уже рассылается подписчикам журнал с аэропланами и пилотами. Номер, посвященный Гоголю, московский специальный номер...

Исключение в данной книге такое: сюда включен роман «Шутка Мецената», написанный в годы эмиграции. В романе отчетливо звучит ностальгия по утраченному душевному миру, по петербургской жизни. Спокойно, без сатирических преувеличений в романе рассказано о богеме — о жизни писателей, журналистов, актеров и актрис столичных театров, за вымышленными именами скрыты имена подлинных друзей Аверченко. Он хорошо знал и любил петербургскую богему. Она помогала ему набираться сил для титанической работы, которую он делал: редактирование и издание еженедельного журнала.

Такие сугубо автобиографические рассказы, как «Автобиография», «Отец», «Молния», содержат реальные факты из жизни автора. Эти несколько рассказов и роман выстраиваются в стройный ряд событий жизни А. Т. Аверченко: в родительском доме, начало трудовой биографии, работа конторщиком в поселке угольщиков, Санкт-Петербург.

До самого последнего времени наши словари и энциклопедии, отражающие официальную точку зрения на литературный процесс, отводили мало места писателям-сатириконцам. Свой путь по страницам этих изданий Аверченко начал со скромных тридцати строк, и вот в последнем биографическом словаре для учителей ему отведено почти две большие страницы! Подробная научная биография, основанная на его обширном наследии, еще не написана. Подобные книги уже изданы за рубежом и известны советологам и историкам нашей революции, но только не нам с вами.

К ряду биографических рассказов, включенных в сборник, нужно добавить несколько строк из письма са-

мого А. Т. Аверченко, письмо это хранится в Пушкинском доме.

«Отец мой — севастопольский купец, дотла разорившийся. Родился я 15 марта 1881 года в Севастополе. Учился только дома. Девяти лет отец пытался отдать меня в реальное училище, но оказалось, что я был настолько в то время слаб глазами и вообще болезнен, что поступить в училище не мог. Поэтому и пришлось учиться дома. С десяти лет пристрастился к чтению — много и без разбора. Тринадцати лет пытался написать собственный роман, который так и не кончил. Впрочем, он привел в восторг только мою бабушку».

В отечественных источниках биографические сведения об А. Т. Аверченко весьма скудны — он не заполнял «листков по учету кадров» и пространных анкет, поэтому приходится собирать по крупицам сведения о его семье и о нем самом. Мешает и многолетняя опала Аверченко. Его рассказы, основанные на пережитом, какие-то объявления в «Сатириконе», редкие сохранившиеся письма — вот, пожалуй, и весь наш запас для исследования творчества писателя. Есть еще воспоминания и письма его коллег по «Сатирикону», но и они не изобилуют сведениями о нем.

После скитаний по городам Европы Аркадий Тимофеевич решает осесть в Праге. В то время в Праге было много беглецов из России. Президент Чехословакии Томаш Масарик предпринял «русскую акцию», на основании которой эмигранты получали в стране и хлеб и кров. Двадцать тысяч русских эмигрантов, разных взглядов, направлений, но с одинаковой судьбой, безбедно жили в славянской стране. Выходили русские книги, газеты, было положено начало Русскому культурно-историческому музею.

Пожив в Константинополе, Аркадий Тимофеевич оказался в Праге среди своих. И так он был признателен хозяевам, что даже рассказы, высмеивающие какие-то бытовые стороны, какие-то черточки в характерах чехов и словаков, у него не получались... Книги его издают русские издательства в Берлине, Париже, Софии. Он много выступает с чтением своих произведений, полон творческих замыслов и о смерти не думает.

Болезни? Но болезни можно лечить. К болезням он привык с детства. Жены у него нет, детей не родил, по старой привычке живет в гостиницах и пансионах. Была любимая женщина, актриса Нового театра в Петербурге,

которая всегда была его яростным критиком... Он посвятил ей свою лучшую книгу «Круги по воде», кто-нибудь прочтет и узнает, а может, и не узнает, скользнет взглядом по строчке: «Александре Яковлевне Садовской». Грустно и давно уже не смешно...

«Какой я теперь русский писатель,— сетовал он незадолго до смерти.— Я печатаюсь главным образом по-чешски, по-немецки, по-румынски, по-болгарски, по-сербски, устраиваю вечера, выступаю в собственных пьесах, разъезжаю по Европе, как завзятый гастролер».

Аркадий Тимофеевич Аверченко скончался 12 марта 1925 года и похоронен на православном кладбище в Ольшанах, в Праге.

Аверченко — лежит в Праге; сатириконец, лидер сатирических поэтов Саша Черный — на юге Франции, в Провансе; Надежда Александровна Тэффи, соловей русской юмористической прозы,— в Париже... Судьба, как ветер, разнесла прах сатириконцев по Европе, забросила горсть пепла и в США — там умер Осип Дымов, писатель, автор изящных рассказов.

Те немногие сатириконцы, которых уговорили вернуться на родину из эмиграции, погибли в ГУЛАГе, их могилы поглотило секретное безмолвие архивов. Кто где!

Аркадий Тимофеевич Аверченко, тот юный Аверченко, который с таким упоением писал в «Сатириконе», ничего подобного и не предвидел. Двигая к осуществлению Февральскую революцию, приветствуя Февраль, он думал о торжестве разума в России. И вот в двадцатых годах оказался в роли пророка. Таковы его рассказы из нашей жизни, порой смешные до жути. Одна из книг так и называлась: «Смешное в страшном». Он напророчил нам сталинский тоталитаризм, борьбу амбиций за кремлевскими стенами, продуктовые нехватки и многое другое, что сегодня на слуху.

— Я же писал! Я вам говорил! Перечитайте «Дюжину ножей» или рассказ «Опыт»! — мог бы сказать сегодня «русский Марк Твен», как называли Аверченко до революции.

Ни потайные отделы библиотек, ни презрительные клички оказались не в состоянии вытравить из памяти поколений его смех.

Михаил АНДРАША


НОВѢЙШАЯ О
,,БОН
ТОЛЬК
Свѣтъ ея совер
столько проста,
АВТОБИОГРАФИЯ

Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну, вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

— Держу пари на золотой, что это мальчишка!

«Старая лисица! — подумал я, внутренно усмехнувшись,— ты играешь наверняка».

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе — и мы вышли на улицу.

— Куда это нас черти несут? — спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

— Тебе надо учиться.

— Очень нужно! Не хочу учиться.

— Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

— Я болен.

— Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

— Глаза.

— Гм... Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.

— Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

— Ничего,— ответил я, утаив хвост фразы, который докончил в уме: «...хорошего в ученьи».

Так я и не занимался науками.

* * *

Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего об этом заботился я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость — добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали и исключительно и планомерно в долг, и — пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль: заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили врукопашную, и результат схватки — вывихнутый палец — нисколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.

Так — на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей — совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.

* * *

Когда мне исполнилось 15 лет, отец, с сожалением распростившийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

— Надо тебе служить.

— Да я не умею,— возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

— Вздор! — возразил отец.— Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

— Посмотри на Сережу,— говорила печально мать.— Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет... А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался «держаться свободнее», шаркая ногами по стенам, но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосягаем!

— Сережа служит, а ты еще не служишь...— упрекнул меня отец.

— Сережа, может быть, дома лягушек ест,— возразил я, подумав.— Так и мне прикажете?

— Прикажу, если понадобится! — гаркнул отец, стуча кулаком по столу.— Черт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.

* * *

Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека в жилете без пиджака, очень приветливого и скромного.

«Это, наверное, и есть главный агент»,— подумал я.

— Здравствуйте! — сказал я, крепко пожимая ему руку.— Как делишки?

— Ничего себе. Садитесь, поболтаем!

Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:

— Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!

Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самим главным агентом.

— Здравствуйте,— сказал я.— Как живете-можете? (Общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)

— Ничего,— сказал молодой господин.— Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

— Так-то вы, дьявольский дармоед, заготовляете реестра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал преважно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

«Дурак я,— думал я про себя.— Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники. Вот этот начальник — так начальник! Сразу уж видно!»

В это время в передней послышалась возня.

— Посмотрите, кто там? — попросил меня главный агент.

Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:

— Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто.

Плюгавый старичишка вошел и закричал:

— Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того «лодырем», предупредительно сообщил мне на ухо:

— Главный агент притащился.

Так я начал свою службу.

* * *

Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей,— ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука...

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать — это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца...

Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время — ниже.

И все обитатели этого места пили, как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.

Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой непременной принадлежности российского гражданина заливали — с горестным видом и отчаянием в душе — целым морем водки.

Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой — ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки...

Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые двадцать шагов.

— Что это такое? — изумился я.

— А шахтеры,— улыбнулся сочувственно возница.— Горилку куповалы у селе. Для Божьего праздничку.

— Ну?

— Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!

Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала. И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчиком на всем пути.

Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим грязным телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения — бутылка водки) съесть динамитный патрон. Проделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.

По миновании же этого странного карантина был он жестоко избит.

Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.

Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить, как Бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались прежестокими отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое, тягучее и танцевали угрюмо, сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.

В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии * по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.

---

* Кордегардия — караульное помещение, «гауптвахта» поселка.

* * *

Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом...

По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах,— месте, которое восхищало меня сначала до глубины души...

Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.

Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывавшим работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрязгах...

* * *

Литературная моя деятельность была начата в 1905* году, и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-первых, я написал рассказ... Во-вторых, я отнес его в «Южный край». И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорара я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоились...

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской войны.

Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина...

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы, и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил, как щепку.

---

* Первый напечатанный рассказ А. Аверченко — «Как мне пришлось застраховать жизнь» — появился в газете «Южный край» 31 октября 1903 года. По всей видимости, в текст «Автобиографии» вкралась ошибка.

Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу... Лихорадочно писал, я рисовал карикатуры, редактировал и корректировал, и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были: отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня.

Тогда он, обидевшись, сказал:

— Один из нас должен уехать из Харькова!

— Ваше превосходительство! — возразил я.— Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить три номера журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.

* * *

В Петербург я приехал как раз на Новый год.

Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я,— могу дать честное слово,— увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город... Скромно, инкогнито сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни.

И вот — начал я ее.

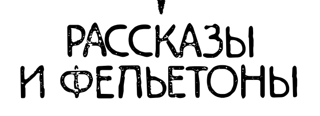
Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 6 руб., на полгода 3 руб.).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 6 руб., на полгода 3 руб.).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной до болезненности скромности я умолкаю.

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно держащаяся в тени, получит совершенно другое освещение...



РАССКАЗЫ И ФЕЛЬЕТОНЫ

Счастьем для таланта Аверченко было то, что его носитель провел начало своей жизни не в Петербурге, в созерцании сквозь грязный туман соседнего брандмауэра, а побродил и потолкался по свету. В его памяти запечатлелось ставшее своим множество лиц, говоров, метких слов и оборотов, включая сюда и неуклюже-восхитительные капризы детской речи. И всем этим богатством он пользовался без труда, со свободой дыхания.

Беззлобен, чист был его первый смех, и легкие уколы не носили в себе желчного яда. Всего труднее определить характер юмора. Надо сказать, что от гоголевского юмора у нас не осталось наследия. Шестидесятые и семидесятые годы передали нам лишь кривую презрительную саркастическую усмешку. Сатириконцы первые засмеялись простодушно, ото всей души, весело и громко, как смеются дети. В то смутное, неустойчивое, гиблое время «Сатирикон» был чудесной отдушиной, откуда лил свежий воздух.

«Сатирикон» совсем неотделим от Аверченко. Он ему и создал большую и заслуженную славу. Книги Аверченко шли потоками по всей России. Ими зачитывались...

А. И. Куприн. Аверченко и «Сатирикон».
1925 г.

ЮМОР ДЛЯ ДУРАКОВ

Это был солидный господин с легкой наклонностью к полноте, с лицом, на котором отражались уверенность в себе и спокойствие, с глазами немного сонными, с манерами, полными достоинства, и с голосом, в котором изредка прорывались ласково-покровительственные нотки.

— Вот вы писатель,— сказал он мне, познакомившись.— Писатель-юморист... Так. Наверное, знаете много смешного. Да?..

— О, помилуйте...— скромно возразил я.

— Нечего там скромничать. Расскажите мне какую-нибудь смешную штуку... Я это ужасно люблю.

— Позвольте... Что вы называете «смешной штукой»?

— Ну, что-нибудь такое... юмористическое. Я думаю, вы не ударите лицом в грязь. Слава Богу — специалист, кажется! Ну, ну... не скромничайте!

— Видите ли... Я бы мог просто порекомендовать вам прочесть книгу моих рассказов. Но, конечно, не ручаюсь, что вы непременно наткнетесь в них на «смешные штуки».

— Да нет, нет! Вы мне расскажите! Мне хочется послушать, как вы рассказываете... Ну, что-нибудь коротенькое. Вот, наверное, за бока схватишься!..

Я незаметно пожал плечами и неохотно сказал:

— Ну, слушайте... Мать послала маленького сына за гулякой-отцом, который удрал в трактир. Сын вернулся один, без отца — и на вопрос матери: «Где же отец и что он там делает?» — ответил: «Я его видел в трактире... Он сидит там с пеной у рта».— «Сердится, что ли?» — «Нет, ему подали новую кружку пива».

Не скажу, чтобы эта «смешная штучка» была особенно блестящей. Но на какой-нибудь знак внимания со стороны моего нового знакомого я все-таки мог надеяться.

Он мог бы засмеяться, или просто безмолвно усмехнуться, или даже, в крайнем случае, покачать одобрительно головой.

Нет. Он поднял на меня ясные, немного сонные глаза и поощрительно спросил:

— Ну?

— Что «ну»?

— Что же дальше?

— Да это все.

— Что же отец... вернулся домой?

— Да это не важно. Вернулся — не вернулся... Все дело в ответе мальчика.

— А что, вы говорите, он ответил?

— Он ответил: отец сидит там с пеной у рта.

— Ну?

— Видите ли... Соль этого анекдота, сочиненного мною, заключается в том, что мальчик ответил то, что называется,— буквально. Он видел кружку пива с пеной, кружку, которую отец держал у рта, и поэтому ответил в простоте душевной: «Отец сидит с пеной у рта». А мать думала, что это — фигуральное выражение, сказанное по поводу человека, которого что-нибудь взбесило.

— Фигуральное?

— Да.

— Взбесило?

— Да!

— Ну?

— Что еще такое — «ну»?

— Значит, мать думала, что отец за что-нибудь сердится, а он вовсе не сердится, а просто пьет себе преспокойно пиво.

— Ну да.

— Вот-то ловко! Ха-ха! Ну и здорово же: она думает, что он сердится, а он вовсе и не сердится... Хо-хо! Вообще, знаете, эти трактиры.

— Что-о?..

— Я говорю — трактиры. Еще если холостой человек ходит, так ничего, а уж женатому, да если еще нет средств,— так трудновато... Не до трактиров тут. Тут говорится: не до жиру, быть бы живу.

Я молчал, глядя на него сурово, с замкнутым видом.

Человек он был, очевидно, вежливый, понимавший, что в благодарность за рассказанное — автор имеет право на некоторое поощрение.

Поэтому он принялся смеяться:

— Ха-ха-ха! Уморил! Ей-Богу, уморил. Папа, говорит, в трактире пену пьет, сердится... А мать-то, мать-то! В каких дурах... О-ох-хо-хо! Ну, еще что-нибудь расскажите.

«Э, милый,— подумал я.— Тебя такой вещью не проберешь. Тебе нужно что-нибудь потолще».

— Ну, я вас прошу, расскажите еще что-нибудь...

— Ладно. В один ресторан пришел посетитель. Оставив в передней свой зонтик и боясь, чтобы его кто-нибудь не украл, он прикрепил к ручке зонтика такую записку: «Владелец этого зонтика поднимает одной рукой семь пудов... Попробуйте-ка украсть зонтик!» Пообедав, владелец зонтика вышел в переднюю и — что же он видит! Зонтик исчез, а на том месте, где он стоял, приколота записка: «Я пробегаю в час пятнадцать верст — попробуйте-ка догнать!»

Любитель «смешных штучек» поощрительно взглянул на меня и сказал:

— Ну и что же? Догнал он похитителя или нет?

Я вздохнул и начал терпеливо:

— Нет, он его не догнал. Да тут и не важно дальнейшее. Вся соль анекдота заключается именно в курьезном совпадении этих двух записок. Автор первой, видите ли, думал, что он непобедим, рассчитывая на свои здоровые руки, и никак он не рассчитывал, что здоровые ноги гораздо важнее.

— Важнее?

— Да.

— Сколько он там написал, что пробежит в час?

— Пятнадцать верст.

— Это много считается?

— Порядочно.

— А ведь поймай этот первый-то владелец зонтика — похитителя в то время, как тот писал записку, он бы ему задал перцу, а? Тут и ноги не помогут, а?

— Не знаю.

— Это, наверное, было давно, я думаю? В прежнее время? Теперь-то ведь в передних ресторанов всюду швейцары, которые и отвечают за пропажу вещей.

— Да.

— Теперь все как-то сделалось культурнее. Положим, раньше-то и воровства было меньше. А?

— Да.

Мы помолчали.

— Вопрос еще, догнал ли бы он похитителя, если бы даже и умел бегать быстрее его. Потому что раньше нужно узнать, в какую сторону он побежал, да не свернул ли с дороги, а то мог просто припрятать зонтик, да и отпереться от всего: «Знать не знаю, ведать не ведаю — никакого зонтика не воровал и никакой записки не писал».

— Да.

По моим сухим, сердитым репликам любитель анекдотов почуял, что я им не совсем доволен, и, решив, по своему обыкновению, щедро вознаградить меня смехом,— неожиданно захохотал.

— Ха-ха! Ох-хо-хо! Ну и уморил. Выходит он — где зонтик? Хвать-похвать, а зонтика-то и нет. Ну и ловкие ребята бывают! Прямо-таки пальца в рот не клади. И откуда вы столько смешных штучек знаете? Ну, расскажите еще что-нибудь. Ну, пожалуйста, ну, миленький...

— Рассказать? — прищурился я.— Извольте! Один господин, явившись на обед к родителям своей невесты и страдая от тесной обуви, снял потихоньку под столом с ноги башмак, но в это время собачонка схватила башмак да бежать, а жених испугался, вскочил, опрокинул стол, причем миска с горячим супом опрокинулась на тещу, и помчался за собачонкой. По дороге он разбил дорогую вазу, а потом, желая достать для разутой ноги какой-нибудь башмак, ударил тестя ногой в живот, повалил его и стал стаскивать с ноги ботинок. Но оказалось, что у тестя одна нога была искусственная, и вдруг она отрывается вместе с ботинком, и наш жених грохается на пол, обрывая портьеру; но в это время собачонка, с башмаком во рту...

Дальше я не мог продолжать: нечеловеческий страшный хохот душил моего нового знакомого. Он буквально катался по дивану, отмахиваясь руками, ногами, задыхаясь и кашляя. Лицо побагровело, и на глазах выступили слезы.

— О-ох,— визжал он тонким голосом.— Довольно. Ради Бога, довольно! Вы меня убьете вашим рассказом!..

* * *

Раньше я не понимал: для чего и кому нужны десятки тысяч метров кинематографических лент, на которых изображены: солдат, попавший в барабан и заснувший там; рассеянный прохожий, опрокидывающий на своем пути детские колясочки, влюбленные парочки;

свадебный обед, участникам которого шутник насыпает за ворот «порошок для чесания»; молодой человек, которого кусает блоха во время объяснения с невестой и который начинает бегать по комнате, ловя эту блоху; пьяный, залезший в матрац и катающийся в таком положении по людной улице — для чего и кому все это нужно? — я не понимал.

Теперь — понимаю.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Кулаков стоял перед хозяином гастрономического магазина и говорил ему:

— Шесть с полтиной? С ума сойти можно! Мы, Михайло Поликарпыч, сделаем тогда вот что... Вы мне дайте коробку зернистой в фунт, а завтра по весу обратно примете... Что съедим — за то заплачу. У нас-то ее не едят, а вот гость нужный на блинах будет, так для гостя, а?

«Чтоб тебе лопнуть, жила!» — подумал хозяин, а вслух сказал:

— Неудобно это как-то... Ну, да раз вы постоянный покупатель, то разве для вас. Гришка, отвесь!

* * *

Кулаков подвел гостя к столу и сказал, потирая руки:

— Водочки перед блинками, а? В этом удивительном случае хорошо очищенную, а? Хе-хе-хе!..

Гость опытным взглядом обвел стол.

— Нет-с, я уж коньячку попрошу! Вот эту рюмочку, побольше.

Хозяин вздохнул и прошептал:

— Как хотите. На то вы гость.

И налил рюмку, стараясь не долить на полпальца.

— Полненькую, полненькую! — весело закричал гость и, игриво ткнув Кулакова пальцем в плечо, прибавил: — Люблю полненьких!

— Ну-с... ваше здоровье! А я простой выпью. Прошу закусить: вот грибки, селедка, кильки... Кильки, должен я вам сказать, поражающие!

— Те-те-те! — восторженно закричал гость.— Что вижу я! Зернистая икра, и, кажется, очень недурная! А вы, злодей, молчите!

— Да-с, икра...— побелевшими губами прошептал

Кулаков.— Конечно, можно и икры... Пожалуйте вот ложечку.

— Чего-с? Чайную? Хе-хе! Подымай выше. Зернистая икра хороша именно тогда, когда ее едят столовой ложкой. Ах, хорошо! Попрошу еще рюмочку коньяку. Да чего вы такой мрачный? Случилось что-нибудь?

Хозяин придвинул гостю тарелку с селедкой и страдальчески ответил:

— Жизнь не веселит! Всеобщий упадок дел... Дороговизна предметов первой необходимости, не говоря уже о предметах роскоши... Да, так, к слову сказать, знаете, почем теперь эта зернистая икра? Шесть с полтиной!

Гость зажмурился.

— Что вы говорите! А вот мы ее за это! На шесть гривен... на хлеб... да в рот... Гам! Вот она и наказана.

Хозяин сжал под столом кулаки и, стараясь улыбнуться, жизнерадостно воскликнул:

— Усиленно рекомендую вам селедку! Во рту тает.

— Тает? Скажите. Таять-то она, подлая, тает, а потом подведет — изжогой наделит. Икра же, заметьте, почтеннейший, не выдаст. Бла-агороднейшая дама!

— А что вы скажете насчет этих малюток? Немцы считают кильку лучшей закуской!

— Так то немцы,— резонно заметил гость.— А мы, батенька, русские. Широкая натура! А ну, еще... «Черпай, черпай источник! Да не иссякнет он», как сказал какой-то поэт.

— Никакой поэт этого не говорил,— злобно возразил хозяин.

— Не говорил? Он был, значит, неразговорчивый. А коньяк хорош! С икрой.

Хозяин заглянул в банку, погасил в груди беззвучный стон и придвинул гостю ветчину.

— Вы почему-то не кушаете ветчины... Неужели вы стесняетесь?

— Что вы! Я чувствую себя как дома!

«Положим, дома ты бы зернистую икру столовой ложкой не лопал»,— хотел сказать вслух Кулаков, но подумал это про себя, а вслух сказал:

— Вот и блины несут. С маслом и сметаной.

— И с икрой, добавьте,— нравоучительно произнес гость.— Икра — это Марфа и Онега всего блинного, как говаривал один псаломщик. Понимаете? Это он вместо Альфы и Омеги говорил... Марфа и Онега! Каково? Хе-хе!

Потом гость тупо посмотрел на стол и удивленно воскликнул:

— Черт возьми! Икра, как живая. Я ее придвигаю сюда, а она отодвигается туда... Совершенно незаметно!

— Неужели? — удивился печальный хозяин и прибавил: — А вот мы ее опять придвинем.

И придвинул грибки.

— Да это грибки,— добродушно сказал гость.

— А вы... чего же хотели?

— Икры. Там еще есть немного к блинам.

— Господи! — проскрежетал Кулаков, злобно смотря на гостя.

— Что такое?

— Кушайте, пожалуйста, кушайте!

— Я и ем.

Зубы хозяина стучали, как в лихорадке.

— Кушайте, кушайте!! Вы мало икры ели, еще кушайте... Кушайте побольше.

— Благодарю вас. Я ее еще с коньячком. Славный коньячишка.

— Славный коньячишка! Вы и коньячишку еще пейте... Может быть, вам шампанского открыть, ананасов, а? Кушайте!

— Дело! Только вы, дружище, не забегайте вперед... Оставим место и для шампанского и для ананасов... Пока я — сию брюнеточку. Кажется, немного еще осталось?

— Куш... кушайте! — сверкая безумными глазами, взвизгнул хозяин.— Может, столовая ложка мала? Не дать ли разливательную? Чего же вы стесняетесь — кушайте! Шампанского? И шампанского дам! Может, вам нравится моя новая шуба? Берите шубу! Жилетка вам нравится? Сниму жилетку! Забирайте стулья, комод, зеркало... Деньги нужны? Хватайте бумажник, ешьте меня самого... Не стесняйтесь, будьте как дома! Ха-ха-ха!!

И, истерически хохоча и плача, Кулаков грохнулся на диван.

Выпучив в ужасе и недоуменье глаза, смотрел на него гость, и рука с последней ложкой икры недвижно застыла в воздухе.

РЫЦАРЬ ИНДУСТРИИ

Мое первое с ним знакомство произошло после того, как он, вылетев из окна второго этажа, пролетел мимо окна первого этажа, где я в то время жил,— и упал на мостовую.

Я выглянул из своего окна и участливо спросил неизвестного, потиравшего ушибленную спину:

— Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным?

— Почему не можете? — добродушно кивнул он головой, в то же время укоризненно погрозив пальцем по направлению окна второго этажа.— Конечно же можете.

— Зайдите ко мне в таком случае,— сказал я, отходя от окна.

Он вошел, веселый, улыбающийся. Протянул мне руку и сказал:

— Цацкин.

— Очень рад. Не ушиблись ли вы?

— Чтобы сказать вам — да, так — нет! Чистейшей воды пустяки.

— Наверное, из-за какой-нибудь хорошенькой женщины? — подмигивая, спросил я.— Хе-хе.

— Хе-хе! А вы, вероятно, любитель этих сюжетцев, хе-хе?! Не желаете ли — могу предложить серию любопытных открыточек? Немецкий жанр! Понимающие люди считают его выше французского.

— Нет, зачем же,— удивленно возразил я, всматриваясь в него.— Послушайте... ваше лицо кажется мне знакомо. Это не вас ли вчера какой-то господин столкнул с трамвая?..

— Ничего подобного! Это было третьего дня. А вчера меня спустили с черной лестницы по вашей же улице. Но, правду сказать, какая это лестница? Какие-то семь паршивых ступенек.

Заметив мой недоумевающий взгляд, господин Цацкин потупился и укоризненно сказал:

— Все это за то, что я хочу застраховать им жизнь. Хороший народ: я хлопочу об их жизни, а они суетятся о моей смерти.

— Так вы — агент по страхованию жизни? — сухо сказал я.— Чем же я могу быть вам полезен?

— Вы мне можете быть полезны одним малюсеньким ответиком на вопрос: как вы хотите у нас застраховаться — на дожитие или с уплатой премии вашим близким после — дай вам Бог здоровья — вашей смерти?

— Никак я не хочу страховаться,— замотал я головой.— Ни на дожитие, ни на что другое. А близких у меня нет... Я одинок.

— А супруга?

— Я холост.

— Так вам нужно жениться — очень просто! Могу вам предложить девушку — пальчики оближете! Двенадцать тысяч приданого, отец две лавки имеет! Хотя брат шарлатан, но она такая брюнетка, что даже удивительно. Вы завтра свободны? Можно завтра же и поехать посмотреть. Сюртук, белый жилет. Если нет — можно купить готовые. Адрес — магазин «Оборот»... Наша фирма...

— Господин Цацкин,— возразил я.— Ей-Богу же, я не хочу и не могу жениться! Я вовсе не создан для семейной жизни...

— Ой! Не созданы? Почему? Может, вы до этого очень шумно жили? Так вы не бойтесь... Это сущий, поправимый пустяк. Могу предложить вам средство, которое несет собою радость каждому меланхоличному мужчине. Шесть тысяч книг бесплатно! Имеем массу благодарностей! Пробный флакончик...

— Оставьте ваши пробные флакончики при себе,— раздражительно сказал я.— Мне их не надо. Не такая у меня наружность, чтобы внушить к себе любовь. На голове порядочная лысина, уши оттопырены, морщины, маленький рост...

— Что такое — лысина? Если вы помажете ее средством нашей фирмы, которой я состою представителем, так обрастете волосами, как, извините, кокосовый орех! А морщины, а уши? Возьмите наш усовершенствованный аппарат, который можно надевать ночью... Всякие уши как рукой снимет! Рост? Наш гимнастический прибор через каждые шесть месяцев увеличивает рост на два вершка. Через два года вам уже можно будет жениться, а через пять лет вас уже можно будет показывать! А вы мне говорите — рост...

— Ничего мне не нужно! — сказал я, сжимая виски.— Простите, но вы мне действуете на нервы...

— На нервы? Так он молчит!.. Патентованные холодные души, могущие складываться и раскладываться! Есть с краном, есть с разбрызгивателем. Вы человек интеллигентный и очень мне симпатичный... Поэтому могу посоветовать взять лучше разбрызгиватель. Он дороже, но...

Я схватился за голову.

— Чего вы хватаетесь? Голова болит? Вы только скажите: сколько вам надо тюбиков нашей пасты «Мигренин» — фирма уж сама доставит вам на дом...

— Извините,— сказал я, закусывая губу,— но прошу оставить меня. Мне некогда. Я очень устал, а мне предстоит утомительная работа — писать статью...

— Утомительная? — сочувственно спросил господин Цацкин.— Я вам скажу — она утомительна потому, что вы до сих пор не приобрели нашего раздвижного пюпитра для чтения и письма! Нормальное положение, удобный наклон... За две штуки семь рублей, а за три — десять...

— Пошел вон! — закричал я, дрожа от бешенства.— Или я проломлю тебе голову этим пресс-папье!!

— Этим пресс-папье? — презрительно сказал господин Цацкин, ощупывая пресс-папье на моем письменном столе.— Этим пресс-папье... Вы на него дуньте — оно улетит! Нет, если вы хотите иметь настоящее тяжелое пресс-папье, так я вам могу предложить целый прибор из малахита...

Я нажал кнопку электрического звонка.

— Вот сейчас придет человек — прикажу ему вывести вас!

Скорбно склонив голову, господин Цацкин сидел и молчал, будто ожидая исполнения моего обещания.

Прошло две минуты. Я позвонил снова.

— Хорошие звонки, нечего сказать,— покачал головой господин Цацкин.— Разве можно такие безобразные звонки иметь, которые не звонят. Позвольте вам предложить звонки с установкой и элементами за семь рублей шестьдесят копеек. Изящные звонки...

Я вскочил, схватил господина Цацкина за рукав и потащил к выходу.

— Идите! Или у меня сейчас будет разрыв сердца...

— Это не дай Бог, но вы не беспокойтесь! Мы вас довольно прилично похороним по второму разряду. Правда, не будет той пышности, как первый, но катафалк...

Я захлопнул за господином Цацкиным дверь, повернул в замке ключ и вернулся к столу.

Через минуту я обратил внимание, что дверная ручка зашевелилась, дверь вздрогнула от осторожного напора и — распахнулась.

Господин Цацкин робко вошел в комнату и, прищурясь, сказал:

— В крайнем случае могу вам доложить, что ваши дверные замки никуда не годятся... Они отворяются от простого нажима! Хорошие английские замки вы можете иметь через меня — один прибор два рубля сорок копеек, за три — шесть рублей пятьдесят копеек, а пять штук...

Я вынул из ящика письменного стола револьвер и, заскрежетав зубами, закричал:

— Сейчас я буду стрелять в вас!

Господин Цацкин с довольной миной улыбнулся и ответил:

— Я буду очень рад, так как это даст вам возможность убедиться в превосходном качестве панциря от пуль, который надет на мне для образца и который могу вам предложить. Одна штука восемнадцать рублей, две дешевле, а три еще дешевле. Прошу вас убедиться!

Я отложил револьвер и, схватив господина Цацкина поперек туловища, с бешеным ревом выбросил в окно.

Падая, он успел крикнуть мне:

— У вас очень непрактичные запонки на манжетах! Острые углы, рвущие платье и оцарапавшие мне щеку. Могу предложить африканского золота с инкрустацией, пара два рубля, три пары де...

Я захлопнул окно.

ДЕНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Дома

Утром, когда жена еще спит, я выхожу в столовую и пью с жениной теткой чай. Тетка — глупая, толстая женщина — держит чашку, отставив далеко мизинец правой руки, что кажется ей крайне изящным и светски изнеженным жестом.

— Как вы нынче спали? — спрашивает тетка, желая отвлечь мое внимание от десятого сдобного сухаря, который она втаптывает ложкой в противный жидкий чай.

— Прекрасно. Вы всю ночь мне грезились.

— Ах ты господи! Я серьезно вас спрашиваю, а вы все со своими неуместными шутками.

Я задумчиво смотрю в ее круглое обвислое лицо.

— Хорошо. Будем говорить серьезно... Вас действительно интересует, как я спал эту ночь? Для чего это вам? Если я скажу, что спалось неважно — вас это опе-

чалит и угнетет на весь день? А если я хорошо проспал — ликованию и душевной радости вашей не будет пределов?.. Сегодняшний день покажется вам праздником, и все предметы будут окрашены отблеском веселого солнца и удовлетворенного сердца?

Она обиженно отталкивает от себя чашку.

— Я вас не понимаю...

— Вот это сказано хорошо, искренне. Конечно, вы меня не понимаете... Ей-Богу, лично против вас я ничего не имею... простая вы, обыкновенная тетка... Но когда вам нечего говорить — сидите молча. Это так просто. Ведь вы спросили меня о прошедшей ночи без всякой надобности, даже без пустого любопытства... И если бы я ответил вам: «Благодарю вас, хорошо»,— вы стали бы мучительно выискивать предлог для дальнейшей фразы. Вы спросили бы: «А Женя еще спит?» — хотя вы прекрасно знаете, что она спит, ибо она спит так каждый день и выходит к чаю в двенадцать часов, что вам, конечно, тоже известно...

Мы сидим долго-долго и оба молчим.

Но ей трудно молчать. Хотя она обижена, но я вижу, как под ее толстым красным лбом ворочается тяжелая, беспомощная, неуклюжая мысль: что бы сказать еще?

— Дни теперь стали прибавляться,— говорит наконец она, смотря в окно.

— Что вы говорите?! Вот так штука. Скажите, вы намерены опубликовать это редкое наблюдение, еще неизвестное людям науки, или вы просто хотели заботливо предупредить меня об этом, чтобы я в дальнейшем знал, как поступать?

Она вскакивает на ноги и шумно отодвигает стул.

— Вы тяжелый грубиян, и больше ничего.

— Ну как же так — и больше ничего... У меня есть еще другие достоинства и недостатки... Да я и не грубиян вовсе. Зачем вы сочли необходимым сообщить мне, что дни прибавляются? Все, вплоть до маленьких детей, хорошо знают об этом. Оно и по часам видно, и по календарю, и по лампам, которые зажигаются позднее.

Тетка плачет, тряся жирным плечом.

Я одеваюсь и выхожу из дому.

На улице

Навстречу мне озабоченно и быстро шагает чиновник Хрякин, торопящийся на службу.

Увидев меня, он расплывается в изумленной улыбке (мы встречаемся с ним каждый день), быстро сует мне руку, бросает на ходу:

— Как поживаете, что поделываете?

И делает движение устремиться дальше.

Но я задерживаю его руку в своей, делаю серьезное лицо и говорю:

— Как поживаю? Да вот я вам сейчас расскажу... Хотя особенного в моей жизни за это время ничего не случилось, но есть все же некоторые факты, которые вас должны заинтересовать... Позавчера я простудился, думал, что-нибудь серьезное — оказывается, пустяки... Поставил термометр, а он...

Чиновник Хрякин тихонько дергает свою руку, думая освободиться, но я сжимаю ее и продолжаю монотонно, с расстановкой, смакуя каждое слово:

— Да... Так о чем я, бишь, говорил... Беру зеркало, смотрю в горло — красноты нет... Думаю, пустяки — можно пойти гулять. Выхожу... Выхожу это я, вижу, почтальон повестку несет. Что за шум, думаю... От кого бы это? И можете вообразить...

— Извините,— страдальчески говорит Хрякин,— мне нужно спешить...

— Нет, ведь вы же заинтересовались, что я поделываю. А поделываю я вот что... Да. На чем я остановился? Ах, да... Что поделываю? Еду я вчера к Кокуркину, справиться насчет любительского спектакля — встречаю Марью Потаповну. «Приезжайте,— говорит,— завтра к нам...»

Хрякин делает нечеловеческое усилие, вырывает из моей руки свою, долго трясет слипшимися пальцами и бежит куда-то вдаль, толкая прохожих...

Я рассеянно иду по тротуару и через минуту натыкаюсь на другого знакомого — Игнашкина.

Игнашкин никуда не спешит.

— Здравствуйте. Что новенького?

— А как же,— говорю, вздыхая.— Везувий вчера провалился. Читали?

— Да? Вот так штука. А я вчера в клубе был, семь рублей выиграл. Курите?

— Нет, не курю.

— Счастливый человек. Деньги все собираете?

— Нет, так.

— По этому поводу существует...

— Хорошо! Знаю. Один другому говорит: «Если бы вы не курили, а откладывали эти деньги, был бы у вас свой домик». А тот его спрашивает: «А вы курите?» — «Нет».— «Значит, есть домик?» — «Нет».— «Ха-ха!» Да?

— Да, я именно этот анекдот и хотел рассказать. Откуда вы догадались?..

Я его перебиваю:

— Как поживаете?

— Ничего себе. Вы как?

— Спасибо. До свидания. Заходите.

— Зайду. До свиданья. Спасибо.

Я смотрю с отвращением на его спокойное, дремлющее лицо и говорю:

— А вы счастливый человек, чтоб вас черти побрали!

— Почему — черти побрали?

— Такой анекдот есть. До свиданья. Заходите.

— Спасибо, зайду. Кстати, знаете новый армянский анекдот?

— Знаю, знаю, очень смешно. До свиданья, до свиданья.

Перед лицом смерти

В этот день я был на поминальном обеде.

Стол был уставлен бутылками, тарелочками с колбасой, разложенной звездочками, и икрой, размазанной по тарелке так, чтобы ее казалось больше, чем на самом деле.

Ко мне подошла вдова, прижимая ко рту платок.

— Слышали? Какое у меня несчастие-то...

Конечно, я слышал... Иначе бы я здесь не был и не молился бы, когда отпевали покойника.

— Да, да...

Я хочу спросить долго ли мучился покойник, и указать вдове на то полное риска и опасности обстоятельство, что все мы под Богом ходим, но вместо этого говорю:

— Зачем вы держите платок у рта? Ведь слезы текут не оттуда, а из глаз?

Она внимательно смотрит на меня и вдруг спохватывается:

— Водочки? Колбаски? Помяните дорогого покойника.

И сотрясается от рыданий...

Дама в лиловом тоже плачет и говорит ей:

— Не надо так! Пожалейте себя... Успокойтесь.

— Нет!!! Не успо-о-о-коюсь!! Что ты сделал со мной, Иван Семеныч?!

— А что он с вами сделал? — с любопытством осведомляюсь я.

— Умер!

— Да,— вздыхает сивый старик в грязном сюртуке.— Юдоль. Жил, жил человек да и помер.

— А вы чего бы хотели? — сумрачно спрашиваю я.

— То есть? — недоумевает сивый старик.

— Да так... Вот вы говорите — жил, жил да и помер! Не хотели ли вы, чтобы он жил, жил да и превратился в евнуха при султанском дворе... или в корову из молочной фермы?

Старик неожиданно начинает смеяться полузадушенным дробненьким смешком.

Я догадываюсь: очевидно, его пригласили из милости, очевидно, он считает меня одним из распорядителей похорон и, очевидно, боится, чтобы я его не прогнал.

Я одобряюще жму его мокрую руку. Толстый господин утирает слезы (сейчас он отправил в рот кусок ветчины с горчицей) и спрашивает:

— А сколько дорогому покойнику было лет?

— Шестьдесят.

— Боже! — качает головой толстяк.— Жить бы ему еще да жить.

Эта классическая фраза рождает еще три классические фразы:

— Бог дал — Бог и взял! — профессиональным тоном заявляет лохматый священник.

— Все под Богом ходим,— говорит лиловая женщина.

— Как это говорится: все там будем,— шумно вздыхая, соглашаются два гостя сразу.

— Именно — «как это говорится»,— соглашаюсь я.— А я, в сущности, завидую Ивану Семенычу!

— Да,— вздыхает толстяк.— Он уже там!

— Ну, там ли он — это еще вопрос... Но он не слышит всего того, что приходится слышать нам.

Толстяк неожиданно наклоняется к моему уху:

— Он и при жизни мало слышал... Дуралей был пре-

естественный. Не замечал даже, что жена его со всеми приказчиками, тово... Слышали?

Так мы, глупые, пошлые люди, хоронили нашего товарища — глупого, пошлого человека.

Веселье

В этот день я, кроме всего, и веселился: попал на вечеринку к Кармалеевым.

Семь человек окружали бледную, истощенную несбыточными мечтами барышню и настойчиво наступали на нее.

— Да спойте!

— Право же, не могу...

— Да спойте!

— Уверяю вас, я не в голосе сегодня!

— Да спойте!

— Я не люблю, господа, заставлять себя просить, но...

— Да спойте!

— Говорю же — я не в голосе...

— Да ничего! Да спойте!

— Что уж с вами делать,— засмеялась барышня.— Придется спеть.

Сколько в жизни ненужного: сначала можно было подумать, что просившие очень хотели барышниного пения, а она не хотела петь... На самом же деле было наоборот: никто не добивался ее пения, а она безумно, истерически хотела спеть своим скверным голосом плохой романс. Этим и кончилось.

Когда она пела, все шептались и пересмеивались, но на последней ноте притихли и сделали вид, что поражены ее талантом настолько, что забыли даже зааплодировать.

«Сейчас,— подумал я,— все опомнятся и будут аплодировать, приговаривая: «Прелестно! Ах, как вы, душечка, поете...»

Я воспользовался минутой предварительного оцепенения, побарабанил пальцами по столу и задушевным голосом сказал:

— Да-а... Неважно, неважно. Слабовато. Вы действительно, вероятно, не в голосе.

Все ахнули. Я встал, пошел в другую комнату и наткнулся там на другую барышню. Лицо у нее было кра-

сивое, умное, и это был единственный человек, с которым я отдохнул.

— Давайте поболтаем,— предложил я, садясь.— Вы умная и на многое не обидитесь. Сколько здесь вас, барышень?

Она посмотрела на меня смеющимся взглядом:

— Шесть штук.

— И все хотят замуж?

— Безумно.

— И все в разговоре заявляют, что никогда, никогда не выйдут замуж?

— А то как же... Все.

— И обирать будут мужей и изменять им — все?

— Если есть темперамент — изменят, нет его — только обдерут мужа.

— И вы тоже такая?

— И я.

В комнате никого, кроме нас, не было. Я обнял милую барышню крепко, и благодарно поцеловал ее, и ушел от Кармалеевых немного успокоенный.

Перед сном

Дома жена встретила меня слезами:

— Зачем ты обидел тетку утром?

— А зачем она разговаривает?!

— Нельзя же все время молчать...

— Можно. Если сказать нечего.

— Она старая. Старость нужно уважать.

— У нас есть старый ковер. Ты велишь прислуге каждый день выбивать палкой из него пыль. Позволь мне это сделать с теткой. Оба старые, оба глупы, оба пыльные.

Жена плачет, и день мой заканчивается последней, самой классической фразой:

— Все вы, мужчины, одинаковы.

Ложусь спать.

— Бог! Хотя ты пожалей человека и пошли ему хороших-хороших, светлых-светлых снов!..

ПОЭТ

— Господин редактор,— сказал мне посетитель, смущенно потупив глаза на свои ботинки,— мне очень совестно, что я беспокою вас. Когда я подумаю, что отни-

маю у вас минутку драгоценного времени, мысли мои ввергаются в пучину мрачного отчаяния... Ради Бога, простите меня!

— Ничего, ничего,— ласково сказал я,— не извиняйтесь.

Он печально свесил голову на грудь.

— Нет, что уж там... Знаю, что обеспокоил вас. Для меня, не привыкшего быть назойливым, это вдвойне тяжело.

— Да вы не стесняйтесь! Я очень рад. К сожалению только, ваши стишки не подошли.

— Э?

Разинув рот, он изумленно посмотрел на меня.

— Эти стишки не подошли??!

— Да, да. Эти самые.

— Эти стишки??!! Начинающиеся:

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать...

Эти стихи, говорите вы, не пойдут?!

— К сожалению, должен сказать, что не пойдут именно эти стихи, а не какие-нибудь другие. Именно начинающиеся словами:

Хотел бы я ей черный локон...

— Почему же, господин редактор? Ведь они хорошие.

— Согласен. Лично я очень ими позабавился, но... для журнала они не подходят.

— Да вы бы их еще раз прочли!

— Да зачем же? Ведь я читал.

— Еще разик!

Я прочел в угоду посетителю еще разик и выразил одной половиной лица восхищение, а другой — сожаление, что стихи все-таки не подойдут.

— Гм... Тогда позвольте их... Я прочту! «Хотел бы я ей черный локон...»

Я терпеливо выслушал эти стихи еще раз, но потом твердо и сухо сказал:

— Стихи не подходят.

— Удивительно. Знаете что: я вам оставлю рукопись, а вы после вчитайтесь в нее. Вдруг да подойдет.

— Нет, зачем же оставлять?!

— Право, оставлю. Вы бы посоветовались с кем-нибудь, а?

— Не надо. Оставьте их у себя.

— Я в отчаянии, что отнимаю у вас секундочку времени, но...

— До свиданья!

Он ушел, а я взялся за книгу, которую читал до этого. Развернув ее, я увидел положенную между страниц бумажку.

Прочел:

«Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполл...»

— Ах, черт его возьми! Забыл свою белиберду... Опять будет шляться! Николай! Догони того человека, что был у меня, и отдай ему эту бумагу.

Николай помчался вдогонку за поэтом и удачно выполнил мое поручение.

В пять часов я поехал домой обедать.

Расплачиваясь с извозчиком, сунул руку в карман пальто и нащупал там какую-то бумажку, неизвестно как в карман попавшую.

Вынул, развернул и прочел:

«Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать...» и т. д.

Недоумевая, как эта штука попала ко мне в карман, я пожал плечами, выбросил ее на тротуар и пошел обедать.

Когда горничная внесла суп, то, помявшись, подошла ко мне и сказала:

— Кухарка чичас нашла на полу кухни бумажку с написанным. Может, нужное.

— Покажи.

Я взял бумажку и прочел:

— «Хотел бы я ей черный ло...» Ничего не понимаю! Ты говоришь в кухне, на полу? Черт его знает... Кошмар какой-то!

Я изорвал странные стихи в клочья и в скверном настроении сел обедать.

— Чего ты такой задумчивый? — спросила жена.

— Хотел бы я ей черный ло... Фу ты черт!! Ничего, милая. Устал я.

За десертом в передней позвонили и вызвали меня... В дверях стоял швейцар и таинственно манил меня пальцем.

— Что такое?

— Тсс... Письмо вам! Велено сказать, что от одной барышни... Что оне, мол, на вас надеются и что вы их ожидания удовлетворите!..

Швейцар дружелюбно подмигнул мне и хихикнул в кулак.

В недоумении я взял письмо и осмотрел его. Оно пахло духами, было запечатано розовым сургучом, а когда я, пожав плечами, распечатал его, там оказалась бумажка, на которой было написано:

«Хотел бы я ей черный локон...»

Все от первой до последней строчки.

В бешенстве изорвал я письмо в клочья и бросил на пол. Из-за моей спины выдвинулась жена и в зловещем молчании подобрала несколько обрывков письма.

— От кого это?

— Брось! Это так... Глупости. Один очень надоедливый человек.

— Да? А что это тут написано?.. Гм... «Целовать»... «аждое утро»... «черны... локон...» Негодяй!

В лицо мне полетели клочки письма. Было не особенно больно, но обидно.

Так как обед был испорчен, то я оделся и, печальный, пошел побродить по улицам. На углу я заметил около себя мальчишку, который вертелся у моих ног, пытаясь всунуть в карман пальто что-то беленькое, сложенное в комочек. Я дал ему тумака и, заскрежетав зубами, убежал.

На душе было тоскливо. Потолкавшись по шумным улицам, я вернулся домой и на пороге парадных дверей столкнулся с нянькой, которая возвращалась с четырехлетним Володей из кинематографа.

— Папочка! — радостно закричал Володя.— Меня дядя держал на руках! Незнакомый... дал шоколадку... бумажечку дал... Передай, говорит, папе. Я, папочка, шоколадку съел, а бумажечку тебе принес.

— Я тебя высеку,— злобно закричал я, вырывая из его рук бумажечку со знакомыми словами: «Хотел бы я ей черный локон...» — Ты у меня будешь знать!..

Жена встретила меня пренебрежительно и с презрением, но все-таки сочла нужным сообщить:

— Был один господин здесь без тебя. Очень извинялся за беспокойство, что принес рукопись на дом. Он оставил ее тебе для прочтения. Наговорил мне массу комплиментов,— вот это настоящий человек, умеющий ценить то, что другие не ценят, меняя *это то* на продажных тварей,— и просил замолвить словечко за его стихи. По-моему, что ж, стихи как стихи... Ах! Когда он читал о локонах, то так смотрел на меня...

Я пожал плечами и пошел в кабинет. На столе лежало знакомое мне желание автора целовать чьи-то власы. Это желание я обнаружил и в ящике с сигарами, который стоял на этажерке. Затем это желание было обнаружено внутри холодной курицы, которую с обеда осудили служить нам ужином. Как это желание туда попало, кухарка толком объяснить не могла.

Желание чесать чьи-то власы было усмотрено мной и тогда, когда я откинул одеяло с целью лечь спать. Я поправил подушку. Из нее выпало то же желание.

* * *

Утром после бессонной ночи я встал и, взявши вычищенные кухаркой ботинки, пытался натянуть их на ноги, но не мог, так как в каждом лежало по идиотскому желанию целовать чьи-то власы.

Я вышел в кабинет и, севши за стол, написал издателю письмо с просьбой об освобождении меня от редакторских обязанностей.

Письмо пришлось переписывать, так как, сворачивая его, я заметил на обороте знакомый почерк:

«Хотел бы я ей черный локон...»

КРИВЫЕ УГЛЫ

Глава первая

Приезд

Гимназист 6-го класса харьковской гимназии Пополззухин приехал в качестве репетитора в усадьбу помещика Плантова Кривые Углы.

Ехать пришлось восемьсот верст по железной дороге, семьдесят лошадьми и восемь пешком, так как кучер от совершенно неизвестных причин оказался до того пья-

ным, что свалился на лошадь и, погрозив Furthermore Поползухину грязным кулаком, молниеносно заснул.

— Здравствуйте, сударыня! Я — учитель Поползухин, из города.

— Ну, что же делать? — вздохнула она.— Мало ли с кем как бывает. Иногда и среди учителей попадаются хорошие люди. Только ты, уж сделай милость, у нас мертвецов не режь!

— Зачем же мне их резать? — удивился Поползухин.

— То-то я и говорю — незачем. От Бога грех и от людей срам. Пойди к себе, хоть лицо оплесни! Опылило тебя.

Таков был первый день приезда гимназиста Поползухина к помещику Плантову.

Глава вторая

Триумф

На другой день, после обеда, Поползухин, сидя в своей комнате, чистил мылом пиджак, залитый чернилами. Мальчик Андрейка стоял тут же в углу и горько плакал, перемежая это занятие с попытками вытащить при помощи зубов маленький гвоздик, забитый в стену на высоте его носа.

Против Поползухина сидел с колодой карт помещик Плантов и ожидал, когда Поползухин окончит свою работу.

— Учение — очень трудная вещь,— говорил Поползухин.— Вы знаете, что такое тригонометрия?

— Нет!

— Десять лет изучать надо. Алгебру — семь с половиной лет. Латинский язык — десять лет. Да и то потом ни черта не знаешь. Трудно! Профессора двадцать тысяч в год получают.

Плантов подпер щеку рукой и сосредоточенно слушал Поползухина.

— Да, теперь народ другой,— сказал он.— Все знают. Вы на граммофоне умеете играть?

— Как играть?

— А так... Прислал мне тесть на именины из города граммофон... Труба есть такая, кружочки. А как на нем играть, бес его знает! Так и стоит без дела.

Поползухин внимательно посмотрел на Плантова, отложил в сторону пиджак и сказал:

— Да, я на граммофоне немного умею играть. Учился. Только это трудно, откровенно говоря!

— Ну? Играете? Вот так браво!..

Плантов оживился, вскочил и схватил гимназиста за руку.

— Пойдем! Вы нам поиграете. Ну его к бесу, ваш пиджак! После отчистите! Послушаем, как оно это... Жена, жена!.. Иди сюда, бери вязанье, учитель на граммофоне будет играть!

Граммофон лежал в зеленом сундуке под беличьим салопом, завернутый в какие-то газеты и коленкор.

Поползухин с мрачным, решительным лицом вынул граммофон, установил его, приставил рупор и махнул рукой.

— Потрудитесь, господа, отойти подальше! Андрейка, ты зачем с колен встал? Как пиджаки чернилами обливать, на это ты мастер, а как на коленях стоять, так не мастер! Господа, будьте любезны сесть подальше, вы меня нервируете!

— А вы его не испортите? — испуганно спросил Плантов.— Вещь дорогая.

Поползухин презрительно усмехнулся:

— Не беспокойтесь, не с такими аппаратами дело имели!

Он всунул в отверстие иглу, положил пластинку и завел пружину.

Все ахнули. Из трубы донесся визгливый человеческий голос, кричавший: «Выйду ль я на реченьку».

Бледный от гордости и упоенный собственным могуществом, стоял Поползухин около граммофона и изредка, с хладнокровием опытного, видавшего виды мастера подкручивал винтик, регулирующий высоту звука.

Помещик Плантов хлопал себя по бедрам, вскакивал и, подбегая ко всем, говорил:

— Ты понимаешь, что это такое? Человеческий голос из трубы! Андрейка, видишь, болван, какого мы тебе хорошего учителя нашли? А ты все по крышам лазишь!.. А ну еще что-нибудь изобразите, господин Поползухин!

В дверях столпилась дворня с исковерканными изумлением и тайным страхом лицами: девка, выпавшая вчера из окна, мальчишка, разбивший тарелку, и даже продажный кучер Афанасий, сговорившийся с Андрейкой погубить учителя.

Потом крадучись пришла вчерашняя старуха. Она заглянула в комнату, увидела учителя, блестящий рупор, всплеснула руками и снова умчалась, подпрыгивая, в сад.

В Кривых Углах она считалась самым пугливым, диким и глупым существом.

Глава третья

Светлые дни

Для гимназиста Furthermore Поползухина наступили светлые, безоблачные дни. Андрейка боялся его до обморока и большей частью сидел на крыше, спускаясь только тогда, когда играл граммофон. Помещик Плантов забыл уже о кончинах и целый день ходил по пятам за Поползухиным, монотонно повторяя молящим голосом:

— Ну, сыграйте что-нибудь!.. Очень вас прошу! Чего, в самом деле?

— Да ничего сейчас не могу! — манерничал Поползухин.

— Почему не можете?

— А для этого нужно подходящее настроение! А ваш Андрейка меня разнервничал.

— А бес с ним! Плюньте вы на это учение! Будем лучше играть на граммофоне... Ну, сыграйте сейчас!

— Эх! — качал мохнатой головой Поползухин.— Что уж с вами делать! Пойдемте!

Госпожа Плантова за обедом подкладывала Поползухину лучшие куски, поила его наливкой и всем своим видом показывала, что она не прочь нарушить свой супружеский долг ради такого искусного музыканта и галантного человека.

Вся дворня при встрече с Поползухиным снимала шапки и кланялась. Выпавшая в свое время из окна девка каждый день ставила в комнату учителя громадный свежий букет цветов, а парень, разбивший тарелку, чистил сапоги учителя так яростно, что во время этой операции к нему опасно было подходить на близкое расстояние: амплитуда колебаний щетки достигала чуть не целой сажени.

И только одна поджарая старуха не могла превозмочь непобедимую робость перед странным могуществом учителя — при виде его с криком убегала в сад и долго сидела в крыжовнике, что отражалось на ее хозяйственных работах.

Сам Поползухин, кроме граммофонных занятий, ничего не делал: Андрейку не видал по целым дням, помыкал всем домом, ел пять раз в сутки и иногда, просыпаясь ночью, звал приставленного к нему парня:

— Принеси-ка мне чего-нибудь поесть! Студня, что ли, или мяса! Да наливки дай!

Услышав шум, помещик Плантов поднимался с кровати, надевал халат и заходил к учителю.

— Кушаете? А что, в самом деле, выпью-ка и я наливки! А ежели вам спать не особенно хочется, пойдемка, вы мне поиграете что-нибудь. А?

Поползухин съедал принесенное, выпроваживал огорченного Плантова и заваливался спать.

Глава четвертая

Крах

С утра Поползухин уходил гулять в поле, к реке. Дворня, по поручению Плантова, бегала за ним, искала, аукала и, найдя, говорила:

— Идите, барчук, в дом! Барин просят вас на той машине играть.

— А ну его к черту! — морщился Поползухин.— Не пойду! Скажите, нет настроения для игры!

— Идите, барчук!.. Барыня тоже очень просила. И Андрейка плачут, слухать хочут.

— Скажите, вечером поиграю!

Однажды ничего не подозревавший Поползухин возвращался с прогулки к обеду. В двадцати шагах от дома он вдруг остановился и, вздрогнув, стал прислушиваться.

«Выйду ль я на реченьку»,— заливался граммофон.

С криком бешенства и ужаса схватился гимназист Поползухин за голову и бросился в дом. Сомнения не было: граммофон играл, а в трех шагах от него стоял неизвестный Поползухину студент и добродушно-насмешливо поглядывал на окружающих.

— Да что ж тут мудреного? — говорил он.— Механизм самый простой. Даже Андрейка великолепно с ним управится.

— Зачем вы без меня трогали граммофон? — сердито крикнул Поползухин.

— Смотри, какая цаца! — сказал ядовито помещик Плантов.— Будто это его граммофон. Что же ты нам кружил голову, что на нем играть нужно учиться? А вот Митя Колонтарев приехал и сразу заиграл. Эх, ты... карандаш! А позвольте, Митя, я теперь заведу! То-то здорово! Теперь целый день буду играть. Позвольте вас поцеловать, уважаемый Митя, что вздумали свизитировать нас, стариков.

За обедом на Furthermore

На другой день Ирина переехала ко мне, и мы, презирая светскую условность, стали жить вместе.

* * *

Жизнь наша была красива и безоблачна.

Случались небольшие ссоры, но они возникали по пустяковым поводам и скоро гасли за отсутствием горючего матерьяла.

Первая ссора произошла из-за того, что однажды, когда я целовал Ирину, мое внимание привлекло то обстоятельство, что Ирина смотрела в это время в зеркало.

Я отодвинул ее от себя и, обижаясь, спросил:

— Зачем ты смотрела в зеркало? Разве в такую минуту об этом думают?

— Видишь ли,— сконфуженно объяснила она,— ты немного неудачно обнял меня. Ты сейчас обвил руками не талию, а шею. А мужчины должны обнимать за талию.

— Как... должен? — изумился я.— Разве есть где-нибудь такое узаконенное правило, чтобы женщин обнимать только за талию? Странно! Если бы мне подвернулась талия, я обнял бы талию, а раз подвернулась шея, согласись сама...

— Да, такого правила, конечно, нет... но как-то странно, когда мужчины обвивают женскую шею.

Я обиделся и не разговаривал с Ириной часа два. Она первая пошла на примирение.

Подошла ко мне, обвила своими прекрасными руками мою шею (мужская шея — узаконенный способ) и сказала, целуя меня в усы:

— Не дуйся, глупый! Я хочу сделать из тебя интересного, умного человека... И потом... (она застенчиво поежилась) я хотела бы, чтобы ты под моим благотворным влиянием завоевал бы себе самое высокое положение на поприще славы. Я хотела бы быть твоей вдохновительницей, больше того — хотела бы сама завоевать для тебя славу.

Она скоро ушла в театр, а я призадумался: каким образом она могла бы завоевать для меня славу? Разве что сама бы вместо меня писала рассказы, при условии, чтобы они у нее выходили лучше, чем у меня. Или что она понимала под словом «вдохновительница»? Должен ли я был всех героев своих произведений списывать с нее, или она должна была бы изредка просить меня: «Владимир, напиши-ка рассказ о собаке, которая укусила за ногу нашу кухарку. Володечка, не хочешь ли

взять темой нашего комика, который совсем спился, и антрепренер прогоняет его».

И вдруг я неожиданно вспомнил. Недавно мне случилось видеть в театре пьесу «Без просвета», где героиня целует героя в усы и вдохновенно говорит: «Я хочу, чтобы ты под моим влиянием завоевал себе самое высокое положение на поприще славы. Я хочу быть твоей вдохновительницей».

— Странно,— сказал я сам себе.

А во рту у меня было такое ощущение, будто бы я раскусил пустой орех.

* * *

С этих пор я стал наблюдать Ирину. И чем больше наблюдал, тем больший ужас меня охватывал.

Ирины около меня не было. Изредка я видел страдающую Верочку из пьесы Лимонова «Туманные дали», изредка около меня болезненно, с безумным надрывом веселился трагический тип решившей отравиться куртизанки из драмы «Лучше поздно, чем никогда»... А Ирину я и не чувствовал.

Дарил я браслет Ирине, а меня за него ласкала гранд-кокет, обвивавшая мою шею узаконенным гранд-кокетским способом. Возвращаясь поздно домой, я, полный раскаяния за опоздание, думал встретить плачущую, обиженную моим равнодушием Ирину, но в спальне находил, к своему изумлению, какую-то трагическую героиню, которая, заломив руки изящным движением (зеркало-то — ха-ха! — висело напротив), говорила тихо, дрожащим, предсмертным голосом:

— Я тебя не обвиняю... Никогда я не связывала, не насиловала свободы любимого мною человека... Но я вижу далеко, далеко...— Она устремила отуманенный взор в зеркало и вдруг неожиданно громким шепотом заявила: — Нет! Ближе... совсем близко я вижу выход: сладкую, рвущую все цепи, благодетельницу смерть..

— Замолчи! — нервно говорил я.— Кашалотов, «Погребенные заживо», второй акт, сцена Базаровского с Ольгой Петровной. Верно? Еще ты играла Ольгу Петровну, а Рафаэлов — Базаровского... Верно?

Она болезненно улыбалась.

— Ты хочешь меня обидеть? Хорошо. Мучай меня, унижай, унижай сейчас, но об одном только молю тебя: когда я уйду с тем, кто позовет меня по-настоящему,— сохрани обо мне светлую, весеннюю память.

— Не светлую,— хладнокровно поправил я, стаскивая с ноги ботинок и расстегивая жилет,— а «лучезарную». Неужели ты забыла четвертый акт «Птиц небесных», седьмое явление?

Она молча, широко открытыми глазами смотрела на меня, что-то шептала страдальчески губами и, неожиданно со стоном обрушиваясь на постель, закрывала подушкой голову.

А из-под подушки виднелся блестящий, красивый глаз, и он был обращен к зеркалу, а рука инстинктивно обдергивала конец одеяла.

* * *

Однажды, когда я после какой-то размолвки, напившись утреннего чаю, встал и взялся за пальто, предполагая прогуляться, она обратила на меня глаза, полные слез, и сказала только одно тихое слово:

— Уходишь?

Сердце мое сжалось, и я хотел вернуться, чтобупасть к ее ногам и примириться (все-таки я любил ее), нототчас же спохватился и выругал себя беспамятным идиотом и разиней.

— Слушай! — сказал я, укоризненно глядя на нее.— Прекратится ли когда-нибудь это безобразие?.. Вот ты сказала одно лишь слово — всего лишь одно маленькое словечко, и это не твое слово, и не ты его говоришь.

— А кто же его говорит? — испуганно прошептала она, инстинктивно оглядываясь.

— Это слово говорит графиня Добровольская («Гнилой век», пьеса Абрашкина из великосветской жизни, в четырех актах, между вторым и третьим проходят полтора года). Та самая Добровольская, которую бросает негодяй князь Обдорский и которая бросает ему вслед одно только щемящее слово: «Уходишь». Вот кто это говорит!

— Неужели? — прошептала сбитая с толку Ирина, смотря на меня во все глаза.

— Да конечно же! Ты же сама еще и играешь графиню. Ну, милая! Ну, не сердись... Будем говорить откровенно... На сцене,— пойми ты это,— такая штука, может быть, и хороша, но зачем же такие штуки в нашей жизни? Милая, будем лучше сами собой. Ведь я люблю тебя. Но я хочу любить Ирину, а не какую-то выдуманную Абрашкиным графиню или слезливую Верочку, плод досугов какого-то Лимонова! Я говорю серьезно: будем сами собой!

На глазах ее стояли слезы. Она бросилась мне на шею и, плача, крикнула:

— Я люблю тебя! Ты опять вернулся!

Так как она в неожиданном порыве обняла меня под мышками (способ непринятый), я многое простил ей за это. Даже подозрительные слова: «Ты опять вернулся»,— пропустил я мимо ушей.

* * *

Когда примирение состоялось, я с облегченным сердцем уехал по делам и вернулся только к обеду.

Ирина была неузнаваема.

Театральность ее пропала. Заслышав мои шаги в передней, она с пронзительным криком: «Володька пришел!» — выскочила ко мне, упала передо мной на колени, расхохоталась, а когда я, смеясь, нагнулся, чтобы поднять ее, то она поцеловала меня в темя и дернула за ухо (способы ласки диковинные и на сцене мною не замеченные).

А когда я за обедом спросил ее, не сердится ли она на меня за утренний разговор, она бросила в меня салфеткой, сделала мне своими очаровательными руками пребольшой нос и, подмигнув, сказала: «Молчи, старый, толстый дурачок!»

Хотя я не был ни старым, ни толстым, но мне это нравилось больше прежнего: «О, свет моей жизни! О, солнце, освещающее мой путь!»

Вечером она уехала в театр, а я сел за рассказ. Не писалось.

Тянуло к ней, к этому большому, изломанному, но хорошему в некоторых порывах ребенку.

Я оделся и поехал в театр. Шла новая комедия, которой я еще не видел. Называлась она «Воробушек».

Когда я сел в кресло, шел уже второй акт. На сцене сидела Ирина и что-то шила, а когда зазвенел за кулисами звонок и вошел толстый красивый блондин, она вскочила, засмеялась, шаловливым движением бросилась перед ним на колени, потом поцеловала его в темя, дернула за ухо и радостно приветствовала:

— Здравствуй, старый, толстый дурачок!

Зрители смеялись. Все смеялись, кроме меня.

* * *

Теперь я счастливый человек.

Недавно, сидя в столовой, я услышал из кухни голос Ирины. Она с кем-то разговаривала. Сначала я лениво

прислушивался, потом прислушивался внимательно, потом встал и прильнул к полуоткрытой двери.

И по щекам моим текли слезы, а на лице было написано блаженство, потому что я видел ее, настоящую Ирину, потому что я слышал голос подлинной, без надоевших театральных вывертов и штучек Ирины.

Она говорила кому-то, очевидно прачке:

— Это, по-вашему, панталоны? Дрянь это, а не панталоны. Разве так стирают? А чулки? Откуда взялись, я вас спрашиваю, дырки на пятках? Что? Не умеете — не беритесь стирать. Я за кружево на сорочках платила по рубль двадцать за аршин, а вы мне ее попортили.

Я слушал эти слова, и они казались мне какой-то райской музыкой.

— Ирина,— шептал я,— настоящая Ирина.

* * *

А впрочем... Господа! Кто из вас хорошо знает драматическую литературу? Нет ли в какой-нибудь пьесе разговора барыни с прачкой?..

СЛЕПЦЫ

Посвящается А. Я. Садовской

1

Королевский сад в эту пору дня был открыт, и молодой писатель Ave беспрепятственно вошел туда. Побродив немного по песчаным дорожкам, он лениво опустился на скамью, на которой уже сидел пожилой господин с приветливым лицом.

Пожилой приветливый господин обернулся к Ave и после некоторого колебания спросил:

— Кто вы такой?

— Я? Ave. Писатель.

— Хорошая профессия,— одобрительно улыбнулся незнакомец.— Интересная и почетная.

— А вы кто? — спросил простодушный Ave.

— Я-то? Да король.

— Этой страны?

— Конечно. А то какой же...

В свою очередь Ave сказал не менее благожелательно:

— Тоже хорошая профессия. Интересная и почетная.

— Ох, и не говорите,— вздохнул король.— Почетная-то она почетная, но интересного в ней ничего нет. Нужно вам сказать, молодой человек, королевствование не такой мед, как многие думают.

Аve всплеснул руками и изумленно вскричал:

— Это даже удивительно! Я не встречал ни одного человека, который был бы доволен своей судьбой.

— А вы довольны? — иронически прищурился король.

— Не совсем. Иногда какой-нибудь критик так выругает, что плакать хочется.

— Вот видите! Для вас существует не более десятка-другого критиков, а у меня критиков миллионы.

— Я бы на вашем месте не боялся никакой критики,— возразил задумчиво Аve и, качнув головой, добавил с осанкой видавшего виды опытного короля: — Вся штука в том, чтобы сочинять хорошие законы.

Король махнул рукой.

— Ничего не выйдет! Все равно никакого толку.

— Пробовали?

— Пробовал.

— Я бы на вашем месте...

— Э, на моем месте! — нервно вскричал старый король.— Я знал многих королей, которые были сносными писателями, но я не знаю ни одного писателя, который был хотя бы третьесортным, последнего разряда, королем. На моем месте... Посадил бы я вас на недельку, посмотрел бы, что из вас выйдет...

— Куда... посадили бы? — осторожно спросил обстоятельный Аve.

— На свое место!

— А! На свое место... Разве это возможно?

— Отчего же! Хотя бы для того это нужно сделать, чтобы нам, королям, поменьше завидовали... чтобы поменьше и потолковее критиковали нас, королей!

Аve скромно сказал:

— Ну что ж... Я, пожалуй, попробую. Только должен предупредить: мне это случается делать впервые, и если я с непривычки покажусь вам немного... гм... смешным — не осуждайте меня.

— Ничего,— добродушно улыбнулся король.— Не думаю, чтобы за неделю вы наделали особенно много глупостей... Итак — хотите?

— Попробую. Кстати, у меня есть в голове один не-

большой, но очень симпатичный закон. Сегодня бы его можно и обнародовать.

— С Богом! — кивнул головой король.— Пойдемте во дворец. А для меня, кстати, это будет неделькой отдыха. Какой же это закон? Не секрет?

— Сегодня, проходя по улице, я видел слепого старика... Он шел, ощупывая руками и палкой дома, и ежеминутно рисковал попасть под колеса экипажей. И никому не было до него дела... Я хотел бы издать закон, по которому в слепых прохожих должна принимать участие городская полиция. Полисмен, заметив идущего слепца, обязан взять его за руки и заботливо проводить до дому, охраняя от экипажей, ям и рытвин. Нравится вам мой закон?

— Вы добрый парень,— устало улыбнулся король.— Да поможет вам Бог. А я пойду спать.— И, уходя, загадочно добавил:

— Бедные слепцы...

2

Уже три дня королевствовал скромный писатель Ave. Нужно отдать ему справедливость — он не пользовался своей властью и преимуществом своего положения. Всякий другой человек на его месте засадил бы критиков и других писателей в тюрьму, а народонаселение обязал бы покупать только свои книги — и не менее одной книги в день, на каждую душу, вместо утренних булок.

Ave поборол соблазн издать такой закон. Дебютировал он, как и обещал королю, «законом о провожании полисменами слепцов и об охранении сих последних от разрушительного действия внешних сил, как-то: экипажи, лошади, ямы и проч.».

Однажды (это было на четвертый день утром) Ave стоял в своем королевском кабинете у окна и рассеянно смотрел на улицу.

Неожиданно внимание его было привлечено страшным зрелищем: два полисмена тащили за шиворот прохожего, а третий пинками ноги подгонял его сзади.

С юношеским проворством выбежал Ave из кабинета, слетел с лестницы и через минуту очутился на улице.

— Куда вы его тащите? За что бьете? Что сделал этот человек? Скольких человек он убил?

— Ничего он не сделал,— отвечал полисмен.

— За что же вы его и куда гоните?

— Да ведь он, ваша милость, слепой. Мы его по закону в участок и волокем.

— По за-ко-ну? Неужели есть такой закон?

— А как же! Три дня тому назад обнародован и вступил в силу.

Аве, потрясенный, схватился за голову и взвизгнул:

— Мой закон?!

Сзади какой-то солидный прохожий пробормотал проклятие и сказал:

— Ну и законы нынче издаются! О чем они только думают? Чего хотят?

— Да уж,— поддержал другой голос,— умный закончик: «Всякого замеченного на улице слепца хватать за шиворот и тащить в участок, награждая по дороге пинками и колотушками». Очень умно! Чрезвычайно добросердечно!! Изумительная заботливость!!

Как вихрь влетел Аве в свой королевский кабинет и крикнул:

— Министра сюда! Разыщите его и сейчас же пригласите в кабинет!! Я должен сам расследовать дело!

3

По расследовании загадочный случай с законом «Об охране слепцов от внешних сил» разъяснился.

Дело обстояло так.

В первый день своего королевствования Аве призвал министра и сказал ему:

— Нужно издать закон «о заботливом отношении полисменов к прохожим слепцам, о провожании их домой и об охране сих последних от разрушительного действия внешних сил, как-то: экипажи, лошади, ямы и проч.».

Министр поклонился и вышел. Сейчас же вызвал к себе начальника города и сказал ему:

— Объявите закон: не допускать слепцов ходить по улицам без провожатых, а если таковых нет, то заменять их полисменами, на обязанности которых должна лежать доставка по месту назначения.

Выйдя от министра, начальник города пригласил к себе начальника полиции и распорядился:

— Там слепцы по городу, говорят, ходят без провожатых. Этого не допускать! Пусть ваши полисмены берут одиноких слепцов за руку и ведут куда надо.

— Слушаю-с.

Начальник полиции созвал в тот же день начальников частей и сказал им:

— Вот что, господа. Нам сообщили о новом законе, по которому всякий слепец, замеченный в шатании по улице без провожатого, забирается полицией и доставляется куда следует. Поняли?

— Так точно, господин начальник!

Начальники частей разъехались по своим местам и, созвав полицейских сержантов, сказали:

— Господа! Разъясните полисменам новый закон: «Всякого слепца, который шатается без толку по улице, мешая экипажному и пешему движению,— хватать и тащить куда следует».

— Что значит «куда следует»? — спрашивали потом сержанты друг у друга.

— Вероятно, в участок. На высидку... Куда ж еще...

— Наверно, так.

— Ребята! — говорили сержанты, обходя полисменов.— Если вами будут замечены слепцы, бродящие по улицам, хватайте этих каналий за шиворот и волоките в участок!

— А если они не захотят идти в участок?

— Как не захотят? Пара хороших подзатыльников, затрещина, крепкий пинок сзади — небось побегут!..

Выяснив дело «Об охране слепцов от внешних влияний», Аве сел за свой роскошный королевский стол и заплакал.

Чья-то рука ласково легла ему на голову.

— Ну, что? Не сказал ли я, узнав впервые о законе «охранения слепцов»,— «бедные слепцы!» Видите! Во всей этой истории бедные слепцы проиграли, а я выиграл.

— Что вы выиграли? — спросил Аве, отыскивая свою шапку.

— Да как же? Одним моим критиком меньше. Прощайте, милый. Если еще вздумаете провести какую-нибудь реформу — заходите.

«Дожидайся!» — подумал Аве и, перепрыгивая через десять ступенек роскошной королевской лестницы, убежал.

ВИКТОР ПОЛИКАРПОВИЧ

В один город приехала ревизия... Главный ревизор был суровый, прямолинейный, справедливый человек с громким, властным голосом и решительными поступками, приводившими в трепет всех окружающих.

Главный ревизор начал ревизию так: подошел к столу, заваленному документами и книгами, нагнулся каменным, бесстрастным, как сама судьба, лицом к какой-то бумажке, лежавшей сверху, и лязгнул отрывистым, как стук гильотинного ножа, голосом:

— Приступим-с.

Содержание первой бумажки заключалось в том, что обыватели города жаловались на городового Дымбу, взыскавшего с них незаконно и неправильно триста рублей «портового сбора на предмет морского улучшения».

— Во-первых,— заявляли обыватели,— никакого моря у нас нет... Ближайшее море за шестьсот верст через две губернии, и никакого нам улучшения не нужно; во-вторых, никакой бумаги на это взыскание упомянутый Дымба не предъявил, а когда у него потребовали документы — показал кулак, что, как известно по городовому положению, не может служить документом на право взыскания городских повинностей; и, в-третьих, вместо расписки в получении означенной суммы он, Дымба, оставил окурок папиросы, который при сем прилагается.

Главный ревизор потер руки и сладострастно засмеялся. Говорят, при каждом человеке состоит ангел, который его охраняет. Когда ревизор так засмеялся, ангел городового Дымбы заплакал.

— Позвать Дымбу! — распорядился ревизор.

Позвали Дымбу.

— Здравия желаю, ваше превосходительство!

— Ты не кричи, брат, так,— зловеще остановил его ревизор.— Кричать после будешь. Взятки брал?

— Никак нет.

— А морской сбор?

— Который морской, то взыскивал по приказанию начальства. Сполнял, ваше-ство, службу. Их высокородие приказывали.

Ревизор потер руки профессиональным жестом ревизующего сенатора и залился тихим смешком.

— Превосходно... Попросите-ка сюда его высокоро-

дие. Никифоров, напишите бумагу об аресте городового Дымбы как соучастника.

Городового увели.

Когда его уводили, явился и его высокородие... Теперь уже заливались слезами два ангела: городового и его высокородия.

— Из... ззволили звать?

— Ох, изволил. Как фамилия? Пальцын? А скажите, господин Пальцын, что это такое за триста рублей морского сбора? Ась?

— По распоряжению Павла Захарыча,— приободрившись, отвечал Пальцын.— Они приказали.

— А-а.— И с головокружительной быстротой замелькали трущиеся одна об другую ревизоровы руки.— Прекрасно-с. Дельце-то начинает разгораться. Узелок увеличивается, вспухает... Хе-хе. Никифоров! Этому — бумагу об аресте, а Павла Захарыча сюда ко мне... Живо!

Пришел и Павел Захарыч.

Ангел его плакал так жалобно и потрясающе, что мог тронуть даже хладнокровного ревизорова ангела.

— Павел Захарович? Здравствуйте, здравствуйте... Не объясните ли вы нам, Павел Захарович, что это такое «портовый сбор на предмет морского улучшения»?

— Гм... Это взыскание-с.

— Знаю, что взыскание. Но — какое?

— Это-с... во исполнение распоряжения его превосходительства.

— А-а-а... Вот как? Никифоров! Бумагу! Взять! Попросить его превосходительство!

Ангел его превосходительства плакал солидно, с таким видом, что нельзя было со стороны разобрать: плачет он или снисходительно улыбается.

— Позвольте предложить вам стул... Садитесь, ваше превосходительство.

— Успею. Зачем это я вам понадобился?

— Справочка одна. Не знаете ли вы, как это понимать: взыскание морского сбора в здешнем городе?

— Как понимать? Очень просто.

— Да ведь моря-то тут нет!

— Неужели? Гм... А ведь в самом деле, кажется, нет. Действительно нет.

— Так как же так — «морской сбор»? Почему без расписок, документов?

— А?

— Я спрашиваю — почему «морской сбор»?!

— Не кричите. Я не глухой.

Помолчали. Ангел его превосходительства притих и смотрел на все происходящее широко открытыми глазами, выжидательно и спокойно.

— Ну?

— Что «ну»?

— Какое море вы улучшали на эти триста рублей?

— Никакого моря не улучшали. Это так говорится — море.

— Ага. А деньги-то куда делись?

— На секретные расходы пошли.

— На какие именно?

— Вот чудак человек! Да как же я скажу, если они секретные!

— Так-с...

Ревизор часто-часто потер руки одна о другую.

— Так-с. В таком случае, ваше превосходительство, вы меня извините... обязанности службы... я принужден буду вас, как это говорится: арестовать. Никифоров!

Его превосходительство обидчиво усмехнулся:

— Очень странно: проект морского сбора разрабатывало нас двое, а арестовывают меня одного.

Руки ревизора замелькали, как две юрких белых мыши.

— Ага! Так, так... Вместе разрабатывали?! С кем?

Его превосходительство улыбнулся.

— С одним человеком. Не здешний. Питерский, чиновник.

— Да-а? Кто же этот человечек?

Его превосходительство помолчал и потом внятно сказал, прищурившись в потолок:

— Виктор Поликарпович.

Была тишина. Семь минут.

Нахмурив брови, ревизор разглядывал с пытливостью и интересом свои руки...

И нарушил молчание:

— Так, так... А какие были деньги получены: золотом или бумажками?

— Бумажками.

— Ну, раз бумажками — тогда ничего. Извиняюсь за беспокойство, ваше превосходительство. Гм... гм...

Ангел его превосходительства усмехнулся ласково-ласково.

— Могу идти?

Ревизор вздохнул:

— Что ж делать... Можете идти.

Потом свернул в трубку жалобу на Дымбу и, приставив ее к глазу, посмотрел на стол с документами.

Подошел Никифоров:

— Как с арестованными быть?

— Отпустите всех... Впрочем, нет! Городового Дымбу на семь суток ареста за курение при исполнении служебных обязанностей. Пусть не курит... Кан-налья!

И все ангелы засмеялись, кроме Дымбиного.

МУЖЧИНЫ

Кто жил в меблированных комнатах средней руки, тот хорошо знает, что прислуга никогда не имеет привычки докладывать предварительно о посетителях.

Как бы ни был неприятен гость или гостья, простодушная прислуга никогда не спросит вас: расположены ли вы к приему этих людей.

Однажды вечером я был дома, в своей одинокой комнате, и занимался тем, что лежал на диване, стараясь делать как можно меньше движений. Я человек прилежный, энергичный, и это занятие нисколько меня не утомляло.

По пустому коридору раздались гулкие шаги, шелест женских юбок, и чья-то рука неожиданно громко постучала в мою дверь.

Машинально я сказал:

— Войдите!

Это была немолодая женщина, скромно одетая, с траурным крепом на шляпе.

Я вскочил с дивана, сделал по направлению к посетительнице три шага и удивленно спросил:

— Чем могу быть вам полезным?

Она внимательно всмотрелась в мое лицо.

— Вот он какой...— пробормотала она.— Таким я его себе почему-то и представляла. Красив. Красив даже до сих пор... Хотя прошло уже около шести лет.

— Я вас не знаю, сударыня,— удивленно сказал я.

Она печально улыбнулась.

— И я вас, сударь, тоже не знаю. А вот привелось встретиться. И придется вести еще длинный разговор.

— Садитесь, пожалуйста. Я очень удивлен. Кто вы?

Дама в трауре поднялась со стула, на который только что опустилась, и, держась за его спинку, с грустной торжественностью сказала:

— Я мать той женщины, которая любила вас шесть лет тому назад, которая нарушила ради вас супружеский долг и которая... ну, об этом после. Теперь вы знаете, кто я. Я — мать вашей любовницы.

Посетительница замолчала, считая, вероятно, сообщенные ею данные достаточными для уяснения наших взаимоотношений. А я не считал этих данных достаточными.

Я помедлил немного, ожидая, что она назовет, по крайней мере, имя или фамилию своей дочери, но она молчала, печальная, траурная.

Потом повторила, вздыхая:

— Теперь вы знаете, кто я... И теперь я сообщу вам дальнейшее: моя дочь, а ваша любовница, недавно умерла на моих руках, с вашим именем на холодеющих устах.

Я рассудил, что вполне приличным случаю будет: всплеснуть руками, вскочить с дивана и горестно схватиться за голову.

— Умерла. Боже, какой ужас!

— Так вы еще не забыли мою славную дочурку,— растроганно прошептала дама, незаметно вытирая уголком платка слезинку.— Подумать только, что вы расстались больше пяти лет назад... из-за вашей измены, как призналась она мне в минуту откровенности.

Я молчал, но мне было безумно тяжело, скверно и горько. Я чувствовал себя самым беспросветным негодяем. Если бы у меня было больше мужества, я бы должен был откровенно сказать этой доброй, наивной старушке:

«Милая моя, для тебя роман замужней женщины с молодым человеком — огромное, незабываемое событие в жизни, которое, по-твоему, должно сохраниться до самой гробовой доски. А я... я решительно не помню, о какой замужней даме говоришь ты... была ли это Ася Званцева или Ирина Николаевна, или Вера Михайловна Березаева».

Я нерешительно поерзал на диване, потом бросил на посетительницу испытующий взгляд и, свесив голову, осторожно спросил:

— Расскажите мне что-нибудь о вашей дочери.

— Да что же рассказывать?.. Как вы знаете, они с мужем не сошлись характерами. Он ее не понимал, не понимал ее души и ее запросов... А тут явились вы — молодой, интересный, порывистый. Она всю жизнь помнила те слова, которые были вами сказаны при первом сердечном объяснении... Помните?

— Помню,— нерешительно кивнул я головой,— как же не помнить? Впрочем, повторите их. Так ли она вам передала.

— В тот вечер мужа ее не было дома. Пришли вы, какой-то особенный, «светлый», как она говорила. Вы заметили, что у нее заплаканные глаза, и долго добивались узнать причину слез. Она долго отказывалась. Тогда вы обвили рукой ее талию, привлекли к себе и тихо сказали: «Счастье мое, я вижу, тебя здесь никто не понимает, никто не ценит твоей кристальной души и твоего жемчужного сердца. Ты совершенно одинока... Есть только один человек, который ценит тебя, сердце которого всецело в твоей власти...»

— Да, это мой приемчик,— задумчиво улыбнулся я.— Теперь я уже его бросил.

— Что? — переспросила старушка.

— Я говорю: да. Это именно были те слова, которые я сказал ей.

— Ну вот. Потом вы, кажется, стали... целовать ее...

— Наверно,— согласился я.— Не иначе. Что же она вам рассказывала дальше?

— Через несколько дней вы гуляли с ней в городском саду. Вы стали просить ее зайти на минутку к вам выпить чашку чаю... Она отказалась, ссылаясь на то, что не принято ходить замужней даме в гости к молодому человеку, что этот поступок был бы моральной изменой мужу. Вы тогда обиделись на нее и целую аллею прошли молча. Она спросила: «Вы сердитесь?» Да, сказали вы, вас оскорбляет такое отношение и вы вообще страдаете. Тогда она сказала: «Ну, хорошо, я пойду к вам, если вы даете слово вести себя прилично...» Вы пожали плечами: «Вы меня обижаете». Через полчаса она была у вас, а через час была уже вашей.

И, опять приподнявшись со стула, старуха торжественно спросила:

— Помните ли вы это?

— Помню,— подтвердил я.— А что она говорила, уходя от меня?

— Она говорила: «Вы теперь перестанете уважать меня», а вы прижали ее к сердцу и возразили: «Нет, никого в жизни я не люблю так, как тебя». А теперь она умерла, моя голубка!

Старая дама заплакала.

— О! — порывисто, в припадке великодушия вскри-

чал я.— Если бы можно было вернуть ее вам, я пожертвовал бы для этого собственной жизнью.

— Нет... ее уже ничто не вернет оттуда,— рассудительно заметила старая дама.

— Не говорила ли она вам еще чего-нибудь обо мне?

— Она рассказывала, что вы виделись с ней сначала каждый день, а потом на вас свалилась неожиданно какая-то срочная работа, и вы виделись с ней раз в неделю. А однажды она, явившись к вам неожиданно, застала у вас другую женщину.

Я опустил голову и стал сконфуженно разглаживать руками подушку.

— Помните вы это? — спросила дама.

— Помню.

— А когда она расплакалась, вы сказали ей: «Сердцу не прикажешь!» И предложили ей остаться хорошими друзьями.

— Неужели я предложил ей это? — недоверчиво спросил я.

Вообще это было на меня не похоже. Я хорошо знал, что ни одна женщина в мире не пошла бы на такую комбинацию, и поэтому никогда не предлагал вместо любви дружбу. Просто я спрашивал: «Кажется, мы охладели друг к другу?» У всякой женщины есть свое профессиональное женское самолюбие. Она почти никогда не говорит: «Кто это мы? Никогда я к тебе не охладевала!» А опустив голову, промолчит три минуты и скажет: «Да, прощайте!»

Очевидно, старуха что-то напутала.

— Не передавала ли мне покойница чего-нибудь перед смертью?

И в третий раз торжественно поднялась со стула старуха, и в третий раз сказала торжественно:

— Да, она поручила вам свою маленькую дочь.

— Мне,— ахнул я,— да почему же?

— Как вы знаете, муж ее умер четыре года тому назад, а я стара и часто хвораю.

— Да почему же именно мне?

Старуха печально улыбнулась.

— Сейчас я скажу вам вещь, которая не известна никому,— тайну, которую покойница свято хранила от всех и открыла мне только в предсмертный час: настоящий отец ее ребенка — вы.

— Боже мой! Неужели? Вы в этом уверены?..

— Перед смертью не лгут,— строго сказала стару-

ха.— Вы отец, и вы должны взять на себя заботу о вашей дочери.

Я побледнел, сжал губы, опустил голову, долго сидел так, волнуемый разнородными чувствами.

— А может быть, она ошиблась? — робко переспросил я.— Может быть, это не мой ребенок, а мужа.

— Милостивый государь! — величаво сказала старуха.— Женщины никогда не ошибаются в подобных случаях. Это инстинкт.

Нахмурившись, я размышлял.

С одной стороны, я считал себя порядочным человеком, уважал себя и поэтому полагал сделать то, что подсказывала моя совесть. Он должен быть мне дорог, этот ребенок от любимой женщины (конечно, я в то время любил ее). С другой стороны, это тяжелая обуза, при моем образе жизни, совершенно выбивала меня из колеи и налагала самые сложные и запутанные обязанности в будущем.

Я — отец. У меня — дочь.

— Как ее зовут? — спросил я, разнеженный.

— Верой, как и мать.

— Хорошо,— решительно сказал я,— согласен. Я усыновлю ее, но пусть она носит фамилию Двуутробникова.

— Почему Двуутробникова? — спросила у меня недоумевающая старуха.

— Да мою фамилию. Ведь я же Двуутробников.

— Вы... Двуутробников?

— А кто же?

— Боже мой! — в ужасе закричала странная гостья.— Значит, это не вы.

— Что не я?

— Вы, значит, не Классевич? Дочь называла фамилию Классевич и дала этот адрес.

Неожиданно бурная волна залила мое сердце.

— Классевич,— захохотал я.— Поздравляю вас: вы ошиблись дверью. Классевич в следующей комнате, номер одиннадцатый. А моя комната — номер десятый. Пойдемте, я провожу вас.

Оживленный, веселый, взял я расстроенную старуху за руку и потащил за собой.

— Как же,— тараторил я,— моя фамилия Двуутробников. Номер десятый... А Классевич дальше. Он — номер одиннадцатый. Он тут давно живет в этих комнатах, вот тут, рядом со мной. Как же, Классевич. Очень симпатичный человек. Вы сейчас с ним познакомитесь...

А вы, значит, вместо одиннадцатого номера в десятый попали. Хе-хе!.. Ошибочка вышла. Как же! Классевич, он тут. Эй, Классевич! Вы дома? Тут одна дама вас по важному делу спрашивает. Идите, сударыня! Хе-хе! А я-то, слушаю, слушаю...

ДЕЛО ОЛЬГИ ДЫБОВИЧ

Посвящается А. И. Куприну

...Когда все уже было съедено, выпито, когда все откинулись на спинки стульев и задымили папиросами,— Резунов хлопнул рукой по столу и сказал:

— Хотите чего-нибудь острого?

— Давай! — поощрила компания.

— Сейчас приведу его!

— Кого? Кого?!

Но Резунов уже выскочил из кабинета и помчался в общий зал ресторана.

— Этот Резунов вечно придумает какую-нибудь глупость,— укоризненно проворчал Тырин.— Наверное, какую-нибудь девицу притащит.

— Идет! — весело крикнул Резунов, влетая в кабинет.

— Кто?!

— Он! Муж Дыбович. Сейчас будет здесь!

Никто даже не успел высказать протеста против этого нелепого приглашения. Последние дни у всех на устах было имя Ольги Дыбович, убитой ее любовником и его сообщником — слугой этого любовника. Труп убитой был положен в корзину, отправлен в Москву, и только там, на вокзале, преступление раскрылось. Следствие скоро добралось до источников преступления, и любовник Темерницкий, вместе со слугой Мракиным, были арестованы.

Большинство людей, пировавших в кабинете ресторана, было недовольно неуместной выходкой Резунова, притащившего несчастного мужа убитой напоказ праздным людям, а двое-трое, наоборот, с жадным любопытством впились глазами в лицо вошедшего за Резуновым господина.

Лицо было розовое, круглое, с редкими светлыми усиками и выцветшими голубыми глазами. Толстые губы не совсем прикрывали два ряда крупных неровных зубов.

Держался он неспокойно, все время нервно вертя головой направо и налево.

Когда он обходил стол, пожимая всем руки и повторяя каждый раз: «Дыбович, Дыбович, Дыбович...», все деликатно сделали вид, что не обращают внимания на эту фамилию, так зловеще звучащую уже в течение двух месяцев.

Но Резунов, ревниво следивший за успехом своего «номера», заметил эту деликатность. Очевидно, он находил ее не соответствовавшей его программе, потому что сейчас же громко и развязно заявил:

— Это, господа, тот Дыбович, у которого жену в корзине нашли убитую. Вы, конечно, все следили за этим делом?

Два приятеля, сидевшие по бокам Резунова, энергично толкнули его в бок, но он отмахнулся от них и продолжал:

— Как же, как же! Нашумевшее дельце. Ты, Дыбович, небось совсем и не думал, что в такие знаменитости попадешь?..

Все притихли, как перед грозой, опасливо следя за фруктовым ножом, который вертел в руках Дыбович, усевшийся между Тыриным и Капитанаки.

Дыбович улыбнулся, положил нож и махнул рукой:

— Ну, уж тоже... Нашел знаменитость. Где нам... Мы люди маленькие.

— Послушайте,— тихо спросил, наклоняясь к нему, Тырин.— Он ведь мистифицирует нас, а? Вы не Дыбович?

— Нет, нет, что вы... Я Дыбович!

— Но, вероятно, однофамилец?

— Помилуйте,— горячо воскликнул Дыбович.— Какой там однофамилец. Я настоящий Дыбович... Тот самый, у которого жену убили. Да вы, вероятно, меня видели на суде! Я свидетелем был.

— Я на суде не был.

— Не бы-ли?! — ахнул Дыбович, нервно крутя желтые усики.— Да как же вы так это!.. Вот странно.

И лицо его приняло обиженное выражение, как у актера, который услышал от приятеля, что тот не попал на его бенефис.

— Неужели не были? Удивительно! Один из самых сенсационных процессов. Интереснейшее дело! Господа, кто из вас был на суде?

— Я...— несмело отозвался Капитанаки.

— Вы меня там видели?
— Да... видел. Вы давали показание по поводу... друга... вашей жены.
Молодой Дыбович сделал рукой торжествующий жест.
— Ну вот, ну вот... Видите! А вы говорите — не тот Дыбович!.. Зачем же мне обманывать вас?
Минута неловкого молчания была прервана деликатным Тыриным, решившим, что необходимо сказать хоть что-нибудь.
— Ужасная трагедия,— прошептал он.— Вы, вероятно, переживали глубокую душевную драму?
— А еще бы не глубокую! Это хоть кому доведись такая история... Жена... Где жена? Нет! Вот-с только куски в чемодане — извольте вам! Получайте! Прямо подохнуть можно. Самое ужасное, что эти идиоты-сыщики стали первым долгом следить за мной... Как вам это понравится? Положеньице! Я на поезд — они на поезд, я в гостиницу — они в гостиницу.
— Тяжелая история,— вздохнул Тырин.— Звериное время.
— Еще бы не тяжелая,— возмущенно сказал Дыбович.— Подумайте, какие мерзавцы: убить женщину, разрезать на куски и отправить в Москву. Свинство, которому имени нет. Показывают корзину: «Ваша жена?» — «Моя». Положеньице!
Снова все замолчали.
Капитанаки закурил новую сигару и тут же заметил, с целью развеселить присутствующих:
— Смотрите-ка, окно открыто. Можно выпрыгнуть и убежать, не заплатив по счету.
Покачав сокрушенно головой, Дыбович сказал:
— Да-с... Такое-то дело... Взяли и убили. И какое дьявольское самообладание! Целую неделю не сдавались, пока их не уличили.
— Вы знали Темерницкого? — спросил Капитанаки.
Дыбович оживился:
— Как же, как же! Как теперь вот с вами сижу,— с ним сидел. Помилуйте! Приятелями были.
Он отхлебнул глоток вина и сурово добавил:
— Ска-атина.
В дверь постучались.
— Это Хромоногов,— сказал Капитанаки.— Вечно он опаздывает.
Действительно, Хромоногов вошел, рассыпаясь в из-

винениях, похлопывая приятелей по плечам, пожимая руки.

— Вы, господа, кажется, незнакомы,— сказал Тырин, указывая на Дыбовича.— Это — Дыбович, это — Хромоногов.

— Дыбович,— значительно подчеркнул Дыбович, глядя Хромоногову прямо в глаза.— Дыбович!

— Очень рад,— сказал Хромоногов, опускаясь на стул.

Тырин не мог не заметить выражения легкого разочарования в лице Дыбовича после такого хладнокровного отношения Хромоногова к его имени.

Поэтому деликатный Тырин мягко заметил:

— Это, милый Хромоногов, тот самый Дыбович, в семье которого случилось такое тяжелое несчастье. Знаешь, нашумевшее дело Ольги Дыбович.

— А-а,— неопределенно протянул Хромоногов и тут же, наклонившись к соседу, прошептал:

— Что за толстокожая свинья этот Тырин!! Ставит несчастного человека в такое невыносимое положение... Как можно кричать громогласно веселым голосом на весь стол! Никакого участия к человеку, несущему такое тяжелое бремя ужаса...

Но «человек, несущий тяжелое бремя ужаса», сразу оживился, когда упомянули его имя.

— Да, да,— захлопотал он.— Ужасное дело, не правда ли? Убили, действительно, убили... Как же! И труп в корзину засунули. Не негодяи ли? Что им женщина худого сделала? А ведь я, представьте, этого Мишку Темерницкого, вот как его, Резунова, знал.

— Пожалуйста, без сравнений,— засмеялся Резунов.— Я трупы в чемоданах не экспортирую.

— Кошмарное дело,— прошептал Хромоногов.

— Еще бы не кошмарное! Не правда ли? А мое-то тоже положение: исчезает жена. Что такое, где, почему — неизвестно. И вдруг — на тебе! Пожалуйте — труп в корзине. Положение — хуже губернаторского!..

— Слушай...— шутливо перебил его Резунов.— А, может быть, это ты ее убил, а? Признайся.

— Ты говоришь, братец мой, чистейшую ерунду,— горячо возразил Дыбович.— Ну, посудите сами, господа,— зачем мне ее было убивать? Денег она не имеет, на костюмы тратила немного — зачем ее убивать? Меня и следователь когда допрашивал, так прямо сказал, что это только для проформы.

— А все-таки,— подмигнул Тырину Резунов,— публика к Темерницкому на суде относилась с бо́льшим интересом, чем к тебе.

— Ну, извини, брат... Не думаю. Я бы такого интереса не пожелал. Да и я знаю, что ты это говоришь, чтобы меня только подразнить.

— Ну, ладно, ладно, не обижайся,— нагло похлопал его по плечу Резунов.— Ты у нас самый известный, ты у нас знаменитость!!

— Как странно,— заметил Капитанаки.— Окна открыты, а душно.

— Гроза будет, что ли?

— Нет, небо чистое.

— Накурили сильно.

— Но кого я не понимаю,— неожиданно сказал Дыбович, заискивающе глядя на всех, будто прося, чтобы ему позволили говорить,— кого я не понимаю — так это слугу его Мракина. Что этот болван хотел выиграть?! Выиграл, нечего сказать. Ха-ха! Выгодное предприятие!..

— Послушай, Резунов,— потихоньку сказал Хромогогов, наклоняясь к товарищу.— Убери ты его, или я за себя не ручаюсь. Как ты можешь демонстрировать такую омерзительную личность?!

— Вот тебе раз,— фальшиво засмеялся Резунов,— он герой, а ты его называешь омерзительной личностью.

— Ради Бога — уведи его.

Резунов встал и бесцеремонно взял Дыбовича за плечо:

— Эй, ты, герой! Веселая вдова! Пойдем.

— Куда? — удивился тот, топорща свои желтые усики.

— Да так, брат. Довольно. Показал я своим друзьям знаменитость — и будет.

Пожимая всем руки, Дыбович сузил маленькие глазки и засмеялся довольным смехом:

— Уж ты скажешь тоже — знаменитость. Далеко нам до знаменитостей.

— Ну, пойдем, пойдем. Нечего там.

* * *

Когда Резунов вернулся, все на него набросились:

— Черт знает что! Как тебе не стыдно?! Отравил целый вечер. Вот фрукт-то!! Послушай, он не вернется, а?

— Не беспокойтесь,— засмеялся Резунов.— Я его

пристроил к столику знакомых дам. Они, вероятно, будут очень довольны друг другом, потому что, услышав его фамилию, дамы первым долгом ахнули: «Как?! Вы тот самый Дыбович? Ну, скажите, вам жалко жены? Вы пережили драму, да?» А он им сейчас же ответил: «Еще бы! Это хоть кому доведись... Положеньице! Но подумайте, какие мерзавцы — убить женщину, да еще ее же и в корзину положить, а? Каково!» Я уверен, что и дамы, и Дыбович уже очарованы друг другом.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ИВАНОВА

Однажды беспартийный житель Петербурга Иванов вбежал, бледный, растерянный, в комнату жены и, выронив газету, схватился руками за голову.

— Что с тобой? — спросила жена.

— Плохо! — сказал Иванов.— Я левею.

— Не может быть! — ахнула жена.— Это было бы ужасно... Тебе нужно лечь в постель, укрыться теплым и натереться скипидаром.

— Нет... что уж скипидар! — покачал головой Иванов и посмотрел на жену блуждающими, испуганными глазами.— Я левею!

— С чего же это у тебя, горе ты мое?! — простонала жена.

— С газеты. Встал я утром — ничего себе, чувствовал все время беспартийность, а взял случайно газету...

— Ну?

— Смотрю, а в ней написано, что в Минске губернатор запретил читать лекцию о добывании азота из воздуха... И вдруг — чувствую я, что мне его не хватает...

— Кого это?

— Да воздуху же!.. Подкатило под сердце, оборвалось, дернуло из стороны в сторону... Ой, думаю, что бы это? Да тут же и понял: левею!

— Ты б молочка выпил...— сказала жена, заливаясь слезами.

— Какое уж там молочко... Может, скоро баланду хлебать буду!

Жена со страхом посмотрела на Иванова.

— Левеешь?

— Левею.

— Может, доктора позвать?

— При чем тут доктор?!

— Тогда, может, пристава пригласить?

Как все больные, которые не любят, когда посторонние подчеркивают опасность их положения, Иванов тоже нахмурился, засопел и недовольно сказал:

— Я уж не так плох, чтобы пристава звать. Может быть, отойду.

— Дай-то Бог,— всхлипнула жена.

Иванов лег в кровать, повернулся лицом к стене и замолчал.

Жена изредка подходила к дверям спальни и прислушивалась. Было слышно, как Иванов, лежа на кровати, левел.

* * *

Утро застало Иванова осунувшимся, похудевшим... Он тихонько пробрался в гостиную, схватил газету и, убежав в спальню, развернул свежий газетный лист.

Через пять минут он вбежал в комнату жены и дрожащими губами прошептал:

— Еще полевел! Что оно будет — не знаю!

— Опять небось газету читал,— вскочила жена.— Говори! Читал?

— Читал... В Риге губернатор оштрафовал газету за указание очагов холеры...

Жена заплакала и побежала к тестю.

— Мой-то...— сказала она, ломая руки.— Левеет.

— Быть не может?! — воскликнул тесть.

— Верное слово. Вчерась с утра был здоров, беспартийность чувствовал, а потом оборвалась печенка, и полевел!

— Надо принять меры,— сказал тесть, надевая шапку.— Ты у него отними и спрячь газеты, а я забегу в полицию, заявку господину приставу сделаю.

* * *

Иванов сидел в кресле, мрачный, небритый, и на глазах у всех левел. Тесть с женой Иванова стояли в углу, молча смотрели на Иванова, и в глазах их сквозили ужас и отчаяние.

Вошел пристав.

Он потер руки, вежливо раскланялся с женой Иванова и спросил мягким баритоном:

— Ну, как наш дорогой больной?

— Левеет!

— А-а! — сказал Иванов, поднимая на пристава мутные, больные глаза.— Представитель отживающего по-

лицейско-бюрократического режима! Нам нужна закономерность...

Пристав взял его руку, пощупал пульс и спросил:

— Как вы себя сейчас чувствуете?

— Мирнообновленцем! *

Пристав потыкал пальцем в голову Иванова:

— Не готово еще... Не созрел! А вчера как вы себя чувствовали?

— Октябристом,— вздохнул Иванов.— До обеда — правым крылом, а после обеда — левым...

— Гм... плохо! Болезнь прогрессирует сильными скачками...

Жена упала тестю на грудь и заплакала.

— Я, собственно,— сказал Иванов,— стою за принудительное отчуждение частновладельч...

— Позвольте! — удивился пристав.— Да это кадетская программа...

Иванов с протяжным стоном схватился за голову.

— Значит... я уже кадет!

— Все левеете?

— Левею. Уходите! Уйдите лучше... А то я на вас все смотрю и левею.

Пристав развел руками... Потом на цыпочках вышел из комнаты.

Жена позвала горничную, швейцара и строго запретила им приносить газеты. Взяла у сына томик «Робинзона Крузо» с раскрашенными картинками и понесла мужу.

— Вот... почитай. Может, отойдет.

* * *

Когда она через час заглянула в комнату мужа, то всплеснула руками и, громко закричав, бросилась к нему.

Иванов, держась за ручки зимней оконной рамы, жадно прильнул глазами к этой раме и что-то шептал...

— Господи! — вскрикнула несчастная женщина.— Я и забыла, что у нас рамы газетами оклеены... Ну, успокойся, голубчик, успокойся! Не смотри на меня такими глазами... Ну, скажи, что ты там прочел? Что там такое?

---

* Мирнообновленцы — сторонники «Партии мирнообновления», образована в 1906 году. Здесь и далее автор имеет в виду различные программы политических партий России. Например, упоминаемая «эрфуртская программа» имеет отношение к германской социал-демократии, была принята в г. Эрфурте в 1891 году.

— Об исключении Колюбакина... Ха-ха-ха! — проревел Иванов, шатаясь, как пьяный.— Отречемся от старого ми-и-и...

В комнату вошел тесть.

— Кончено! — прошептал он, благоговейно снимая шапку.— Беги за приставом...

* * *

Через полчаса Иванов, бледный, странно вытянувшийся, лежал в кровати со сложенными на груди руками. Около него сидел тесть и тихо читал под нос эрфуртскую программу. В углу плакала жена, окруженная перепуганными, недоумевающими детьми.

В комнату вошел пристав.

Стараясь не стучать сапогами, он подошел к постели Иванова, пощупал ему голову, вынул из его кармана пачку прокламаций, какой-то металлический предмет и, сокрушенно качнув головой, сказал:

— Готово! Доспел.

Посмотрел с сожалением на детей, развел руками и сел писать проходное свидетельство до Вологодской губернии.

ХЛОПОТЛИВАЯ НАЦИЯ

Когда я был маленьким, совсем крошечным мальчуганом, у меня были свои собственные, иногда очень своеобразные, представления и толкования слов, слышанных от взрослых.

Слово «хлопоты» я представлял себе так: человек бегает из угла в угол, взмахивает руками, кричит и, нагибаясь, тычется носом в стулья, окна и столы.

«Это и есть хлопоты»,— думал я.

И иногда, оставшись один, я от безделья принимался хлопотать. Носился из угла в угол, бормотал часто-часто какие-то слова, размахивал руками и озабоченно почесывал затылок.

Пользы от этого занятия я не видел ни малейшей, и мне казалось, что вся польза и цель так и заключаются в самом процессе хлопот — в бегстве и бормотании.

С тех пор много воды утекло. Многие мои взгляды, понятия и мнения подверглись основательной переработке и кристаллизации.

Но представление о слове «хлопоты» так и осталось у меня детское.

Недавно я сообщил своим друзьям, что хочу поехать на южный берег Крыма.

— Идея,— похвалили друзья.— Только ты похлопочи заранее о разрешении жить там.

— Похлопочи? Как так похлопочи?

— Очень просто. Ты писатель, а не всякому писателю удается жить в Крыму. Нужно хлопотать. Арцыбашев хлопочет, Куприн тоже хлопочет.

— Как же они хлопочут? — заинтересовался я.

— Да так. Как обыкновенно хлопочут.

Мне живо представилось, как Куприн и Арцыбашев суетливо бегают по берегу Крыма, бормочут, размахивают руками и тычутся носами во все углы... У меня осталось детское представление о хлопотах, и иначе я не мог себе вообразить поведение вышеназванных писателей.

— Ну что ж,— вздохнул я.— Похлопочу и я.

С этим решением я и поехал в Крым.

* * *

Когда я шел в канцелярию ялтинского генерал-губернатора, мне казалось непонятным и странным: неужели о таком пустяке, как проживание в Крыму — нужно еще хлопотать? Я православный русский гражданин, имею прекрасный непросроченный экземпляр паспорта — и мне же еще нужно хлопотать! Стоит после этого делать честь нации и быть русским... Гораздо выгоднее и приятнее для собственного самолюбия быть французом или американцем.

В канцелярии генерал-губернатора, когда узнали, зачем я пришел, то ответили:

— Вам нельзя здесь жить. Или уезжайте немедленно, или будете высланы.

— По какой причине?

— На основании чрезвычайной охраны.

— А по какой причине?

— На основании чрезвычайной охраны!

— Да по ка-кой при-чи-не?!!

— На осно-ва-нии чрез-вы-чай-ной ох-ра-ны!!!

Мы стояли друг против друга и кричали, открыв рты, как два разозленных осла.

Я приблизил свое лицо к побагровевшему лицу чиновника и завопил:

— Да поймите же вы, черт возьми, что это не причина!!! Что — это какая-нибудь заразительная болезнь,

которой я болен, что ли,— ваша чрезвычайная охрана?!! Ведь я не болен чрезвычайной охраной — за что же вы меня высылаете?.. Или это такая вещь, которая дает вам право развести меня с женой?! Можете вы развести меня с женой на основании чрезвычайной охраны?

Он подумал. По лицу его было видно, что он хотел сказать:

— Могу.

Но вместо этого сказал:

— Удивительная публика... Не хотят понять самых простых вещей. Имеем ли мы право выслать вас на основании охраны? Имеем. Ну, вот и высылаем.

— Послушайте,— смиренно возразил я.— За что же? Я никого не убивал и не буду убивать. Я никому в своей жизни не давал даже хорошей затрещины, хотя некоторые очень ее заслуживали. Буду я себе каждый день гулять тут по бережку, смирненько смотреть на птичек, собирать цветные камушки... Плюньте на вашу охрану, разрешите жить, а?

— Нельзя,— сказал губернаторский чиновник.

Я зачесал затылок, забегал из угла в угол и забормотал:

— Ну, разрешите, ну, пожалуйста. Я не такой, как другие писатели, которые, может быть, каждый день по человеку режут и бросают бомбы так часто, что даже развивают себе мускулатуру... Я тихий. Разрешите? Можно жить?

Я думал, что то, что я сейчас делаю и говорю, и есть хлопоты.

Но крепкоголовый чиновник замотал тем аппаратом, который возвышался у него над плечами. И заявил:

— Тогда — если вы так хотите — начните хлопотать об этом.

Я с суеверным ужасом поглядел на него.

Как? Значит, все то, что я старался вдолбить ему в голову — не хлопоты? Значит, существуют еще какие-то другие загадочные, неведомые мне хлопоты, сложные, утомительные, которые мне надлежит взвалить себе на плечи, чтобы добиться права побродить по этим пыльным берегам?..

Да ну вас к...

Я уехал.

* * *

Теперь я совсем сбился:

Человек хочет полетать на аэроплане.

Об этом нужно «хлопотать».

Несколько человек хотят устроить писательский съезд.

Нужно хлопотать и об этом.

И лекцию хотят прочесть о радии — тоже хлопочут.

И револьвер купить — тоже.

Хорошо-с. Ну, а я захотел пойти в театр? Почему — мне говорят — об этом не надо хлопотать? Галстук хочу купить! И об этом, говорят, хлопотать не стоит!

Да, я хочу хлопотать!

Почему револьвер купить — нужно хлопотать, а галстук — не нужно? Лекцию о радии прочесть — нужно похлопотать, а на «Веселую вдову» пойти — не нужно. Откуда я знаю разницу между тем, о чем нужно хлопотать и — о чем не нужно? Почему просто «о радии» — нельзя, а «Радий в чужой постели» — можно?

И сижу я дома в уголку на диване (кстати, нужно будет похлопотать: можно ли сидеть дома в уголку на диване?) — сижу и думаю:

— Если бы человек захотел себе ярко представить Россию — как она ему представится?

Вот как:

Огромный человеческий русский муравейник «хлопочет».

Никакой никому от этого пользы нет, никому это не нужно, но все обязаны хлопотать: бегают из угла в угол, часто почесывают затылок, размахивают руками, наклеивают какие-то марки и о чем-то бормочут, бормочут.

Хорошо бы это все взять да изменить...

Нужно будет похлопотать об этом.

МУХА

1. Записки заключенного

Итак — я в тюрьме! Боже, какая тоска... Ни одного звука не проникает ко мне; ни одного живого существа не вижу я.

О, Боже! Что это там?! На стене! Неужели? Какое счастье!

Действительно: на унылой тюремной стене моей камеры я увидел обыкновенную муху. Она сидела и терла передними лапками у себя над головкой.

Милая муха! Ты будешь моим товарищем... Ты скрасишь мое одиночество.

* * *

Я очень боюсь: как бы она, огорченная неприхотливостью пищи, не улетела от меня.

Устроим ей ужин.

Я беру кусочек сахару, смачиваю водой и, положив его рядом с крошками вареного мяса (не знаю, может быть, мухи едят и мясо), начинаю наблюдать за своим маленьким товарищем.

Муха летает по камере, садится на стены, на мою убогую койку, жужжит... Но она не замечает моих забот. Мушка, посмотри-ка сюда!

Я встаю с койки и начинаю осторожно размахивать руками, стараясь подогнать ее к столу. Не бойся, бедняжка! Я не сделаю тебе зла: мы оба одинаково несчастны и одиноки.

Ага! Наконец-то она села на стол.

Я не удержался, чтобы не крикнуть ей:

— Приятного аппетита!

* * *

В камере холодно.

Моя муха — мой дорогой товарищ — сидит на стене в каком-то странном оцепенении... Неужели она умрет?

Нет!

— Эй, вы, тюремщики! Когда я был один, вы могли меня морозить, но теперь... Дайте нам тепла! Дайте огня!

Никто не слышит моих воплей и стуков. Тюрьма безмолвствует.

Муха по-прежнему в оцепенении.

Какое счастье! Принесли чайник с горячим чаем.

Милый друг! Сейчас и тебе будет тепло.

Я подношу осторожно чайник к стене, на которой сидит муха, и долго держу его так около мухи; вокруг распространяется живительная теплота; муха зашевелилась... вспорхнула... Наконец-то! Мы должны, дорогой товарищ, поддерживать друг друга, не правда ли, хе-хе!

* * *

Сегодня не мог уснуть всю ночь.

Всю ночь меня тревожила мысль, что муха, проснувшись, начнет в темноте летать, сядет на койку, и я неосторожным движением раздавлю ее, убью моего бедного доверчивого друга.

Нет! Мне кажется — смерти ее я бы не перенес.

На столе горит лампа... Я лежу с открытыми глазами.

Ничего! Днем можно выспаться.

* * *

Какой ужас! Моя муха чуть не погибла в паутине. Я и не заметил этих адских сетей. Правда, паука я нигде не нашел, но паутина!

Я немного задремал, когда до моего уха донеслось еле заметное жужжание.

Встревоженный предчувствием — я вскочил... Так и есть! Она бродит у самого края паутины.

— Милый товарищ! Я так же попался в расставленные мне сети, и я предостерегу тебя от повторения этого ужасного шага. Кш!.. Кш!..

Я размахиваю руками, кричу, однако не настолько громко, чтобы испугать муху.

Заметив меня, муха мечется в сторону — и, конечно, попадается в паутину.

Вот видишь, глупыш!

Я снимаю рукой всю паутину и осторожно выпутываю из нее муху. О, если бы кто-нибудь так же разрушил и мою тюрьму и так же освободил меня.

* * *

Сегодня я не могу ни есть, ни пить.

Лежу на койке и бессмысленно гляжу в одну точку...

Муха исчезла!

Улетела, покинула меня, эгоистичное, самодовольное создание!

Разве тебе было плохо? Разве не был я тебе преданным, верным другом, на чью сильную руку ты могла опереться?! Улетела!..

2. Записки мухи

Залетела я сюда из простого любопытства.

И сразу вижу, что сделала глупость.

Тоска смертная! Только что уселась на стену — привести себя в порядок и немного подремать, как вздрогнула, чувствуя на себе чей-то взгляд.

Мужчина. Что ему нужно?

Глаза на меня так пялит, что даже стыдно. Не думает ли он меня укокошить? Вижу, что придется распроститься с отдыхом. Полетаю по камере. Эх!

* * *

Чего он ко мне пристает?

Намесил на столе какой-то сладкой дряни с вываренной говядиной — и гоняется за мной по камере, хлопая в ладоши.

Что за смешное, нелепое зрелище: человек, а прыгает, как теленок, потерявший всякое достоинство...

Придется усесться на стол, отведать его месива. Брр!..

Что он там кричит? Как не стыдно, право! А еще человек.

* * *

Ни минуты покоя!

Только что я завела глаза, задремала, как он стал кричать, колотить кулаком в дверь и доколотился до того, что ему принесли чайник с кипятком.

Что-то он предпримет?

Этого еще недоставало! Тычет горячим чайником прямо мне в бок... Осторожнее, черрт!

Так и есть: опалил крыло. Попробую полетать...

Прямо-таки смешно: я летаю, а он носится за мной с чайником.

Зрелище, от которого любая муха надорвет животики.

* * *

На дворе ночь, спать хочется невероятно, а он зажег лампу, лежит и смотрит на меня.

Все имеет свои границы! Я так истрепала нервы, так устала, что жду не дождусь, когда можно будет удрать от этого маниака.

Ночью не выспишься, а завтра с утра, наверно, опять будет прыгать за мной с горячим чайником в руке...

Всему есть границы! Этот человек чуть не вогнал меня в гроб!..

Сегодня я подошла к паутине (паука давно нет, и мне хотелось рассмотреть это дурацкое сооружение...). И что же вы думаете! Этот человек уже тут как тут... Замахал руками, заорал что-то диким голосом и так испугал меня, что я метнулась в сторону и запуталась в паутине.

Постой! Оставь! Я сама! Я сама выпутаюсь... Да оставь же! Крыло сломал, медведь. Нога, нога! Осторожнее, ногу! Ф-фу!

* * *

Не-ет, миленький, довольно.

Что это? Сигнал на обед? Какое счастье! Открывается дверь, и я — адью!

Теперь уж не буду такой дурой. И сама хобота сюда не покажу и товарищей остерегу:

— Товарищи-мухи! Держитесь подальше от тюремных камер!! Остерегайтесь инквизиции!

КОРИБУ

В мой редакторский кабинет вошел, озираючись, бледный молодой человек. Он остановился у дверей и, дрожа всем телом, стал всматриваться в меня.

— Вы редактор?

— Редактор.

— Ей-Богу?

— Честное слово!

Он замолчал, пугливо посматривая на меня.

— Что вам угодно?

— Кроме шуток — вы редактор?

— Уверяю вас! Вы хотели что-нибудь сообщить мне? Или принесли рукопись?

— Не губите меня,— сказал молодой человек.— Если вы сболтнете — я пропал!

Он порылся в кармане, достал какую-то бумажку, бросил ее на мой стол и сделал быстрое движение к дверям с явной целью — бежать.

Я схватил его за руку, оттолкнул от дверей, оттащил к углу, повернул в дверях ключ и сурово сказал:

— Э, нет, голубчик! Не уйдешь... Мало ли какую бумажку мог ты бросить на мой стол!..

Молодой человек упал на диван и залился горючими слезами.

Я развернул брошенную на стол бумажку.

Вот какое странное произведение было на ней написано.

«АФРИКАНСКИЕ НЕУРЯДИЦЫ

Указания благомыслящих людей на то, что на западном берегу Конго не все спокойно и что туземные князьки позволяют себе злоупотребления властью и насилие над своими подданными — все это имеет под собой реальную почву. Недавно в округе Дилибом (селение Хух-

ры-Мухры) имел место следующий случай, показывающий, как далеки опаленные солнцем сыновья далекого Конго от понятий европейской закономерности и порядка...

Вождь племени бери-бери Корибу, заседая в совете государственных деятелей, получил известие, что его приближенный воин Музаки не был допущен в корраль, где веселились подданные Корибу. Не разобрав дела, князек Корибу разлетелся в корраль, разнес всех присутствующих в коррале, а корраль закрыл, заклеив его двери липким соком алоэ. После оказалось, что виноват был его приближенный воин, но, в сущности, дело не в этом! А дело в том, что до каких же пор несчастные, сожженные солнцем туземцы будут терпеть безграничное самовластие и безудержную вакханалию произвола какого-то князька Корибу?! Вот на что следовало бы обратить Норвегии серьезное внимание!»

Прочтя эту заметку, я пожал плечами и строго обратился к обессилевшему от слез молодому человеку, который все еще лежал на моем диване:

— Вы хотите, чтобы мы это напечатали?

— Да...— робко кивнул он головой.

— Никогда мы не напечатаем подобного вздора! Кому из читателей нашего журнала интересны какие-то обитатели Конго, коррали, сок алоэ и князьки Корибу. Подумаешь, как это важно для нас, русских!

Он встал с дивана, взял меня за руки, приблизил свое лицо к моему и пронзительным шепотом сказал:

— Так я вам признáюсь! Это написано об одесском Толмачеве * и о закрытии им благородного собрания.

— Какой вздор и какая нелепость,— возмутился я.— К чему вы тогда ломались, переносили дело в какое-то Конго, мазали двери глупейшим соком алоэ, когда так было просто — описать одесский случай и прямо рассказать о поведении Толмачева! И потом вы тут нагородили того, чего и не было... Откуда вы взяли, что Толмачев был в каком-то «совете государственных деятелей»? Просто он приехал в три часа ночи из кафешантана и закрыл благородное собрание, продержав под арестом полковника, которого по закону арестовывать не имел права. При чем здесь «совет государственных деятелей»?

— Я думал, так безопаснее...

---

* Генерал-губернатор г. Одессы И. Н. Толмачев славился своим административным пылом.

— А что такое за дикая, дурного тона выдумка: заклеил двери липким соком алоэ? Почему не просто — наложил печати?

— А вдруг бы догадались, что это о Толмачеве? — прищурился молодой человек.

— Вы меня извините,— сказал я.— Но тут у вас есть еще одно место — самое чудовищное по ненужности и вздорности... Вот это: «Следовало бы Норвегии обратить на это серьезное внимание»? Положа руку на сердце: при чем тут Норвегия?

Молодой человек положил руку на сердце и простодушно сказал:

— А вдруг бы все-таки догадались, что это о Толмачеве? Влетело бы тогда нам по первое число. А так — ну-ка — пусть догадаются! Ха-ха!

На мои глаза навернулись слезы.

— Бедные мы с вами...— прошептал я и заплакал, нежно обняв хитрого молодого человека. И он обнял меня.

И так долго мы с ним плакали.

И вошли наши сотрудники и, узнав в чем дело, сказали:

— Бедный редактор! Бедный автор! Бедные мы!

И тоже плакали над своей горькой участью.

И артельщик пришел, и кассир, и мальчик, обязанности которого заключались в зализывании конвертов для заклейки,— и даже этот мальчик не мог вынести вида нашей обнявшейся группы и, открыв слипшийся рот, раздирательно заплакал...

И так плакали мы все.

* * *

Эй, депутаты, чтоб вас!.. Да когда же вы сжалитесь над нами? Над теми, которые плачут...

ОКТЯБРИСТ ЧИКАЛКИН

К октябристу Чикалкину явился околоточный надзиратель и объявил, что предполагавшееся им, Чикалкиным, собрание в городе Битюге с целью сообщения избирателям результатов о деятельности его, Чикалкина, в Думе не может быть разрешено.

— Почему? — спросил изумленный Чикалкин.

— Потому. Неразрешенные собрания воспрещаются!

— Так вы бы и разрешили!

Околоточный снисходительно усмехнулся:

— Как же это можно: разрешить неразрешенное собрание. Это противозаконно.

— Но ведь, если вы разрешите, оно уже перестанет быть неразрешенным,— сказал, подумавши немного, Чикалкин.

— Так-то оно так,— ответил околоточный, еще раз усмехнувшись бестолковости Чикалкина.— Да как же его разрешить, если оно пока что неразрешенное? Посудите сами.

— Хорошо,— сказал зловеще спокойным тоном Чикалкин,— мы внесем об этом в Думе запрос.

— Распишитесь, что приняли к сведению,— хладнокровно кивнул головой околоточный.

* * *

Когда октябрист Чикалкин остался один, он долго, взволнованный и возмущенный до глубины души, шагал по комнате...

— Вы у меня узнаете, как не разрешать! Ладно! Запрос надо формулировать так: «Известно ли... и тому подобное, что администрация города Битюга своими незакономер...»

Чикалкин вздохнул и потер бритую щеку.

— Гм. Резковато. За версту кадетом несет... Может, так: «Известно ли и тому подобное, что ошибочные действия администр...» А что такое ошибочные? Ошибка — не вина. Тот не ошибается, кто ничего не делает. Да что ж я, в самом деле, дурак... Запрос! Запрос! Не буду же я один его вносить. А фракция — вдруг скажет: несвоевременно! Ну конечно, скажет... Такие штуки всегда несвоевременны. Запрос! Эх, Чикалка! Тебе, брат, нужно просто министру пожаловаться, а ты... Право! Напишу министру этакое официальное письмецо...

* * *

Октябрист Чикалкин сел за стол.

«Ваше высокопревосходительство! Сим довожу до вашего сведения, что произвол властей...»

Перо Чикалкина застыло в воздухе. В столовой гулко пробило два часа.

«...что произвол властей...»

В столовой гулко пробило половину третьего.

«...что произвол властей, которые...»

Рука онемела. В столовой гулко пробило пять.

«...что произвол властей, которые...»

Стало смеркаться.

«Которые... произвол, котор...»

И вдруг Чикалкину ударило в голову:

«А что, если...»

Он схватил начатое письмо и изорвал его в клочья.

— Положим... Не может быть!.. А вдруг!

Октябрист Чикалкин долго ходил по комнате и наконец, всплеснув руками, сказал:

— Ну конечно! Просто нужно поехать к исправнику и спросить о причине неразрешения. В крайнем случае — припугнуть.

* * *

Чикалкин оделся и вышел на улицу.

— Извозчик! К исправнику! Знаешь?

— Господи! — с суеверным ужасом сказал извозчик.— Да как же не знать-то! Еще позавчерась оны меня обстраховали за езду. Такого, можно сказать, человека да не знать. Скажут такое.

— Что же он — строгий? — спросил Чикалкин, усаживаясь в пролетку.

— Он-то? Страсть. Он, ваше высокоблагородие,— будем прямо говорить — строгий человек. И-и! Порох! Чиновник мне один анадысь сказывал... Ему — слово, а он сейчас ножками туп-туп да голосом: «В Сибирь, говорит, вас всех!! Начальство не уважаете!!»

— Что ж он — всех так? — дрогнувшим голосом спросил Чикалкин.

— Да уж такие господа... Строгие. Если что — не помилуют.

Октябрист Чикалкин помолчал.

— Ты меня куда везешь-то? — неожиданно спросил он извозчика.

— Дык сказывали — к господину исправнику...

— Дык сказывали! — передразнил его Чикалкин.— А ты слушай ухом, а не брюхом. Кто тебе сказывал? Я тебе, дураку, говорю — вези меня в полицейское управление, а ты к самому исправнику!.. Мало штрафуют вас, чертей. Заворачивай!

* * *

— Да, брат,— заговорил Чикалкин, немного успокоившись.— В полицейское управление мне надо. Хе-хе! Чудаки эти извозчики, ему говоришь туда, а он тебя везет сюда. Так-то, брат. А мне в полицейское управление и надо-то было. Собрание, вишь ты, мне не разрешили.

Да как же! Я им такое неразрешение покажу! Сейчас же проберу их хорошенько, выясню, как и что. Попляшут они у меня! Это уж такая у нас полиция — ей бы только придраться. Уже... приехали?.. Что так скоро?

— Старался, как лучше.

— Могу я видеть пристава? — спросил Чикалкин, входя.— То есть... господина пристава... можно видеть?

— Пожалуйте.

— Что нужно? — поднялся навстречу Чикалкину грузный человек с сердитым лицом и длинными рыжими усами.

— Я хотел бы этого... спросить вас... Могу ли я здесь получить значок для моей собачки на предмет уплаты городского налога?

— Э, черт! — отрывисто вскричал пристав.— Шляются тут по пустякам! В городской управе нужно получать, а не здесь. Герасимов, дубина стоеросовая! Проводи!

РОБИНЗОНЫ

Когда корабль тонул, спаслись только двое:

Павел Нарымский — интеллигент.

Пров Иванов Акациев — бывший шпик.

Раздевшись догола, оба спрыгнули с тонувшего корабля и быстро заработали руками по направлению к далекому берегу.

Пров доплыл первым. Он вылез на скалистый берег, подождал Нарымского и, когда тот, задыхаясь, стал вскарабкиваться по мокрым камням, строго спросил его:

— Ваш паспорт!

Голый Нарымский развел мокрыми руками:

— Нету паспорта. Потонул.

Акациев нахмурился:

— В таком случае я буду принужден...

Нарымский ехидно улыбнулся:

— Ага... Некуда!..

Пров зачесал затылок, застонал от тоски и бессилия и потом, молча, голый и грустный, побрел в глубь острова.

* * *

Понемногу Нарымский стал устраиваться. Собрал на берегу выброшенные бурей обломки и некоторые вещи с корабля и стал устраивать из обломков дом.

Пров сумрачно следил за ним, прячась за соседним утесом и потирая голые худые руки.

Увидев, что Нарымский уже возводит деревянные стены, Акациев, крадучись, приблизился к нему и громко закричал:

— Ага! Попался! Вы это что делаете?

Нарымский улыбнулся:

— Предварилку строю.

— Нет, нет... Это вы дом строите! Хорошо-с!.. А вы строительный устав знаете?

— Ничего я не знаю.

— А разрешение строительной комиссии в рассуждении пожара у вас имеется?

— Отстанете вы от меня?..

— Нет-с, не отстану. Я вам запрещаю возводить эту постройку без разрешения.

Нарымский, уже не обращая на Прова внимания, усмехнулся и стал прилаживать дверь.

Акациев тяжко вздохнул, постоял и потом тихо поплелся в глубь острова.

Выстроив дом, Нарымский стал устраиваться в нем как можно удобнее. На берегу он нашел ящик с книгами, ружье и бочонок солонины.

Однажды, когда Нарымскому надоела вечная солонина, он взял ружье и углубился в девственный лес с целью настрелять дичи.

Все время сзади себя он чувствовал молчаливую, бесшумно перебегавшую от дерева к дереву фигуру, прячущуюся за толстыми стволами, но не обращал на это никакого внимания. Увидев пробегавшую козу, приложился и выстрелил.

Из-за дерева выскочил Пров, схватил Нарымского за руку и закричал:

— Ага! Попался... Вы имеете разрешение на право ношения оружия?

Обдирая убитую козу, Нарымский досадливо пожал плечами:

— Чего вы пристаете? Занимались бы лучше своими делами.

— Да я и занимаюсь своими делами,— обиженно возразил Акациев.— Потрудитесь сдать мне оружие под расписку на хранение впредь до разбора дела.

— Так я вам и отдал! Ружье-то я нашел, а не вы!

— За находку вы имеете право лишь на одну треть...— начал было Пров, но, почувствовав всю неле-

пость этих слов, оборвал и сердито закончил: — Вы еще не имеете права охотиться!

— Почему это?

— Еще Петрова дня не было! Закону не знаете, что ли?

— А у вас календарь есть? — ехидно спросил Нарымский.

Пров подумал, переступил с ноги на ногу и сурово сказал:

— В таком случае я арестую вас за нарушение выстрелами тишины и спокойствия.

— Арестуйте! Вам придется дать мне помещение, кормить, ухаживать за мной и водить на прогулки!

Акациев заморгал глазами, передернул плечами и скрылся между деревьями.

* * *

Возвращался Нарымский другой дорогой.

Переходя по сваленному бурей стволу дерева маленькую речку, он увидел на другом берегу столбик с какой-то надписью.

Приблизившись, прочел:

«Езда по мосту шагом».

Пожав плечами, наклонился, чтобы утолить чистой, прозрачной водой жажду, и на прибрежном камне прочел надпись:

«Не пейте сырой воды! За нарушение сего постановления виновные подвергаются...»

Заснув после сытного ужина на своей теплой постели из сухих листьев, Нарымский среди ночи услышал вдруг какой-то стук и, отворив дверь, увидел перед собою мрачного и решительного Прова Акациева.

— Что вам угодно?

— Потрудитесь впустить меня для производства обыска. На основании агентурных сведений...

— А предписание вы имеете? — лукаво спросил Нарымский.

Акациев тяжко застонал, схватился за голову и с криком тоски и печали бросился вон из комнаты.

Часа через два, перед рассветом, стучался в окно и кричал:

— Имейте в виду, что я видел у вас книги. Если они предосудительного содержания и вы не заявили о хранении их начальству — виновные подвергаются...

Нарымский сладко спал.

* * *

Однажды, купаясь в теплом, дремавшем от зноя море, Нарымский отплыл так далеко, что ослабел и стал тонуть.

Чувствуя в ногах предательские судороги, он собрал последние силы и инстинктивно закричал. В ту же минуту он увидел, как вечно торчавшая за утесом и следившая за Нарымским фигура поспешно выскочила и, бросившись в море, быстро поплыла к утопающему.

Нарымский очнулся на песчаном берегу. Голова его лежала на коленях Прова Акациева, который заботливой рукой растирал грудь и руки утопленника.

— Вы... живы? — с тревогой спросил Пров, наклоняясь к нему.

— Жив.— Теплое чувство благодарности и жалости шевельнулось в душе Нарымского.— Скажите... Вот вы рисковали из-за меня жизнью... Спасли меня... Вероятно, я все-таки дорог вам, а?

Пров Акациев вздохнул, обвел ввалившимися глазами беспредельный морской горизонт, охваченный пламенем красного заката, и просто, без рисовки ответил:

— Конечно, дороги. По возвращении в Россию вам придется заплатить около ста десяти тысяч штрафов или сидеть около полутораста лет.

И, помолчав, добавил искренним тоном:

— Дай вам Бог здоровья, долголетия и богатства.

БЫЛОЕ

(Русские в 1962 году) *

Зима этого года была особенно суровая.

Крестьяне сидели дома, никому не хотелось высовывать носа на улицу. Дети перестали ходить в училище, а бабы совершали самые краткие рейсы: через улицу в гастрономический магазин или на электрическую станцию, с претензией и жалобой на вечную неисправность электрических проводов.

Дед Пантелей разлегся на теплой лежанке и, щуря старые глаза от электрической лампочки, поглядывал на сбившихся у его ног малышей.

— Ну, что же вам рассказать, мез-анфанчики? Что хотите слушать, пострелята?

* Так — при первой публикации в журнале «Сатирикон», № 39, 1910 год.

— Старое что-нибудь,— попросила бойкая Аксюшка.
— Да что старое-то?
— Про губернаторов.
— Про-гу-бер-на-торов...— протянул добродушно-иронически старик.— И чевой-то вы их так полюбили? Вчера про губернатора, сегодня про губернатора...
— Чудно́ больно,— сказал Ванька, шмыгая носом.
— Ваня,— заметила мать, сидевшая на лавке с книгой в руках,— это еще что за безобразие? Носового платка нет, что ли?! Твой нос действует мне на нервы.
— Так про губернаторов? — прищурился дед Пантелей.— Правду рассказывать?
— Не тяни, дед,— сказала бойкая Аксюшка,— ты уже впадаешь в старческую болтливость, в маразм и испытываешь наше терпение.
— И что это за культурная девчонка,— захохотал дед.— Ну, слушайте, леди и джентельмены... «Это было давно... Я не помню, когда это было... Может быть, никогда...» — как сказал поэт. Итак, начнем с вятского губернатора Камышанского. Представьте себе, детки, что однажды он издает обязательное постановление такого рода: «Виновные в печатании, в хранении и распространении сочинений тенденциозного содержания подвергаются штрафу, с заменой тюремным заключением до трех месяцев».
Ванькина мать Агафья подняла от книги голову и прислушалась.
— Позволь, отец,— заметила она,— но ведь тенденциозное сочинение не есть преступление. И Толстой был тенденциозен, и Достоевский в своем «Дневнике писателя»... Неужели же...
— Вот поди ж ты,— засмеялся дед,— и другие ему то же самое говорили. Да что поделаешь— чрезвычайное положение. А ведь законник был, кандидат в министры. Ум имел государственный.
Дед помолчал, пожевывая провалившимися губами.
— А то херсонский был губернатор. Уж я и фамилию его забыл. Бантыш, што ли... Так тот однажды оштрафовал газеты за телеграмму Петербургского телеграфного агентства из Англии, с речью какого-то английского деятеля. Что смеху было!
— Путаешь ты что-то, старый,— сказал Ванюшка.— Петербургское агентство ведь официальное. Заврался наш дед.
— Ваня!— укоризненно заметила Агафья.

Дед снисходительно усмехнулся:

— Ничего, то ли еще было. Как вспомнишь, и смех и грех. Владивостокский губернатор закрыл корейскую газету со статьей о Японии. Симферопольский вице-губернатор Масальский оштрафовал «Тавричанина» за перепечатки из «Нового Времени»... Такой был славный, тактичный. Он же гимназистов на улице ловил, которые ему фуражек не снимали. И арестовывал их. Те, бывало, клопики маленькие, плачут: «За что, дяденька?» — «А за то, что начальство не почитаете и меня на улице не узнаете».— «Да мы с вами незнакомы».— «А-а, незнакомы, посидите в каталажке, будете знакомы». Веселый был человек.

Дед опустил голову и задумался. Лицо его осветилось тихой задушевной улыбкой.

— Муратова тамбовского тоже помню... Приглашали его однажды на официальный деловой обед... «Приеду,— говорит,— если только евреев за столом не будет».— «Один будет,— говорят,— директор банка».— «Значит, я не буду». Такой был жизнерадостный...

Телефонный звонок перебил его рассказ.

Аксюшка подскочила к телефону и затараторила:

— Алло, кто говорит? Дядя Митяй? Отца нет. Он на собрании общества деятелей садовой культуры. Что? Какую книжку? Мопассана «Бель-ами»? Хорошо, я спрошу у мамы,— если она есть, она пришлет.

Аксюшка отошла от телефона и припала к дедовскому плечу:

— Еще, дедушка, что-нибудь о губернаторах.

— Ну, что же еще?

Дед рассмеялся:

— Нравится? Как это говорится: «Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил»... Толмачева одесского тоже помню. Благороднейший человек был, порывистый. Научнейшая натура. Когда изобрели препарат «606», он им заинтересовался. «Кто,— спрашивает,— изобрел?» — «Эрлих».— «Жид? Да не допущу же я,— говорит,— чтобы у меня в Одессе делались опыты с жидовским препаратом. Да не бывать этому! Да не опозорю же я города своего родного этим шарлатанством!» Очень отзывчивый был человек, крепкий.

Дед оживился:

— Думбадзе тоже помню. Тот был задумчивый.

— Как, дед, «задумчивый»?

— Задумается-задумается и скажет: «Есть у нас сре-

ди солдат евреи?» — «Есть».— «Выслать их». Купальщиц высылал, которые без костюмов купались; купальщиков, которые подглядывали. И всех по этапу, по этапу. Вкус большой к этапам имел... А раз, помню, ушел он из Ялты. Оделся в английский костюм и поехал по России. А журналу «Сатирикон» стало жаль его, что вот, мол, был человек старый при деле, а теперь без дела. Написали статью, пожалели. А он возьми и вернись в Ялту, когда журнал там получился. И что же вы думаете, дети: стали городовые по его приказу за газетчиками бегать, «Сатириконы» отбирать и рвать на клочки. Распорядительный был человек. Стойкий.

И долго еще раздавался монотонный, добродушный дедушкин голос. И долго слушали его притихшие, изумленные дети.

А за окном выла упорная сельская метель, слышались звуки автомобильных сирен и однотонное гудение дуговых фонарей на большой, занесенной снегом дороге. Ежилась, мерзла и отогревалась святая Русь.

СОВРЕМЕННЫЙ РОМАН

(Типа 1913 года)

Глава I

...Повенчавшись, молодые уехали за границу.

Глава II

Прошло шесть месяцев.

В уютной квартирке на Кирочной сидели за столом муж и молодая жена.

— Так ты меня любишь? — осведомился муж.

— О, больше жизни! Ты для меня прекраснее всех.

— И ты для меня,— восторженно подтвердил муж.

— Я сегодня иду к папе,— сказала жена.— Ты не будешь скучать без меня?

— И я пойду с тобой!

— О, нет. Он просил меня одну. Хочет сообщить что-то важное...

Глава III

Вернувшись от отца, жена разделась и, прижимая к глазам платок, вошла в кабинет мужа.

— Боже мой! Лили! Что с тобой?!

— Приготовься ко всему!..— сказала жена, заглушая рыдания.

— О, ужас! Что такое?

— Мы должны расстаться.

Как тигр, прыгнул муж к письменному столу и схватил кинжал...

— О, проклятая! Ты, значит, полюбила другого?!

— Ничего подобного! Я обожаю тебя!

— Так ты... значит... подозреваешь в измене меня?!

— Нет,— сказала жена, всхлипывая.— Ты меня, я знаю, любишь.

— Так в чем же дело?!!!

— Будь тверд и мужественен. Вынеси удар, как подобает мужчине.

— Ну?

Супруги уселись перед камином, и жена начала свою грустную повесть:

— Как тебе известно, мой отец — чиновник государственной канцелярии. Тогда еще, раньше, он говорил: «Эй, Лили, не выходи замуж за журналиста — плохо будет!» Я не послушалась — и вот!..

— Что — вот!..

— Управляющий государственной канцелярией Крыжановский издал циркуляр, в котором запрещает своим чиновникам и их семьям общение с журналистами. Мой отец вызвал меня, показал циркуляр и потребовал...

Но несчастный уже не слушал ее.

Склонившись на спинку стула, он тихо, беззвучно рыдал.

— Прощай, моя молодость, мое лучезарное счастье. Не довелось нам пожить с тобой — не сулил Рок.

Слезы брызнули из глаз жены.

Дрова в камине зашипели и погасли.

Глава IV

— Итак,— спросил муж, утирая платком глаза,— я должен уехать. Сегодня? Сейчас? Может быть, мы эту последнюю ночь проведем вместе?

Опустив голову, жена молчала.

— Можно мне уехать завтра утром?

Жена молчала.

— Ответь же мне, мое счастье!

...Молчала.

— Или горе лишило тебя речи? — спросил со стоном несчастный. — Ответь же мне!

— Ах ты, Господи! Должен бы ты, кажется, понять, что я не могу с тобой разговаривать! Как не стыдно приставать!

— Ты? Не можешь? Со мной разговаривать?

— Ну да! Кажется, ясно сказано: «Воспрещается чиновникам государственной канцелярии, их родственникам и семьям иметь общение с журналистами!» Отвяжись! Ни одного сведения ты от меня не получишь!

Глава V

Муж вздохнул и позвонил.

— Глаша! Что, мой желтый чемодан в порядке?

Отвернувшись, Глаша перебирала пальцами концы передника.

— Глаша! Я вас спрашиваю!

— Меня барыня нанимала, а не вы. Нам запрещено давать сведения журналистам.

Тихо заплакал муж.

Глава VI

Выйдя по черной лестнице во двор с чемоданчиком в руках, муж огляделся и крикнул:

— Дворник!!

Из дворницкой показался дворник, из подворотни выскочил мальчишка-булочник.

— Гляди, — крикнул дворник. — Никак журналист во двор забег. Ату! Киш, проклятый!

Булочников мальчишка схватил кирпич и бросил его в ногу журналисту.

— Кишь, анафема! Гони его отсюда, загоняй с парадной, дядя Микита! Мало на них, подлых, циркуляров пишут! Кш!

Завизжав от боли и прихрамывая, побежал журналист на улицу.

Глава VII

(Эпилог)

Была весна, светило яркое солнышко.

Компания мальчишек весело шагала к реке, таща что-то в мешке.

К ним подошли другие ребятишки.

— Чего тащите?

— А топить тащим журналистова ребеночка. Сегодня родился, так дедушка ихний из государственной канцелярии велели утопить.

Мальчик из другой компании засвистал от избытка чувств и похвастался:

— А к нам вчера на огороды журналист забежал. Что смеху было! Никешка ему руку перебил, а Ванька Гайкин глаза выколол. Веревкой за ноги зацепили и по всему огороду таскали.

Глазенки мальчишки с мешком засверкали завистью.

— Ну? А где ж он?

— А в яму с водой бросили. Вы какие будете?

— А из государственной канцелярии! Сторожевы дети.

— Гайда к реке!

Молчало небо.

* * *

P. S. Такова схема бытового романа в 1913 году. Мы не сомневаемся, что П. Д. Боборыкин * со свойственной его таланту отзывчивостью и сугубым вниманием к новым течениям — использует эту схему для большой вещи в «Вестнике Европы».

ИСКУССТВО И ПУБЛИКА

Вы — писатели, актеры и живописцы! Вы все (да и я тоже) пишете, играете и рисуете для того многоголового таинственного зверя, который именуется публикой.

Что же это за таинственный такой зверь? Приходило ли кому-нибудь в голову математически вычислить средний культурный и эстетический уровень этого «зверя»?

Ведь те, с которыми мы в жизни встречаемся, в чьем обществе вращаемся, кто устно по знакомству разбирает наши произведения,— эти люди, в сущности, не публика. Они благодаря именно близости к нам уже искушены, уже немного отравлены сладким пониманием тонкого яда, именуемого «искусством».

А кто же те, остальные? Та Марья Кондратьевна*, которая аплодирует вам, Шаляпин, тот Игнатий Захарыч, который рассматривает ваши, Борис Григорьев, репро-

---

* Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — русский писатель — публицист, мемуарист, переводчик, автор многих романов. «Вестник Европы» — русский ежемесячный журнал либерального направления.

дукции в журнале «Жар-Птица», тот Семен Семеныч, который читает мои рассказы?

Таинственные близкие незнакомцы — кто вы?

* * *

Недавно я, сидя на одном симфоническом концерте, услышал сзади себя диалог двух соседей по креслу (о, диалог всего в шесть слов).

— Скажите, это — Григ?

— Простите, я приезжий.

Этот шестисловный диалог дал мне повод вспомнить другой диалог, слышанный мною лет двенадцать тому назад,— не откроет ли он немного ту завесу, за которой таинственно прячется «многоголовый зверь»?

Двенадцать лет тому назад я сидел в зале Дворянского собрания на красном бархатном диване и слушал концерт симфонического оркестра, которым дирижировал восьмилетний Вилли Ферреро*.

Я не стенограф, но память у меня хорошая... Поэтому постараюсь стенографически передать тот разговор, который велся сзади меня зрителями, тоже сидевшими на красных бархатных диванах.

— Слушайте,— спросил один господин своего знакомого, прослушав гениально проведенный гениальным дирижером «Танец Анитры»,— чем вы это объясняете?

— Что?

— Да вот то, что он так замечательно дирижирует.

— Простой карлик.

— То есть что вы этим хотите сказать?

— Я говорю, этот Ферреро — карлик. Ему, может быть, лет сорок. Его лет тридцать учили-учили, а теперь вот — выпустили.

— Да не может этого быть, что вы! Поглядите на его лицо! У карликов лица сморщенные, старообразные, а у Вилли типичное личико восьмилетнего шалуна, с нежным овалом и пухлыми детскими губками.

— Тогда, значит, гипнотизм.

— Какой гипнотизм?

— Знаете, который усыпляет. Загипнотизировали мальчишку и выпустили.

---

* Здесь дается позднейшая редакция этого рассказа. А. Т. Аверченко в своем примечании к рассказу вспоминает: «Этот крохотный гениальный мальчик разъезжал по России, с огромным успехом в годы 1911—1913-й выступая как дирижер огромного симфонического оркестра. Впечатление от его концертов было потрясающее...»

— Все ученые заявили, что под гипнозом человек может делать только то, что он умеет делать и в нормальной жизни. Так, например, девушку можно под гипнозом заставить поцеловать находящегося вблизи мужчину, но никак нельзя заставить говорить ее по-английски, если она не знала раньше английского языка.

— Серьезно?

— Ну конечно.

— Тогда все это очень странно.

— В том-то и дело. Я поэтому и спрашиваю: чем вы объясняете это?

— Может, его мучили?

— Как это?

— Да вот, знаете, как маленьких акробатов... Рассказывают, что их выламывают и даже варят в молоке, чтобы у них кости сделались мягче.

— Ну что вы! Где же это видано, чтобы дирижера в молоке варили?

— Я не говорю в буквальном смысле — в молоке. Может быть, просто истязали. Схватят его за волосы и ну теребить: «Дирижируй, паршивец!» Плачет мальчик, а дирижирует. Голодом морят тоже иногда.

— Ну что вы! При чем тут истязания. Вон даже клоуны, которые выводят дрессированных петухов и крыс, и те действуют лаской.

— Ну что там ваша ласка! Если и добиваются лаской, так пустяков: петух, потянув клювом веревку, стреляет из пистолета, а крыса расхаживает в костюме начальника станции. Вот вам и вся ласка. А здесь — маленький мальчуган дирижирует симфоническим оркестром! Этого лаской не добьешься.

— Значит, по-вашему, его родители истязали? Странная гипотеза! — Он обиженно пожал плечами.— Выходит так: берем мы обыкновенного мальчика миловидного, начинаем истязать, колотить его по чем попало — и мальчишка через год-два уже дирижирует симфоническим оркестром так, что все приходят в восторг?! Просто же вы смотрите на вещи.

— Виноват! Вы вот все меня спрашиваете — объясни да объясни. А как вы сами объясняете?

— Что? Вилли Ферреро?

— Да-с.

— Тут если и может быть объяснение, то гораздо сложней. Последние завоевания оптической техники.

— Вы думаете, посредством зеркал?

— То есть?

— Знаете, зеркало под известным углом... Фокусники достигают того, что...

— Нет-с, это пустяки. А видел я летом в «Аквариуме» механического живописца. Маленький человек, который собственноручно портреты с публики писал. Представьте себе, я узнал, как это делается: он соединен электрическим проводом с настоящим живописцем, который сидит за кулисами и рисует на другой бумаге. И что же вы думаете! Устроено так, что маленький живописец гениально точно повторяет все его движения и рисует очень похоже.

— Позвольте! Механического человека можно двигать электричеством — но ведь Ферреро живой мальчик! Его даже профессора осматривали!

— Гм! Пожалуй. Ну, в таком случае я прямо отказываюсь понимать: в чем же тут дело?!

Я не мог больше слушать разговора.

— Эй вы, господа. Все, что вы говорили, может быть, очень мило, но почему бы вам не предположить что-либо более простое, чем электрические провода и система зеркал...

— Именно?

— Именно, что мальчик — просто гениален!

— Ну, извините,— возразил старик, автор теории об истязании.— Вот именно, что это было бы слишком простое объяснение!

* * *

Подумайте только: на красном диване позади меня сидели люди, для которых мы пишем стихи, рассказы, рисуем картины, Шаляпин для них поет, а Павлова для них танцует.

Не лучше ли всем нам, танцующим, поющим и пишущим, с Шаляпиным и Павловой во главе, заняться оптовой торговлей бычачьими шкурами? Я знаю немного бухгалтерию — возьму на себя ведение конторских книг.

А Вилли Ферреро будет у нас мальчишкой на посылках — относить счета заказчикам... А?

НЕИЗЛЕЧИМЫЕ

«Спрос на порнографическую литературу упал. Публика начинает интересоваться сочинениями по истории и естествознанию».

(Книжн. известия)

Писатель Кукушкин вошел веселый, радостный к издателю Залежалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кулаком в бок.

— В чем дело?

— Вещь!

— Которая?

— Ага! Разгорелись глазки? Вот тут у меня лежит в кармане. Если будете паинькой в рассуждении аванса — так и быть, отдам!

Издатель нахмурил брови:

— Повесть?

— Она. Ха-ха! То есть такую машину закрутил, такую, что небо содрогнется! Вот вам наудачу две-три выдержки.

Писатель развернул рукопись.

«...Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная волнующаяся грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте...»

— Еще что? — сухо спросил издатель.

— Еще я такую штучку вывернул: «Дирижабль плавно взмахнул крыльями и взлетел... На руле сидел Маевич и жадным взором смотрел на Лидию, полная грудь которой волновалась и упругие выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди, и все заверте...»

— Еще что? — спросил издатель так сухо, что писатель Кукушкин в ужасе и смятении посмотрел на него и опустил глаза.

— А... еще... вот... Зззаб...бавно! «Линевич и Лидия, стесненные тяжестью водолазных костюмов, жадно смотрели друг на друга сквозь круглые стеклянные окошечки в головных шлемах... Над их головами шмыгали пароходы и броненосцы, но они не чувствовали этого. Сквозь неуклюжую, мешковатую одежду водолаза Линевич угадывал полную волнующуюся грудь Лидии и

ее упругие выпуклые бедра. Не помня себя, Линевич взмахнул в воде руками, бросился к Лидии, и все заверте...»

— Не надо,— сказал издатель.

— Что не надо? — вздрогнул писатель Кукушкин.

— Не надо. Идите, идите с Богом.

— В... вам... не нравится? У... у меня другие места есть... Внучек увидел бабушку в купальне... А она еще была молодая...

— Ладно, ладно. Знаем! «Не помня себя, он бросился к ней, схватил ее в объятия, и все заверте...»

— Откуда вы узнали? — ахнул, удивившись, писатель Кукушкин.— Действительно, так и есть у меня.

— Штука нехитрая. Младенец догадается! Теперь это, брат Кукушкин, уже не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, новых путей.

Писатель Кукушкин с отчаянием в глазах почесал затылок и огляделся.

— А где тут у вас корзина?

— Вот она,— указал издатель.

Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину, вытер носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил:

— О чем нужно?

— Первее всего теперь читается естествознание и исторические книги. Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных...

— А аванс дадите?

— Под боярина дам. Под муху дам. А под упругие бедра не дам! И под «все завертелось» не дам!!

— Давайте под муху,— вздохнул писатель Кукушкин.

* * *

Через неделю издатель Залежалов получил две рукописи. Были они такие:

1. Боярская проруха

Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан, но в это время распахнулась старинная дверь, и вошел молодой князь Курбский.

Затуманенным взором, молча смотрел он на высокую

волнующуюся грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра.

— Ой, ты, гой, еси,— воскликнул он на старинном языке того времени.

— Ой, ты, гой, еси, исполать тебе, добрый молодец! — воскликнула боярышня, падая князю на грудь,— и все заверте...

2. Мухи и их привычки

(Очерки из жизни насекомых)

Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползла по откосу запыленного окна.

Звали ее по-мушиному — Лидия.

Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой и, с еле сдерживаемым порывом страсти, стала потирать над головой стройными мускулистыми лапками. Высокая волнующаяся грудь Лидии ударила в голову черной мухи чем-то пьянящим... Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди, и все заверте...

ЧЕТВЕРГ

В восемь часов вечера Ляписов заехал к Андромахскому и спросил его:

— Едете к Пылинкиным?

— А что? — спросил, покривившись, Андромахский.— Разве сегодня четверг?

— Конечно, четверг. Сколько четвергов вы у них бывали и все еще не можете запомнить.

Андромахский саркастически улыбнулся:

— Зато я твердо знаю, что мы будем там делать. Когда мы войдем, m-me Пылинкина сделает радостно-изумленное лицо: «Господи! Андрей Павлович! Павел Иванович! Как это мило с вашей стороны!» Что мило? Что мило, черт ее возьми, эту тощую бабу, меняющую любовников,— не скажу даже, как перчатки, потому что перчатки она меняет гораздо реже! Что мило? То ли мило, что мы являемся всего один раз в неделю, или то — что, войдя, не разгоняем сразу пинками всех ее глупых гостей? «Садитесь, пожалуйста. Чашечку чаю?» Ох, эта мне чашечка чаю! И потом начинается: «Были на лекции о Ведекинде?» А эти проклятые лекции, нужно вам сказать, читаются чуть ли не каждый день! Нет, ска-

жешь, не был. «Не были? Как же это вы так?» Ну, что, если после этого взять, стать перед ней на колени, заплакать и сказать: «Простите меня, что я не был на лекции о Ведекинде. Я всю жизнь посвящу на то, чтобы замолить этот грех. Детям своим завещаю бывать от двух до трех раз на Ведекинде, кухарку вместо бани буду посылать на Ведекинда и на смертном одре завещаю все свое состояние лекторам, читающим о Ведекинде. Простите меня, умная барыня, и кланяйтесь от меня всем вашим любовникам!»

Ляписов засмеялся:

— Не скажете!

— Конечно, не скажу. В том-то и ужас, что не скажу. И еще в том ужас, что и она и все ее гости моментально и бесследно забывают о Ведекинде, о лекциях и с лихорадочным любопытством набрасываются на какую-то босоножку. «Видели танцы новой босоножки? Мне нравится». А другой осел скажет: «А мне не нравится». А третий отвечает: «Не скажите! Это танцы будущего, и они мне нравятся. Когда я был в Берлине, в кафешантане...» — «Ах,— скажет игриво m-me Пылинкина,— вам, мужчинам, только бы все кафешантаны!» Конечно, нужно было бы сказать ей — кафешантаны. А тебе бы все любовники да любовники. «Семен Семеныч! Чашечку чаю с печеньицем, а? Пожалуйста! Читали статью о Вейнингере?» А чаишко-то у нее, признаться, скверный, да и печеньице тленом попахивает... И вы замечаете? Замечаете? Уже о босоножке забыто, танцы будущего провалились бесследно до будущего четверга, разговор о кафешантане держится две минуты, увядает, осыпается, и на его месте пышно расцветает беседа о новой пьесе, причем одному она нравится, другому не нравится, а третий выражает мнение, что она так себе. Да ведь он ее не видел?! Не видел, уверяю вас, шут этакий, мошенник, мелкий хам!! А ты должен сидеть, пить чашечку чаю и говорить, что босоножка тебе нравится, новая пьеса производит впечатление слабой, а кафешантаны скучны, потому что все номера однообразны.

Ляписов вынул часы:

— Однако уже скоро девять!

— Сейчас. Я в минутку оденусь. Да ведь там только к девяти и собираются... Одну минуточку.

* * *

В девять часов вечера Андромахский и Ляписов приехали к Пылинкиным.

M-me Пылинкина увидела их еще в дверях и с радостным изумлением воскликнула:

— Боже ты мой, Павел Иваныч! Андрей Павлыч! Садитесь. Очень мило с вашей стороны, что заехали. Чашечку чаю?

— Благодарю вас! — ласково наклонил голову Андромахский.— Не откажусь.

— А мы с мужем думали, что встретим вас вчера...

— Где? — спросил Андромахский.

— Как же! В Соляном Городке! Грудастов читал о Пшебышевском.

На лице Андромахского изобразилось неподдельное отчаяние.

— Так это было вчера?! Экая жалость! Я мельком видел в газетах, и представьте, думал, что она будет еще не скоро. Я теперь газеты, вообще, мельком просматриваю.

— В газетах теперь нет ничего интересного,— сказал из-за угла чей-то голос.

— Репрессии,— вздохнула хозяйка.— Обо всем запрещают писать. Чашечку чаю?

— Не откажусь,— поклонился Ляписов.

— Мы выписали две газеты и жалеем. Можно бы одну выписать.

— Ну, иногда в газетах можно натолкнуться на что-нибудь интересное... Читали на днях, как одна дама гипнотизмом выманила у домовладельца тридцать тысяч?

— Хорошенькая? — игриво спросил Андромахский.

Хозяйка кокетливо махнула на него салфеточкой:

— Ох, эти мужчины! Им бы все только — хорошенькая! Ужасно вы испорченный народ.

— Ну, нет,— сказал Ляписов.— Вейнингер держится обратного мнения... У него ужасное мнение о женщинах...

— Есть разные женщины и разные мужчины,— послышался из полутемного угла тот же голос, который говорил, что в газетах нет ничего интересного.— Есть хорошие женщины и хорошие мужчины. И плохие есть там и там.

— У меня был один знакомый,— сказала полная дама.— Он был кассиром. Служил себе, служил, и — представьте — ничего. А потом познакомился с какой-то кокоткой, растратил казенные деньги и бежал в Англию. Вот вам и мужчины ваши!

— А я против женского равноправия! — сказал гос-

подин с густыми бровями.— Что это такое? Женщина должна быть матерью! Ее сфера — кухня!

— Извините-с! — возразила хозяйка.— Женщина такой же человек, как и мужчина! А ей ничего не позволяют делать!

— Как не позволяют? Все позволяют! Вот одна на днях в театре танцевала с голыми ногами. Очень было мило. Сфера женщины — все изящное, женственное.

— А по-моему, она вовсе не изящна. Что это такое — ноги толстые и сама скачет, как козел!

— А мне нравится! — сказал маленький лысый человек.— Это танцы будущего, и они открывают новую эру в искусстве.

— Чашечку чаю! — предложила хозяйка Андромахскому.— Может быть, желаете рюмочку коньяку туда?

— Мерси. Я вообще не пью. Спиртные напитки вредны.

Голос из угла сказал:

— Если спиртные напитки употреблять в большом количестве, то они, конечно, вредны. А если иногда выпить рюмочку — это не может быть вредным.

— Ничем не надо злоупотреблять,— сказала толстая дама.

— Безусловно. Все должно быть в меру,— уверенно ответил Ляписов.

Андромахский встал, вздохнул и сказал извиняющимся тоном:

— Однако я должен спешить. Позвольте, Марья Игнатьевна, откланяться.

На лице хозяйки выразился ужас.

— Уже?!! Посидели бы еще...

— Право, не могу.

— Ну, одну минутку!

— С наслаждением бы, но...

— Какой вы, право, нехороший... До свиданья. Не забывайте! Очень будем рады с мужем видеть вас.

Ласковая, немного извиняющаяся улыбка бродила на лице Андромахского до тех пор, пока он не вышел в переднюю. Когда нога его перешагнула порог — лицо приняло выражение холодной злости, скуки и бешенства.

Он оделся и вышел.

* * *

Захлопнув за собой дверь, Андромахский остановился на полутемной площадке лестницы и прислушался.

До него явственно донеслись голоса: его приятеля Ляписова, толстой дамы и m-me Пылинкиной.

— Что за черт?

Он огляделся. Над его головой тускло светило узенькое верхнее окно, выходившее, очевидно, из пылинкинской гостиной. Слышно было всякое слово — так отчетливо, что Андромахский, уловив свою фамилию, прислонился к перилам и застыл...

— Куда это он так вскочил? — спросил голос толстой дамы.

— К жене,— отвечал голос Ляписова.

M-me Пылинкина засмеялась:

— К жене! С какой стороны?!

— Что вы! — удивилась толстая дама.— Разве он такой?..

— Он?! — сказал господин с густыми бровями.— Я его считал бы добродетельнейшим человеком, если бы он изменял только жене с любовницей. Но он изменяет любовнице с горничной, горничной — с белошвейкой, шьющей у жены, и так далее. Разве вы не знаете?

— В его защиту я должен сказать, что у него есть одна неизменная привязанность,— сказал лысый старичок.

— К кому?

— Не к кому, а к чему... К пиву! Он выпивает в день около двадцати бутылок!

Все рассмеялись.

— Куда же вы? — послышался голос хозяйки.

— Я и так уже засиделся,— отвечал голос Ляписова.— Нужно спешить.

— Посидите еще! Ну, одну минуточку! Недобрый, недобрый! До свиданья. Не забывайте нашего шалаша.

* * *

Когда Ляписов вышел, захлопнув дверь, на площадку, он увидел прислонившегося к перилам Андромахского и еле сдержал восклицание удивления.

— Тсс!..— прошептал Андромахский, указывая на окно.— Слушайте! Это очень любопытно...

— Какой симпатичный этот Ляписов,— сказала хозяйка.— Не правда ли?

— Очень милый,— отвечал господин с густыми бровями.— Только вид у него сегодня был очень расстроенный.

— Неприятности! — послышался сочувственный голос толстой дамы.

— Семейные?

— Нет, по службе. Все игра проклятая!

— А что, разве?..

— Да, про него стали ходить тревожные слухи. Получает в месяц двести рублей, а проигрывает в клубе в вечер по тысяче. Вы заметили, как он изменился в лице, когда я ввернула о кассире, растратившем деньги и бежавшем в Англию?

— Проклятая баба,— прошептал изумленный Ляписов.— Что она такое говорит!

— Хорошее оконце! — улыбнулся Андромахский.

— ...Куда же вы? Посидели бы еще!

— Не могу-с! Время уже позднее,— послышался голос лысого господина.— А ложусь-то я, знаете, рано.

— Какая жалость, право!

* * *

На площадку лестницы вышел лысый господин, закутанный в шубу, и испуганно отшатнулся при виде Ляписова и Андромахского.

Андромахский сделал ему знак, указал на окно и в двух словах объяснил преимущество занятой ими позиции.

— Сейчас о вас будет. Слушайте!

— Я никогда не встречала у вас этого господина,— донесся голос толстой дамы.— Кто это такой?

— Это удивительная история,— отвечала хозяйка.— Я удивляюсь, вообще... Представили его мне в театре, а я и не знаю, кто и что он такое. Познакомил нас Дерябин. Я говорю Дерябину между разговором: «Отчего вы не были у нас в прошлый четверг?» А этот лысый и говорит мне: «А у вас четверги? Спасибо, буду». Никто его и не звал, я даже и не намекала. Поразительно некоторые люди толстокожи и назойливы! Пришлось с приятной улыбкой сказать: пожалуйста! Буду рада.

— Ах ты дрянь этакая,— прошептал огорченно лысый старичок.— Если бы знал — никогда бы к тебе не пришел. Вы ведь знаете, молодой человек,— обратился он к Андромахскому,— эта худая выдра в интимных отношениях с тем самым Дерябиным, который нас познакомил. Ей-Богу! Мне Дерябин сам и признался. Чистая уморушка!

— А вы зачем соврали там, в гостиной, что я выпиваю двадцать бутылок пива в день? — сурово спросил старичка Андромахский.

— А вы мне очень понравились, молодой человек,— виновато улыбнулся старичок.— Когда зашел о вас разговор — я и думаю: дай вверну словечко!

— Пожалуйста, никогда не ввертывайте обо мне словечка. О чем они там сейчас говорят?

— Опять обо мне,— сказал Ляписов.— Толстая дама выражает опасение, что я не сегодня-завтра сбегу с казенными деньгами.

— Проклятая лягушка! — проворчал Андромахский.— Если бы вы ее самое знали! Устраивает благотворительные вечера и ворует все деньги. Одну дочку свою буквально продала сибирскому золотопромышленнику!

— Ха-ха! — злобно засмеялся старичок.— А вы заметили этого кретиновидного супруга хозяйки, сидевшего в углу?..

— Как же! — усмехнулся Андромахский.— Он сказал ряд очень циничных афоризмов: что в газетах нет ничего интересного, что женщины и мужчины бывают плохие и хорошие и что если пить напитков много, то это скверно, а мало — ничего...

Старичок, Ляписов и Андромахский уселись для удобства на верхней ступеньке площадки, и Андромахский продолжал:

— И он так глуп, что не замечал, как старуха Пылинкина подмигивала несколько раз этому густобровому молодцу. Очевидно, дело с новеньким лямиделямезончиком на мази!

— Хе-хе! — тихонько засмеялся Ляписов.— А вы знаете, старче, как Андромахский сегодня скаламбурил насчет этой Мессалины: она не меняет любовников как перчатки только потому, что не меняет перчаток.

Лысый старичок усмехнулся:

— Заметили, чай у них мышами пахнет! Хоть бы людей постыдились...

* * *

Когда госпожа Пылинкина, провожая толстую даму, услышала на площадке голоса и выглянула из передней, она с изумлением увидела рассевшуюся на ступеньках лестницы компанию...

— Я уверен,— говорил увлеченный разговором Ляписов,— что эта дура Пылинкина не только не читала Ведекинда, но, вероятно, путает его с редерером, который она распивает по отдельным кабинетам с любовниками.

— Ну да! — возражал Андромахский.— Станут лю-

бовники поить ее редерером. Бутылка клюквенного квасу, бутерброд с чайной колбасой — и m-me Пылинкина, соблазненная этой царской роскошью, готова на все!..

Госпожа Пылинкина кашлянула, сделала вид, что вышла только сейчас, и с деланным удивлением сказала:

— А вы, господа, еще здесь! Заговорились? Не забудьте же — в будущий четверг!

«АПОЛЛОН»

Однажды в витрине книжного магазина я увидел книгу... По наружному виду она походила на солидный, серьезный каталог технической конторы, что меня и соблазнило, так как я очень интересуюсь новинками в области техники.

А когда мне ее показали ближе, я увидел, что это не каталог, а литературный ежемесячный журнал.

— Как же он... называется? — растерянно спросил я.

— Да ведь заглавие-то на обложке!

Я внимательно всмотрелся в заглавие, перевернул книгу боком, потом вниз головой и, заинтересованный, сказал:

— Не знаю! Может быть, вы будете так любезны посвятить меня в заглавие, если, конечно, оно вам известно?.. Со своей стороны могу дать вам слово, что, если то, что вы мне сообщите, секрет,— я буду свято хранить его.

— Здесь нет секрета,— сказал приказчик.— Журнал называется «Аполлон», а если буквы греческие, то это ничего... Следующий номер вам дастся гораздо легче, третий еще легче, а дальше все пойдет как по маслу.

— Почему же журнал называется «Аполлон», а на рисунке изображена пронзенная стрелами ящерица?..

Приказчик призадумался.

— Аполлон — бог красоты и света, а ящерица — символ чего-то скользкого, противного... Вот она, очевидно, и пронзена богом света.

Мне понравилась эта замысловатость.

Когда я издам книгу своих рассказов под названием «Скрежет», то на обложке попрошу нарисовать барышню, входящую в здание зубоврачебных курсов...

Заинтересованный диковинным «Аполлоном», я купил журнал и ушел.

* * *

Первая статья, которую я начал читать,— Иннокентия Анненского — называлась «О современном лиризме».

Первая фраза была такая:

«Жасминовые тирсы наших первых мэнад примахались быстро...»

Мне отчасти до боли сделалось жаль наш бестолковый русский народ, а отчасти было досадно: ничего нельзя поручить русскому человеку... Дали ему в руки жасминовый тирс, а он обрадовался, и ну — махать им, пока примахал этот инструмент окончательно.

Фраза, случайно выхваченная мною из середины «лиризма», тоже не развеселила меня:

«В русской поэзии носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов...»

Это было до боли обидно.

Я так расстроился, что дальше даже не мог читать статьи «О современном лиризме»...

* * *

Неприятное чувство сгладила другая статья: «В ожидании гимна Аполлону».

Я человек очень жизнерадостный, и веселье бьет во мне ключом, так что мне совершенно по вкусу пришлось предложение автора:

«Так как танец есть прекраснейшее явление в жизни, то нужно сплетаться всем людям в хороводы и танцевать. Люди должны сделаться прекрасными непрестанно во всех своих действиях, и танец будет законом жизни».

Последующие слова автора относительно зажжения алтарей, учреждения обетных шествий и плясов привели меня в решительный восторг.

«Действительно! — думал я.— Как мы живем... Ни тебе удовольствия, ни тебе веселья. Все ползают на земле, как умирающие черви, уныние сковывает костенеющие члены... Нет, решительно, обетные шествия и плясы — вот то, что выведет нас на новую дорогу».

Дальше автор говорил:

«Не случайно происходит за последние годы повышение интереса к танцу...»

«Вот оно! — подумал я.— Начинается!..»

У меня захватило дыхание от предвкушения близкого веселья, и я должен был сделать усилие, чтобы заставить себя перейти к следующей статье:

«О театре».

* * *

Автор статьи о театре видел единственное спасение и возрождение театра в том, чтобы публика участвовала в действии наравне с актерами.

Идея мне понравилась, но многое показалось неясным: будет ли публика на жаловании у дирекции театра, или актеры будут уравнены с публикой в правах тем, что им придется приобретать в кассе билеты «на право игры»... И как отнесутся актеры к той ленивой, инертной части публики, которая предпочтет участию в игре — простое глазение на все происходящее...

Впрочем, я вполне согласен с автором, что важна идея, а детали можно разработать после.

* * *

Вечером я поехал к одним знакомым и застал у них гостей.

Все сидели в гостиной небольшими группами и вели разговор о бюрократическом засилье, указывая на примеры Англии и Америки.

— Господа! — предложил я.— Не лучше ли нам сплестись в радостный хоровод и понестись в обетном плясе к Дионису?!

Мое предложение вызвало недоумение.

— То есть?..

— В нашей повседневности есть плясовой ритм. Сплетенный хоровод должен нестись даже в будничной жизни, перейдя с подмостков в жизнь... Позвольте вашу руку, мадам!.. Вот так... Господа! Ну зачем быть такими унылыми?.. Возьмите вашу соседку за руку. Что вы смотрите на меня так недоумевающе? Готово? Ну, теперь можете нестись в радостном хороводе. Господа... Нельзя же так!..

Гости растерянно опустили сплетенные по моему указанию руки и робко уселись на свои места.

— Почему вам взбрела в голову такая идея — танцевать? — сухо спросил хозяин дома.— Когда будет танцевальный вечер, так молодежь и потанцует. А людям солидным ни с того ни с сего выкидывать козла — согласитесь сами...

Желая смягчить неловкую паузу, хозяйка сказала:

— А поэта Бунина в академики выбрали... Слышали?

Я пожал плечами.

— Ах, уж эта русская поэзия! В ней носятся частицы

теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов...

Хозяйка побледнела.

А хозяин взял меня под руку, отвел в сторону и сурово шепнул:

— Надеюсь, после всего вами сказанного вы сами поймете, что бывать вам у нас неудобно...

Я укоризненно покачал головой и похлопал его по плечу:

— То-то и оно! Быстро примахались жасминовые тирсы первых наших мэнад. Вам только поручи какое-нибудь дело... Благодарю вас, не беспокойтесь... Я сам спущусь! Тут всего несколько ступенек...

* * *

По улице я шагал с тяжелым чувством.

— Вот и устраивай с таким народом обетные плясы, вот и води хороводы! Дай ему жасминовый тирс, так он его не только примахает, да еще, в извозчичий кнут обратив, тебя же им и оттузит! Дионисы!

Огорченный, я зашел в театр.

На сцене стоял, сжав кулаки, городничий, а перед ним на коленях купцы.

— Так — жаловаться?! — гремел городничий.

Я решил попытаться провести в жизнь так понравившуюся мне идею слияния публики со сценой.

— ...Жаловаться? Архиплуты, протобестии...

Я встал с места и, изобразив на лице возмущение, со своей стороны, продолжал:

— ...Надувалы морские! Да знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...

Оказалось, что идея участия публики в актерской игре еще не вошла в жизнь...

Когда околоточный надзиратель, сидя в конторе театра, писал протокол, он поднял на меня глаза и спросил:

— Что побудило вас вмешаться в действие пьесы?..

Я попытался оправдаться:

— Тирсы уж очень примахались, господин околоточный...

— Знаем мы вас, — скептически сказал околоточный. — Напьются, а потом — тирсы! . . . .
. . . .

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Из выставочных встреч

До сих пор при случайных встречах с модернистами я смотрел на них с некоторым страхом: мне казалось, что такой художник-модернист среди разговора или неожиданно укусит меня за плечо, или попросит взаймы.

Но это странное чувство улетучилось после первого же ближайшего знакомства с таким художником.

Он оказался человеком крайне миролюбивого характера и джентльменом, хотя и с примесью бесстыдного лганья.

Я тогда был на одной из картинных выставок, сезон которых теперь в полном разгаре,— и тратил вторые полчаса на созерцание висевшей передо мной странной картины.

Картина эта не возбуждала во мне веселого настроения... Через все полотно шла желтая полоса, по одну сторону которой были наставлены маленькие закорючки черного цвета. Такие же закорючки, но лилового цвета, приятно разнообразили тон внизу картины. Сбоку висело солнце, которое было бы очень недурным астрономическим светилом, если бы не было односторонним и притом — голубого цвета.

Первое предположение, которое мелькнуло во мне при взгляде на эту картину,— что предо мной морской вид. Но черные закорючки сверху разрушали это предположение самым безжалостным образом.

— Э! — сказал я сам себе.— Ловкач художник просто изобразил внутренность нормандской хижины...

Но одностороннее солнце всем своим видом и положением отрицало эту несложную версию.

Я попробовал взглянуть на картину в кулак: впечатление сконцентрировалось, и удивительная картина стала еще непонятнее...

Я пустился на хитрость — крепко зажмурил глаза и потом, поболтав головой, сразу широко открыл их...

Одностороннее солнце по-прежнему пузырилось выпуклой стороной, и закорючки с утомительной стойкостью висели — каждая на своем месте.

Около меня вертелся уже минут десять незнакомый молодой господин с зеленоватым лицом и таким широким галстуком, что я должен был все время вежливо от него сторониться. Молодой господин заглядывал мне в

лицо, подергивал плечом и вообще выражал живейшее удовольствие по поводу всего его окружающего.

— Черт возьми! — проворчал я, наконец потеряв терпение.— Хотелось бы мне знать автора этой картины... Я б ему...

Молодой господин радостно закивал головой:

— Правда? Вам картина нравится?! Я очень рад, что вы оторваться от нее не можете. Другие ругались, а вы... Позвольте мне пожать вам руку.

— Кто вы такой? — отрывисто спросил я.

— Я? Автор этой картины! Какова штучка?!

— Да-а... Скажите,— сурово обратился я к нему.— Что это такое?

— Это? Господи боже мой... «Четырнадцатая скрипичная соната Бетховена, опус восемнадцатый». Самая простейшая соната.

Я еще раз внимательно осмотрел картину.

— Соната?

— Соната.

— Вы говорите, восемнадцатый? — мрачно переспросил я.

— Да-с, восемнадцатый.

— Не перепутали ли вы? Не есть ли это пятая соната Бетховена, опус двадцать четвертый?

Он побледнел.

— Н-нет... Насколько я помню, это именно четырнадцатая соната.

Я недоверчиво посмотрел на его зеленое лицо.

— Объясните мне... Какие бы изменения сделали вы, если бы вам пришлось переделать эту вещь опуса на два выше?.. Или дернуть даже шестую сонату... А? Чего нам с вами, молодой человек, стесняться? Как вы думаете?

Он заволновался:

— Так нельзя... Вы вводите в настроение математическое начало... Это продукт моего личного переживания! Подходите к этому как к четырнадцатой сонате.

Я грустно улыбнулся:

— К сожалению, мне трудно исполнить ваше предложение... О-очень трудно! Четырнадцатой сонаты я не увижу.

— Почему?!!

— Потому что их всего десять. Скрипичных сонат Бетховена, к сожалению, всего десять. Старикашка был прелениным субъектом.

— Что вы ко мне пристаете?! Значит, эта вещь игра-

лась не на скрипке, а на виолончели!.. Вот и все! На высоких нотах... Я и переживал.

— Старик как будто задался целью строить вам козни... Виолончельных-то сонат всего шесть им и состряпано.

Мой собеседник, удрученный, стоял, опустив голову, и отколупывал от статуи кусочки гипса.

— Не надо портить статуи,— попросил я.

Он вздохнул.

У него был такой вид, что я сжалился над заблудившимся импрессионистом.

— Вы знаете... Пусть это останется между нами. Но при условии, если вы дадите мне слово исправиться и начать вести новую честную жизнь. Вы не будете выставлять таких картин, а я буду помалкивать о вашем этом переживании. Ладно?

Он сморщил зеленое лицо в гримасу, но обещал.

* * *

Через неделю я увидел на другой выставке новую его картину: «Седьмая фуга Чайковского, оп. 9, изд. Ю. Г. Циммермана».

Он не сдержал обещания. Я — тоже.

РУСАЛКА

— Вы кашляете? — учтиво спросил поэта Пеликанова художник Кранц.

— Да,— вздохнул бледный поэт.— И, кроме того, у меня насморк.

— Где же это вы его схватили?

— На реке. Вчера всю ночь на берегу просидел. И нога, кроме того, ломит.

— Так, так,— кивнул головой третий из компании — угрюмый Дерягин.— Рыбу ловили, с ума сошли или просто так?

— Просто так. Думал.

— Просто так? Думал? О чем же вы думали?

Пеликанов встал и закинул длинные светлые волосы за уши.

— О чем я думал? Я думал о них... о прекрасных, загадочных, которые всплывают в ночной тиши на поверхность посеребренной луной реки и плещутся там между купами задумчивой осоки, напевая свои странные,

чарующие, хватающие за душу песенки и расчесывая гребнями длинные волосы, в которых запутались водоросли... Бледные, прекрасные, круглые руки поднимаются из воды и в безмолвной мольбе протягиваются к луне... Большие печальные глаза сияют между ветвей, как звезды... Жутко и сладостно увидеть их в эту пору.

— Это кто ж такие будут? — спросил Дерягин.— Русалки, что ли?

— Да... Русалки.

— И вы их надеетесь увидеть?

— О, если бы я надеялся! Я только мечтаю об этом...

— Рассчитываете дождаться?

— Полжизни я готов просидеть, чтобы...

Дерягин в бешенстве вскочил с кресла:

— Будьте вы прокляты, идиоты, с вашими дурацкими бреднями. Встречаюсь я с вами уже несколько лет, разговаривал с вами, как с порядочным, нормальным человеком, и вдруг,— нате, здравствуйте! Этот человек бродит по ночам по берегу реки! Зачем, спрашивается? Русалок ищет, изволите ли видеть! Бесстыдник.

— Вы не понимаете прекрасного! — сказал, свеся голову на грудь и покашливая, Пеликанов.

— Да ведь их нет! Понимаете, это чепуха, мечта! Их не существует.

Поэт улыбнулся.

— Для вас, может быть, нет. А для меня они существуют.

— Кранц! Кранц! Скажи ему, что он бредит, что он с ума сошел! Каких таких он русалок ищет?

Художник Кранц улыбнулся, но промолчал.

— Нет! С вами тут с ума сойдешь. Пойду я домой. Возьму ванну, поужинаю хорошенько и завалюсь спать. А ты, Кранц?

— Мне спать рано. Я поеду к одной знакомой даме, которая хорошо поет. Заставлю ее петь, а сам лягу на диван и, слушая, буду тянуть шартрез из маленькой-маленькой рюмочки. Хорошо-о-о!

— Сибарит! А вы, Пеликанов?

Пеликанов грустно усмехнулся:

— Вы, конечно, будете ругаться... Но я... пойду сейчас к реке, побродить... прислушаться к всплескам волн, помечтать где-нибудь под темными кустами осоки о прекрасных, печальных глазах... о руках, смутно белеющих на черном фоне спящей реки...

— Кранц! — завопил Дерягин, завертевшись, как

ужаленный.— Да скажи ты ему, этому жалкому человечишке, что его проклятых русалок не существует!..

Кранц подумал немного и потом пожал плечами:

— Как же я ему скажу это, когда русалки существуют.

— Если ты так говоришь, значит, ты дурак.

— Может быть,— усмехнулся Кранц.— Но я был знаком с одной русалкой.

— Боже! — всплеснул руками Дерягин.— Сейчас начнется скучища — розовая водица и нудьга! Кранц нам сейчас расскажет историю о том, как он встретился с женщиной, у которой были зеленые русалочьи глаза и русалочий смех, и как она завлекла его в жизненную пучину, и как погубила. Кранц! Сколько вам заплатить, чтобы вы не рассказывали этой истории?

— Подите вы,— нахмурился Кранц.— Эта была настоящая, подлинная, речная русалка. Встретился я с ней случайно и расстался тоже как-то странно.

Пеликанов жадными руками вцепился в плечи Кранца.

— Вы правду говорите?! Да? Вы действительно видели настоящую русалку?

— Что же тут удивительного? Ведь вы же сами утверждаете, что они должны быть...

— И вы ее ясно видели? Вот так, как меня? Да?

— Не волнуйтесь, юноша... Если это и кажется немного чудесным, то... мало ли что на свете бывает! Я уже человек немолодой и за свою шумную, бурную, богатую приключениями жизнь видел много такого, о чем вам и не снилось.

— Кранц! Вы... видели русалку?!

— Видел. Если это вас так интересует — могу рассказать. Только потребуйте вина побольше.

— Эй! Вина!

— Только побольше.

— Побольше! Кранц! О русалке!

— Слушайте...

— Однажды летом я охотился... Собственно, охота какая? Так, бродил с ружьем. Люблю одиночество. И вот, бродя таким образом, набрел я в один теплый летний вечер на заброшенный рыбачий домик на берегу реки. Не знаю, утонули ли эти рыбаки во время одной из своих экспедиций или просто, повыловив в этой реке всю рыбу, перебрались на другое место — только этот домик был совершенно пуст. Я пришел в восторг от такого пре-

красного безмолвия, запустения и одиночества; съездил в город, привез припасов, походную кровать и поселился в домике.

Днем охотился, ловил рыбу, купался, а вечером валялся в кровати и при свете керосиновой лампочки читал Шиллера, Пушкина и Достоевского.

Об этом времени я вспоминаю с умилением...

Ну, вот.

Как-то в душную, грозовую ночь мне не спалось. Жара, тяжесть какая-то — сил нет дышать. Вышел я на берег — мутная луна светит, ивы склонили печальные головы, осока замерла в духоте. Вода тяжелая, черная, как густые чернила.

— Искупаюсь,— решил я.— Все-таки прохладнее.

Но и вода не давала прохлады: свинцовая, теплая — она расступилась передо мной и опять сомкнулась, даже не волнуясь около моего тела.

Я стал болтать руками, плескаться и петь песни, потому что кругом были жуть и тишина неимоверная. Нервы у меня вообще как канаты, но тут воздушное электричество, что ли, так их взвинтило, что я готов был расплакаться, точно барышня.

И вот, когда я уже хотел выкарабкаться на берег, у меня, около плеча, что-то такое как всплеснет! Я думал — рыба. Протягиваю инстинктивно руку, наталкиваюсь на что-то длинное, скользкое, хватаю... Сердце так и заныло... На ощупь — человеческая рука. Ну, думаю, утопленник. Вдруг это неизвестное тело затрепетало, забилось и стало вырываться... показалась голова... прекрасная женская голова с печальными молящими глазами... Две белые круглые руки беспомощно взметнулись над водой...

И, странно, я сразу же успокоился, как только увидел, с кем имею дело. Случай был редкий, исключительный, и я моментально решил не упускать его. Руки мои крепко обвились вокруг ее стройной, гибкой талии, и через минуту она уже билась на песке у моих ног, испуская тихие стоны.

Я успокоил ее несколькими ласковыми словами, погладил ее мокрые волнистые волосы и, бережно подняв на руки, перенес в домик. Она притихла и молча следила за мной своими печальными глазами, в которых светился ужас.

При свете лампы я подробнее рассмотрел мою пленницу. Она была точно такого типа, как рисуют худож-

ники: белое мраморное тело, гибкие стройные руки и красивые плечи, по которым разметались волосы удивительного, странного, зеленоватого цвета. Вместо ног у нее был длинный чешуйчатый хвост, раздвоенный на конце, как у рыбы.

Признаться ли? Эта часть тела не произвела на меня приятного впечатления.

Но, в общем, передо мной лежало преаппетитное создание, и я благословлял провидение, что оно послало такое утешение одинокому бродяге и забулдыге.

Она лежала на моей постели, блестя влажным телом, закинув руки за голову и молча поглядывая на меня глазами, в которых сквозил тупой животный страх.

— Не бойся! — ласково сказал я.— Старина Кранц не сделает тебе зла.

И я прильнул губами к ее полуоткрытым розовым губкам.

Гм... Признаться ли вам: многих женщин мне приходилось целовать на своем веку, но никогда я не чувствовал такого запаха рыбы, как в данном случае. Я люблю запах рыбы — он отдает морем, солью и здоровьем, но я никогда бы не стал целоваться с окунем или карасем.

— Я думаю,— спросил я, нерешительно обнимая ее за талию,— вы питаетесь главным образом рыбой?

— Рыбы...— пролепетала она, щуря свои прекрасные печальные глаза.— Дай мне рыбы.

— Ты проголодалась, бедняжка? Сейчас, моя малютка, я принесу тебе...

Я достал из ящика, служившего мне буфетом, кусок холодной жареной рыбы и подал ей.

— Ай,— закричала она плаксиво.— Это не рыба. Рыбы-ы... Дай рыбы.

— Милая! — ужаснулся.— Неужели ты ешь сырую рыбу?.. Фи, какая гадость...

Тем не менее пришлось с большими усилиями достать ей живой рыбы... Как сейчас помню: это были карась и два маленьких пескаря. Она кивнула головой, схватила привычной рукой карася и, откусив ему голову, выплюнула, как обыкновенная женщина — косточку персика. Тело же карасиное моментально захрустело на ее зубах. Вы морщитесь, господа, но должен сказать правду: пескарей она съела целиком, с головой и внутренностями... Такой уж, видно, у них обычай.

— Воды,— прошептала она своими коралловыми губками.— Воды...

«Беднягу томит жажда»,— подумал я.

Принес ей большую глиняную кружку, наполненную водой, и приставил заботливо ко рту.

Но она схватила кружку и, приподнявшись, с видимым удовольствием окатила себя с хвоста до головы водой, после чего рухнула обратно на постель и завизжала от удовольствия.

— Милая,— сухо сказал я.— Нельзя ли без этого? Ты мне испортила всю постель. Как я лягу?

— Воды! — капризно крикнула она.

— Обойдешься и так! Вон вода ручьями течет с постели. Как не стыдно, право.

Действительно, одеяло и подушка были мокрые, хоть выжми, и вода при каждом движении пленницы хлюпала в постели.

— Воды!!

— А чтоб тебя,— прошептал я.— На воду. Мокни! Только уж извини, голубушка... Я рядом с тобой не лягу... Мне вовсе не интересно схватить насморк.

Второй ковш воды успокоил ее. Она улыбнулась, кивнула мне головой и начала шарить в зеленых волосах своими прекрасными круглыми руками.

— Что вы ищете? — спросил я.

Но она уже нашла — гребень. Это был просто обломок рыбьего хребта с костями в виде зубьев гребня, причем на этих зубьях кое-где рыбье мясо еще не было объедено.

— Неужели ты будешь причесываться этой дрянью? — поморщился я.

Она промолчала и стала причесываться, напевая тихую, жалобную песенку.

Я долго сидел у ее хвоста, слушая странную, тягучую мелодию без слов, потом встал и сказал:

— Песенка хорошая, но мне пора спать. Спокойной ночи.

Лежа навзничь, она смотрела своими печальными глазами в потолок, а ее губки продолжали тянуть одну и ту же несложную мелодию.

Я лег в углу на разостланном пальто и пролежал так с полчаса с открытыми глазами. Она все пела.

— Замолчи же, милая,— ласково сказал я.— Довольно. Мне спать хочется. Попела — и будет.

Она тянула, будто не слыша моей просьбы. Это делалось скучным.

— Замолчишь ли ты, черт возьми?! — вскипел я.— Что это за безобразие?! Покоя от тебя нет!!

Услышав мой крик, она обернулась, посмотрела па меня внимательно испуганными глазами и вдруг крикнула своими коралловыми губками:

— Куда тащишь, черт лысый, Михеич?! Держи влево! Ох, дьявол! Опять сеть порвал!

Я ахнул.

— Это что такое? Откуда это?!

Ее коралловые губки продолжали без всякого смысла:

— Лаврушка, черт! Это ты водку вылопал? Тебе не рыбачить, а сундуки взламывать, пес окаянный...

Очевидно, это был весь лексикон слов, которые она выучила, подслушав у рыбаков.

Долго она еще выкрикивала разные упреки неизвестному мне Лаврушке, перемежая это приказаниями и нецензурными рыбацкими ругательствами.

Забылся я сном лишь перед рассветом.

Яркое солнце разбудило меня. Я лежал на разостланном пальто, а в кровати спала моя пленница, разметав руки, которые при дневном свете оказались тоже зеленоватыми. Волосы были светло-зеленые, похожие на водоросли, и так как влага на них высохла, пряди их стали ломаться. Кожа, которая была в воде такой гладкой и нежной, теперь стала шероховатой, сморщенной. Грудь тяжело дышала, а хвост колотился о спинку кровати так сильно, что чешуя летела клочьями.

Услышав шум моих шагов, пленница открыла зеленые глаза и прохрипела огрубевшим голосом:

— Воды! Воды, проклятый Лаврушка, чтобы ты подох! Нету на тебя пропасти!

Поморщившись, я пошел на реку за водой, принес ковш, и, только войдя в комнату, почувствовал, как тяжел и удушлив воздух в комнате: едкий рыбный запах, казалось, пропитал все...

Хрипло бормоча что-то, она стала окачиваться водой, а я сел на пальто и стал размышлять, хорошо ли, что я связался с этим нелепым существом: она ела рыбу, как щука, орала всю ночь нецензурные слова, как матрос, от нее несло рыбой, как от рыночной селедочницы.

— Знаете что...— нерешительно сказал я, подходя к ней...— Не лучше ли вам на реку обратно... а? Идите себе с Богом. И вам лучше и мне покойнее.

— Тащи невод, Лаврушка! — крикнула она.— Если веревка лопнет — ухи оборву!

— Ну и словечки,— укоризненно сказал я.— Будто пьяный мужик. Ну... довольно-с!

Преодолевая отвращение от сильного рыбного запаха, я взял ее на руки, потащил к реке и, бросив на песок, столкнул в воду. Она мелькнула в последний раз своими противными зелеными волосами и скрылась. Больше я ее не видел.

* * *

История с русалкой была выслушана в полном молчании.

Кранц поднялся и стал искать шапку. Собрался уходить и Дерягин.

— А вы куда? — спросил он поэта Пеликанова.— На реку?

— Пожалуй, я пойду домой,— нерешительно сказал поэт.— Нынче что-то сыровато...

МОПАССАН

(Роман в одной книге)

I

Недавно, часов в двенадцать утра, моя горничная сообщила, что меня спрашивает по делу горничная господина Зверюгина.

Василий Николаевич Зверюгин считался моим приятелем, но, как всегда случается в этом нелепом Петербурге, с самыми лучшими приятелями не встречаешься года по два.

Зверюгина не видел я очень давно, и поэтому неожиданное получение весточки о нем, да еще через горничную, очень удивило меня.

Я вышел в переднюю и спросил:

— А что, милая, как поживает ваш барин? Здоров?

— Спасибо, они здоровы,— сверкнув черными глазами, ответила молоденькая, недурной наружности, горничная.

— Так, так... Это хорошо, что он здоров. Здоровье прежде всего.

— Да уж здоровье такая вещь, что действительно.

— Без здоровья никак не проживешь,— вставила свое слово и моя горничная, вежливо кашлянув в руку.

— Больной человек уж не то, что здоровый,— благосклонно ответила моей горничной горничная Зверюгина.

— Где уж!

Выяснив всесторонне с этими двумя разговорчивыми девушками вопрос о преимуществе человеческого здоровья над болезнями, я наконец спросил пришлую горничную:

— А зачем барин вас прислал ко мне?

— Как же, как же! Они записку вам прислали. Ответа просили.

Я вскрыл конверт и прочел следующее странное послание:

«Прости, дорогой Аркадий, что я долго не отвечал тебе. Дело в том, что, когда мы в прошлом году встретились случайно в театре Корша, ты спросил у меня, не могу ли я тебе одолжить сто рублей, так как ты, по твоим словам, не мог получить из банка по случаю праздника денег. К сожалению, у меня тогда не было таких денег, а теперь есть, и, если тебе надо, я могу прислать. Я знаю, как ты аккуратен в денежных делах. Так вот, напиши мне ответ. Пиши побольше, не стесняйся. Моя горничная подождет. Твой Василиск».

— Судя по письму,— подумал я.— этот Василиск или сейчас пьян, или у него начинается прогрессивный паралич.

Я написал ему вежливый ответ с благодарностью за такую неожиданную заботливость о моих делах и, передавая письмо горничной, спросил:

— Ваш барин, наверное, тут же живет, на Троицкой?

— Нет-с. Мы живем на двадцать первой линии Васильевского Острова.

— Совершенно невероятно! Ведь это, кажется, у черта на куличках.

— Да-с,— вздохнула горничная.— Очень далеко. Прощайте, барин! Мне еще в два места заехать надо.

2

На третий день после этого визита горничная около часу дня снова доложила мне:

— Вас спрашивает горничная господина Зверюгина.

— Опять?! Что ей надо?

— Письмо от ихнего барина.

— Впустите ее. Здравствуйте, милая. Ну, как дела у вашего барина?

— Дела ничего, спасибо. Дела хорошие. Да уж плохие дела — это не дай Господь.

Моя горничная тоже согласилась с нею:

— Хорошие дела когда, так лучше и хотеть не надо.

Отдав дань этикету, мы помолчали.

— Письмо? Ну, давайте.

«Радуюсь за тебя, дорогой Аркадий, что деньги тебе сейчас не нужны. Между прочим: когда ты был весной прошлого года у меня, то забыл на подзеркальнике пачку газет («Нов. Время», «Речь» и друг.), а также проспект фирмы кроватей «Санитас». Это все у меня случайно сохранилось. Если тебе нужно — напиши. Пришлю. Обнимаю тебя. Ну, как вообще? Пиши побольше. У тебя такой чудесный стиль, что приятно читать. Любящий Василиск».

Я ответил ему:

«Три года тому назад однажды в ресторане «Малоярославец» ты спросил меня: который час? К сожалению, у меня тогда часы стояли. Теперь я имею возможность ответить тебе на твой вопрос. Сейчас четверть второго. Не стоит благодарности. Что же касается газет, то, конечно, я хожу без них сам не свой, но из дружбы к тебе могу ими пожертвовать. Именно — передай их своей горничной. Пусть она обернет тебя ими и подожжет в тот самый момент, когда ты ее снова погонишь за не менее важным делом. Спи только на кроватях фирмы Санитас!»

— Скажите, милая,— спросил я, передавая горничной письмо,— вы только ко мне ездите или еще к кому?

— Нет, что вы, барин! У меня теперь очень много дела. Мне еще нужно съездить сегодня на Безбородкинский проспект, а потом в Химический переулок. Это где-то на Петергофском шоссе.

— Черт знает что! А в Химический переулок нужно не к Бройдесу ли?

— Да-с, к господину Бройдесу.

— Ага! Так этот Бройдес через час будет у меня. Оставьте ему письмо, я передам.

— Премного благодарю. А то это действительно... Отсюда часа полтора...

3

Приехал Бройдес.

— Данила,— сказал я.— Вот тебе письмо от Зверюгина.

— Ты знаешь, этот Зверюгин — он с ума сошел,— пожал плечами Бройдес.— Его вдруг обуяла самая истерическая деликатность, внимательность и аккуратность. Он буквально заваливает меня письмами. Я бы на месте его горничной давно сбежал.

— Он и тебе тоже пишет?

— А разве и тебе? Представь себе, третьего дня я получил письмо с запросом: не знаю ли я, где находится главное управление по делам местного хозяйства,— справку, которую можно навести в любой телефонной книге, у любого городового. А вчера присылает мне рубль восемьдесят копеек, с письмом, в котором сообщает, что вспомнил, как мы с ним в прошлом году ездили на скачки в Коломяги и я якобы платил за мотор три рубля шестьдесят копеек. Я уверен, что с ним делается что-то нехорошее...

— Посмотри-ка, что он тебе сегодня пишет.

Бройдес прочел:

«Дорогой Данила! У меня к тебе большая просьба: не знаешь ли ты адрес Аркадия Аверченко — никак я не могу его отыскать, а очень нужно. Напиши, как поживаешь. Не стесняйся писать побольше (у тебя замечательный стиль), а горничная подождет».

Мы взглянули друг на друга.

— Тут дело нечисто. Человек пишет мне почти каждый день письма, получает на них ответы и в то же время справляется, где я живу! Данила! Этот человек или очень болен, или здесь кроется какой-нибудь ужас.

Бройдес встал.

— Ты прав. Едем сейчас же к нему. Вызови таксомотор — он живет черт знает где!

4

Мы звонили у парадного минут десять — из квартиры Зверюгина не было никакого ответа.

Наконец, когда я энергично постучал в дверь кулаком и крикнул, что иду в полицию, дверь приотворилась, и в щель просунулась растрепанная голова полураздетого Зверюгина. Он был встревожен, но, увидя нас, успокоился.

— Ах, это вы! Я думал — горничная. Тссс! Тише. Идите сюда и разденьтесь. В те комнаты нельзя.

— Почему?! — в один голос спросили мы.

— Там... дама!

Я бросил косой взгляд на Бройдеса.

— Ты понимаешь, Данила, в чем дело?

— Да уж теперь ясно как день. Только послушай, Вася... Как тебе не стыдно гонять бедную девушку по всему Петербургу от одного края до другого? Неужели ты не мог бы запирать ее на это время в кухне?!

— Да, попробуй-ка,— жалобно захныкал Василиск Зверюгин.— Это такая бешеная ревнивица, что сразу поймет в чем дело и разнесет кухню в куски.

— Вот... оно... что! — с расстановкой сказал Бройдес.— Бедная девушка! Вот все вы такие мужчины подлецы: обольстите нас, бедных женщин, совратите, опутаете сладкими цепями, а потом гоняете с Химического переулка на Троицкую, проводя это время в объятиях разлучницы. Так, что ли?

— Так,— бледной улыбкой усмехнулся Зверюгин.

Я уселся без приглашения на стул и спросил:

— Скажи, у тебя нет еще каких-нибудь друзей, кроме нас?

Он понял.

— Есть-то есть, да они или близко живут, или уже я все у них узнал и все им возвратил, что было возможно. Вы не можете представить, какой я стал аккуратный: за эти нужные мне три часа в день я возвратил по принадлежности все когда-то взятые и зачитанные мною книги, я ответил на все письма, на которые не отвечал по три года, я возвращал долги, вспоминая все до последней копейки! Я просто даже справлялся о здоровье моих милых, моих дорогих, моих чудесных друзей! И я теперь обращаюсь к вам: придумайте что-нибудь для моей горничной... Что-нибудь на три часа! Моя фантазия иссякла.

Я подошел к столу, взял какую-то книгу и сказал:

— Ладно! Это какая книга? Мопассан? Том третий? Завтра же пришли мне эту книжку... Слышишь? Мне она очень нужна. Через час я ее верну тебе. Это ничего, что горничная подождет? И ничего, что ты мне пришлешь эту книгу также и послезавтра?

— О, пожалуйста,— засмеялся он.— Она все равно полуграмотная, моя Катя, и в этих делах ничего не понимает. Скажи ей, что это корректура, что ли. Ей ведь все равно.

5

Каждый день аккуратно бедная Катя привозила мне том третий Мопассана.

— Ну, как погода? — спрашивал я.

— Ничего, барин. Погода теплая, солнышко.

— Чудесно! Терпеть не могу, когда холодно и идет дождь.

— Что уж тут хорошего. Одна неприятность.

А моя горничная добавляла:

— В дождь-то совсем нехорошо. Одна грязь чего стоит.

— А как же! Кому такое приятно?!

Я брал Мопассана и уходил в кабинет читать газеты или просматривать редакционные письма.

Часа через полтора выходил в кухню и снова возвращал Мопассана.

— Готово. Поблагодарите барина и кланяйтесь ему. Скажите, чтобы завтра обязательно прислал — это, брат, очень нужная вещь!

— Хорошо-с, передам.

* * *

Мопассан за три недели порядочно поистрепался.

Обрез книги засалился, и обложка потемнела.

Через три недели книжка не появлялась у меня подряд четыре дня, потом, появившись однажды, исчезла на целую неделю, потом не было ее десять дней...

Самый длительный срок был полтора месяца.

Катя принесла мне ее в тот раз, будучи в очень веселом настроении, сияющая, оживленная:

— Барин просили меня сейчас же возвращаться, не дожидаясь. Книжку я оставлю; когда-нибудь зайду.

Да так и не зашла.

Это было, очевидно, там последнее — самое короткое свидание.

Это была ликвидация.

Счастливица — ты, Катя! Бедная ты — та, другая!

Желтеет и коробится обложка Мопассана. Лежит эта книга на шкапу, уже ненужная, и покрывается она пылью.

Это пыль тления, это смерть.

ПЕТУХОВ

1

Муж может изменять жене сколько угодно и все-таки будет оставаться таким же любящим, нежным и ревнивым мужем, каким он был до измены.

Назидательная история, случившаяся с Петуховым, может служить примером этому . . . .

. . . .

Петухов начал с того, что, имея жену, пошел однажды в театр без жены и увидел там высокую красивую брюнетку. Их места были рядом, и это дало Петухову возможность, повернувшись немного боком, любоваться прекрасным мягким профилем соседки.

Дальше было так: соседка уронила футляр от бинокля — Петухов его поднял; соседка внимательно посмотрела на Петухова — он внутренно задрожал сладкой дрожью; рука Петухова лежала на ручке кресла — такую же позу пожелала принять и соседка... а когда она положила свою руку на ручку кресла — их пальцы встретились.

Оба вздрогнули, и Петухов сказал:

— Как жарко!

— Да,— опустив веки, согласилась соседка.— Очень. В горле пересохло до ужаса.

— Выпейте лимонаду.

— Неудобно идти к буфету одной,— вздохнула красивая дама.

— Разрешите мне проводить вас.

Она разрешила.

В последнем антракте оба уже болтали, как знакомые, а после спектакля Петухов, провожая даму к извозчику, взял ее под руку и сжал локоть чуть-чуть сильнее, чем следовало. Дама пошевелилась, но руки не отняла.

— Неужели мы так больше и не увидимся?— с легким стоном спросил Петухов.— Ах! Надо бы нам еще увидеться.

Брюнетка лукаво улыбнулась:

— Тссс!.. Нельзя. Не забывайте, что я замужем.

Петухов хотел сказать, что это ничего не значит, но удержался и только прошептал:

— Ах, ах! Умоляю вас — где же мы увидимся?

— Нет, нет,— усмехнулась брюнетка.— Мы нигде не увидимся. Бросьте и думать об этом. Тем более что я теперь каждый почти день бываю в скетинг-ринге.

— Ага! — вскричал Петухов.— О, спасибо, спасибо вам.

— Я не знаю, за что вы меня благодарите? Решительно недоумеваю. Ну, здесь мы должны проститься! Я сажусь на извозчика.

Петухов усадил ее, поцеловал одну руку, потом, помедлив одно мгновение, поцеловал другую.

Дама засмеялась легким смехом, каким смеются женщины, когда им щекочут затылок,— и уехала.

2

Когда Петухов вернулся, жена еще не спала. Она стояла перед зеркалом и причесывала на ночь волосы.

Петухов, поцеловав ее в голое плечо, спросил:

— Где ты была сегодня вечером?

— В синематографе.

Петухов ревниво схватил жену за руку и прошептал, пронзительно глядя в ее глаза:

— Одна?

— Нет, с Марусей.

— С Марусей? Знаем мы эту Марусю!

— Я тебя не понимаю.

— Видишь ли, милая... Мне не нравятся эти хождения по театрам и синематографам без меня. Никогда они не доведут до хорошего!

— Александр! Ты меня оскорбляешь... Я никогда не давала повода!!!

— Э, матушка! Я не сомневаюсь — ты мне сейчас верна, но ведь я знаю, как это делается. Ха-ха! О, я прекрасно знаю вас, женщин! Начинается это все с пустяков. Ты, верная жена, отправляешься куда-нибудь в театр и находишь рядом с собой соседа, этакого какого-нибудь приятного на вид блондина. О, конечно, ты ничего дурного и в мыслях не имеешь. Но, предположим, ты роняешь футляр от бинокля или еще что-нибудь — он поднимает, вы встречаетесь взглядами... Ты, конечно, скажешь, что в этом нет ничего предосудительного? О, да! Пока, конечно, ничего нет. Но он продолжает на тебя смотреть, и это тебя гипнотизирует... Ты кладешь руку на ручку кресла, и — согласись, это очень возможно — ваши руки соприкасаются. И ты, милая, ты (Петухов со стоном ревности бешено схватил жену за руку) — вздрагиваешь, как от электрического тока. Ха-ха! Готово! Начало сделано!! «Как жарко»,— говорит он. «Да,— простодушно отвечаешь ты.— В горле пересохло...» — «Не желаете ли стакан лимонаду?» — «Пожалуй...»

Петухов схватил себя за волосы и запрыгал по комнате.

Его ревнивый взгляд жег жену.

— Леля,— простонал он.— Леля! Признайся!.. Он потом мог взять тебя под руку, провожать до извозчика и даже — негодяй! — при этом мог добиваться: когда и где вы можете встретиться. Ты, конечно, свидания ему не назначила — я слишком для этого уважаю тебя, но ты могла, Леля, могла ведь вскользь сообщить, что ты часто посещаешь скетинг-ринг или еще что-нибудь... О, Леля, как я хорошо знаю вас, женщин!!

— Что с тобой, глупенький? — удивилась жена.— Ведь этого же всего не было со мной...

— Берегись, Леля! Как бы ты ни скрывала, я все-таки узнаю правду! Остановись на краю пропасти!

Он тискал жене руки, бегал по комнате и вообще невыносимо страдал.

3

Первое лицо, с которым встретился Петухов, приехав в скетинг-ринг, была Ольга Карловна, его новая знакомая.

Увидев Петухова, она порывистым искренним движением подалась к нему всем телом и с криком радостного изумления спросила:

— Вы? Каким образом?

— Позвольте быть вашим кавалером?

— О, да. Я здесь с кузиной. Это ничего. Я познакомлю вас с ней.

Петухов обвил рукой талию Ольги Карловны и понесся с ней по скользкому блестящему асфальту.

И, прижимая ее к себе, он чувствовал, как часто-часто под его рукой билось ее сердце.

— Милая! — прошептал он еле слышно.— Как мне хорошо...

— Тссс...— улыбнулась розовая от движения и его прикосновений Ольга Карловна.— Таких вещей замужним дамам не говорят.

— Я не хочу с вами расставаться долго-долго. Давайте поужинаем вместе.

— Вы с ума сошли! А кузина! А... вообще...

— «Вообще» — вздор, а кузину домой отправим.

— Нет, и не думайте! Она меня не оставит!

Петухов смотрел на нее затуманенными глазами и спрашивал:

— Когда? Когда?

— Ни-ког-да! Впрочем, завтра я буду без нее.

— Спасибо!..

— Я не понимаю, за что вы меня благодарите?

— Мы поедем куда-нибудь, где уютно-уютно. Клянусь вам, я не позволю себе ничего лишнего!!

— Я не понимаю... что вы такое говорите? Что такое — уютно?

— Солнце мое лучистое! — уверенно сказал Петухов.

. . . .

Приехав домой, он застал жену за книжкой.

— Где ты был?

— Заезжал на минутку в скетинг-ринг. А что?

— Я тоже поеду туда завтра. Эти коньки — прекрасная вещь.

Петухов омрачился.

— Ага! Понимаю-с! Все мне ясно!

— Что?

— Да, да... Прекрасное место для встреч с каким-нибудь полузнакомым пройдохой. У-у, подлая!

Петухов сердито схватил жену за руку и дернул.

— Ты в своем уме?

— О-о,— горько засмеялся Петухов,— к сожалению, в своем. Я тебя понимаю! Это делается так просто! Встреча и знакомство в каком-нибудь театре, легкое впечатление от его смазливой рожи, потом полуназначенное полусвидание в скетинг-ринге, катанье в обнимку, идиотский шепот и комплименты. Он — не будь дурак — сейчас тебе: «Поедем куда-нибудь в уютный уголок поужинать». Ты, конечно, сразу не согласишься...

Петухов хрипло, страдальчески засмеялся.

— Не согласишься... «Я,— скажешь ты,— замужем, мне нельзя, я с какой-нибудь дурацкой кузиной»! Но... змея! Я прекрасно знаю вас, женщин,— ты уже решила на другой день поехать с ним, куда он тебя повезет. Берегись, Леля!

Растерянная, удивленная жена сначала улыбалась, а потом под тяжестью упреков и угроз заплакала.

Но Петухову было хуже. Он страдал больше жены.

4

Петухов приехал домой ночью, когда жена уже спала.

Пробило три часа.

Жена проснулась и увидела близко около себя два горящих подозрительных глаза и исковерканное внутренней болью лицо.

— Спите? — прошептал он.— Утомились? Ха-ха. Как же... Есть от чего утомиться! Страстные, грешные объятия — они утомляют!!

— Милый, что с тобой? Ты бредишь?

— Нет... я не брежу. О, конечно, ты могла быть это время и дома, но кто, кто мне поклянется, что ты не была сегодня на каком-нибудь из скетинг-рингов и не встретилась с одним из своих знакомых?! Это ничего, что знакомство продолжается три-четыре дня... Ха-ха! Почва уже подготовлена, и то, что ты говоришь ему о своем муже, о доме, умоляешь его не настаивать,— это, брат, последние жалкие остатки прежнего голоса добродетели, последняя никому не нужная борьба...

— Саша!!

— Что там — Саша!

Петухов схватил жену за руку выше локтя так, что она застонала.

— О, дьявольские порождения! Ты, едучи даже в кабинет ресторана, твердишь о муже и сама же чувствуешь всю бесцельность этих слов. Не правда ли? Ты стараешься держаться скромно, но первый же бокал шампанского и поцелуй после легкого сопротивления приближает тебя к этому ужасному проклятому моменту... Ты! Ты — чистая, добродетельная женщина — только и находишь в себе силы, что вскричать: «Боже, но ведь сюда могут войти!» Ха-ха! Громадный оплот добродетели, который рушится от повернутого в дверях ключа и двух рублей лакею на чай! И вот — гибнет все! Ты уже не та моя Леля, какой была, не та, черт меня возьми!! Не та!!

Петухов вцепился жене в горло руками, упал на колени у кровати и, обессиленный, зарыдал хватающим за душу голосом.

5

Прошло три дня.

Петухов приехал домой к обеду, увидел жену за вязаньем, заложил руки в карманы и, презрительно прищурившись, рассмеялся:

— Дома сидите? Так. Кончен, значит, роман! Недолго же он продолжался, недолго. Ха-ха. Это очень просто... Стоит ему, другу сердца, встретить тебя едущей на извозчике по Московской улице чуть не в объятиях рыжего офицера генерального штаба,— чтобы он написал тебе коротко и ясно: «Вы могли изменить мужу со мной,

но изменять мне со случайно подвернувшимся рыжеволосым сыном Марса — это слишком! Надеюсь, вы должны понять теперь, почему я к вам совершенно равнодушен и — не буду скрывать — даже ощущаю в душе легкий налет презрения и сожаления, что между нами была близость. Прощайте!»

Жена, приложив руку к бьющемуся сердцу, встревоженная, недоумевающая, смотрела на Петухова, а он прищелкивал пальцами, злорадно подмигивал ей и шипел:

— А что — кончен роман?! Кончен?! Так и надо. Так и надо! Го-го-го! Довольно я, душа моя, перестрадал за это время!!

ИСТОРИЯ ОДНОГО РАССКАЗА

18 декабря 1903 года Василий Покойников принес в редакцию газеты «Вычегодская простыня» свой первый рассказ «Рождественская ночь».

Рассказ был как рассказ.

В нем сообщалось об одном бежавшем с каторги преступнике, который в рождественскую ночь задумал совершить преступление. Он прокрался к одному домику на окраине города и заглянул в окно с целью узнать, кого ему придется сегодня укокошить. Преступник увидел бедную худую мать, у которой не было даже дров, чтобы растопить печь, и понятно, что она своим телом согревала бедную худую малютку дочь, которая дрожала у нее на коленях... На столе лежала маленькая корка хлеба — и это было все, что осталось от прежней богатой меблировки. В лирическом отступлении автор рассказывал, что у женщины, видите ли, был муж, но его однажды перерезало поездом, так что бедной жене он уже был ни к чему... Преступник не читал этого разъяснения автора, но, поглядевши в окно, так растрогался, что, еле сдерживая слезы, ворвался в домик, сорвал с себя пальто, накрыл им озябшую малютку, потом вынул из кармана последние три рубля (добытые, заметьте, как это ни удивительно, честным путем), сунул их матери в руку, прошептав:

— Сделайте на них малютке елочку.

И потом, раскаиваясь во всех своих грабежах и преступлениях, выбежал полуодетый в поле, где свистела и выла снежная вьюга.

Автор по неопытности не знал, что ему делать с раскаявшимся преступником, попавшим без пальто в снежную вьюгу, и поэтому предательски заморозил его, скрывши это преступление тем, что засыпал несчастного снегом.

Конец рассказа был такой:

«А вьюга все свистела и выла, будто торжествуя над несчастным... Засыпая в смертельном сне, он улыбнулся и — так и заснул навеки с радостной улыбкой...»

«Митька Вампир искупил свои грехи...»

«Мятель выла»...

* * *

Этот рассказ появился в рождественском номере «Вычегодской простыни» и многим понравился.

Василий Покойников был все праздники в чаду славы и отходить стал только в Великом посту. На масленице еще кое-кто спрашивал его:

— Это вы написали рассказ «Рождественская ночь»? Очень, очень мило.

А потом прекратились и эти вопросы.

Подходила Пасха.

За неделю до Пасхи Василий Покойников стал ходить унылый и задумчивый, а в страстной вторник сел писать пасхальный рассказ.

Он долго тер свою талантливую голову, стараясь придумать что-нибудь особенно трогательное, но не мог. Потом ему сделалось жаль, что он так необдуманно воспользовался раскаявшимся преступником для рождественского рассказа в то время, когда такой преступник великолепно мог раскаяться на Пасху.

А потом писателя осенило.

Он взял газету, в которой был напечатан его рождественский рассказ, и горячим лучом своего таланта растопил снег, согнавши также мороз, который сковывал собой весь рассказ...

Сметя мощным движением остатки снега, Покойников развесил по разным местам колокола, и там, где раньше выла и бушевала вьюга, теперь раздавался ликующий, мощный пасхальный благовест.

Голодная бедная мать по-прежнему сидела с худой малюткой дочерью на коленях, но теперь им уже не хватало для благополучия — кулича и яичек, чтобы разговеться. Митька Вампир, который даже в великую пасхальную заутреню не мог бросить своих позорных привычек, опять подкрался к домику, чтобы укокошить не-

счастных, но, увидя, что у них нет пасхального стола, снова раскаялся и, войдя в дом уже как старый знакомый, разрыдался и дал на этот раз пять рублей (остальные два рубля были прибавлены Покойниковым как компенсация за пальто, в котором несчастные теперь не нуждались).

Жестокий закон стройности и законченности произведения неумолимо требовал смерти Митьки Вампира: такой смерти, которой он мог бы искупить свою позорную и предосудительную жизнь... Но было одно затруднение: теперь не было мороза! Покойников хотел сначала сжечь его жгучими лучами солнца, но выходило неправдоподобно. Перебросить же всю компанию куда-нибудь на экватор — казалось Покойникову задачей слишком сложной и громоздкой.

Покойников схитрил.

Поломал на реке лед, устроил ледоход и, посадив на льдину котенка, стал подстрекать Вампира полезть в воду и спасти его.

Безалаберный Вампир доверчиво полез за котенком, а Покойников потихоньку придавил ему спину льдиной и потопил Вампира.

* * *

Рассказ «Пасхальная ночь», напечатанный в газете «Вычегодская заря», тоже очень понравился. Автор стал входить в известность. Он стал ухаживать за богатой барышней, и она, прельстившись славой жены литератора, сделалась Покойниковой...

Переехали в Петербург, и Покойников завел связи со столичными газетами и журналами.

Едва наступал какой-нибудь большой праздник, как в доме Покойниковых начиналась двойная чистка и уборка. Одна — в сфере домашней обстановки и утвари, другая — за письменным столом литератора Покойникова. Он вынимал своего Вампира, чинил его, засыпал все снегом, или развешивал колокола, или заливал своих героев водой, потом, проморивши некоторое время мать и дочь голодом, нес свою «Ночь подо что-нибудь» в редакцию.

Печатали.

Жена очень гордилась Василием, и талант его вызывал в ней сладкий, благоговейный ужас. Любила она мужа главным образом за ум и талант, читая его произведения всегда со слезами на глазах.

Русская революция не застала Василия Покойникова врасплох. Он, не растерявшись, превратил домик вдо-

вы в покинутую конспиративную квартиру, облачил постаревшего и разочарованного жизнью Митьку Вампира в гороховое пальто, и бывший преступник с той же присущей ему экзальтацией выручал вдову из разных бед, как и раньше...

Жена молилась на своего мужа.

Однажды в осенний вечер Покойников стоял около отрывного календаря и, отворачивая листки, искал праздника, хотя бы и не такого большого, как Рождество или Троица...

Жена тут же перелистывала старый-престарый иллюстрированный журнал, который она, роясь от скуки в книгах мужа, обнаружила на чердаке.

Переворачивая рассеянно пожелтевшие страницы, она остановила взгляд на каком-то рассказе и стала пробегать его. Рассказ назывался «Рождественское преступление каторжника»...

И, вчитываясь в него, жена литератора неожиданно побледнела... и к концу — бледнела все более и более...

Она постепенно узнавала и домик на краю города, и мерзнувшую голодную вдову с малюткой дочерью, и каторжника, которого хотя и звали Петькой Коршуном, но он по своим поступкам с утомительной последовательностью напоминал Митьку Вампира...

Дочитав до последней фразы: «Мятель свистела...» — жена опустила на руки голову и тихо, беззвучно заплакала. Она плакала о своей загубленной жизни, тосковала по рухнувшем мираже, по разбитом идеале, который теперь, не видя происходящего, стоял с нахмуренными бровями около календаря и подбирался незаметно к Рождеству.

НИНОЧКА

1

Начальник службы тяги, старик Мишкин, пригласил в кабинет ремингтонистку Ниночку Ряднову, и, протянувши ей два черновика, попросил ее переписать их начисто.

Когда Мишкин передавал эти бумаги, то внимательно посмотрел на Ниночку и, благодаря солнечному свету, впервые разглядел ее как следует.

Перед ним стояла полненькая, с высокой грудью девушка среднего роста. Красивое белое лицо ее было спо-

койно, и только в глазах время от времени пробегали искорки голубого света.

Мишкин подошел к ней ближе и сказал:

— Так вы, это самое... перепишите бумаги. Я вас не затрудняю?

— Почему же? — удивилась Ниночка.— Я за это жалованье получаю.

— Так, так... жалованье. Это верно, что жалованье. У вас грудь не болит от машинки? Было бы печально, если бы такая красивая грудь да вдруг бы болела...

— Грудь не болит.

— Я очень рад. Вам не холодно?

— Отчего же мне может быть холодно?

— Кофточка у вас такая тоненькая, прозрачная... Ишь, вон у вас руки просвечивают. Красивые руки. У вас есть мускулы на руках?

— Оставьте мои руки в покое!

— Милая... Одну минутку... Постойте... Зачем вырываться? Я, это самое... рукав, который просвечив...

— Пустите руку! Как вы смеете! Мне больно! Негодяй!

Ниночка Ряднова вырвалась из жилистых дрожащих рук старого Мишкина и выбежала в общую комнату, где занимались другие служащие службы тяги.

Волосы у нее сбились в сторону, и левая рука, выше локтя, немилосердно ныла.

— Мерзавец,— прошептала Ниночка.— Я тебе этого так не прощу.

Она надела на пишущую машину колпак, оделась сама и, выйдя из управления, остановилась на тротуаре. Задумалась: «К кому же мне идти? Пойду к адвокату».

2

Адвокат Язычников принял Ниночку немедленно и выслушал ее внимательно.

— Какой негодяй! А еще старик! Чего же вы теперь хотите? — ласково спросил адвокат Язычников.

— Нельзя ли его сослать в Сибирь? — попросила Ниночка.

— В Сибирь нельзя... А притянуть его вообще к ответственности можно.

— Ну, притяните.

— У вас есть свидетели?

— Я — свидетельница,— сказала Ниночка.

— Нет, вы — потерпевшая. Но, если не было свидетелей, то, может быть, есть у вас следы насилия?

— Конечно, есть. Он произвел надо мной гнусное насилие. Схватил за руку. Наверно, там теперь синяк.

Адвокат Язычников задумчиво посмотрел на пышную Ниночкину грудь, на красивые губы и розовые щеки, по одной из которых катилась слезинка.

— Покажите руку,— сказал адвокат.

— Вот тут, под кофточкой.

— Вам придется снять кофточку.

— Но ведь вы же не доктор, а адвокат,— удивилась Ниночка.

— Это ничего не значит. Функции доктора и адвоката так родственны друг другу, что часто смешиваются между собой. Вы знаете, что такое алиби?

— Нет, не знаю.

— Вот то-то и оно-то. Для того чтобы установить наличность преступления, я должен прежде всего установить ваше алиби. Снимите кофточку.

Ниночка густо покраснела и, вздохнув, стала неловко расстегивать крючки и спускать с одного плеча кофточку.

Адвокат ей помогал. Когда обнажилась розовая, упругая Ниночкина рука с ямочкой на локте, адвокат дотронулся пальцами до красного места на бело-розовом фоне плеча и вежливо сказал:

— Простите, я должен освидетельствовать. Поднимите руки. А это что такое? Грудь?

— Не трогайте меня! — вскричала Ниночка.— Как вы смеете?

Дрожа всем телом, она схватила кофточку и стала поспешно натягивать ее.

— Чего вы обиделись? Я должен еще удостовериться в отсутствии кассационных поводов...

— Вы — нахал! — перебила его Ниночка и, хлопнув дверью, ушла.

Идя по улице, она говорила сама себе:

«Зачем я пошла к адвокату? Мне нужно было пойти прямо к доктору. Самое лучшее — это пойти к доктору, пусть он даст свидетельство о гнусном насилии».

3

Доктор Дубяго был солидный пожилой человек.

Он принял в Ниночке горячее участие, выслушал ее, выругал начальника тяги, адвоката и потом сказал:

— Раздеиьтесь.

Ниночка сняла кофточку, но доктор Дубяго потер профессиональным жестом руки и попросил:

— Вы уж, пожалуйста, совсем разденьтесь...

— Зачем же совсем? — вспыхнула Ниночка.— Он меня хватал за руку. Я вам руку и покажу.

Доктор осмотрел фигуру Ниночки, ее молочно-белые плечи и развел руками.

— Все-таки вам нужно раздеться... Я должен бросить на вас ретроспективный взгляд. Позвольте, я вам помогу.

Он наклонился к Ниночке, осматривая ее близорукими глазами, но через минуту Ниночка взмахом руки сбила с его носа очки, так что доктор Дубяго был лишен на некоторое время возможности бросать не только ретроспективные взгляды, но и обыкновенные.

— Оставьте меня!.. Боже! Какие все мужчины мерзавцы!

4

Выйдя от доктора Дубяго, Ниночка вся дрожала от негодования и злости.

«Вот вам — друзья человечества! Интеллигентные люди... Нет, надо вскрыть, вывести наружу, разоблачить всех этих фарисеев, прикрывающихся масками добродетели».

Ниночка прошлась несколько раз по тротуару и, немного успокоившись, решила отправиться к журналисту Громову, который пользовался большой популярностью, славился как человек порядочный и неподкупно честный, обличая неправду от двух до трех раз в неделю.

Журналист Громов встретил Ниночку сначала неприветливо, но потом, выслушав Ниночкин рассказ, был тронут ее злоключениями.

— Ха-ха! — горько засмеялся он.— Вот вам лучшие люди, призванные врачевать раны и облегчать страдания страждущего человечества! Вот вам носители правды и защитники угнетенных и оскорбленных, взявшие на себя девиз — справедливость! Люди, с которых пелена культуры спадает при самом пустяковом столкновении с жизнью. Дикари, до сих пор живущие плотью... Ха-ха. Узнаю я вас!

— Прикажете снять кофточку? — робко спросила Ниночка.

— Кофточку? Зачем кофточку?.. А, впрочем... можно

снять и кофточку. Любопытно посмотреть на эти следы... гм... культуры.

Увидев голую руку и плечо Ниночки, Громов зажмурился и покачал головой.

— Однако, руки же у вас... разве можно выставлять подобные аппараты на соблазн человечеству. Уберите их. Или нет... постойте... чем это они пахнут? Что, если бы я поцеловал эту руку вот тут... в сгибе... А... Гм... согласитесь, что вам никакого ущерба от этого не будет, а мне доставит новое любопытное ощущение, которое...

Громову не пришлось изведать нового любопытного ощущения. Ниночка категорически отказалась от поцелуя, оделась и ушла.

Идя домой, она улыбалась сквозь слезы:

«Боже, какие все мужчины негодяи и дураки!»

5

Вечером Ниночка сидела дома и плакала.

Потом, так как ее тянуло рассказать кому-нибудь свое горе, она переоделась и пошла посидеть к соседу по меблированным комнатам студенту-естественнику Ихневмонову.

Ихневмонов день и ночь возился с книгами, и всегда его видели низко склонившимся красивым, бледным лицом над печатными страницами, за что Ниночка шутя прозвала студента профессором.

Когда Ниночка вошла, Ихневмонов поднял от книги голову, тряхнул волосами и сказал:

— Привет Ниночке! Если она хочет чаю, то чай и ветчина там. А Ихневмонов дочитает пока главу.

— Меня сегодня обидели, Ихневмонов,— садясь, скорбно сообщила Ниночка.

— Ну!.. Кто?

— Адвокат, доктор, старик один... Такие негодяи!

— Чем же они вас обидели?

— Один схватил руку до синяка, а другие осматривали и все приставали...

— Так...— перелистывая страницу, сказал Ихневмонов,— это нехорошо.

— У меня рука болит, болит,— жалобно протянула Ниночка.

— Этакие негодяи! Пейте чай.

— Наверно,— печально улыбнулась Ниночка,— и вы тоже захотите осмотреть руку, как те.

— Зачем же ее осматривать? — улыбнулся студент.— Есть синяк — я вам и так верю.

Ниночка стала пить чай. Ихневмонов перелистывал страницы книги.

— До сих пор рука горит,— пожаловалась Ниночка.— Может, примочку какую-нибудь надо?

— Не знаю.

— Может, показать вам руку? Я знаю, вы не такой, как другие,— я вам верю.

Ихневмонов пожал плечами:

— Зачем же вас затруднять... Будь я медик — я бы помог. А то я — естественник.

Ниночка закусила губу и, встав, упрямо сказала:

— А вы все-таки посмотрите.

— Пожалуй, показывайте вашу руку... Не беспокойтесь... вы только спустите с плеча кофточку... Так... Это?.. Гм... Действительно, синяк. Экие эти мужчины. Он, впрочем, скоро пройдет.

Ихневмонов качнул соболезнующе головой и снова сел за книгу.

Ниночка сидела молча, опустив голову, и ее голое плечо матово блестело при свете убогой лампы.

— Вы бы одели в рукав,— посоветовал Ихневмонов.— Тут чертовски холодно.

Сердце Ниночки сжалось.

— Он мне еще ногу ниже колена ущипнул,— сказала Ниночка неожиданно, после долгого молчания.

— Экий негодяй! — мотнул головой студент.

— Показать?

Ниночка закусила губу и хотела приподнять юбку, но студент ласково сказал:

— Да зачем же? Ведь вам придется снимать чулок, а здесь из дверей, пожалуй, дует. Простудитесь — что хорошего? Ей же Богу, я в этой медицине ни уха, ни рыла не смыслю, как говорит наш добрый русский народ. Пейте чай.

Он погрузился в чтение. Ниночка посидела еще немного, вздохнула и покачала головой.

— Пойду уж. А то мои разговоры отвлекают вас от работы.

— Отчего же, помилуйте,—сказал Ихневмонов, энергично тряся на прощанье руку Ниночки.

Войдя в свою комнату, Ниночка опустилась на кровать и, потупив глаза, еще раз повторила:

— Какие все мужчины негодяи!

САЗОНОВ

1

Рукавов собирался пить чай.

Он налил стакан, посмотрел его на свет и неодобрительно поджал губы.

— Чаишко-то, кажется, мутноватый... Ох уж эти меблированные комнаты! Ох уж эта холостая жизнь!

Дверь скрипнула. Рукавов оглянулся и увидел прижавшегося к притолоке и молча на него смотревшего Заклятьина.

— А, здравствуйте! — равнодушно сказал Рукавов.— Вот приятный визит. Входите... Ну, как дома? Все благополучно? Чаю хотите?

Заклятьин отделился от притолоки и сделал шаг вперед.

— Я пришел только сказать вам, Рукавов,— держась рукой за сердце, сказал Заклятьин,— что людей, подобных вам, нужно убивать без милосердия, как бешеных собак. И, клянусь, я убью вас!

Рукавов отстаивал налитый стакан. Брови его были нахмурены.

— Слушайте, Заклятьин... Я не знаю, на чем вы там помешались и каким вздором сейчас наполнена ваша голова... Но об одном прошу вас: обдумывайте, что говорите! Даже в пылу гнева. Есть такие слова, о которых потом жалеешь всю жизнь. Садитесь. Что случилось?

— Рукавов! Вы меня поражаете!

— Чем? Наоборот, вы меня поражаете. Хотите чаю?

— Рукавов! Берегитесь!

Рукавов улыбнулся:

— Хорошо. Только скажите — от чего. Тогда, может быть, я и буду беречься.

Заклятьин скривил лицо и, взявшись руками за спинку стула, внятно отчеканил:

— Я узнал, что вы находитесь в связи с моей женой, Надеждой Петровной.

— Есть ложь смешная, есть ужасная, есть глупая. То, что вы, Заклятьин, говорите,— ложь третьей категории.

Рукавов снова взялся за свой стакан и, размешивая сахар, бросил холодный взгляд на бледное, искаженное злостью лицо Заклятьина.

— Это не ложь! Когда я уезжал в Москву, вас видели однажды выходящим от моей жены в восемь часов утра.

— И это все? — сурово спросил Рукавов.— Стыдитесь! Извольте, я скажу вам: да, в восемь часов утра выходил от вас, но вошел я к вам в восемь без четверти. Просто забыл накануне вечером свою палку и зашел за ней. Уверен, что Надежда Петровна спала в это время сном праведницы.

— Знаете ли вы,— злобно прошипел Заклятьин,— что я нашел у нее в столе записку от вас, правда, прямых указаний не дающую, но вы там называете мою жену на «ты»!

Рукавов пожал плечами:

— Какой же в этом ужас? Просто как-то в шаловливом настроении я назвал ее «ты» и теперь постоянно дразню ее этим. Мне было забавно, как она сердится.

— Рукавов! — потупившись, тихо сказал Заклятьин.— Сегодня жена сама сказала мне, что вы ее любовник.

Рукавов поднял одну бровь:

— Вы... можете поклясться в этом?

— Даю вам мое честное слово.

— Ох, эти женщины,— усмехнулся Рукавов, качая головой.— Никогда не знаешь, как с ними держаться... Впрочем, вы не подумайте, что я отрицал давеча все только потому, что боялся вас. А просто не в моих правилах разглагольствовать о своих победах.

— Еще бы,— угрюмо сказал Заклятьин.— Это так понятно! И тем не менее еще раз повторяю: берегитесь! Я убью вас.

Рукавов пожевал губами.

— Можно вам задать вопрос, но только совершенно серьезно? И вы отвечайте так же.

— Да.

— За что вы хотите меня убить?

— Вы разбили мою жизнь. Все мое счастье было в этой женщине — вы отняли ее!

Рукавов погрузился в задумчивость.

— Вот что, Заклятьин... Я вам сейчас возражу, но не потому, что желаю сохранить свою жизнь... Я понимаю — слишком глупо для меня было бы плакать и восклицать, прячась за стол: ах, не убивайте меня, ах, пощадите меня!.. В конце концов, жизнь не такое уж важное кушанье. И на помощь я звать не буду... и из ком-

наты не выйду. Можете убить меня во всякую минуту. И тем не менее еще раз спрашиваю: чем я виноват?

— Вы обманули меня. Вы отняли у меня жену.

Голос Заклятьина звучал торжественно и громко.

— Я жену вашу не отнимал. Она сошлась со мной по своей воле.

— Если бы не вы — мы были бы с ней по-прежнему счастливы.

— А какая у вас гарантия — что не явился бы другой?

— Рукавов! Вы ее оскорбляете!

— Чем? Что вы, помилуйте... И в мыслях не имел. Только смотрите: мы оба рискуем стать в смешное положение. Говоря о другом любовнике, я хочу подчеркнуть, что я — человек, не блещущий никакими талантами и красотой, что я — самый заурядный человек. Не начнете же вы сейчас опровергать меня, доказывая, что я человек особенный, ошеломляющий, человек такого сорта, перед которым женщина устоять не может! Человеку, которого хотят убить, не говорят комплиментов!..

— Хорошо! — поморщась, перебил его муж.— Допустим, что вы самый ординарный человек. Что же из этого следует?

— А то, что ординарных людей тысячи. Не будете же вы всех их убивать.

— Не буду. Но они ведь и не любовники жены.

— Если один ординарный человек — любовник, то почему и другой не мог быть любовником? Лотерея!

— В которой муж всегда проигрывает,— громко усмехнулся Заклятьин.

— Утешьтесь! Если я женюсь — я тоже проиграю.

— А вдруг не проиграете? Ведь это цинизм — так думать! Неужели не может быть семьи без измены?

Рукавов встал, протянул вперед руку и взволнованно и быстро заговорил:

— Нет! Прочной любви нет. Верности нет. Опровергайте меня примерами! Скажите мне: «Жена Петрова всю жизнь была верна мужу! Жена Сидорова так и умерла, храня супружескую верность!» Сотни таких случаев есть... тысячи! Верно! Но они моих слов не опровергают. Добавьте даже, что за женами Петрова и Сидорова волочились безуспешно десятки поклонников, что красавец Иванов предлагал этим верным женам все свое состояние, умница Карпов доказывал нелепость

верности, вельможа Григорьев тщетно ослеплял этих жен своим могуществом и великолепием... Заклятьин! Слушайте меня, я вам скажу: это все пустяки... А Сазонова-то ведь не было!

— Какого... Сазонова? — машинально спросил Заклятьин.

— Сазонова! Это я сейчас его выдумал, но Сазонов существует, и живет он, негодяй, в каждом городе: в Харькове, Одессе, Киеве, Новочеркасске!..

— Какой Сазонов?

— Вот какой: в Москве живут муж и жена Васильевы. Сорок лет прожили они душа в душу, свято блюдя супружескую верность, любя друг друга. И вот, несмотря на это, Заклятьин, вы не имеете права сказать: «Ах, это была идеально верная жена — мадам Васильева! За ней ухаживали десятки красавцев, а она все-таки осталась верна своему мужу...» — «Почему она осталась верна? — спрошу я вас.— Не потому ли, что сердце ее абсолютно не было способно на измену?» Нет! Нет, Заклятьин! Просто — потому что Сазонов сидел в это время в Новочеркасске. Стоило ему только приехать в Москву, стоило случайно встретиться с семьей Васильевых — и все счастье мужа полетело бы к черту, развеялось бы, как одуванчик от ветерка. Так можно ли серьезно толковать о верности лучшей из женщин, если она, верность эта, зависит только от приезда Сазонова из Новочеркасска?

— Но в таком случае,— нахмурился Заклятьин,— мы возвращаемся к тому, с чего я начал: Сазоновых этих нужно убивать, как бешеных собак!

— Берегись! Вас тоже должны будут убить.

— Меня? За что?

— Потому что вы тоже — Сазонов для какой-нибудь женщины, живущей в Курске или Обояни. Может быть, вы никогда и не встретитесь с ней — тем лучше для ее мужа! Но вы — Сазонов.

2

Заклятьин оперся локтями о стол, положил голову на руки и застонал:

— Где же выход? Где выход?!

— Успокойтесь,— участливо сказал Рукавов, гладя его по плечу.— Хотите чаю?

— Боже мой! Как вы можете говорить так хладнокровно?.,

— Да ведь чай-то пить все равно нужно,— улыбнулся Рукавов.— Он был мутноватый, но теперь отстоялся. Я вам налью, а?

— Ах ты, господи... Ну, давайте!!

— Вам два куска сахару? Три?

— Три.

— Крепкий любите?

— Рукавов! Где же выход?

— У вас же был выход,— тихо усмехнулся Рукавов.— Когда вы пришли давеча, помните. Хотели убить меня, как бешеную собаку.

— Нет,— серьезно сказал Заклятьин.— Я вас убивать не буду. Она больше виновата, чем вы.

— И она не виновата... Слабые, хрупкие, глупые, безвольные женщины! Мне их иногда до слез жалко... Привяжется сердцем такая к одному человеку, уж на подвиг готова, на самозаклание. И своего, задушевного — ничего нет. Все от него идет,— все ее мысли, стремления, все от Сазонова. Все с его барского плеча. Охо-хо!..

Заклятьин выпил свой чай, прошелся раза два по комнате и, круто повернувшись к дивану, упал ничком на него.

— Рукавов,— проскрежетал он.— Я страдаю. Научите, что мне делать!

Рукавов подсел к нему, одной рукой обнял его плечи, а другой — стал ласково, как ребенка, гладить по коротко остриженной голове.

— Бедный вы мой... Ну, успокойтесь. Делать вам ничего не нужно. Жену я у вас заберу, потому что, если бы даже она и осталась у вас, то какая же это будет жизнь? Одно мученье. Вы будете мучить ее ревностью, она вас — ненавидеть... Что хорошего? Постарайтесь развлечься, встречайтесь с другими женщинами, увлекайтесь ими. Вы человек неглупый, интересный... Гораздо интереснее меня — клянусь вам, что говорю это совершенно серьезно... Всего-то моего и преимущества перед вами, что я — Сазонов, которого угораздило приехать из Новочеркасска. Лежите смирненько, милый. Ну, вот. Встретите вы еще хорошую, душевную женщину, которая приголубит вас по-настоящему.

Плечи Заклятьина судорожно передернулись.

— Я Надю никогда не забуду.

— Ничего-о, миленький... забудете,— мягко, простодушно протянул Рукавов.— Это сейчас, когда чувствуется вся острота обиды и разочарования, кажется, что

горе такое уж большое, такое безысходное... А там обойдется, дальше-то. Ну, конечно, если уж вам под сердце тоска и злость подкатит до того, что будет нестерпимо, ну — убейте меня. Только что ж... Если хорошенько вдуматься — ведь это не поможет, не имеет никакого смысла... Злости против меня у вас нет, а раз нет злости — не нужно и преступление...

Сумерки обволакивали комнату.

В тихом воздухе долго звучали тихие слова:

— Не плачьте, миленький. Вы большой, взрослый мужчина — нехорошо. Это только женщина может убиваться до смерти, стенать, теряя любимого человека,— потому что у женщины ничего другого, кроме жизни сердца, не имеется. А мы, мужчины,— творцы красоты жизни, творцы ее смысла — должны считать свои сердечные раны такими же царапинами, как и те, которыми награждает нас судьба в других случаях. Удержите ваше сердце от терзаний — мужчина должен уметь сделать это. Попробуйте пить даже первое время, попробуйте наскандалить как-нибудь поудивительнее, чтобы это перебросило вас в другую колею. И не смотрите на весь мир так, как будто он — неловкий слуга, не сумевший услужить вам и поэтому достойный презрения и проклятий. Используйте его получше и умирайте попозже. Через год вы забудете все ваше несчастье наполовину, через пять лет — совсем, а к старости и имени-то вашей бывшей жены не вспомните... Так стоит ли из-за этого терзаться? Вы хотели убить меня... Не беспокойтесь, умру и так, своею смертью, и она умрет, и вы... Все умрем... И даже могилки наши одинокие исчезнут с лица земли — новая жизнь пронесется над ними — и ни одна душа не будет знать о трех людях, о трех незначительных букашках, которые когда-то волновались, любили и страдали...

Рукавов говорил странные, сбивчивые, мало выражавшие его мысли слова, но тон их был мягок, ласков и любовен; печальные слова плыли по комнате и смешивались с печальными сумерками.

Заклятьин полежал еще немного с закрытыми глазами, потом вздохнул, встал с дивана, обнял Рукавова, поцеловал его и, нашарив в темноте шляпу, ушел.

СМЕРТЬ ДЕВУШКИ У ИЗГОРОДИ

Я очень люблю писателей, которые описывают старинные запущенные барские усадьбы, освещенные косыми лучами красного заходящего солнца, причем в каждой такой усадьбе у изгороди, стоит по тихой задумчивой девушке, устремившей свой грустный взгляд в беспредельную даль.

Это самый хороший, не причиняющий неприятность сорт женщин: стоят себе у садовой решетки и смотрят вдаль, не делая никому гадостей и беспокойства.

Я люблю таких женщин. Я часто мечтал о том, чтобы одна из них отделилась от своей изгороди и пришла ко мне успокоить, освежить мою усталую, издерганную душу.

Как жаль, что такие милые женщины водятся только у изгороди сельских садов и не забредают в шумные города.

С ними было бы легко. В худшем случае они могли бы только покачать головой и затаить свою скорбь, если бы вы их чем-нибудь обидели.

Прямая им противоположность — городская женщина. Глаза ее бегают, злые, ревнивые, подстерегающие, тут же, около вас... Городская женщина никогда не будет кутаться в мягкий пуховый платок, который всегда красуется на плечах милой женщины у изгороди. Ей подавай нелепейшую шляпу с перьями, бантами и шпильками, которыми она проткнет свою многострадальную голову. А попробуйте ее обидеть... Ей ни на секунду не придет в голову мысль затаить обиду. Она сейчас же начнет шипеть, жалить вас, делать тысячу гадостей. И все это будет сделано с обворожительным светским видом и тактом...

О, как прекрасны девушки у изгороди!

* * *

У меня в доме завелось однажды существо, которое можно было без колебаний причислить к числу городских женщин.

На этой городской женщине я изучил женщин вообще — и много странного, любопытного и удивительного пришлось мне увидеть.

Когда она поселилась у меня, я поставил ей непременным условием — не считать ее за человека.

Сначала она призадумалась:

— А кем же ты будешь считать меня?

— Я буду считать тебя существом выше человека,— предложил я,— существом особенным, недосягаемым, прекрасным, но только не человеком. Согласись сама — какой же ты человек?

Кажется, она обиделась.

— Очень странно! Если у меня нет усов и бороды...

— Милая! Не в усах дело. И уж одно то, что ты видишь разницу только в этом, ясно доказывает, что мы с тобой никогда не споемся. Я даже не буду говорить навязших на зубах слов о повышенном умственном уровне мужчины, о его превосходстве, о сравнительном весе мозга мужчины и женщины,— это вздор. Просто мы разные — и баста. Вы лучше нас, но не такие, как мы... Довольно с тебя этого? Если бы прекрасная, нежная роза старалась стать на одном уровне с черным свинцовым карандашом — ее затея вызвала бы только презрительное пожатие плеч у умных, рассудительных людей.

— Ну, поцелуй меня,— сказала женщина.

— Это можно. Сколько угодно.

Мы поцеловались.

— А ты меня будешь уважать? — спросила она, немного помолчав.

— Очень тебе это нужно! Если я начну тебя уважать, ты протянешь от скуки ноги на второй же день. Не говори глупостей.

И она стала жить у меня.

Часто, утром, просыпаясь раньше чем она, я долго сидел на краю постели и наблюдал за этим сверхъестественным, чуждым мне существом, за этим красивым чудовищем.

Руки у нее были белые, полные, без всяких мускулов, грудь во время дыхания поднималась до смешного высоко, а длинные волосы, разбрасываясь по подушке, лезли ей в уши, цеплялись за пуговицы наволочки и, очевидно, причиняли не меньше беспокойства, чем ядро на ноге каторжника. По утрам она расчесывала свои волосы, рвала гребнем целые пряди, запутывалась в них и обливалась слезами. А когда я, желая помочь ей, советовал остричься, она называла меня дураком.

То же самое мнение обо мне она высказала и второй раз — когда я спросил ее о цели розовых атласных лент, завязанных в хрупкие причудливые банты на ночной сорочке.

— Если ты, милая, делаешь это для меня, то они со-

вершенно не нужны и никакой пользы не приносят. А в смысле нарядности — кроме меня ведь их никто не видит. Зачем же они?

— Ты глуп.

Я не видел у нее ни одной принадлежности туалета, которая была бы рациональна, полезна и проста. Панталоны состояли из одних кружев и бантов, так что согреть ноги не могли; корсет мешал ей нагибаться и оставлял на прекрасном белом теле красные следы. Подвязки были такого странного, запутанного вида, что дикарь, не зная, что это такое, съел бы их. Да и сам я, культурный, сообразительный человек, пришел однажды в отчаяние, пытаясь постичь сложный, ни на что не похожий их механизм.

Мне кажется, что где-то сидит такой хитрый, глубокомысленный, но глупый человек, который выдумывает все эти вещи и потом подсовывает их женщинам.

Цель, к которой он при этом стремится,— сочинить что-нибудь такое, что было бы наименее нужно, полезно и удобно.

«Выдумаю-ка я для них башмаки»,— решил в пылу своей работы этот таинственный человек.

За образец он почему-то берет свое мужское, все умное, необходимое и делает из этого предмет, от которого мужчина сошел бы с ума.

«Гм,— думает этот человек,— башмак, хорошо-с!»

Под башмак подсовывается громадный, чудовищный каблук, носок суживается, как острие кинжала, сбоку пришиваются десятка два пуговиц, и — бедная, доверчивая, обманутая женщина обута.

«Ничего,— злорадно думает этот грубый таинственный человек.— Сносишь. Не подохнешь... Я тебе еще и зонтик сочиню. Для чего зонтики служат? От дождя, от солнца. У мужчин они большие, плотные. Хорошо-с. Мы же тебе вот какой сделаем. Маленький, кружевной, с ручкой, которая должна переломиться от первого же порыва ветра».

И этот человек достигает своей цели: от дождя зонтик протекает, от солнца, благодаря своей микроскопической величине, не спасает, и, кроме того, ручка у него ежеминутно отваливается.

«Носи, носи! — усмехается суровый незнакомец.— Я тебе и шляпку выдумаю. И кофточку, которая застегивается сзади. И пальто, которое совсем не застегивается, и носовой платок, который можно было бы втянуть

целиком в ноздрю при хорошем печальном вздохе. Сносишь, за тебя, брат, некому заступиться. Мужчина с вашим братом подлецом себя держит».

Однажды я зашел в магазин дамских принадлежностей при каком-то «Институте красоты». Мне нужно было сделать городской женщине какой-нибудь подарок.

— Вот,— сказала мне продавщица,— модная вещь.

В бархатном футляре лежало что-то вроде узкого стилета с затейливой резьбой и ручкой из слоновой кости.

— Что это?

— Это, monsieur, прибор для вынимания из глаза попавшей туда соринки. Двенадцать рублей. Есть такие же из композиции, но только без серебряной ручки.

— А есть у вас клей,— спросил я с тонкой иронией,— для приклеивания на место выпавших волос?

— На будущей неделе получим, monsieur. Не желаете ли аппарат для извлечения шпилек, упавших за спинку дивана?

— Благодарю вас,— холодно сказал я,— я предпочитаю делать это с помощью мясорубки или ротационной машины.

Ушел я из магазина с чувством гнева и возмущения, вызванного во мне хитрым, нахальным незнакомцем.

* * *

Живя у меня, городская женщина проводила время так.

Просыпалась в половине первого пополудни и ела в постели виноград, а если был невиноградный сезон, то что-нибудь другое — плитку шоколада, лимон с сахаром, конфеты.

Читала газеты. Именно те места, где говорилось о Турции.

— Почему тебя интересуют именно турки? — спросил я однажды.

— Они такие милые. У тети жил один турок-водонос. Черный-черный, загорелый. А глаза глубокие. Ах, уже час! Зачем же ты меня не разбудил?

Она вставала и подходила к зеркалу. Высовывала язык, дергала его, как бы желая убедиться, что он крепко сидит на месте, и потом, надев один чулок, заглядывала в конец неразрезанной книги, купленной мною накануне.

Через пять минут она заливалась слезами.

— Зачем ты ее купил?

— А что?

— Почему непременно историю маленькой блондинки? Потому что я брюнетка? Понимаю, понимаю!

— Ну, еще что?

— Я понимаю. Тебе нравятся блондинки и маленькие. Хорошо, ты глубоко в этом раскаешься.

— В чем?

— В этом.

Она плакала, я рассеянно смотрел в окно. Входила горничная.

— Луша,— спрашивала горничную жившая у меня женщина,— зачем вчера барин заходил к вам в три часа ночи?

— Он не заходил.

— Ступайте.

— Это еще что за штуки? — кричал я сурово.

— Я хотела вас поймать. Гм... Или вы хорошо умеете владеть собой, или ты мне изменяешь с кем-нибудь другим.

Потом она еще плакала.

— Дай мне слово, что, когда ты меня разлюбишь, ты честно скажешь мне об этом. Я не произнесу ни одного упрека. Просто уйду от тебя. Я оценю твое благородство.

* * *

Недавно я пришел к ней и сказал:

— Ну вот я и разлюбил тебя.

— Не может быть! Ты лжешь. Какие вы, мужчины, негодяи!

— Мне не нравятся городские женщины,— откровенно признался я.— Они так запутались в кружевах и подвязках, что их никак оттуда не вытащишь. Ты глупая, изломанная женщина. Ленивая, бестолковая, лживая. Ты обманывала меня если не физически, то взглядами, желанием, кокетничаньем с посторонними мужчинами. Я стосковался по девушке на низких каблуках, с обыкновенными резиновыми подвязками, придерживающими чулки, с большим зонтиком, который защищал бы нас обоих от дождя и солнца. Я стосковался по девушке, встающей рано утром и готовящей собственными любящими руками вкусный кофе. Она будет тоже женщиной, но это совсем другой сорт. У изгороди усадьбы, освещенной косыми лучами заходящего солнца, стоит она в белом простеньком платьице и ждет меня, кутаясь в уютный пуховый платок... К черту приборы для вынимания соринок нз глаз!

— Ну, поцелуй меня,— сказала внимательно слушавшая меня женщина.

— Не хочу. Я тебе все сказал. Целуйся с другими.

— И буду. Подумаешь, какой красавец выискался! Думает, что, кроме его, и нет никого. Не беспокойся, милый! Поманю — толпой побегут.

— Прекрасно. Во избежание давки советую тебе с помощью полиции установить очередь. Прощай.

* * *

На другой день в сумерках я нашел все, что мне требовалось: усадьбу, косые лучи солнца и тихую задумчивую девушку, кротко опиравшуюся на изгородь...

Я упал перед ней на колени и заплакал:

— Я устал, я весь изломан. Исцели меня. Ты должна сделать чудо.

Она побледнела и заторопилась:

— Встаньте. Не надо... Я люблю вас и принесу вам всю мою жизнь. Мы будем счастливы.

— У меня было прошлое. У меня была женщина.

— Мне нет дела до твоего прошлого. Если ты пришел ко мне — у тебя не было счастья.

Она смотрела вдаль мягким задумчивым взглядом и повторяла, в то время как я осыпал поцелуями дорогие для меня ноги на низких каблуках:

— Не надо, не надо!

Через неделю я, молодой, переродившийся, вез ее к себе в город, где жил,— с целью сделать своей рабой, владычицей, хозяйкой, любовницей и женой.

Тихие слезы умиления накипали у меня на глазах, когда я мимолетно кидал взгляд на ее милое загорелое личико, простенькую шляпу с голубым бантом и серое платье, простое и трогательное.

Мы уже миновали задумчивые, зеленые поля и въехали в шумный, громадный город.

— Она здесь? — неожиданно спросила меня моя спутница.

— Кто — она?

— Эта... твоя.

— Зачем ты меня это спрашиваешь?

— Вдруг вы будете с ней встречаться.

— Милая! Раньше ты этого не говорила. И потом — это невозможно. Я ведь сам от нее ушел.

— Ах, мне кажется, это все равно. Зачем ты так посмотрел на эту высокую женщину?

— Да так просто.

— Так. Но ведь ты мог смотреть на меня!

Она сразу стала угрюмой, и я, чтобы рассеять ее, предложил ей посмотреть магазины.

— Зайдем в этот. Мне нужно купить воротничков.

— Зайдем. И мне нужно кое-что.

В магазине она спросила:

— У вас есть маленькие кружевные зонтики?

Я побледнел.

— Милая... зачем? Они так неудобны... лучше большой.

— Большой — что ты говоришь! Кто же здесь, в городе, носит большие зонтики! Это не деревня. Послушайте. У вас есть подвязки, такие, знаете, с машинками. Потом ботинки на пуговицах и на высоких каблуках... не те, выше, еще выше.

Я сидел молчаливый, с сильно бьющимся сердцем и страдальчески искаженным лицом и наблюдал, как постепенно гасли косые красные лучи заходящего солнца, как спадал с плеч уютный пуховый платок, как вырастала изгородь из хрупких кружевных зонтиков и как на ней причудливыми гирляндами висели панталоны из кружев и бантов... А на тихой, дремлющей вдали и осененной ветлами усадьбе резко вырисовывалась вывеска с тремя странными словами:

Modes et robes *

Девушка отошла от изгороди и — умерла.

ЗДАНИЕ НА ПЕСКЕ

1

Я сидел в уголку и задумчиво смотрел на них.

— Чья это ручонка? — спрашивал муж Митя жену Липочку, теребя ее за руку.

Я уверен, что муж Митя довольно хорошо был осведомлен о принадлежности этой верхней конечности именно жене Липочке, а не кому-нибудь другому, и такой вопрос задавался им просто из праздного любопытства...

— Чья это маленькая ручонка?

Самое простое — жене нужно было бы ответить:

---

* Шляпы и платья *(фр.)*.

— Мой друг, эта рука принадлежит мне. Неужели ты не видишь сам?

Вместо этого жена считает необходимым беззастенчиво солгать мужу прямо в глаза:

— Эта рука принадлежит одному маленькому дурачку.

Не опровергая очевидной лжи, муж Митя обнимает жену и начинает ее целовать. Зачем он это делает, Бог его знает.

Затем муж бережно освобождает жену из своих объятий и, глядя на ее неестественно полный живот, спрашивает меня:

— Как ты думаешь, что у нас будет?

Этот вопрос муж Митя задавал мне много раз, и я каждый раз неизменно отвечал:

— Окрошка, на второе голубцы, а потом — крем.

Или:

— Завтра? Кажется, пятница.

Отвечал я так потому, что не люблю глупых, праздных вопросов.

— Да нет же! — хохотал он.— Что у нас должно родиться?

— Что? Я думаю, лишенным всякого риска мнением будет, что у вас скоро должен родиться ребенок.

— Я знаю! А кто? Мальчик или девочка?

Мне хочется дать ему практический совет: если он так интересуется полом будущего ребенка, пусть вскроет столовым ножиком жену и посмотрит. Но мне кажется, что он будет немного шокирован этим советом, и я говорю просто и бесцельно:

— Мальчик.

— Ха-ха! Я сам так думаю! Такой большущий, толстый, розовый мальчуган... Судя по некоторым данным, он должен быть крупным ребенком... А? Как ты думаешь... Что мы из него сделаем?

Муж Митя так надоел мне этими вопросами, что я хочу предложить вслух:

— Котлеты под морковным соусом.

Но говорю:

— Инженера.

— Правильно. Инженера или доктора. Липочка! Ты показывала уже Александру свивальнички? А нагрудничков еще не показывала? Как же это ты так?! Покажи.

Я не считаю преступлением со стороны Липочки ее забывчивость и осторожно возражаю:

— Да зачем же показывать? Я после когда-нибудь увижу.

— Нет, чего там после. Я уверен, тебя это должно заинтересовать.

Передо мной раскладываются какие-то полотняные сверточки, квадратики.

Я трогаю пальцем один и робко говорю:

— Хороший нагрудничек.

— Да это свивальник! А вот как тебе нравится сия вещь?

Сия вещь решительно мне нравится. Я радостно киваю головой:

— Панталончики?

— Чепчик. Видите, тут всего по шести перемен, как раз хватит. А колыбельку вы не видели?

— Видел. Три раза видел.

— Пойдемте, я вам еще раз покажу. Это вас позабавит.

Начинается тщательный осмотр колыбельки.

У мужа Мити на глазах слезы.

— Вот тут он будет лежать... Большой, толстый мальчишка. «Папочка,— скажет он мне,— папочка, дай мне карамельку!» Гм... Надо будет завтра про запас купить карамели.

— Купи пуд,— советую я.

— Пуд, пожалуй, много,— задумчиво говорит муж Митя, возвращаясь с нами в гостиную.

Рассаживаемся. Начинается обычный допрос:

— А кто меня должен поцеловать?

Жена Липочка догадывается, что этот долг всецело лежит на ней.

— А чьи это губки?

Из угла я говорю могильным голосом:

— Могу заверить тебя честным словом, что губы, как и все другое на лице твоей жены, принадлежат именно ей!

— Что?

— Ничего. Советую тебе сделать опись всех конечностей и частей тела твоей жены, если какие-нибудь сомнения терзают тебя... Изредка ты можешь проверять наличность всех этих вещей.

— Друг мой... я тебя не понимаю... Он, Липочка, кажется, сегодня нервничает. Не правда ли?.. А где твои глазки?

— Эй! — кричу я.— Если ты нащупаешь ее нос, то по

левой и правой стороне, немного наискосок, можешь обнаружить и глаза!.. Не советую даже терять времени на розыски в другом месте!

Вскакиваю и не прощаясь ухожу. Слышу за своей спиной полный любопытства вопрос:

— А чьи это ушки, которые я хочу поцеловать?..

2

Недавно я получил странную записку:

«Дорог Александ Сегодня она, кажется, уже! Ты понимаешь?.. Приходи, посмотрим на пустую колыбельку она чувствует себя превосход. Купил на всякий слу. карамель. Остаюсь твой счастливый муж, а вскорости и счастли. отец!!!?! Ого-го-го!!»

«Бедняга помешается от счастья»,— подумал я, взбегая по лестнице его квартиры.

Дверь отворил мне сам муж Митя.

— Здравствуй, дружище! Что это у тебя такое растерянное лицо? Можно поздравить?

— Поздравь,— сухо ответил он.

— Жена благополучна? Здорова?

— Ты, вероятно, спрашиваешь о той жалкой кляче, которая валяется в спальне? Они еще, видите ли, не пришли в себя... ха-ха!

Я откачнулся от него.

— Послушай... ты в уме? Или от счастья помешался?

Муж Митя сардонически расхохотался.

— Ха-ха! Можешь поздравить... пойдем, покажу.

— Он в колыбельке, конечно?

— В колыбельке — черта с два! В корзине из-под белья!

Ничего не понимая, я пошел за ним и, приблизившись к громадной корзине из-под белья, с любопытством заглянул в нее.

— Послушай! — закричал я, отскочив в смятении.— Там, кажется, два!

— Два? Кажется, два? Ха-ха! Три, черт меня возьми, три!! Два наверху, а третий куда-то вниз забился. Я их свалил в корзину и жду, пока эта идиотка акушерка и воровка нянька не начнут пеленать...

Он утер глаза кулаком. Я был озадачен.

— Черт возьми... Действительно! Как же это случилось?

— А я почем знаю? Разве я хотел? Еще радовался, дурак: большой, толстый мальчишка!

Он покачал головой.

— Вот тебе и инженер!

Я попробовал утешить его.

— Да не печалься, дружище. Еще не все потеряно...

— Да как же! Теперь я погиб...

— Почему?

— Видишь ли, пока что я лишился всех своих сорочек и простынь, которые нянька сейчас рвет в кухне на пеленки. У меня забрали все наличные деньги на покупку еще двух колыбелек и наем двух мамок... Ну... и жизнь моя в будущем разбита. Я буду разорен. Всю эту тройку негодяев приходится кормить, одевать, а когда подрастут — учить... Если бы они были разного возраста, то книги и платья старшего переходили бы к среднему, а потом к младшему... Теперь же книги нужно покупать всем вместе, в гимназию отдавать сразу, а когда они подрастут, то папирос будут воровать втрое больше... Пропало... все пропало... Это жалкое, пошлое творение, когда очнется, попросит показать ей ребенка, а которого я ей предъявлю? Я думаю всех вместе показать — она от ужаса протянет ноги... как ты полагаешь?

— Дружище! Что ты говоришь! Еще на днях ты спрашивал у нее: «А чья это ручка? Чьи ушки?»

— Да... Попались бы мне теперь эти ручки и губки! О, черт возьми! Все исковеркано, испорчено... Так хорошо началось... Свивальнички, колыбельки... инженер...

— Чем же она виновата, глупый ты человек? Это закон природы.

— Закон? Беззаконие это! Эй, нянька! Принеси колыбельки для этого мусора! Вытряхивай их из корзины! Да поставь им на спине чернилами метки, чтобы при кормлении не путать... О господи!

Выходя, я натолкнулся в полутемной передней на какую-то громадную жестяную коробку. Поднявши, прочел:

«Детская карамель И. Кукушкина. С географическими описаниями для самообразования».

ЧАД

План у меня был такой: зайти в близлежащий ресторан, наскоро позавтракать, после завтрака прогуляться с полчаса по улице, потом поехать домой и до обеда за-

сесть за работу. Кроме того, за час до обеда принять ванну, вздремнуть немного, а вечером поехать к другу, который в этот день праздновал какой-то свой юбилей. От друга — постараться вернуться пораньше, чтобы выспаться как следует и на другое утро со свежими силами засесть за работу.

Так я и начал: забежал в маленький ресторан и, не снимая пальто, подошел к буфетной стойке.

Сзади меня послышался голос:

— Освежиться? На скорую руку?

Оглянувшись, я увидел моего юбилейного друга, сидевшего в углу за столиком в компании с театральным рецензентом Буйносовым.

Все мы обрадовались чрезвычайно.

— Я тоже зашел на минутку,— сообщил юбилейный друг.— И вот столкнулся с этим буйносным человеком. Садись с нами. Сейчас хорошо по рюмке хватить.

— Можно не снимая пальто?..

— Пожалуйста!

Юбиляр налил три рюмки водки, но Буйносов схватил его за руку и решительно заявил:

— Мне не наливай. Мне еще рецензию на завтра писать нужно.

— Да выпей! Какая там еще рецензия...

— Нет, братцы, не могу. Мне вообще пить запретили. С почками неладно.

— Глупости,— сказал я, закусывая первую рюмку икрой.— Какие там еще почки?

— Молодец, Сережа! — похвалил меня юбилейный друг.— За что я тебя люблю: за то, что никогда ты от рюмки не откажешься.

Именно я и хотел отказаться от второй рюмки. Но друг с таким категорическим видом налил нам по второй, что я безропотно чокнулся и влил в себя вторую рюмку.

И сейчас же мне чрезвычайно захотелось, чтобы и Буйносов тоже выпил.

— Да выпей! — умоляюще протянул я.— Ну, что тебе стоит? Ведь это свинство: мы пьем, а ты не пьешь!

— Почему же свинство? У меня почки...

— А у нас нет почек? А у юбиляра нет почек? У всякого человека есть почки. Это уж, брат, свыше...

— Ну, я только одну...

— Не извиняйся! Можешь и две выпить.

Буйносов выпил первую, а мы по третьей.

Я обернулся направо и увидел свое лицо в зеркале. Внимательно всмотрелся и радостно подумал: «Какой я красивый!»

Волна большой радости залила мое сердце. Я почувствовал себя молодым, сильным, любимым друзьями и женщинами — и безудержная удаль и нежность к людям проснулась в душе моей.

Я ласково взглянул на юбиляра и сказал:

— Я хочу выпить за тебя. Чтобы ты дождался еще одного юбилея и чтобы мы были и тогда молоды так же, как теперь.

— Браво! Спасибо, милый. Выпьем. Спасибо, Буйнос! Пей — не хами.

— Я не хам... хамлю,— осторожно произнес странное слово Буйносов.— А только мне нельзя. Рецензию нужно писать со свежей головой.

— Вздор! После напишешь.

— Когда же после... Ведь ее в четверть часа не напишешь.

— Ты?! — с радостным изумлением воскликнул юбилейный друг.— Да ты в десять минут отхватаешь такую рецензию, что все охнут!

— Где там...— просиял сконфуженный Буйносов и, чтобы отплатить другу любезностью за любезность, выпил вторую рюмку.

— Ай да мы! Вот ты смотри: скромненький, скромненький, а ведь он потихонечку нас за пояс заткнет...

— А вы что же думали,— засмеялся Буйносов.— И заткну. Эх, пивали мы в прежнее время! Чертям тошно было! Э-э!.. Сережа, Сережа! А ты почему же свою не выпил?

— Я... сейчас,— смутился я, будто бы меня поймали на краже носового платка.— Дай ветчину прожевать.

— Не хами, Сережа,— сказал юбилейный друг.— Не задерживай чарки.

Я вспомнил о своей работе.

— Мне бы домой нужно... Дельце одно.

К моему удивлению, возмутился Буйносов:

— Какое там еще дельце? Вздор — дельце! А у меня дела нет?! А юбиляру на вечере хлопот мало? Посидим минутку. Черт с ним, с дельцем.

«А действительно,— подумал я, любуясь в зеркало на свои блестящие глаза.— Черт с ним, с дельцем!..»

Вслух сказал:

— Так я пальто сниму, что ли. А то жарко.

— Вот! Молодец! Хорошо, что не хамишь. Снимай пальто!

— ...И пива я бы кружку выпил...

— Вот! Так. Освежиться нужно.

Мы выпили по кружке пива и разнеженно посмотрели друг на друга.

— Сережа... милый...— сказал Буйносов.— Я так вас двух люблю, что черт с ней, с рецензией. Сережа! Стой! Я хочу выпить с тобой на «ты».

— Да ведь мы и так на «ты»! — засмеялся я.

— Э, черт. Действительно. Ну, давай на «вы» выпьем.

Затея показалась такой забавной, что мы решили привести ее в исполнение.

— Графинчик водки! — крикнул Буйносов.

— Водку? — удивился я.— После пива?

— Это освежает. Освежимся!

— Неужели водка освежить может? — удивился я.

— Еще как! Об этом даже где-то писали... Сгорание углерода и желтков... Не помню.

— Обедать будете? — спросил слуга.

— Как? Разве уже... обед?..

— Да-с. Семь часов.

Я вспомнил, что потерял уже свою работу, небольшой сон и ванну. Сердце мое сжалось, но сейчас же я успокоился, вспомнив, что и Буйносов пропустил срочную рецензию. Никогда я не чувствовал так остро справедливости пословицы: «На миру и смерть красна».

— Семь часов?! — всплеснул руками юбиляр.— Черт возьми! А мой юбилей?

Буйносов сказал:

— Ну куда тебе спешить? Времени еще вагон. Посидим! Черт с ней, с рецензией.

— Да, брат...— поддержал и я.— Ты посиди с нами. На юбилей еще успеешь.

— Мне распорядиться нужно...

— Распорядись! Скажи, чтобы дали нам сейчас обед и белого винца.

Юбиляр подмигнул:

— Вот! Идея... Освежает!

Лицо его неожиданно засияло ласковой улыбкой.

— Люблю молодцов. Люблю, когда не хамят.

Когда нам подали кофе и ликер, я бросил косой взгляд на Буйносова и сказал юбиляру:

— Слушай! Плюнь ты на сегодняшний юбилей. Ведь это пошлятина: соберутся идиоты, будут говорить три-

виальности. Не надо! Посиди с нами. Жена твоя и одна управится.

— Да как же: юбилей, а юбиляра нет.

Буйносов задергался, заерзал на своем месте, засуетился:

— Это хорошо! Это-то и оригинально! Жизнь однообразна! Юбилеи однообразны! А это свежо, это молодо: юбилей идет своим чередом, а юбиляра нет. Где юбиляр? Да он променял общество тупиц на двух друзей... которые его искренне любят.

— Поцелуемся! — вскричал воодушевленно юбиляр.— Верно! Вот. Будем освежаться бенедиктином.

— Вот это яркий человек! Вот это порыв,— воодушевился Буйносов.— В тебе есть что-то такое... большое, оригинальное. Правда, Сережа?

— Да... У него так мило выходит, когда он говорит: «Не хами!»

— Не хамите! — с готовностью сказал юбиляр.— Сейчас бы кюрассо был к месту.

— Почему?

— Освежает.

Я уже понимал всю беспочвенность и иллюзорность этого слова, но в нем было столько уюта, столько оправдания каждой новой рюмке, каждой перемене напитка, что кюрассо был признан единственным могущим освежить нас напитком . . . .

. . . .

— Извините, господа, сейчас гасим свет... Ресторан закрывается.

— Вздор! — сказал бывший юбиляр.— Не хами!

— Извините-с. Я сейчас счет подам.

— Ну, дай нам бутылку вина.

— Не могу-с. Буфет закрыт.

Буйносов поднял голову и воскликнул:

— Ах, черт! А мне ведь сегодня вечером нужно было в театр на премьеру...

— Завтра пойдешь. Ну, господа... Куда же мы? Теперь бы нужно освежиться.

В мою затуманенную голову давно уже просачивалась мысль, что лучше всего — поехать домой и хоть отчасти выспаться.

Мы уже стояли на улице, осыпаемые липким снегом, и вопросительно поглядывали друг на друга.

Есть во всякой подвыпившей компании такой психологический момент, когда все смертельно надоедают друг

другу и каждый жаждет уйти, убежать от пьяных друзей, приехать домой, принять ванну, очиститься от ресторанной пьяной грязи, от табачной копоти, переодеться и лечь в чистую, свежую постель, под толстое уютное одеяло... Но обыкновенно такой момент всеми упускается. Каждый думает, что его уход смертельно оскорбит, обездолит других, и поэтому все топчутся на месте, не зная, что еще устроить, какой еще предпринять шаг в глухую темную полночь.

Мы выжидательно обернули друг к другу усталые, истомленные попойкой лица.

— Пойдем ко мне,— неожиданно для себя предложил я.— У меня еще есть дома ликер и вино. Слугу можно заставить сварить кофе.

— Освежиться? — спросил юбиляр.

«Как попугай заладил,— с отвращением подумал я.— Хоть бы вы все сейчас провалились — ни капельки бы не огорчился. Все вы виноваты... Не встреть я вас — все было бы хорошо, и я сейчас бы уже спал».

Единственное, что меня утешало, это — что Буйносов не написал рецензии, не попал на премьеру в театр, а юбиляр пропьянствовал свой юбилей.

— Ну, освежаться так освежаться,— со вздохом сказал юбиляр (ему, кажется, очень не хотелось идти ко мне),— к тебе так к тебе.

Мы повернули назад и побрели. Буйносов молча, безропотно шел за нами и тяжело сопел. Идти предстояло далеко, а извозчиков не было. Юбиляр шатался от усталости, но тем не менее в одном подходящем случае показал веселость своего нрава; именно: разбудил дремавшего ночного сторожа, погрозил ему пальцем, сказал знаменитое «Не хами!» — и с хохотом побежал за нами...

— Вот дурак,— шепнул я Буйносову.— Как так можно свой юбилей пропустить?

— Да уж... Не дал господь умишка человеку.

«А тебе,— подумал я,— влетит завтра от редактора... Покажет он, как рецензии не писать. Будет тебе здорово за то, что я пропустил сегодняшнюю работу и испортил завтрашнее утречко». . . . .

. . . .

Я долго возился в передней, пока зажег электричество и разбудил слугу. Буйносов опрокинул и разбил какую-то вазу, а юбиляр предупредил слугу, чтобы он вообще не хамил.

Было смертельно скучно и как-то особенно сонно... противно. Заварили кофе, но он пах мылом, а я, кроме того, залил пиджак ликером. Руки сделались липкими, но идти умыться было лень.

Юбиляр сейчас же заснул на новом плюшевом диване. Я надеялся, что Буйносов последует его примеру (это развязало бы, по крайней мере, мне руки), но Буйносов сидел запрокинув голову и молчаливо рассматривал потолок.

— Может, спать хочешь? — спросил я.

— Хочу, но удерживаюсь.

— Почему?

— Что же я за дурак: пил-пил, а теперь вдруг засну — хмель-то весь и выйдет. Лучше уж я посижу.

И он остался сидеть, неподвижный, как китайский идол, как сосуд, хранящий в себе драгоценную влагу, ни одна капля которой не должна быть потеряна.

— Ну, а я пойду спать,— сухо проворчал я.

Проснулись поздно.

Все смотрели друг на друга с еле скрываемым презрением, ненавистью, отвращением.

— Здорово вчера дрызнули,— сказал Буйносов, из которого уже, вероятно, улетучилась вся драгоценная влага.

— Сейчас бы хорошо освежиться!

Я сделал мину любезного хозяина, послал за закуской и вином. Уселись трое с помятыми лицами...

Ели лениво, неохотно, устало.

«Как они не понимают, что нужно сейчас же встать, уйти и не встречаться! Не встречаться, по крайней мере, дня три!!!»

По их лицам я видел, что они думают то же самое, но ничего нельзя было поделать: вино спаяло всех трех самым непостижимым, самым отвратительным образом...

СТРАШНЫЙ ЧЕЛОВЕК

1

В одной транспортной конторе (перевозка и застрахование грузов) служил помощником счетовода мещанин Матвей Петрович Химиков.

Снаружи это был человек маленького роста, с кривыми ногами, бледными, грязноватого цвета глазами и

большими красными руками. Рыжеватая растительность напоминала редкий мох, скупо покрывающий какую-нибудь северную скалу, а грудь была такая впалая, что коснуться спины ей мешали только ребра, распиравшие бока Химикова с таким упорством, которое характеризует ребра всех тощих людей.

Это было снаружи. А внутри Химиков имел сердце благородного убийцы: аристократа духа и обольстителя прекрасных женщин. Какая-нибудь заблудившаяся душа рыцаря прежних времен, добывавшего себе средства к жизни шпагой, а расположение духа — любовью женщин, набрела на Химикова и поселилась в нем, мешая несчастному помощнику счетовода жить так, как живут тысячи других помощников счетовода.

Химикову грезились странные приключения, бешеная скачка на лошадях при лунном свете, стрельба из мушкетов, ограбление проезжих дилижансов, мрачные таверны, наполненные подозрительными личностями с нахлобученными на глаза шляпами и какие-то красавицы, которых Химиков неизменно щадил, тронутый их молодостью и слезами. В это же самое время Химикову кричали с другого стола:

— Одно место домашних вещей. Напишите квитанцию, два пуда три фунта.

Химиков писал квитанцию, но, когда занятия в конторе кончались, он набрасывал на плечи длинный плащ, нахлобучивал на глаза широкополую шляпу и, озираясь, шагал по улице, похожий на странного, дурацкого вида разбойника.

Под плащом он всегда держал на всякий случай кинжал, и если бы по дороге на него было произведено нападение, помощник счетовода захохотал бы жутким, зловещим смехом и всадил бы кинжал в грудь негодяя по самую рукоять.

Но или негодяям было не до него, или людные улицы, по которым он гордо шагал, вызывая всеобщее удивление, не заключали в себе того сорта негодяев, которые набрасываются среди тьмы народа на путников.

2

Химиков благополучно добирался домой, с отвращением съедал обед из двух блюд с вечным киселем на сладкое.

Из-за обеда у него с хозяйкой шла вечная, упорная борьба.

— Я не хочу вашего супа с битком,— говорил он обиженно.— Разве нельзя когда-нибудь дать мне простую яичницу, кусок жаренного на вертеле мяса и добрый глоток вина?

О жаренном на вертеле мясе и яичнице он мечтал давно, но бестолковая хозяйка не понимала его идеалов, оправдываясь непитательностью такого меню.

Он хотел сделать так.

Съесть, надвинув на глаза шляпу, мясо, запить добрым глотком вина, закутаться в плащ и лечь на ковер у кровати, чтобы выспаться перед вечерними приключениями.

Но, раз не было жаренного на вертеле мяса и прочего, эффектный отдых в плаще на полу не имел смысла, и помощник счетовода отправлялся на вечерние приключения без этого.

Вечерние приключения состояли в том, что Химиков брал свой вечный кинжал, кутался в плащ и шел, озираясь, в трактир «Черный Лебедь».

Этот трактир он избрал потому, что ему очень нравилось его название «Черный Лебедь», что там собирались подонки населения города и что низкие, закопченные комнаты трактира располагали к разного рода мечтам о приключениях.

Химиков пробирался в дальний угол, садился, драпируясь в свой плащ, и старался сверкать глазами из-под надвинутой на них шляпы.

И всегда он таинственно озирался, хотя за ним никто не следил и мало кто интересовался этой маленькой фигуркой в театральном черном плаще и шляпе, с выглядывающими из-под нее тусклыми глазами, которые никак не могли засверкать, несмотря на героические усилия их обладателя.

Усевшись, помощник счетовода хлопал в ладоши и кричал срывающимся голосом:

— Эй, паренек, позови ко мне трактирщика! Что там у него есть?

— Их нет-с,— говорил обычно слуга.— Они редко бывают. Что прикажете? Я могу подать.

— Дай ты мне пива, только не в бутылке, а вылей в какой-нибудь кувшин. Да прикажи там повару зажарить добрую яичницу. Ха-ха! — грубо смеялся он, хлопая се-

бя по карману.— Старый Матвей хочет сегодня погулять: он сделал сегодня недурное дельце.

Слуга в изумлении смотрел на него и потом, приняв прежний апатичный вид, шел заказывать яичницу.

«Дельце» Химикова состояло в том, что он продал какому-то из купцов-клиентов имевшееся у него на комиссии деревянное масло, но со стороны казалось, что заработанные Химиковым три рубля обрызганы кровью ограбленного ночного путника.

Когда приносили яичницу и пиво, он брал кувшин, смотрел его на свет и с видом записного пьяницы приговаривал:

— Доброе пиво! Есть чем Матвею промочить глотку.

И в это время он, маленький, худой, забывал о конторе, «домашних местах» и квитанциях, сидя под своей громадной шляпой и уничтожая добрую яичницу, в полной уверенности, что на него все смотрят с некоторым страхом и суеверным почтением.

3

Вокруг него шумела и ругалась городская голытьба, он думал: «Хорошо бы набрать шаечку человек в сорок, да и навести ужас на все окрестности. Кто,— будут со страхом спрашивать,— стоит во главе? Вы не знаете? Старый Матвей. Это — страшный человек! Потом княжну какую-нибудь украсть...»

Он шарил под плащом находившийся там между складками кинжал и, найдя, судорожно сжимал рукоятку.

Покончив с яичницей и пивом, расплачивался, небрежно бросал слуге на чай и, драпируясь в плащ, удалялся.

«Хорошо бы,— подумал он,— если бы у дверей трактира была привязана лошадь. Вскочил бы и ускакал».

И помощник счетовода чувствовал такой прилив смелости, что мог идти на грабеж, убийство, кражу, но непременно у богатого человека («эти деньги я все равно отдал бы нуждающимся»).

Если по пути попадался нищий, Химиков вынимал из кармана серебряную монету (несмотря на скудость бюджета, он никогда не вынул бы медной монеты) и, бросая ее барским жестом, говорил:

— Вот... возьми себе.

При этом монету бросал он на землю, что доставляло

нищему большие хлопоты и вызывало утомительные поиски, но Химиков понимал благотворительность только при помощи этого эффектного жеста, никогда не давая монету в руку попрошайке.

4

У помощника счетовода был один только друг — сын квартирной хозяйки, Мотька, в глазах которого раз навсегда застыл ужас и преклонение перед помощником счетовода.

Было ему девять лет. Каждый вечер с нетерпением ждал он той минуты, когда Химиков, вернувшись из трактира, постучит к его матери в дверь и крикнет:

— Мотя! Хочешь ко мне?

Замирая от страха и любопытства, Мотька робко входил в комнату Химикова и садился в уголок.

Химиков в задумчивости шагал из угла в угол, не снимая своего плаща, и наконец останавливался перед Мотькой.

— Ну, тезка... Было сегодня жаркое дело.

— Бы-ло? — спрашивал Мотька, дрожа всем телом.

Химиков зловеще хохотал, качал головой и, вынув из кармана кинжал, делал вид, что стирает с него кровь.

— Да, брат... Купчишку одного маленько пощипали. Золота было немного, но шелковые ткани, парча — чудо что такое.

— А что же вы с купцом сделали? — тихо спросил бледный Мотька.

— Купец? Ха-ха! Если бы он не сопротивлялся, я бы, пожалуй, отпустил бы его. Но этот негодяй уложил лучшего из моих молодцов — Лоренцо, и я, ха-ха, поквитался с ним!

— Кричал? — умирающим шепотом спрашивал Мотька, чувствуя, как волосы тихо шевелятся у него на голове.

— Не цыкнул. Нет, это что? Это забава сравнительно с делом старухи Монморанси.

— Какой... старухи? — прижимаясь к печке, спрашивал Мотька.

— Была, брат, такая старуха... Мои молодцы пронюхали, что у нее водятся деньжата. Хорошо-с... Отравили мы ее пса, один из моей шайки подпоил старого слугу этой ведьмы и открыл нам двери... Но каким-то образом полицейские ищейки пронюхали. Ха-ха! Вот-то была

потеха! Я четырех уложил... Ну, и мне попало! Две недели мои молодцы меня в овраге отхаживали.

Мотька смотрел на помощника счетовода глазами, полными любви и пугливого преклонения, и шептал пересохшими губами:

— А сколько... вы вообще человек... уложили?

Химиков задумывался:

— Человек... двадцать, двадцать пять. Не помню, право. А что?

— Мне жалко вас, что вы будете на том свете в котле кипеть...

Химиков подмигивал и бил себя кулаками по худым бедрам.

— Ничего, брат, зато я здесь, на этом свете, натешусь всласть... а потом можно и покаяться перед смертью. Отдам все свое состояние на монастыри и пойду босой в Иерусалим...

Химиков кутался в плащ и мрачно шагал из угла в угол.

— Покажите мне еще раз ваш кинжал,— просил Мотька.

— Вот он, старый друг,— оживлялся Химиков, вынимая из-под плаща кинжал.— Я таки частенько утоляю его жажду. Ха-ха! Любит он свежее мясо... Ха-ха!

И он, зловеще вертя кинжалом, озирался, закидывая конец плаща на плечо и худым пальцем указывал на ржавчину, выступившую на клинке от сырости и потных рук.

Потом Химиков говорил:

— Ну, Мотя, устал я после всех этих передряг. Лягу спать.

И, закутавшись в плащ, ложился, маленький, бледный, на ковер у кровати.

— Зачем вы предпочитаете пол? — почтительно спрашивал Мотька.

— Э-э, брат! Надо привыкать... Это еще хорошо. После ночей в болотах или на ветвях деревьев это — царская постель.

И он, не дождавшись ухода Мотьки, засыпал тяжелым сном.

Мотька долго сидел подле него, глядя с любовью и страхом в скупо покрытое рыжими волосами лицо.

И вдвойне ужасным казалось ему то, что весь Химиков — такой маленький, жалкий и незначительный. И что под этой незначительностью скрывается опасный

убийца, искатель приключений и азартный игрок в кости.

Насмотревшись на лицо спящего помощника счетовода, Мотька заботливо прикрывал его сверх плаща одеялом, гасил лампу и на цыпочках, стараясь не потревожить тяжелый сон убийцы, уходил к себе.

5

Помощник счетовода Химиков, благородный авантюрист, рыцарь и искатель приключений, всей душой привязанный к отошедшему в вечность,— закопченным тавернам, нападениям на дилижансы и мастерским ударам кинжала,— влюбился.

Его идеал,— бледная, стройная графиня, сидящая на козетке в старинном барском доме,— нашел воплощение в девице без определенных занятий — Полине Козловой, если иногда и бледной, то не от благородного происхождения, а от бессонных ночей, проводимых ею не совсем согласно с кодексом обычной добродетели.

Однажды, когда дико живописный Химиков шагал аршинными шагами по улице, закутанный в свой вечный плащ и прикрытый сверху чудовищной шляпой, он услышал впереди себя разговор:

— Очень даже это нетактично приставать к незнакомым девушкам.

— Сударыня, Маруся... Я уверен, что такое очаровательное существо может именоваться только Марусей... Маруся! Не вносите аккорда в диссонанс нашей мимолетной встречи. Позвольте быть вам проводимой мной. Где вы живете?

— Ишь, чего захотели. Никогда я не скажу вам, хотя бы вы проводили меня до самого дома на Московской улице, номер семь... Ах, что я сказала! Я, кажется, проговорилась... Нет, забудьте, забудьте, что я вам сказала!

Подслушивание Химиков считал самым неблагородным делом, но, когда до него донесся этот разговор, его мужественное сердце наполнилось состраданием к преследуемой и бешеным негодованием против гнусного преследователя.

— Милостивый государь! — загремел он, приблизившись к донжуану и смотря на него снизу вверх.— Оставьте эту беззащитную девушку, или вы будете иметь дело со мной!

Беззащитная девушка с некоторым неудовольствием

взглянула на мужественного Химикова, а ее кавалер сердито вырвал руку и закричал:

— Кто вы такой, черти вас раздери?

— Негодяй! Я тот, которого провидение нашло нужным послать в критическую для этого существа минуту. Защищайся!

Противник Химикова, громадный, толстый блондин, сжал кулак, но вид маленького Химикова, бешено извивавшегося у его ног с кинжалом в руке, заставил его отступить.

— Ч-черт з-знает, что такое,— пробормотал он, отскакивая от бледной, худой руки, которая бешено чертила кинжалом вокруг него замысловатые круги и восьмерки.— Черт знает... решительно не понимаю...— оторопело промычал блондин и стал быстрыми шагами удаляться от Химикова, оставшегося около девицы.

6

— Сударыня,— сказал Химиков, снимая свою черную странную шляпу и опуская ее до самой земли.— Прошу извинений, если ваше ухо было оскорблено несколькими грубыми словами, произнести которые вынудила меня необходимость. Ха-ха! — зловеще захохотал Химиков.— Парень, очевидно, боится запаха крови и ловко избежал маленького кровопускания... Ха-ха-ха!

— Кто вы такой? — спросила изумленная Полина Козлова, осматривая Химикова.

— Я...

Химикову неловко было сказать, что его фамилия Химиков и что он служит помощником счетовода в транспортной конторе. Он опустил голову, забросил конец плаща на плечо и, как будто стряхнувши с себя что-то,— сказал:

— Когда-нибудь... когда будет возможно, человек с черной бородой явится к вам, покажет этот кинжал и сообщит, кто я... Пока же... сударыня, не забывайте, что город этот страшен. Он таит совершенно неизвестные вам опасности, и нужно иметь мою звериную хитрость и ловкость, чтобы избежать их. Но вы... Как ваши престарелые родители рискуют отпустить вас в эту страшную ночь... Не найдете ли вы удобным соблаговолить дать мне милостивое разрешение предложить сопутствовать вам до вашего дома.

— Ну что ж, можно,— усмехнулась Полина Козлова,

Химиков взял девушку под руку и, свирепо озираясь на встречных прохожих, бережно повел ее по улице. Через сто шагов он уже узнал, что у его спутницы нет родителей и что она носит фамилию — Полина Козлова.

— Так молоды и, увы, беззащитны,— прошептал Химиков, тронутый ее историей.— Скорбь об утрате ваших почтенных родителей смешивается в моей душе со сладкой надеждой быть вам чем-нибудь полезным и принять на свою грудь направленные на вас удары злобной интриги и происки вра...

— Покатайте меня на автомобиле,— сказала девушка, щуря на Химикова глаза.

По своим убеждениям Химиков ненавидел автомобили, предпочитая им старые добрые дилижансы. Но желание женщины было для него законом.

— Сударыня, вашу руку...

Они долго катались на автомобиле, а потом девушка проголодалась и заявила, что хочет в ресторан.

Химиков не возражал ей ни слова, но про себя решил, что, если в ресторане у него не хватит денег, он выйдет в переднюю и там заколется кинжалом. Пусть лучше над ним нависнет роковая тайна, чем прозаический отказ в ужине. В кабинете ресторана девушка поправила растрепавшуюся прическу, подошла к Химикову и, севши на его худые, неверные колени, поцеловала помощника счетовода в щеку.

Сердце Химикова затрепетало и оборвалось.

— Суд... Полина. Вв... вы... меня... полюбили! О, пусть эта неожиданно вспыхнувшая страсть будет залогом моего стремления посвятить вам отныне мою жизнь.

— Дайте папиросу,— попросила Полина, разглаживая его редкие рыжие волосы.

— Грациозная шалунья! Резвящаяся сирота! — в экстазе воскликнул Химиков и прижал девушку к своей груди.

После ужина Химиков проводил Полину домой, у подъезда ее дома снял шляпу, низко, почтительно поклонился и, поцеловав руку, удалился, закутанный в свой длинный плащ.

Сбитая с толку девушка удивленно посмотрела ему вслед, улыбнулась и сказала:

— Сегодня я сплю одна.

Это был самый редкий и курьезный случай в ее жизни.

7

Химиков зажил странной жизнью.

Транспортную контору, трактир «Черный Лебедь», добрый кувшин пива — все это поглотило молодое поэтичное чувство, загоревшееся в его тощей груди.

Он часто встречался с Полиной и, рыцарски вежливый, рабски исполнял все капризы девушки, очень полюбившей автомобили и театральные представления. Долги зловещего авантюриста росли с головокружительной быстротой, и ряд прозаических неприятностей обрушился на его бедную голову. В конторе стали коситься на его небрежность в писании квитанций и вечные просьбы жалованья вперед... Хозяйка перестала получать за квартиру и почти не кормила иссохшего от страсти и лишений Химикова.

И Химиков, голодный, лишенный даже «доброй яичницы» в трактире «Черный Лебедь», ждал с нетерпением вечера, когда можно было накинуть плащ и, захватив кинжал и маску (маска появилась в самое последнее время, как атрибут любовного похождения), отправиться на свидание.

Полина Козлова была нехорошей девушкой.

Химикову изменяли — он не замечал этого. Над Химиковым смеялись — он считал это оригинальным выражением любви. Химикова разоряли — он был слишком поэтичной натурой, чтобы обратить на это внимание...

И наступило крушение.

8

Как всякому авантюристу, Химикову дороже всего было его оружие, и Химиков берег кинжал, как зеницу ока.

Но однажды Полина сказала:

— Принесите завтра конфет.

И разоренный Химиков на другой день без колебаний завернул кинжал в бумагу и понес его торговцу старинными вещами.

— Что это? — спросил удивленный торговец.

— Кинжал. Это мой старый друг, сослуживший мне не одну службу,— печально сказал Химиков, запахиваясь в плащ.

— Это простой нож для разрезывания книг, а не кинжал,— улыбнулся торговец.— С чего вы взяли, что

он кинжал? Таких можно купить по семи гривен где угодно. Даже более новых, не заржавленных.

Изумленный Химиков взял свой кинжал и побрел домой. В голове его мелькала мысль, что сегодня можно к Полине не пойти, а завтра сказать, что с ним случилось странное приключение: какие-то неизвестные люди похитили его, увезли в карете и продержали сутки в таинственном подземелье.

9

А на другой день, так как вопрос о конфетах не разрешился, Химиков решил ограбить кого-нибудь на улице.

Решил он это без всяких колебаний и сомнений: ограбить богатого человека он считал вовсе не позорным делом, твердо стоя на точке зрения рыцарей прошлых веков, не особенно разборчивых в сложных вопросах морали.

Тут же он решил, если ограбит большую сумму, отдать излишек бедным.

Закутанный в плащ, с кинжалом в руке, Химиков в тот же вечер отправился на улицы города, зорко оглядываясь по сторонам.

Все было как следует. Ветер рвал полы его плаща, луна пряталась за тучами, и прохожих было немного. Химиков притаился в какой-то впадине стены и стал ждать.

Гулкие шаги по пустынной улице возвестили помощнику счетовода о приближении добычи. Вдали показался господин, одетый в дорогое пальто и лоснящийся цилиндр. Химиков судорожно сжал кинжал, выскользнул из засады и предстал — маленький, в громадной шляпе, как чудовищный гриб — перед прохожим.

— Ха-ха-ха! — жутким смехом захохотал он.— Нет ли денег?

— Бедняга! — сострадательно сказал господин, приостанавливаясь.— В такую холодную ночь просить милостыню... Это ужасно. На тебе двугривенный, пойди, обогрейся!

Химиков зажал в кулак всунутый ему в руку двугривенный и, лихорадочно стуча зубами, пустился бежать по улице. Голова его кружилась, и так странно окончившийся грабеж наполнял сердце обидой. Черной, странной птицей несся он по улице, а ветер, как крыльями, шлепал полами его плаща и продувал удивительного помощника счетовода.

10

Химиков лежал на своей убогой кровати, смотря остановившимся взглядом в потолок.

Около него сидел неутешный хозяйский сын Мотька и, со слезами на грязном лице, гладил бледную руку Химпкова.

— Да... брат... Мотя,— подмигнул ему Химиков,— много я грешил на своем веку, и вот теперь расплата.

— Мама говорила, что, может, не умрете,— попытался обрадовать страшного счетовода Мотька.

— Нет уж, брат... Пожито, пограблено, выпущено крови довольно. Мотя, у меня не было друзей, кроме тебя... Хочешь, я тебе подарю, что мне дороже всего,— мой кинжал?

На минуту Мотькины глаза засверкали радостью.

— Спасибо, Матвей Петрович! Я тоже, когда вырасту, буду им убивать.

— Ха-ха-ха! — зловеще засмеялся Химиков.— Вот он, мой наследник и продолжатель моего дела! Мотя, жди, когда придут к тебе трое людей в плащах, с винтовками в руках,— тогда начинайте действовать. Пусть льется кровь сильных в защиту слабых.

Он оборвал разговор и затих.

Уже несколько времени Химиков ломал голову над разрешением одного вопроса: какие сказать ему последние предсмертные слова: было много красивых фраз, но все они не нравились Химикову.

И он мучительно думал.

Над Химиковым склонился доктор и Мотькина мать.

— Кто он такой? — шепотом спросил доктор, удивленно смотря на висевшую в углу громадную шляпу и плащ.

— Лекарь,— с трудом сказал Химиков, открывая глаза,— тебе не удастся проникнуть в тайну моего рождения. Ха-ха-ха!

Он схватился за грудь и прохрипел:

— Души загубленных мной толпятся перед моими глазами длинной вереницей... Но дам я за них ответ только перед престолом Всевыш... Засни, Красный Матвей!!! *

И затих.

---

* Впервые рассказ был опубликован в 1909 году в № 45 и 46 журнала «Сатирикон». «Засни, Красный Матвей» — по тексту этой публикации.

ВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР

Ее выцветшее от сырости и дождей пальто и шляпа с перьями, сбившимися от времени в странный удивительный комок, не вызывали у прохожих Невского проспекта того восхищения, на которое рассчитывала обладательница шляпы и пальто. Мало кто обращал внимание на эту шаблонную девицу, старообразную от попоек и любви, несмотря на свои двадцать пять лет, уныло-надоедливую и смешную, с ее заученными жалкими методами обольщения.

Если прохожий имел вид человека, не торопящегося по делу, она приближалась к нему и шептала, шагая рядом и глядя на крышу соседнего дома:

— Мужчина... Зайдем за угол. Пойдем в ресторанчик — очень недорого: маленький графин водки и тарелка ветчины. Право. А?

И все время она смотрела в сторону, делая вид, что идет сама по себе, и если бы возмущенный прохожий позвал городового, она заявила бы нагло и бесстыдно, что она не трогала этого прохожего, а наоборот — он предлагал ей разные гадости, которые даже слушать противно.

Ходила она так каждый день.

— Мужчина, поедем в ресторанчик. Неужели вам жалко: графинчик водки и тарелка ветчины. Право. А?

Иногда предмет ее внимания, какой-нибудь веселый прохожий, приостанавливался и с видом шутника, баловня дам, спрашивал:

— А, может быть, ты хочешь графинчик ветчины и тарелку водки?

И она раскрывала рот, схватывалась за бока и хохотала вместе с веселым прохожим, крича:

— Ой-ой, чудак! Уморил... Ну и скажет же...

В общем, ей совсем не было так весело, как она прикидывалась, но, может быть, веселый прохожий, польщенный ее одобрением, возьмет ее с собой и накормит ветчиной и водкой, что, принимая во внимание сырую погоду, было бы совсем не плохо.

Сегодня прохожие были какие-то необщительные и угрюмые,— несколько человек в ответ на ее деланно-добродушное предложение поужинать совместно ветчиной и водкой посылали ее ко «всем чертям», а один, мрачный юморист, указал на полную возможность похлебать дождевой воды, набравшейся в тротуарном уг-

лублении, что, по его мнению, давало полную возможность развести в животе лягушек и питаться ими вместо ветчины.

Юмориста эта шаблонная девица ругала долго и неустанно. Он уже давно ушел, а она все стояла, придерживая шляпу и изобретая все новые и новые ругательства, запас которых, к ее чести, был у нее велик и неисчерпаем.

В это время навстречу шли два господина. Один приостановил своего спутника и указал ему на девицу:

— Давай, Вика, ее пригласим.

Другой засмеялся, кивнул головой и пошел вперед.

Оба, приблизившись к девице, осмотрели ее с ног до головы и вежливо приподняли свои цилиндры.

— Сударыня,— сказал Петерс,— приношу вам от имени своего и своего товарища тысячу извинений за немного бесцеремонный способ знакомства. Мы, знаете, народ простой и в обращении с дамами из общества не совсем опытны. Оправданием нам может служить ваш благосклонный взгляд, которым вы нас встретили, и желание провести вечер весело, просто, скромно и интеллигентно.

Девица захохотала, взявшись за бока.

— Ой, уморили! Ну и комики же вы!

Господин по имени Петерс всплеснул руками:

— Это очаровательно. Ты замечаешь, Вика, как наша новая знакомая весела?

Вика кивнул головой.

— Настоящая воспитанность именно в этом и заключается: простота и безыскусственность. Вы извините нас, сударыня, если мы сделаем вам нескромное одно предложение...

— Что такое? — спросила девица, замирая от страха, что ее знакомые повернутся и уйдут.

— Нам, право, неловко... Вы не примите нашего предложения в дурную сторону...

— Мы даем вам слово,— заявил Петерс,— что будем держать себя скромно, с тем уважением, которое внушает к себе каждая порядочная женщина.

Девица хотела хлопнуть себя по бедрам и крикнуть: «Ой, уморили!» — но руки ее опустились, и она молча, исподлобья взглянула на стоящих перед ней людей.

— Что вам нужно?

— Ради Бога,— засуетился Вика,— не подумайте, что мы хотели употребить во зло ваше доверие, но... ска-

жите... Не согласились бы вы отужинать вместе с нами,— конечно, где-нибудь в приличном месте?

— Да, да,— согласилась повеселевшая девица,— конечно, поужинаю.

— О, как мы вам благодарны!

Петерс нагнулся, взял загрубевшую руку девицы и тихо коснулся ее губами.

— Эй, мотор! — крикнул куда-то в темноту Вика.

Девица, сбитая с толку странным поведением друзей, думала, что они сейчас захохочут и убегут... Но вместо того к ним подъехал, пыхтя, автомобиль.

Вика открыл дверцу, бережно взял девицу под руку и посадил ее на пружинные подушки.

«Матушки ж вы мои,— подумала пораженная, потрясенная девица.— Что же это такое?»

Ей пришло в голову, что самое лучшее, в благодарность за автомобиль, обнять Вику за шею, а сидевшему напротив Петерсу положить на колени ногу: некоторым из ее знакомых это доставляло удовольствие.

Но Вика деликатно отодвинулся, давая ей место, и сказал:

— А ведь мы еще не знакомы. Моя фамилия — Гусев, Виктор Петрович, а это мой приятель — Петерс, Эдуард Павлович,— писатель. Мы хотя и не осмеливаемся настаивать на сообщении нам вашей фамилии, но имя...

Девица помолчала.

— Меня зовут Катериной. Катя.

— О, помилуйте,— ахнул Петерс,— разве мы осмелимся звать вас так фамильярно. Екатерина... как по отчеству?..

— Степановна.

— Мерси. Вика... Как ты думаешь, куда мы повезем Екатерину Степановну?.. Я думаю, в «Москву» неудобно.

— Да,— сказал Вика.— Там с приличной дамой нельзя показаться... Форменный кабак. Рискуешь наткнуться на кокотку, на пьяного... Самое лучшее — к «Контану».

— Прекрасно. Вы, Екатерина Степановна, не бойтесь, туда смело можно привести приличную даму.

Девица внимательно посмотрела в лицо друзьям: серьезные, невозмутимые лица, с той немного холодной вежливостью, которая бывает при первом знакомстве.

И вдруг в голове мелькнула ужасная, потрясающая мысль: ее серьезно приняли за даму из общества.

У «Контана» заняли отдельный кабинет. Порыжевшее пальто и слипшиеся перья были при ярком электрическом свете убийственны, но друзья не замечали этого и, разоблачив девицу, посадили ее на диван.

— Позвольте предложить вам закуску, Екатерина Степановна: икры, омаров... Что вы любите? Простите за нескромный вопрос: вы любите вино?

— Люблю,— тихо сказала девица, смотря на цветочки на обоях.

— Прекрасно. Петерс, ты распорядись.

Весь стол был уставлен закусками. Девице налили шампанского, а Петерс и Вика пили холодную, прозрачную водку. Девице вместо шампанского хотелось водки, но ни за что она не сказала бы этого и молча прихлебывала шампанское и заедала его ветчиной и хлебом.

На белоснежной скатерти ясно выделялись потертые рукава ее кофточки и грудь, покрытая пухом от боа. Поэтому девица искусственно-равнодушно сказала:

— А за мной один полковник ухаживает... Влюблен — невозможно. Толстый такой, богатый. Да он мне не нравится.

Друзья изумились.

— Полковник? Неужели? Настоящий полковник? А ваши родители как к этому относятся?

— Никак, они живут в Пскове.

— Вы, вероятно,— сказал участливо Петерс,— приехали в Петроград развлекаться. Я думаю, молодой неопытной девушке в этом столичном омуте страшно.

— Да, мужчины такие нахалы,— сказала девица и скромно положила ногу на ногу.

— Мы вам сочувствуем,— тихо сказал Вика, взял девицу за руку и поцеловал деликатно.

— Послушай,— пожал плечами Петерс.— Может быть, Екатерине Степановне неприятно, что ты ей руки целуешь, а она стесняется сказать... Мы ведь обещали вести себя прилично.

Девица густо покраснела и сказала:

— Ничего... Что ж! Пусть. Когда я у папаши жила, мне завсегда руки целовали.

— Да, конечно,— кивнул головой Петерс,— в интеллигентных светских домах это принято.

— Кушайте, Екатерина Степановна, артишоки.

— Вы какая-то скучная,— сказал участливо Вика.— Вероятно, у вас мало развлечений. Знаешь, Петерс, хорошо бы Екатерину Степановну познакомить с моей се-

строй... Она тоже барышня, и им вдвоем было бы веселей выезжать в театры и концерты.

Девица с непонятным беспокойством в глазах встала и сказала:

— Мне пора, спасибо за компанию.

— Мы вас довезем до вашей квартиры в автомобиле.

— Ой, нет, нет, не надо! Ради Бога, не надо. Ой, нет, нет, спасибо!

Когда девица вышла из кабинета, друзья всплеснули руками и, захлебываясь от душившего их хохота, повалились на диван...

...Девица шагала по опустевшему Невскому, спрятав голову в боа и глубоко задумавшись.

Сзади подошел какой-то запоздалый прохожий, дернул ее за руку и ласково пролепетал:

— Мм...мамочка! Идем со мной.

Девица злобно обернулась:

— Ты, брат, разбирай, к кому пристаешь. Нельзя порядочной даме на улицу выйти... Сволочь паршивая!

ОТЕЦ

Стоит мне только вспомнить об отце, как он представляется мне взбирающимся по лестнице, с оживленным озабоченным лицом и размашистыми движениями, сопровождаемый несколькими дюжими носильщиками, обремененными тяжелой ношей.

Это странное представление рождается в мозгу, вероятно, потому, что чаще всего мне приходилось видеть отца взбирающимся по лестнице, в сопровождении кряхтящих и ругающихся носильщиков.

Мой отец был удивительным человеком. Все в нем было какое-то оригинальное, не такое, как у других... Он знал несколько языков, но это были странные, не нужные никому другому языки: румынский, турецкий, болгарский, татарский. Ни французского, ни немецкого он не знал. Имел он голос, но, когда пел, ничего нельзя было разобрать — такой это был густой, низкий голос. Слышалось какое-то удивительное громыхание и рокот, до того низкий, что казался он выходящим из-под его ног. Любил отец столярные работы, но тоже они были как-то ни к чему — делал он только деревянные пароходики. Возился над каждым пароходиком около года,

делал его со всеми деталями, а когда кончал, то, удовлетворенный, говорил:

— Такую штуку можно продать не меньше чем за пятнадцать рублей!

— А матерьял стоил тридцать! — подхватывала мать.

— Молчи, Варя,— говорил отец.— Ты ничего не понимаешь...

— Конечно,— горько усмехаясь, возражала мать.— Ты много понимаешь...

Главным занятием отца была торговля. Но здесь оп превосходил себя по странности и ненужности — с коммерческой точки зрения — тех операций, которые в магазине происходили.

Для отца не было лучшего удовольствия, как отпустить кому-нибудь товар в долг. Покупатель, задолжавший отцу, делался его лучшим другом... Отец зазывал его в лавку, поил чаем, играл с ним в шашки и бывал обижен на мать до глубины души, если она, узнав об этом, говорила:

— Лучше бы он деньги отдал, чем в шашки играть.

— Ты ничего не понимаешь, Варя,— деликатно возражал отец.— Он очень хороший человек. Две дочери в гимназии учатся. Сам на войне был. Ты бы послушала, как он о военных порядках рассказывает.

— Да нам-то что до этого! Мало ли кто был на войне — так всем и давать в долг?

— Ты ничего не понимаешь, Варя,— печально говорил отец и шел в сарай делать пароход.

Со мной у него были хорошие отношения, но характеры мы имели различные. Я не мог понять его увлечений, скептически относился к пароходам и, когда он подарил мне один пароход, думая привести этим в восторг, я хладнокровно, со скучающим видом потрогал какую-то деревянную штучку на носу крошечного судна и отошел.

— Ты ничего не понимаешь, Васька,— сказал, сконфузившись, отец.

Я любил книжки, а он купил мне полдюжины каких-то голубей-трубачей. Почему я должен был восхищаться тем, что у них хвосты не плоские, а трубой, до сих пор считаю невыясненным. Мне приходилось вставать рано утром, давая этим голубям корм и воду, что вовсе не увлекало меня. Через три-четыре дня я привел в исполнение адский план — открыл дверцу голубиной будки,

думая, что голуби сейчас же улетят. Но проклятые птицы вертели хвостами и мирно сидели на своем месте. Впрочем, открытая дверца принесла свою пользу: в ту же ночь кошка передушила всех трубачей, принеся мне облегчение, а отцу горе и тихие слезы.

Как все в отце было оригинально, так же была оригинальна и необычна его страсть — покупать редкие вещи. Требования, которые предъявлял он к этого рода операциям, были следующие: чтобы вещь приводила своим видом всех окружающих в удивление, чтобы она была монументальна и чтобы все думали, что вещь куплена за пятьсот рублей, когда за нее заплачено только тридцать.

* * *

Однажды на лестнице дома, где мы жили, послышалось топанье многочисленных ног, крики и кряхтенье. Мы выбежали на площадку лестницы и увидели отца, который вел за собою несколько носильщиков, обремененных большой, странного вида вещью.

— Что это такое? — с беспокойством спросила мать.

Лучезарное лицо отца сияло гордостью и скрытой радостью человека, замыслившего прехорошенький сюрприз.

— Увидите,— дрожа от нетерпения, говорил он.— Сейчас поставим его.

Когда «его» поставили и носильщики, облагодетельствованные отцом, удалились, «он» оказался колоссальной величины умывальником с мраморной лопнувшей пополам доской и красным потрескавшимся деревом.

— Ну? — торжествующе обратился отец к окружающим.— Во сколько вы оцените эту штуку?

— Да для чего она? — спросила мать.

— Ты ничего не понимаешь, Варя. Алеша, скажи-ка ты — сколько, по-твоему, стоит сей умывальник?

Алеша — льстец, гиперболист и фальшивая низкопоклонная душонка — всплеснул измазанными чернилами руками и ненатурально воскликнул:

— Какая прелесть! Сколько стоит! Четыреста двадцать пять рублей!

— Ха-ха-ха! — торжествующе захохотал отец.— А ты, Варя, сколько скажешь?

Мать скептически покачала головой:

— Да что ж... рублей пятнадцать за него еще можно дать.

— Много ты понимаешь! Можете представить — весь

этот мрамор, красное дерево и все — стоит по случаю всего двадцать пять рублей. Вот сейчас мы его попробуем! Марья! Воды.

В монументальный рукомойник налили ведро воды... Нажатая ногой педаль не вызвала из крана ни одной капли жидкости, но зато, когда мы посмотрели вниз, ноги наши были окружены целым озером воды.

— Течет! — сказал отец.— Надо позвать слесаря, Марья! Сбегай.

Слесарь повозился с полчаса над умывальником, взял за это шесть рублей и, уходя, украл из передней шапку.

Умывальник поселился у нас.

Когда отца не было дома, все с наслаждением умывались из маленького стенного рукомойника, но если это происходило при отце, он кричал, ругался, заставлял всех умываться из его покупки и говорил:

— Вы ничего не понимаете!

У всех было основание избегать большого умывальника. У него был ехидный отвратительный нрав и непостоянство в симпатиях. Иногда он обнаруживал собачью привязанность к сестре Лизе и давался умываться из него нормальным, обычным способом. Или дружился с Алешей, был предупредителен к нему — покорный, как ребенок, лил прозрачную струю на черные Алешины руки и не позволял себе непристойных выходок.

Со всеми же другими поступал так: стоило только нажать педаль, как из крана со свистом вылетала горизонтальная струя воды и попадала неосторожному человеку в живот или грудь; потом струя моментально опадала и, притаившись, ждала следующего нажатия педали. Человек нагибался и подставлял руки, надеясь поймать проклятую струю в том самом месте, куда она била.

Но струя не дремала...

Увидя склоненные плечи, она взлетала фонтаном вверх, обрушивалась вниз, обливала голову и затылок доверчивого человека, моментально пропадала и, нацелившись на ноги, орошала их так щедро, что человек, побежденный умывальником, с проклятием отскакивал в сторону и убегал.

Иногда же умывальник вертел струей, как змея головой, поворачивал ее, кривлялся, и тогда нужно было бегать вокруг этой монументальной дряни, чтобы поймать руками ускользающую увертливую струю. Потом

уже мы придумали делать на нее форменную облаву: становились вокруг, протягивали десяток рук, и загнанная струя, как ни изворачивалась, а кому-нибудь попадала...

* * *

Однажды на лестнице раздался знакомый топот и кряхтенье... Это отец, предводительствуя армией носильщиков, вел новую покупку.

То была странная процессия.

Впереди три человека тащили громадный четырехугольник с отверстием посередине, за ними двое несли странный точеный стержень, а сзади замыкали шествие еще два человека с каким-то подобием громадного глобуса и стеклянным матовым полушарием величиной с крышу небольшого сарайчика.

— Что это? — с тайным страхом спросила мать.

— Лампа,— весело отвечал отец.

— А я думала — тумба для афиш.

— Не правда ли,— подхватил отец,— прегромадная вещь. Я и торговался полчаса, пока мне не уступили.

Лампу установили рядом с умывальником. Она была ростом под потолок и вида самого странного, на редкость неудобного — тяжелая, некрасивая, похожая на какое-то чудовищное африканское растение.

— Ну, как думаешь, Алеша... Сколько она стоит?

— Три тысячи! — уверенно сказал Алеша.

— Ха-ха! А ты что скажешь, Варя?

Мать, севши в уголку, беззвучно плакала.

С отца весь восторг сразу слетел, и он, обескураженный, подошел к матери, нагнулся и нежно поцеловал ее в голову.

— Эх, Варя! Ты ничего не понимаешь!.. Васька! Сколько, по-твоему, должна стоить такая лампа?

— Семь тысяч,— сказал я, обойдя вокруг лампы.— По крайней мере, я дал бы за нее столько, лишь бы ее отсюда убрали.

— Много ты понимаешь! — растерялся отец.

Лампа оказалась из одного семейства с умывальником. Керосин (четырнадцать фунтов), налитый в нее, потек, отравил воздух, а когда слесарь исправил ее (тот самый, который украл шапку), то лампа втянула в себя громадный черный фитиль и ни за что не хотела выпустить его. Вытащенный какими-то щипцами, фитиль загорелся, но так начадил, что соседи пришли спасать нас

от пожара, предлагая бесплатные услуги по выносу вещей и тушению огня.

А громадная необъятная лампа горела маленьким микроскопическим огоньком, таким, какой теплится в лампадке у икон, тихо потрескивала и язвительно прищелкивала своим крохотным красным язычком.

Отец стоял перед ней в немом восторге.

* * *

Однажды на лестнице послышался такой же шум, грохот и крики.

— Что еще? — выскочила мать.

— Часы,— счастливо смеясь, сообщил отец.

Это было самое поразительное, самое неслыханное из всего купленного отцом.

По громадному циферблату стремительно носились две стрелки, не считаясь ни с временем, ни с усилиями людей, которые вздумали бы удержать их от этого. Внизу грозно раскачивался колоссальный маятник, делая размах аршина четыре, а впереди весь механизм хрипло и тяжело дышал, как загнанный носорог или полузадушенный подушкой человек...

Кто их сделал? Какому пьяному, ненормальному, воспаленному алкоголем мозгу явилась мысль соорудить этот безобразный неуклюжий аппарат, со всеми частями, болезненно, как в бреду, преувеличенными, с ходом без логики и с пьяным отвратительным дыханием внутри, дыханием их творца, который, может быть, околел уже где-нибудь под забором, истерзанный белой горячкой, изглоданный ревматизмом и подагрой.

Часы стали рядом с умывальником и лампой, перемигнулись и сразу поняли, как им вести себя в этом доме.

Маятник стремительно носился от стены к стене и все норовил сбить с ног нас, когда мы стремглав проскакивали у него сбоку... Механизм ворчал, кашлял и стонал, как умирающий, а стрелки резвились на циферблате, разбегаясь, сходясь и кружась в лихой вакхической пляске...

Отец вздумал подчинить нас времени, показываемому этими часами, но скоро убедился, что обедать придется ночью, спать в полдень и что нас через неделю исключат из училищ за появление на уроках в одиннадцать часов вечера.

Часы пригодились нам как спортивный, невиданный

доселе нигде аппарат... Мы брали трехлетнюю сестренку Олю, усаживали ее на колоссальный маятник, и она, уцепившись судорожно за стержень, носилась, трепещущая, испуганная, из стороны в сторону, возбуждая веселье окружающей молодежи.

Мать назвала эту комнату «Проклятой комнатой». Целый день оттуда доносился удушливый запах керосина, журчали ручейки воды, вытекавшей из умывальника на пол, а по ночам нас будили и пугали страшные стоны, которые испускали часы, перемежая иногда эти стоны хриплым зловещим хохотом и ржаньем.

Однажды, когда мы вернулись из школы и хлынули толпой в нашу любимую комнату повеселиться около часов, мы отступили, изумленные, испуганные: комната была пуста, и только три крашеных четырехугольника на полу показывали те места, где стояли отцовы покупки.

— Что ты с ними сделала? — спросили мы мать.

— Продала.

— Много дали? — спросил молчавший доселе отец.

— Три рубля. Только не они дали, а я... Чтобы их унесли. Никто не хотел связываться с ними даром...

Отец опустил голову, и по пустой комнате гулко прошелся его подавленный шепот:

— Много ты понимаешь!

Теперь он умер, мой отец.

МОЛНИЯ

1. Приезд незнакомца

Если сказать правду, то рудничный поселок «Исаевский» считался первым среди других поселков — по числу и разнообразию развлечений.

Жаловаться было нечего: каждая неделя приносила что-нибудь новое. То конторщик Паланкинов запьет и в пьяном виде получит выговор от директора, то штейгерова корова сбесится, то свиньи съедят сынишку кухарки чертежника...

А однажды рудничный врач, в пьяном виде, отрезал рабочему совсем не ту ногу, которую следовало. Этой ногой досужие, скучающие конторщики кормились целую неделю, потому что, хотя здоровая нога и была зарыта в

больничном саду, но родственники безногого пронюхали об этом, вырыли ногу и явились к доктору просить на чай. Доктор раскричался, заявил, что понимает в медицине не хуже любого человека, и только после долгих споров, когда родственники стали энергично наступать на него с ногой в руках — он сдался и уплатил десять рублей, не считая докторского осеннего пальто, подаренного безногому рабочему за беспокойство.

Немало развлекала рудничную молодежь и история с неизвестным прохожим, который, шатаясь в зимнюю ночь около поселка, влез погреться на коксовую печь старой системы и прогорел. Объясняли так: когда он ложился, печь была еле-еле теплая, а потом огонь разгорелся, пробился сквозь угольную кору и прожег бок спящему.

Видом своим изжаренный прохожий напоминал громадного поросенка, кожа на нем полопалась, волосы обгорели, и, так как он из-за каких-то формальностей целую неделю ждал погребения — конторщики, стосковавшиеся по свежему, новому человеку, гурьбой шли в сарай, поднимали простыню и рассматривали покойника.

Но все это были мелочи по сравнению с тем событием, которое оставило самый яркий след в жизни поселка... Событие это было — кинематограф и стереоскопы.

Однажды, в осеннее утро, похожее, как две капли воды, на другие утра, в контору приехал худой черный человек с цыганским лицом и белыми зубами, сверкнул этими зубами, сверкнул белками глаз и потребовал, чтобы его проводили к главному инженеру...

Сначала все предположили, что это — лесной поставщик, и не обратили на него никакого внимания, но это оказался не поставщик!

Инженер после краткой беседы с приезжим вышел в контору и сказал:

— Вот, господа, месье Кибабчич предлагает у нас устроить временный кинематограф. Я думаю дать ему разрешение, конечно, только в том случае, если это не будет неблагоприятно отражаться на общем ходе занятий вверенного мне поселкового персонала!..

Инженер повернулся и ушел, а контора загудела, оживилась, и Кибабчич сразу оказался в кругу двадцати молодых людей с испитыми от работы, пьянства и скуки лицами.

Все впились в него глазами и стояли молча с полминуты.

Самый развязный из конторщиков Масалакин протянул ему руку и сказал:

— Позвольте познакомиться.

Кибабчич очаровал всех своим ловким, непринужденным ответом. Он сказал:

— Очень рад.

— Позвольте познакомиться,— протянул руку табельщик Уважаев.

И конторщик Петухин протянул тоже руку и сказал:

— Позвольте познакомиться.

И всем говорил Кибабчич, этот чудесный, загадочный человек из другого неведомого края:

— Очень рад. Очень рад.

— Ну,— сказал старик Луховидов,— посмотрим, посмотрим ваш кинематограф.

— Не оставьте меня вашим благосклонным вниманием,— расшаркался Кибабчич.

— Мы будем ходить каждый день! — в порыве беспредельной радости вскричал Петухин.

Над поселком «Исаевским» загоралась новая заря.

2. Премьера

В большом помещении, носившем название «ожидальня», потому что зимой в ней сотни рабочих ожидали расчета, кипела работа. Плотники натягивали на раму полотно, устраивали скамьи для публики и загородку для рабочих.

Конторщики то и дело выскакивали из конторы и прибегали смотреть: как идет работа и успевают ли закончить все к вечеру воскресенья, когда была назначена премьера.

Уже в субботу с утра в конторе никто не занимался. Все бродили от одного стола к другому и с напускным видом равнодушия вели беседы.

— Симпатичный он человек, этот Кибабчич. Такой простой. Вчера даже обедал у штейгера Анисимова.

— Ну?.. Все-таки, что ни говорите, затеять такое дело нужна большая сметка! Ведь это, как театр!

— А его сестра на мандолине играть будет,— сказал пронырливый Масалакин.

— Что ты! Артистка?

— Значит, артистка, если играет на мандолине!

— И ты с ней знаком?

— Ну, не знаком еще. Но могу познакомиться... через Анисимова.

Все пожали плечами, но на лицах читалась самая некрасивая, незамаскированная зависть.

Наступило воскресенье.

Хотя начало сеанса было назначено на восемь часов, но рабочие пришли в четыре, конторщики — в шесть с половиной, а бухгалтер и штейгер, как истые аристократы, пресыщенные жизнью и удовольствиями,— в семь часов.

Масалакин, этот несокрушимый смелый лев, успел-таки познакомиться с сестрой Кибабчича и с семи часов вечера уже стоял около ее стула, рассматривая мандолину с искусственным спокойствием человека, умеющего владеть собой.

Масалакин был одет шикарнее всех. На нем был смокинг, темно-красный закрытый жилет и изящные скороходы, сквозь верхние прорезы которых виднелись чистые белые чулки. На пальце сверкал огромный бриллиант, выменянный у Петухина на собрание сочинений Жюля Верна, а в галстуке торчала такая громадная булавка, что Масалакин время от времени одним размашистым движением подбородка сверху вниз — втыкал ее глубоко по самую шляпку в галстук.

Дамы смотрели на него с обожанием, конторщики завидовали, а он бросал на всех рассеянные, снисходительные взгляды и вел со своей соседкой разговор вполголоса.

И думал он: «Почему все люди одинаковы? Почему я красив, блестящ и умею поговорить, а другие конторщики — жалкие, невидные, ничем не выделяющиеся. Почему одних Господь отличает, а других сваливает в одну кучу?»

Премьера удалась на славу. Картины весело мелькали на экране, мадемуазель Кибабчич играла вальс «Сон жизни», а Масалакин изредка наклонялся к ней с целью показать, что между ними уже установились дружеские отношения, и спрашивал:

— А из «Евгения Онегина» Чайковского что-нибудь играете? Или марш «Вахт-парад»?

Во время перерыва дочь больничной сиделки Аглая Федоровна подозвала блестящего Масалакина и сказала:

— Фу, какой вы нарядный! Слушайте, вы знакомы с этим антрепренером... как его?

— Кибабчич,— уронил небрежно Масалакин.— Как же, Кибабчич!

— Познакомьте меня с ним.

Масалакин ринулся в будку, вытащил оттуда Кибабчича и, дружески взяв его под руку, потащил в третий ряд.

— Да иди сюда, Костя! Да иди сюда, я тебя с одной барышней познакомлю! Не бойся!

Все ахнули, услышав, что Масалакин уже на «ты» с гордым, богатым директором кинематографа.

Конторщики завидовали...

И когда этот человек все успевал?

3. На другой день

Утром в конторе опять завидовали блестящему Масалакину, расспрашивали его о домашней жизни директора кинематографа и, подмигивая, говорили:

— А вы прямо ухажером сделались этой, что на мандолине играла. Смотрите, влюбитесь.

Масалакин радостно смеялся.

— Уж и влюблюсь! Просто я люблю театральный мир и артистов. В них есть что-то благородное!

— Она действительно его сестра?

— Да-да. Она окончила курсы игры на мандолине, бывала в Петербурге. Даже несколько раз.

Во время обеденного перерыва Масалакин предложил товарищам:

— Хотите, пойдем в кинематограф?

— Да там же сейчас ничего нет.

— Все равно. Я покажу вам полотно, ленты. Картинки маленькие-маленькие.

И он, как свой человек, повел конторщиков в «ожидальню».

Там царила полутьма. Кибабчич возился в будке, а сестра его меняла на мандолине струну.

— Позвольте познакомить вас,— сказал Масалакин.

— Очень приятно,— сказала барышня.

— Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно,— застенчиво сказали три конторщика.

Кибабчич вылез из будки и стал показывать полотно и ленты.

— Неужели за полотном ничего нет? — удивился Уважаев.

— Ничего. Простая стена.

— Поразительно. А я думал... А это что такое?

— Стереоскопы. Сейчас я зажгу лампочку. Если в это отверстие бросить пятак и вертеть ручку, то вы увидите раздевающуюся парижанку, купание в Биарицце и мечеть в Каире. Очень интересно!

Раздевающаяся парижанка понравилась больше всего. Петухин истратил на нее три пятака, Уважаев — четыре, а какой-то маленький, вновь поступивший конторщик с бледным, плоским, как лопата, лицом — сорок копеек.

Масалакин в это время что-то шептал барышне тихим, разнеженным голосом.

4. Еще несколько дней

Каждый вечер зажигались лампы, впускалась по билетам публика, и Кибабчич показывал свои картины. Несмотря на то что их было только восемь и программа ни разу не менялась, публика с охотой десятки раз просматривала и «Выделку горшков в Ост-Индии», и «Барыня сердится» (очень комическая), и «Путешествие по Замбези» (видовая)...

Наоборот, было так приятно узнавать старых знакомых, барыню, бьющую посуду на голове мужа, негров, вытаскивающих гиппопотама, и неловкого штукатура, обливающего краской прохожих.

— Сейчас будет «Жертва азарта»! — предсказывал Петухин, развалившись во втором ряду.

— Нет, это через картину,— возражала сиделкина дочь Аглая.— А сейчас «Барыня сердится», очень комическая. Я хорошо помню, Константин Сергеевич! — кричала она, оборачиваясь к будке.— Ведь сейчас «Барыня сердится», очень комическая?

— Да, да, Аглая Федоровна. Впрочем, какую вы хотите, ту и пущу!

— Ах, какой вы кавалер!

Аглая краснела. Все завидовали.

Днем в «ожидальне» всегда торчал кто-нибудь из конторщиков. Заходил Петухин и, здороваясь с Кибабчичем, говорил:

— Скучно что-то. Посмотреть разве «Парижанку»?

— Пожалуйста,— радушно говорил Кибабчич,— картина интересная.

Петухин бросал пятак, смотрел «Парижанку», потом «Купание в Биарицце», а потом, чтобы отстранить от

себя подозрения в склонности к эротике, жертвовал пятак на скучную «Мечеть в Каире».

Приходил и Уважаев.

— Смотрел уже «Парижанку»?

— Смотрел. И «Мечеть» смотрел и «Купанье».

— Хочешь еще посмотрим? Куда ни шел пятачок! Посмотрим?

— Ну, давай.

Друзья становились у стекол и вертели ручку, любуясь знакомой, до последней черточки и складки белья, парижанкой.

— Вечером будете? — спрашивал Кибабчич.

— Конечно, будем. «Барыня сердится» будете показывать?

— Все буду. Приходите.

Кибабчич был светлым лучом Исаевского поселка, несмотря на то, что конторщики совершенно разорились на стереоскопы и билеты.

Кибабчича приглашали с сестрой на обеды, на именины, катали на рудничных лошадях... Аглая вышила ему голубую сорочку, а Масалакин подарил мадемуазель Кибабчич громадную коробку конфет от Шелепова — таких сухих, что их перед едой надо было обливать теплой водой.

5. Тьма

И вот в один осенний день все это неожиданно кончилось... Кибабчич объявил, что завтра состоится последний спектакль и на другое утро они с сестрой перевозят свой театр на новое место.

Погас светлый луч...

Больше всех были в отчаянии Масалакин и Аглая... Она пришла вечером к Кибабчичу, вызвала его и имела с ним долгий разговор. А Масалакин сказал своей артистке, что едва ли переживет удар... Она ответила, что им нужно расстаться, а Масалакин заявил, что все артистки равнодушны и жестоки!.. И намекнул, что если когда-нибудь умрет, то немалая доля вины в этом придется на долю кое-кого.

По окончании спектакля директору кинематографа и его сестре был устроен ужин, на котором Петухин говорил длинную, отрывистую речь, смысл которой заключался в том, что он благодарит дирекцию за доставленное эстетическое удовольствие и что деньги, в сущности, дрянь. Все сидели печальные, как на похоронах... А ут-

ром блестящая труппа покинула Исаевский поселок. Уехали: брат, сестра, «Парижанка», «Барыня сердится», штукатур, гиппопотам, мечеть и Аглая, которая бросила отчий кров для захватывающе интересной жизни с обаятельным авантюристом Кибабчичем.

И стало мертво, темно и пусто...

Даже неудачное покушение Масалакина на самоубийство при помощи баночки хлористого натрия, украденного в рудничной аптеке, и то не расшевелило заснувших.

О ШПАРГАЛКЕ

Трактат

Написан автором для детей. С большой к ним любовью и нежностью

1

«Шпаргалка» была известна в глубокой древности.

Слово «шпаргалка» происходит от санскритского — chpargalle, что значит: секретный, тайный документ.

У Плиния встречается описание шпаргалок того времени, но они были громоздки, неудобны и употреблялись древними учениками лишь в самых крайних случаях. Дело в том, что тогда бумаги еще не существовало, а папирус и выделанная кожа убитых животных стоили очень дорого. Поэтому шпаргалки писались древними учениками на неуклюжих, тяжелых навощенных кирпичах, которые не могли быть спрятаны в карманы или за пазуху. Ученики, пользовавшиеся на экзаменах такими шпаргалками, часто попадались, подвергались взысканиям и иногда даже, как неспособные быть гражданами в будущем,— сбрасывались с утеса в бушующее море (Спарта).

Со времени изобретения бумаги шпаргалка стала популяризироваться, развиваться и уже, в ближайшие к нам века, завоевала себе в науке выдающееся положение. Но дети, пользовавшиеся шпаргалкой, как и в древности, подвергались всяческим наказаниям и гонениям и даже вызвали знаменитый по своей жестокости закон Мальтуса.

Наука, однако, не зевала и шла напролом быстрыми шагами, толкая впереди себя юркую, удобную, портативную шпаргалку. Некоторые защитники шпаргалки как

научного пособия утверждают даже, что не наука толкала вперед шпаргалку, а эта последняя тащила на буксире науку.

Во всяком случае, известно, что и великие, знаменитые люди не брезгали шпаргалкой как учебным пособием. Назовем некоторых: Гейне, Гельмгольц и даже наш великий соотечественник Пушкин, автор бессмертного «Руслана и Людмилы»...

В наши дни шпаргалка является образцом усовершенствованности, хитроумия и человеческой находчивости. В ее типе многое упростилось, многое лишнее, ненужное, что подвергало ученика на экзамене риску попасться — упразднено.

Перечислим в нашем небольшом очерке наиболее распространенные типы шпаргалок...

Шпаргалка обыкновенная

Пишется на длинной, свернутой в трубочку полосе бумаги, вроде свитка (возвращение к древним образцам?). Бумага свернута так, что края ее загибаются внутрь, и, таким образом, нужное место легко может быть найдено в бесконечном свитке посредством простого передвижения загнутых краев. Почерк должен быть мелкий, убористый, но ясный, разборчивый, без ошибок, кои для экзаменующегося могут быть гибельны. Бумага тонкая, гибкая.

Шпаргалка манжетная

Манжетная шпаргалка более удобна в смысле своей незаметности и отсутствия риска, но как площадь для вписывания максимума данных необходимой науки,— она невелика, стеснительна и поэтому может содержать только самые необходимые для экзаменующегося термины.

Лучший способ пользования манжетной шпаргалкой — задумчивое поднесение руки ко лбу, будто бы вы сосредоточенно обдумываете ответ. В это время и нужно быстро прочесть шпаргалку, отмечая в уме главное, но не обнаруживая в то же время на лице исключительного интереса к чтению, что легко может быть замечено экзаменаторами.

В случае уличения вас в пользовании шпаргалкой вы должны моментально задвинуть манжеты в рукава, а если и это будет замечено — можете пустить в ход по-

следний шанс и удивленно заявить, что сами не знаете — кому это понадобилось испортить ваши новые манжеты, исписав их непонятными словами. Некоторые считают также недурным выходом из положения — заплакать, но мы лично считаем этот способ устаревшим и обыкновенно не достигающим цели.

Шпаргалка с резиной

Разновидность манжетной — по размеру своей площади, очень небольшой и неудобной.

Изготовление такое: кусок резинки, употребляемой обыкновенно для рогаток, пришивается одним концом к внутреннему карману, а другим к шпаргалке, сделанной из твердой бумаги. По мере необходимости шпаргалка вытягивается из кармана и быстро пробегается глазами (см. «шпаргалка манжетн.»), а в случае тревоги стоит только пустить шпаргалку на волю, и она сама вскочит в карман.

В случае недоразумений с экзаменационным комитетом наиболее уместен тон благородного негодования и оскорбленной невинности.

Диалог приблизительно такой:

Экзаменатор. Эй, эй! Что это вы там читаете, вынутое из кармана?

Вы (изумленно). Я? Читаю? Ничего подобного.

Экзам. Да я же сам видел бумажку, вынутую вами из кармана. Она, наверно, и сейчас в ваших руках...

Вы (доверчиво показываете обе руки)...

Экзам. Но этого не может быть! Я видел своими глазами!! Значит, вы уронили на пол!

Начинаются безрезультатные поиски на полу, осматриваются снова ваши руки, рукава, заглядывают даже в ваш рот; на ваших глазах дрожат слезы негодования невинно оскорбленного человека, потому что никакой шпаргалки не обнаруживается.

Тогда вы спрашиваете дрожащим голосом:

— За что вы меня, господа, обидели?

Будьте уверены, что экзаменаторы почувствуют перед вами такую неловкость, которая может быть смягчена только несколькими пятерками, хотя бы вы на самом деле не знали ни бельмеса.

После получения вами хороших отметок мы не рекомендуем разоблачать фокус с резинкой, радостно приплясывая на одной ноге и хлопая в ладоши:

— А я надул, надул вас! У меня-таки была шпаргалка на резинке! Ага, что?!.

В этом случае скоропреходящая минута удовольствия, торжества и морального превосходства над экзаменаторами легко может быть искуплена сиденьем в классе на второй год.

Шпаргалка подошвенная

Культура идет вперед быстрыми шагами. Что казалось невозможным, неслыханным вчера — сегодня уже не вызывает ни в ком удивления. Такова подошвенная шпаргалка.

Кажется, что может быть труднее и неблагодарнее — написать шпаргалку на подошвах сапога? — однако в последнее время экзаменующиеся прибегают к этому чаще, чем многие думают.

Понятно, что само местонахождение шпаргалки суживает круг возможности пользоваться ею. Так, при устном ответе чтение по такой шпаргалке невозможно. Мы не знаем случая, чтобы кто-нибудь, стоя перед экзаменаторами, хватал сам себя с искусством гимнаста за ногу и, поднеся подошву сапога к глазам, начинал отвечать по ней свой билет. Помимо неудобства такого положения, оно сразу бросается в глаза экзаменаторам и вызывает в них подозрение: что это, дескать, такое ученик нашел на своем сапоге? Почему он так внимательно рассматривает подошву?

Если бы даже ученик, стоящий у экзаменационного стола, и знал, что у рядом с ним стоящего товарища на сапоге помещается целая литература, то и тут элементарное чувство общности интересов должно удержать его от хватания товарища за ноги, повержения его на пол и чтения своего билета по подошвам поверженного.

Шпаргалка телесная

Уж одно название этой шпаргалки показывает, что она должна писаться на теле.

Наиболее удобное для этого места следующие: ладони рук и ногти.

Этот способ сдачи экзаменов имеет то неудобство, что лишает экзаменующегося возможности приветствовать товарищей дружеским пожатием, вытереть пот со лба или вступить со сверстниками в оживленную драку. Мы знали мальчугана, которого товарищи однажды пе-

ред экзаменом били и оскорбляли, как хотели, а он отвечал на все это кроткой снисходительной улыбкой...

И не потому, что был он добр, а просто руки его были исписаны так, как пишутся словоохотливыми людьми открытки. Даже ногти его пестрели какими-то формулами. Этот мальчик выдержал экзамен блестяще, но когда потом пошел стирать свои записи на руках — с помощью лиц и затылков утренних обидчиков, то так увлекся этим, что был замечен попечителем округа и оставлен на второй год.

Впрочем, этот случай — исключительный и возражением против пользования «телесной шпаргалкой» служить не может.

* * *

Мы знали одного ученика, который увлекался принципом именно телесной шпаргалки. Он был исписан так, что любитель дал бы за него большие деньги. Это была какая-то ходячая энциклопедия разных наук.

Если бы у нас существовала работорговля, то любой работорговец нажил бы на нем немало, перепродав его какому-нибудь ленивому ученику, которому опротивело таскать за собой ранец с книгами. Исписанный мальчик бегал бы за ним, живая книга, и при необходимости мог быть развернут и проштудирован самым полезным образом.

Недавно, сидя у костра, мы слышали от старых учеников такую поэтическую легенду о шпаргалке...

Несколько учеников в ночь перед экзаменом пробрались к спящему крепким сном учителю и исписали все его лицо несмывающимися чернилами. Это была первая шпаргалка в неприятельском лагере.

И когда на другое утро он спрашивал экзаменующихся, они прямо, честно и внимательно глядели ему в лицо и отвечали без запинки.

Повторяем, это — легенда...

2

Среди учеников наблюдаются и такие редкие экземпляры, которые не пользуются шпаргалками. Есть даже такие лица, которые отрицают пользу шпаргалок. Большей частью это лица, надеющиеся на свое счастье, но экзамены, как и всякая игра, по нашему мнению, тогда только и хороши, когда призывается на помощь счастью и некоторая заботливость, и труд. (Трудом мы называем

добросовестное и тщательное изготовление шпаргалок по вышеприведенным образцам.)

А счастье, а русское знаменитое «авось» — вещи слишком гадательные, и не всегда они вывозят.

Мы знали двух мальчиков — одного чрезвычайно прилежного, а другого — шалопая, ленивого, как тропический индеец.

Они готовились к экзаменам.

Разбили всю книгу по всеобщей истории на билеты, и случилось так, что ко дню экзаменов прилежный мальчик вызубрил все билеты, кроме одного, до которого дойти не успел; а шалопай, лентяй и бездельник, идя на экзамен, прочел только один единственный билет из всего громадного количества, представленного ему потом на выбор.

И что же случилось?! Прилежный ученик вынул как раз тот билет, до которого не успел дойти, а лентяй превосходно ответил тот единственный кусочек, который значился на его билете и который он успел прочесть по дороге на экзамены.

Прилежный мальчик после этого случая забросил все свои тетради, изорвал книги и, переселившись на Камчатку, сделался грозой и несчастьем всех других детей: он бил их и увечил так, что потом кончил свои дни в колонии малолетних преступников, где дожил до глубокой старости.

Вот вам и счастье.

* * *

Статья о «шпаргалке» кончена.

Некоторые педагоги, может быть, упрекнут и даже выбранят меня за то, что я все время держался только на уровне шпаргалки и ее применения, вместо того, чтобы посоветовать ученикам лучше и добросовестнее учиться по книгам.

Но дело в том, что автор — ярый противник экзаменов. Да и автор уверен, что в данной статье он приковывал внимание юной аудитории лишь до тех пор, пока говорил с ней серьезным, деловым, понятным ей языком — без всякого ломанья.

А пустые советы слушаться доброго начальства и вести себя паиньками — пусть дают другие, которые любят бедных детей меньше, чем автор...



НОВАЯ ИСТОРИЯ

Из „Всеобщей истории, обработанной „Сатириконом"

История русского смеха очень коротка... В далеком прошлом русский смех культивировался только русалками, которые, поймав на берегу неопытного прохожего, начинали щекотать его до тех пор, пока он, корчась от смеха, не отдавал Богу душу...

Последующие этапы русского смеха отличались такой же чарующей простотой и незамысловатостью: выставляли голого человека на мороз и обливали ледяной водой, что вызывало у вельмож того времени неудержимые приступы смеха. Покупали шутов, и если шут был горбатым — хорошее расположение духа покупателя считалось надолго обеспеченным.

Когда же русский смех оставил позади себя русалок, замороженных людей и веселых горбунов и понесся дальше к культурному идеалу,— он с размаху попал в объятья жирной, крикливой тещи, которая долго тискала этого горемыку в своих объятьях, а добрая цензура простирала над ними руки и благословляла такой противоестественный союз.

Исключив из своей программы все перечисленные этапы русского смеха — от смертельного щекотания читателей русалками до популярной тещи,— «САТИРИКОН» выбрал новый, свой собственный путь и, вступая в третий год своего существования, может смело сказать, что избранное им направление вызывает большее восхищение, чем смех замороженных людей и путников, безвременно скончавшихся от щекотки.

Все годовые подписчики получат в виде бесплатного приложения роскошно иллюстрированное издание: «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ», обработанная «Сатириконом» под углом его зрения, под редакцией

А. Т. Аверченко

Хотя наша «Всеобщая история» и не будет рекомендована ученым Комитетом, состоящим при м-ве народного просвещения,— как руководство для учебных заведений, но эта книга даст подписчикам единственный случай взглянуть на историческое прошлое народов — в совершенно новом и вполне оригинальном освещении...

«Сатирикон», 1909 г.

«Всеобщая история» вышла в таком составе: 1. Древняя история — Н. А. Тэффи. 2. Средняя история — Осипа Дымова. 3. Новая история — Аркадия Аверченко. 4. Русская история — О. Л. д'Ора. Книга выдержала несколько изданий.

ВВЕДЕНИЕ

История средних веков постепенно и незаметно переходила в «новую историю». Различие между этими двумя периодами заключается в том, что человечество, покончив со средними веками, сразу как-то поумнело и, устыдившись своей средневековой дикости, поспешило сделать ряд шагов, которым нельзя отказать в сообразительности и здравом смысле.

В средние века поступательное развитие культуры измерялось лишь количеством сожженных на площадях колдунов да опытами над превращением живых людей в кошек, волков и собак (опытами — принесшими ученым того времени полное разочарование). Новая история пошла по другому, более просвещенному пути. Правда, колдунов на кострах все еще продолжали сжигать, но делали это уже безо всякого одушевления и подъема, с единственной целью заполнить хоть каким-нибудь развлечением зияющую пустоту пробуждающегося ума и души.

Таким образом, великие люди, положившие своим гением начало «новой истории», имели уже благодарную почву в жаждущих чего-то нового душах простых людей... Изобретатели и открыватели могли уже начать свое дело без жгучего риска быть сожженными на приветливых огнях костров ad majorem dei gloriam *.

Человечество сделалось сразу таким культурным, что ни Гуттенберг, ни Колумб не были зажарены на костре: первый скончался просто от голодухи и бедности, второй — от тяжести тюремных оков, в которые заключил его удивленный его открытиями король Фердинанд.

В религиозных верованиях тоже пошла коренная ломка: как из мешка посыпались разные реформаторы, протестанты, Эразмы Роттердамские и Мартины Лютеры.

Монахи были в большой моде, а один из них — Бертольд Шварц — ухитрился даже выдумать порох, что не удавалось до него даже самым интеллигентным людям того времени.

---

* «К вящей славе Божией» *(лат.)* — девиз ордена иезуитов.

Таким образом, при веселом грохоте пушек, скрипеньи печатных станков и воплях новооткрытых краснокожих — человечество вступило в период «Новой Истории»!

ЭПОХА ИЗОБРЕТЕНИЙ, ОТКРЫТИЙ И ЗАВОЕВАНИЙ

1. Книгопечатание и бумага

Раньше, до изобретения книгопечатания, люди писали черт знает на чем: на коже животных, листьях, кирпичах — одним словом, на первом, что подвертывалось под руку.

Сношения между людьми были очень затруднительны... Для того, чтобы возлюбленный мог изложить как следует предмету своей любви волнующие его чувства — ему приходилось отправлять ей целую подводу кирпичей. Прочесть написанное представляло такую тяжелую неблагодарную работу, что терпение девицы лопалось, и она на десятом кирпиче выходила замуж за другого.

Кожа животных (пергамент) тоже была неудобна, главным образом своей дороговизною. Если один приятель просил у другого письменно на пергаменте взаймы до послезавтра сумму в два-три золотых, то он тратил на эту просьбу всю полученную заимообразно сумму, т. к. стоимость пергамента поглощала заем. Отношения портились и происходили частые драки и войны, что ожесточало нравы.

Таким образом, можно с полным основанием сказать, что появление на рынке тряпичной бумаги смягчило нравы.

Первыми, кто научил европейцев делать бумагу, были — как это ни удивительно, арабы — народ, прославившийся до того лишь черным цветом лица и необузданным, лишенным логики поведением.

Кстати, у арабов же европейцы позаимствовались и другой, очень остроумной штукой: арабскими цифрами. До этого позаимствования в ходу были лишь римские цифры, очень неудобные и громоздкие... Способ начертания их был насколько прост, настолько же и неуклюж. Если нужно было написать цифру один, писали: I, два — II, три — III и т. д.— по величине цифры — количество палочек. Оперирование с однозначными цифрами

еще не представляло затруднений... Но двузначные и трехзначные — занимали целую страницу единиц, и чтобы сосчитать их, приходилось тратить непроизвольно уйму времени. А цифру «миллион» и совсем нельзя было написать: она занимала место, равное расстоянию от Парижа до Марселя.

Таким образом, ясно, какое громадное значение для культуры и торговли имели арабские цифры, и можно вообразить, как гордились своей выдумкой арабы, задирая кверху свои черные, сожженные солнцем носы...

Книгопечатание на первых порах стояло на самой жалкой низкой ступени. Если бы Иоганна Гуттенберга, изобретателя книгопечатания, привести теперь в самую ординарную типографию, печатающую свадебные приглашения и меню, и показать ему обыкновенную типографскую машину — он ничего бы в ней не понял и, пожалуй, выразил бы желание «покататься» на маховом колесе.

Во времена Гуттенберга печатали книги так: на деревянной доске вырезывали выпуклые буквы, намазывали черной краской и, положив на бумагу доску, садились на нее в роли подвижного энергичного пресса. От тяжести типографа и зависела чистота и четкость печати.

Вся заслуга Гуттенберга заключалась в том, что он напал на мысль вырезывать каждую букву отдельно и уже из этих подвижных букв складывать слова для печати. Кажется,— мысль пустяковая, а не приди она Гуттенбергу в голову, книгопечатание застряло бы на деревянных досках, и человечество до сих пор сидело бы в каком-нибудь семнадцатом веке, не догадываясь о причине своей отсталости. Ужас!

Будучи сообразительным человеком по части книгопечатания, Гуттенберг в жизни был сущим ребенком, и его не обманывал и не обсчитывал только ленивый... История говорит, что он вошел в компанию с каким-то золотых дел мастером Фаустом. Тот типографию забрал себе, а Гуттенберга прогнал. Гуттенберг опять нашел какого-то, как гласит история, «очень богатого отзывчивого человека». Отзывчивый человек тоже присвоил себе типографию, а Гуттенберга прогнал. В это время нашелся еще более отзывчивый человек — архиепископ Майнцский Адольф. Он принял Гуттенберга к себе, но не платил ему ни копейки жалованья, так что Гуттенберг избавился от голодной смерти только поспешным бегством. Так до конца жизни Гуттенберг бродил от одного мошенника к другому, пока не умер в бедности.

2. Магнитная стрелка

Что касается другого важного изобретения в истории человеческой культуры — магнитной стрелки,— то пишущий эти строки так и не добился толку: кем же, в сущности, магнитная стрелка выдумана?

По одним источникам, ее изобрел какой-то Флавио Джойо из Амальфи, по другим — она была известна еще во времена крестовых походов.

Вот и разберись тут.

На всякий случай Джойо соотечественники поставили памятник и, так как патент на эту остроумную выдумку (не на памятник, а на магнит) никем не заявлен, то магнитные стрелки теперь может изготовлять всякий, кому придет охота.

По мнению пишущего эти строки, все-таки для историков остался один путь, с помощью которого можно легко проверить, изобрел ли магнитную стрелку, действительно, Флавио Джойо?

Стоит только выяснить — умер ли он в нищете? Если это так,— значит, он и изобрел компас.

Примеры Гуттенберга, Колумба и других в достаточной мере подтверждают это правило.

3. Порох

Не менее загадочна история с изобретением пороха. Молва приписывает эту заслугу монаху Бертольду Шварцу, но так как нет данных, свидетельствующих о том, что он умер в нищете, то и причастность Шварца к делу «об изобретении пороха» довольно сомнительна.

Предлагаем читателю на выбор: Бертольда Шварца или еще одного монаха Роджера Бэкона, которому приписывалось изобретение пороха еще в XIII веке.

О последнем в истории сказано:

«...Он умел составлять порох, заподозрен в ереси, подвергся преследованию и умер в тюрьме».

Это показывает, что уже в те времена всеми сознавалась разрушительная сила пороха и против нее принимались радикальные меры.

Изобретение пороха произвело коренной переворот в военном искусстве.

Раньше опытные, закаленные в боях воины поступали так: заковывали себя с ног до головы в железо, вскарабкивались с помощью слуг на лошадь и бросались

в битву. Враги наскакивали на такого воина, рубили его саблями, кололи ножами, а он сидел, как ни в чем не бывало, и иронически поглядывал на врагов. Если его стаскивали за ногу с лошади, он и тут не терялся: лежал себе на земле и иронически поглядывал на врагов. Те долго и тщетно хлопотали вокруг этой гигантской замкнутой устрицы, не зная, как открыть ее, как достать из-под железа хоть кусочек живого человеческого мяса... Провозившись бесплодно несколько часов над рыцарем, враги почесывали затылок и, выругавшись, бросались на других врагов, а к победителю приближались верные слуги и снова втаскивали его на коня.

Так и возили это бронированное чучело с места на место, пока враги не обламывали об него свое холодное оружие и не сдавались в плен.

С изобретением пороха дела храбрых замкнутых рыцарей совсем пришли в упадок. Стоило стащить такого рыцаря с лошади и подложить под него фунта два пороху, как он сейчас же размыкался, разлетался на части и приходил в совершенную негодность.

Таким образом, изобретение пороха повело к упразднению личной храбрости и силы... Военное дело было реорганизовано, появились ружья, пушки, укрепленные города затрещали, а дикари, незнакомые с употреблением огнестрельного оружия, впали в совершенное уныние. Европейцы их били, колотили и презирали на том основании, что они:

— Пороху не выдумали!

4. Открытие Америки

Очевидцы утверждают, что Америка была открыта Христофором Колумбом, прославившимся, кроме того, своей силой и сообразительностью; во время диспута с учеными Колумб, в доказательство шарообразной формы Земли, раздавил на глазах присутствующих — без всяких приспособлений — куриное яйцо. Все ахнули и поверили Колумбу.

Разрешение на открытие Америки Колумб получил условно, т. е. в договоре правительства с Колумбом было сказано буквально так:

«Мы, Фердинанд Аррагонский с одной стороны и Христофор Колумб с другой — заключили настоящий договор в том, что я, Фердинанд, обязуюсь дать ему, Колумбу, денежные средства и корабли, а он, Колумб, обя-

зуется сесть на эти корабли и плыть, куда придется. Кроме того, упомянутый Колумб обязуется наткнуться на первую подвернувшуюся ему землю и открыть ее, за что он получает наместничество и десятую часть доходов с открытых земель».

Относясь чрезвычайно почтительно к памяти талантливого Колумба, мы, тем не менее, считаем себя обязанными осветить эту личность с совершенно новой стороны, непохожей на ту, которая была создана исторической рутиной.

Вот что мы утверждаем:

1) Выезжая впервые из гавани Палоса (в Испании), Колумб думал только об отыскании морского пути в Индию, не помышляя даже об открытии какой-то там Америки. Так что тут никакой заслуги с его стороны и не было.

2) Во-вторых, никакой Америки даже нельзя было и «открыть», потому что она уже была открыта в X веке скандинавскими мореходами.

3) И, в-третьих, если бы даже скандинавские мореходы не забежали вперед — Колумб все равно никакой Америки не открывал. Пусть проследят читатели все его поведение в деле «открытия Америки...». Он плыл, плыл по океану, пока один матрос не закричал во все горло: «Земля!» Вот кто и должен был бы по-настоящему считаться открывателем Америки — этот честный, незаметный труженик, этот серый герой... А Колумб оттер его, выдвинулся вперед, адмиральский напялил мундир, вылез на берег, утер лоб носовым фуляровым платком и облегченно вздохнул:

— Ф-фу! Наконец-то, я открыл Америку!

Многие будут спорить с нами в этом пункте, многие отвергнут нашего матроса... Хорошо-с. Но у нас есть и другое возражение: в первый свой приезд Колумб никакой Америки не открывал. Вот что он сделал: наткнулся на остров Сан-Сальвадор (Гванагани), вызвал в туземцах удивление и уехал. Едучи, наткнулся на другой остров— Кубу, высадился, вызвал в туземцах удивление и уехал. Сейчас же наткнулся на третий остров Гаити — по своей, уже укоренившейся привычке высадился, вызвал в туземцах удивление и уехал домой в Испанию. Спрашивается, где же здесь открытие нового материка, если тщеславный моряк повертелся среди трех островов, вызвал в туземцах удивление и уехал?

Наш скептицизм разделялся многими даже в то время. По крайней мере, когда Колумб вернулся в Испанию и сообщил о своем открытии,— некоторые просвещенные люди, знавшие о посещении скандинавами новой страны еще в X веке,— пожимали плечами и, смеясь, язвили Колумба:

— Тоже! Открыл Америку.

С тех пор эта фраза и приобрела определенный смысл иронии и насмешки над людьми, сообщавшими с торжественным видом об общеизвестных фактах.

Что можно поставить Колумбу в заслугу — это его умение производить на туземцев впечатление и вызывать в них искреннее удивление. Правда, нужно признаться, что удивлялись обе стороны: красные индейцы при первой встрече с диким видом рассматривали белых европейцев, а белые европейцы с ошеломленными лицами глядели на красных безбородых людей, у которых вся одежда состояла из собственного скальпа, лихо сдвинутого набекрень.

Налюбовавшись в достаточной мере друг на друга, белые и красные приступили к торгу. Обе расы искренне считали друг друга круглыми дураками.

Белые удивлялись втихомолку:

— И что за идиоты эти дикари! Золотые серьги, кольца и целые слитки они отдают в обмен на грошовое зеркальце или десяток разноцветных стеклянных бус.

А дикари тоже тихонько подталкивали друг друга локтями, хихикали и качали головами с самым безнадежным видом:

— Эти белые смешат нас до упаду своей глупостью: за простой желтый кусочек, величиной не более кулака, они отдают целое не разбитое зеркало или целый аршин красного великолепного кумача!

С последующими посещениями Колумбом Америки — меновая торговля росла и развивалась.

Испанцы привезли индейцам кожи, ружья, порох, рабство и склонность к грабежам и пьянству.

Благодарные индейцы отдарили их картофелем, табаком и сифилисом.

Обе стороны поквитались, и никто не мог упрекнуть друг друга в отсутствии щедрости: ни Европа, ни Америка.

После третьего плавания в Америку, Колумб стал уже подумывать о тихой спокойной жизни без тревог и приключений... В этом ему пришел на помощь сам испанский

король Фердинанд: он заковал Колумба в цепи и посадил в тюрьму. Так как в то время всех выдающихся чем-либо людей, обыкновенно, сжигали, то эта королевская милость Колумбу вызвала у последнего много завистников.

Из них в истории известен Кортес, завоевавший Испании Мексику и снискавший у добродушного короля такое же расположение, как Колумб...

5. Завоевание Мексики и Перу

Завоевание Мексики и Перу считалось в то время очень значительным событием, но совершилось оно очень просто...

Один храбрый офицер по имени Фердинанд Кортес несколько раз приставал к испанскому королю Карлу с просьбой послать его в какую-нибудь экспедицию. Кортес так надоел королю своим беспокойным характером, что тот однажды послал его к черту.

Придравшись к этому случаю, храбрый Кортес назвал себя посланником короля, взял отряд из 500 человек и явился в Мексику.

Дальнейшее пошло, как по маслу: сначала испанцы поубивали многих туземцев, потом туземцы порядочно пощипали испанцев, убив мимоходом в увлечении дракой даже собственного короля Монтесуму.

Убедившись, что Монтесума не оживет, племянник его Гватемосин перескочил через мертвого дядю и уселся на престол с видом завзятого короля... Испанцы осадили столицу Мексики, взяли ее приступом, туземцев снова поубивали, а Гватемосина изжарили на угольях, чего он не мог простить победителям до самой смерти.

В то же время завоевательная лихорадка распространилась повсюду: завоевывал туземцев и новые страны всякий, кому было не лень.

Обыкновенно, если несколько друзей собирались за выпивкой, кто-нибудь сейчас же предлагал:

— А что, господа, не завоевать ли нам какую-нибудь страну?

— Ну что ж... можно,— соглашались гуляки, и все немедленно гурьбой ехали к робким запуганным индейцам.

Десяток нахальных, развязных завоевателей без труда убеждал многотысячное индейское войско, что для них самое лучшее — покориться.

Почему — в это никто не входил. И, конечно, индейцам ничего не оставалось, как покоряться. И они покорялись.

Таким образом, Писарро завоевал Перу, а его компаньон по выпивке какой-то Альмагро отбился на пути от компании, заблудился и, наткнувшись на страну Чили, покорил ее один-одинешенек. И страшно-то ему было, и странно, и скучно, да ничего не поделаешь — пришлось покорять.

6. Торговля неграми

Открыв Америку, испанцы стали заставлять индейцев работать в рудниках и плантациях. Нежные, не привыкшие к работе индейцы (до сих пор вся их работа сводилась к взаимному сдиранию скальпов, в чем некоторые отличались замечательным проворством и трудоспособностью) — умирали, как мухи.

Сердце одного доброго человека, по имени Лас Касас, разрывалось от жалости к несчастным индейцам.

Добрый Лас Касас стал усиленно хлопотать об освобождении индейцев.

— Какой вы чудак! — возразили ему плантаторы.— Кем же мы их заменим?

— Да африканскими неграми. Очень просто!

Совет был принят к сведению. Его исполняли так рьяно, что вся Африка скоро затрещала и почти опустела.

Освобожденные индейцы, все равно, вымирали, но теперь к ним присоединились и негры: они тоже вымирали.

Добрый находчивый Лас Касас особенной популярностью среди негров не пользовался, хотя история навсегда сохранила за ним титул «защитника угнетенных».

Теперь он уже умер.

РАЗДОРЫ И ДРАКИ ИЗ-ЗА ИТАЛИИ И ПРОЧ.

Французские короли, начиная с Карла VIII, давно уже точили зубы на Неаполитанское королевство. Дело в том, что с незапамятных времен в этой стране почему-то королевствовали французы. Гораздо проще было, конечно, если бы на итальянском престоле сидел итальянец, но народы того времени были так простодушны, что не входили в подобные тонкости.

— Сидит себе на престоле какой-то человек, ну и

пусть сидит. Лишь бы не драл семь шкур с жителей, а довольствовался двумя-тремя...

Таким образом, однажды на престол сел француз Карл Анжуйский и немедленно сделал вид, что иначе и быть не может. Так тянулось много лет, но однажды какой-то его наследник отлучился на минутку, и этого было достаточно, чтобы на престол сейчас же села Арагонская фамилия. Французскому королю Карлу VIII это показалось обидным. Он набрал войско и пошел на Италию; Арагонская фамилия, видя, что дело нешуточное, убежала в Испанию, а неаполитанцы ограничились тем, что лениво осмотрели нового короля и пожали плечами.

— Ну, садись ты. Тот король, правду сказать, был неособенный.

Но французский король оказался еще хуже: он грабил и притеснял неаполитанцев вовсю, как будто бы его готовили к этой профессии с детства.

Пришлось изгонять нового короля, возвращать старого.

Эта канитель тянулась довольно долго. Следующий король Людовик XII тоже косился на неаполитанский престол и даже заключил с Фердинандом Католиком договор с целью сообща стянуть у Арагонской фамилии этот престол.

Но Фердинанд Католик оказался таким пройдохой, которого свет не производил. При разделе завоеванного Неаполитанского королевства он обсчитал Людовика и вступил с ним в драку. Испанцы со стороны подошли, посмотрели на эту драку и потихоньку уселись сами на злосчастный неаполитанский престол.

Неаполитанцы согласились и с этим:

— Испанцы так испанцы.

Во время этих взаимных затрещин и потасовок выдвинулся один французский рыцарь — Баярд. Выдвинулся он своей храбростью и главным образом честностью.

Впрочем, выдвинуться последним качеством в то время было легко, так как мошенничество считалось самым обыкновенным делом и сидело даже в королевской крови (см. Иловайского «Новая История»).

Например, Людовик XII упрекал Фердинанда Католика в том, что тот обманул его два раза!

Самолюбивый Фердинанд обиделся, королевская его кровь закипела, и он воскликнул:

— Лжет он, пьяница! Я обманул его не три, а десять раз!

Конечно, Баярду легко было выдвинуться и прославиться при этих условиях... А в наше время был бы он обыкновенным, ординарным порядочным человеком, как мы с вами...

Людовику XII наследовал Франциск I. Жестоко ошибется тот, кто подумает, что Франциск не завоевывал Италии. История даже говорит так:

— Первым делом его был поход на Италию.

До сих пор непонятно, что, собственно, нужно было французским королям от Италии?

Конечно, Франциск взял Милан, конечно, новоиспеченный император германский Карл V сейчас же выгнал его оттуда с целью самому завладеть итальянским престолом. А Франциск снова вернулся в Милан и выгнал Карла. А Карл опять выгнал Франциска, разбил его наголову и захватил в плен.

Ну, хорошо ли все это? Спрашивается, при чем здесь были все время несчастные посторонние итальянцы?

В истории эта неразбериха называется очень громко: «Борьба за Италию!»

Подводя итоги «Борьбы за Италию», мы удивляемся только одному: как присяжные историки разбираются во всех этих однообразных неинтересных именах. У народов того времени фантазии не было никакой: всякого короля они называли Карлом или Людовиком и разбирали их только по ничего не говорящим римским цифрам позади имени. Изредка давали им прозвища, но и то — самые не характерные:

— Фердинанд Католик, Филипп Красивый, Карл Испанский.

Что типичного в том, что Фердинанд был католик? А другие короли разве не были католиками?.. Филипп назывался Красивым. А остальные как же... Были, значит, некрасивыми. Тем более, что одного Людовика тоже называли Красивым.

Можно было бы еще разобраться по национальностям, которые указывались около имен, но это было совсем рискованно и очень нескладно... Например, Карл Испанский на самом деле был не испанским, а германским императором. Почему он, в таком случае, Испанский? Почему Анна Австрийская была на самом деле французской королевой?

И много, много еще странного есть во всеобщей истории...

РЕЛИГИОЗНАЯ ПУТАНИЦА В ГЕРМАНИИ

Начало коренной ломки католичества положили так называемые гуманисты, прямой противоположностью которых являлись так называемые обскуранты.

Для ясности попробуем в двух-трех обыкновенных, понятных словах охарактеризовать тех и других, руководствуясь при этом тем впечатлением, которое осталось у нас после тщательного штудирования эпохи реформации

Так называемые гуманисты: порядочные, умные, интеллигентные люди, без косности и предрассудков.

Так называемые обскуранты: невежественные глупцы, темные и злые дураки.

Из этих душевных свойств вытекали и поступки тех и других...

Одни писали умные книги, другие сжигали их; одни говорили здравые человеческие слова, другие, возражая им, несли невозможную чушь, так что, по словам одного летописца того времени:

— Уши вянут, когда слушаешь обскуранта.

Правда, гуманисты тоже иногда впадали в ненужную крайность. Каждый гуманист думал, что умнее его никого и нет, и сейчас же выдумывал новое религиозное усовершенствование, проповедовал новую, свою собственную (остерегаться подделок!) веру...

Повторилась та же история, что с изобретениями и открытиями: появилась мода на изобретения — все бросились изобретать что попало: книгопечатание, порох, магнитную стрелку... Эту моду сменила другая: открывать. Все лихорадочно ринулись открывать,— что подвернется под руку, без всякого толку и смысла...

Понаоткрывали разных земель — мода устарела... Уже считалось признаком дурного тона, старомодным провинциализмом — открыть какую-нибудь новую землю. Проезжая мимо не открытых еще земель, мореплаватели делали вид, что не замечают их.

Образовалась в душах пустота — и пустота эта стала заполняться разными вероучениями.

Кажется, достаточно было того, что один умный религиозный человек, так наз. Мартин Лютер, исправил католическую религию, довел ее до простоты, очистил от многих ошибок и заблуждений. Нет! Появился еще какой-то Цвингли, который перевернул вверх дном всю Швейцарию, доказал, что Лютер — постепеновец, обви-

нил его чуть ли не в октябризме* и стал устраивать религию по-своему: запретил церковное пение, свечи и даже велел вынести из церквей все изображения святых.

Отсюда и пошла известная швейцарская поговорка:

«Хоть святых вон выноси» (1531 г.).

Проповеднику по имени Кальвин не понравился ни Лютер, ни Цвингли. Он потер себе лоб и выдумал новое вероучение, сущность которого заключалась в предопределении. Кальвин уверял, что люди заранее назначены — одни к вечному спасению, другие к вечной гибели. Конечно, проповедуя это, Кальвин, по своей теории, ничем уже и не рисковал в будущей жизни. Раз ему заранее было назначено то или другое — Кальвин делал в текущей жизни, что ему вздумается.

По имени Кальвина — его последователи стали называться гугенотами, но даже и этот псевдоним не спас их от истребления (см. оперу «Гугеноты»).

Некоторое время гугеноты под именем пуритан еще держались в Англии (Шотландия), но и там они постепенно вывелись. Теперь среди англичан и днем с огнем не найдешь пуританина — все едят кровавые ростбифы, ходят в кинематограф и даже изредка женятся друг на друге.

Так, по свидетельству беспристрастной истории, все религии постепенно вырождаются, мельчают и меркнут.

Личность Мартина Лютера. Как и большинство людей его сорта, Мартин Лютер имел «ввалившиеся горящие глаза, вдохновенный вид и говорил убедительно, смело, открыто и горячо».

Так, например, когда профессор Эк вызвал его на религиозный спор, Лютер стойко выдержал Эковы нападки и защищался, как лев. Выслушав мнение Лютера об Иоганне Гуссе, Эк сказал:

— С этих пор, достопочтенный отец, будьте вы мне, как язычник и мытарь.

— Сам-то ты хорош! — ответил ему Лютер (Шлезенг, II ч. стр. 143),— чем этот исторический диспут и закончился.

Спрашивается: какая же причина побудила Лютера принять лютеранство? История отвечает на это:

---

* Октябризм — здесь автор намекает на политическое течение в дореволюционной России, представленное партией «Союз 17 октября», названной от царского манифеста 17 октября 1905 года. Октябристы в Государственной думе блокировались с кадетами и монархистами.

— Папские индульгенции!

Индульгенциями назывались свидетельства, вроде тех, которые выдаются теперь «о прививке оспы».

На первый взгляд это были простые продолговатые бумажки, но в них заключалась удивительная сила: стоило только купить такую бумажку,— и покупателю отпускались грехи, не только прошедшие, но и будущие.

Перед тем, как зарезать и ограбить семью, разбойник шел к монаху и, поторговавшись до седьмого поту, покупал индульгенцию...

Иногда, не имея денег, брал ее в кредит.

— Ничего,— говорил, обыкновенно, добродушный монах.— Отдашь после, когда зарежешь. Вы наши постоянные покупатели, как же-сь!..

Если бы пишущий эти строки имел в кармане индульгенцию, которая отпустила бы ему нижеуказанный грех, он сказал бы:

— Все католические монахи того времени были канальи и мошенники, а все разбойники круглые дураки.

Как это ни удивительно, учение Лютера пришлось по вкусу именно влиятельным князьям и курфюрстам. В особенности нравилась им та часть учения, которая доказывала, что монастыри не нужны, что можно спасаться и без монастырей. В припадке религиозного фанатизма курфюрсты позакрывали все монастыри, а имущество монастырское и земли секуляризировали.

— Послушайте,— возражали монахи,— зачем же вы отнимаете у нас наше добро?

— Мы не отнимаем,—оправдывались курфюрсты,— а секуляризируем.

— А, тогда другое дело,— говорили успокоенные монахи и, убегая в горы, предавали курфюрстов и самого Лютера навеки нерушимому проклятию... (Комминг. «Начало реформации». Стр. 301).

Таким образом, совершенно незаметно Лютер сделался официальным революционером при дворах курфюрстов и князей...

В этот период его жизни «ввалившиеся горящие глаза» перестали вваливаться и гореть, щеки округлились, и, хотя он по-прежнему говорил «смело, открыто и горячо», но вот уже каковы были его смелые горячие речи (после восстания крестьян, притесняемых дворянами):

— Этих мятежников нужно убивать, как бешеных собак.

Курфюрсты не могли нарадоваться на своего протеже...

Несмотря на все это, популярность лютеранства так возросла, что появились даже подделки.

Происходило то же, что теперь происходит с аэропланами.

Аэроплан придуман и усовершенствован был одним человеком... Но другие хватались за это изобретение, приделывали сбоку какой-нибудь пустяковый винтик или клапан — и выдавали весь аппарат за продукт своего творчества.

Так — появились анабаптисты... Это были те же лютеране, но имели свой собственный клапан: многоженство и вторичное крещение детей.

Мало этого — какой-то священник Меннон * заинтересовался анабаптизмом, ввел в него какой-то пустяк и основал секту меннонитов.

У Меннона уже никто не хотел заимствовать его изобретения — аппарат принадлежал к категории тех, которые не летают...

ИЕЗУИТСКИЙ ОРДЕН

Иезуитский орден — есть такой орден, который все человечество, помимо всякого желания, уже несколько веков носит на своей шее.

К сожалению, люди до сих пор не научились вешать этот орден как следует.

ФРАНЦИЯ И ГУГЕНОТЫ

В наше время при спорах с противником приходится тратить много времени, ума и красноречия, чтобы убедить его или, по крайней мере, разбить его доводы. В прежние времена народ был проще, прямолинейнее, и когда, например, А вступал с Б в спор, то если А был сильнее и могущественнее — он сжигал Б на костре, а если более сильным оказывался Б — А немедленно попадал на костер и корчился там, и вопил, и жаловался на свою суровую судьбу, пока вкусный запах жареного мя-

---

* Правильно: Менно Симонс. Меннониты проповедуют смирение, отказ от насилия, верят во «второе пришествие Христа».

са, донесшись до Б, не показывал ему, что А убежден совершенно в правоте своего противника.

Например, во время послеобеденной прогулки А ведет с Б дружеский разговор:

А. Удивительно, как это просто: оказывается, что Земля имеет форму шара. Я сегодня только об этом узнал и, признаюсь, поражен гениальностью открытия...

Б. (иронически прищурившись). Да? Ты уверен в том, что Земля имеет форму шара?

А. Ну, конечно! Это ясно даже младенцу.

Б. (иронически). Да? Ясно? Младенцу? А я тебе скажу, милый мой, что Земля совершенно плоская.

А. (еще более иронически). Не-у-же-ли? Где же она, в таком случае, кончается?

Б. (разгорячившись). Где? Да нигде!

А. Друг! Но ведь это же чушь. Ну, тянется она на тысячу верст, ну, еще на десять тысяч, но ведь конец-то где-нибудь должен быть?

Б. Черт его знает. Нету конца, да и все.

А. Слушай же! Земля имеет форму шара — и больше никаких! Если какой-нибудь старый осел возразит: «почему же мы, в таком случае, не скатываемся?» — то я, во-первых, спрошу этого кретина: «куда?», а во-вторых, сообщу этому чурбану: «потому что существует земное притяжение!»

Б. (горько). Да? Земное притяжение? А что ты скажешь, когда я тебя немножко погрею?

А. Я... тебя не понимаю.

Б. Где же тебе понять старого осла... Эй, люди! Тащи вязанку дров, веревок и огонь.

А. Ты этого не сделаешь!!!

Б. Бери его. Вяжи! Огонь принесли? Так. Внизу лучинок положите, чтобы разгорелось. Ну, вот. Раздувай! (Опускается около костра на корточки и обиженно спрашивает.) Ты и теперь утверждаешь, что Земля круглая?..

А. (корчась). Ну... не совсем круглая, а такая... овальная!..

Б (с горьким смехом). Овальная? А ну, ребятки, поддай.

А. (лязгая зубами). В сущности, «овальная» я употребил как метафору...

Через пять минут А начинает предполагать, что он ошибся: пожалуй, Земля и в самом деле плоская.

Б. (добродушно). Ну, вот видишь! Я знаю, меня не переспоришь.

В те времена подобные диспуты назывались:

— Попасть на огонек.

В настоящее время эта фраза имеет значение более идиллическое и употребляется, преимущественно, мелкими чиновниками, которые изредка заходят к приятелю убить мирно вечерок.

Король французский Франциск I считал себя человеком неглупым, понимающим, где раки зимуют, и, поэтому, жег на костре всякого, кто смотрел на религию другими глазами, чем он. Сын его Генрих II наследовал светлый ум отца, присоединив к нему изумительное трудолюбие (жег еретиков десятками там, где родитель ограничивался единицами). Кончил же Генрих II тем, что вызвал однажды на турнир капитана своей гвардии Монтгомери,— полагая, что король должен быть не только самым умным, но и самым сильным человеком. Но Монтгомери попал ему копьем не в бровь, а в глаз, и глубоко, до самого мозга, разочаровал своего повелителя в его способностях...

После Генриха II пошел народ мелкий, ничтожный, почти ничем не прославившийся... Например, Франциск II был известен только тем, что состоял мужем знаменитой Марии Стюарт. Таких «мужей знаменитости» и в наше время можно встретить сколько угодно в уборной певицы или драматической актрисы. Они, обыкновенно, смирненько сидят в уголку и ждут, когда жена окончит спектакль — чтобы, закутав ее в шубу, везти домой.

Брат Франциска II Карл IX был знаменит тем, что за него управляла мать, Екатерина Медичи.

Нужно сказать правду: это был такой период королевского владычества во Франции, который очень хорошо характеризовался меткой фразой летописца:

— Француз ума не имеет, и иметь таковой почитает величайшим для себя несчастьем.

В самом деле — даже теперь все удивляются: что нужно было французам? Одни были католиками — ну и пусть. Другие гугенотами — пожалуйста! Сидите смирно и занимайтесь своими делами. Так католик, изволите видеть, не мог заснуть спокойно, пока не зарежет на сон грядущий гугенота. А гугеноты (из тех, которые еще не были зарезаны) спали и видели, как бы подстроить гадость католику. Противно читать даже эту позорную страницу французской истории. Ведь все равно эти религиозные дураки, с ног до головы залитые чужой и своей кровью, столько же имели шансов на царствие небес-

ное, как любой уличный негодяй и разбойник. И ни одного в то время откровенного слова об этом, ни одного умного человека! Пишущий эти строки иногда даже кусает себе губы от досады: отчего его там не было?..

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ

Грубые, глупые, коварные католики истребляли глупых простодушных гугенотов, как ретивые горничные клопов в барской постели.

Например, если нужно было католикам поубивать гугенотов, они делали это просто:

— Гугеноты,— говорила Екатерина Медичи (женщина, которую теперь не уважает даже мальчишка из третьего класса гимназии).— Гугеноты! Хотите, я выдам замуж сестру короля за вашего Генриха Наваррского?.. Не бойтесь! Приезжайте в Париж. Мы вас не тронем. Наоборот, проведем с вами очень веселую Варфоломеевскую ночь (1572).

Гугеноты, конечно, еще не знали, что такое «Варфоломеевская ночь», обрадовались, приехали в Париж, и им там устроили такую ночь, что гугеноты до сих пор не могут вспомнить о ней без отвращения.

Это произошло при короле Карле IX — слабой, безвольной душонке. Летописец того времени характеризует его так:

— Это второй зять Мижуев из «Мертвых душ».

После него царствовал Генрих III, о котором даже говорить не стоит — такой это был никчемный человек!

ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ

А следующим королем был Генрих IV Наваррский. Его считают самым порядочным из людей того времени. Отношение к религии у него было благодушное, с оттенком настоящей веротерпимости... Начал он с того, что был гугенотом. Но после Варфоломеевской ночи, пойманный королем, он имел с ним разговор (см. беседу А и Б о земном шаре), после которого перешел в католичество. Однако, стоило только гугенотам начать новую войну с католиками, как Генрих немедленно сделался гугенотом. Но тут вышла маленькая загвоздка: протестанты провозгласили его королем, а католики-парижане не хотели его признавать.

— Чего же вы хотите? — спросил их веселый Генрих.

— Если бы ты был католиком...— нерешительно возразили парижане.

— Только-то? Да Господи! Где тут у вас церковь?

И, принятый в лоно католической церкви, сказал историческую фразу:

— Господа! Вот вам историческая фраза: «Париж стоит хорошей обедни».

Это был весельчак, не дурак выпить, любитель женщин и храбрый рубака. Нам он вообще очень симпатичен. Народ свой он очень любил. Ему принадлежит еще одна историческая фраза:

— Господа! Вот вам еще одна историческая фраза: «Я желал бы, чтобы каждый французский крестьянин мог по праздникам иметь в супе курицу...»

Узнав, что это историческая фраза, окружающие запомнили ее, и до сих пор французы, гордясь добрым королем, показывают в Луврском музее хорошо сохранившееся чучело той самой курицы, которую Генрих IV хотел видеть в супе своих крестьян.

К сожалению, этот прекрасный король был убит по наущению иезуитов (читатель! остерегайся иезуитов). Вообще, короли того времени умирали или от руки убийц (Генрих III, Генрих IV), или от угрызений совести (Карл IX, Людовик XIII и др.).

КАРДИНАЛЫ

После Генриха IV на престол вступил кардинал Ришелье и, как свежий человек, быстро привел дела Франции в порядок. Ему наследовал престол кардинал Мазарини, человек не менее свежий (настолько, что Анна Австрийская, женщина уже не первой молодости, тайком вышла за него замуж).

Около этих двух королей кормились еще два Людовика: XIII и XIV,— но они не мешались ни во что, и благодарная история пожимает им за это руки.

Мы бы рассказали подробнее о вышесказанном любопытнейшем периоде французской истории, но не хотим отбивать хлеб у нашего коллеги, который употребил на это всю свою жизнь (Александр Дюма. «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя» и «Виконт Бражелон»).

Дюма рассказывает об этом периоде гораздо подробнее — болтливый, как всякий француз... То, что можно

сказать на двух страницах — он растянул на три с половиной тысячи страниц.

Впрочем — Бог с ним.

Всякому есть хочется.

ТЮДОРЫ, СТЮАРТЫ И К°

Первым королем из фамилии Тюдоров в Англии был Генрих VII, а вторым — Генрих VIII.

Последний отличался семейными наклонностями. Женатый на принцессе Екатерине Арагонской, он через 20 лет супружеской жизни вспомнил, что жена его раньше была замужем за покойным братом, и развелся с ней. Женился на Анне Болейн. После нее — еще на одной девушке Иоанне Сеймур; и еще на одной; он даже не помнил ее имени... и еще на одной; и еще на одной. Таким образом, у него было шесть жен,— не хватало еще седьмой, чтобы борода его посинела.

История Тюдоров и Стюартов напоминает Ветхий Завет наизнанку... Там — Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова, Иаков — и т. д.

А вот подлинная история Тюдоров и Стюартов:

Генрих VIII казнил жену свою Анну Болейн.

Мария Стюарт казнила своего мужа Дарнлея.

Королева Елизавета казнила королеву Марию Стюарт.

Кромвель казнил короля Карла I.

Иаков II казнил сына Карла II, герцога Монмута.

И только на Иакове II прекратилась эта странная династия: Иакова II никто не казнил, а просто он, как гласит история: «забросил в Темзу государственную печать, а сам убежал».

В это же время в Англии несколько раз менялись религии: один король был ревностным католиком и насаждал католичество, убивая еретиков; другой король вспоминал, что Англия не хуже других стран, и вводил какую-нибудь новую веру, вроде англиканской, убивая еретиков. Опять приходилось прежних католиков переделывать на пуритан; но садился на престол следующий король... пуритане ему решительно не нравились. То ли дело католики!

И опять начиналась длинная процедура перекрещивания уже несколько раз перекрещенных англичан. Священники наживались на этих старых крестинах, а народ

скучал в такой однообразной жизни, разорялся и бедствовал,— пока не пришел Кромвель. Это был хитрый мужичок, который хотя и обладал «голосом хриплым и монотонным, речью растянутою и грубою, а одевался небрежно», но когда он сказал своим хриплым монотонным голосом:

— Довольно!

Все поняли, что действительно, «довольно». Кромвель ввел парламент, поднял английскую торговлю и мореплавание; за это благодарные англичане поднесли талантливому самородку титул «Оливера», который до сих пор красуется в истории рядом с его именем. Так отблагодарила Англия своего великого человека.

При Карле II возникла война ториев и вигов. Кто же это, спрашивается, такие?

Понятнее всего для читателя будет, если мы прибегнем к приему, уже однажды нами использованному:

Тори — плохие, глупые, тупые, косные люди.

Виги — симпатичные, прогрессивные, очень хорошие люди.

Благодаря усилиям последних, в Англии был издан закон под названием habeas corpus *. У русского читателя потекли бы слюнки, если бы он узнал, что это такое... Но по цензурным условиям мы объяснить этого не можем.

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ

Во время всех вышеприведенных передряг и смут появился в Англии Шекспир. Это был хотя и знаменитый писатель, но рост имел очень маленький, почему о нем впоследствии и говорили:

— Сапоги выше Шекспира!

Другой знаменитый человек того времени был Бэкон, отец «опытной» философии. Он доказал, как дважды два, что единственный путь к достижению истины — есть наблюдение над правдой, исследование действительности (Иловайский. «Нов. История»). Это учение имело такой

---

* Habeas corpus *(лат.)* — название Закона о свободе личности, принятого английским парламентом в 1679 году. По этому закону никто без решения суда не мог подвергнуть кого-либо задержанию или аресту. Каждый гражданин в случае ареста имел право требовать, чтобы в течение суток ему было предъявлено судебное обвинение, а при отсутствии такового требовать освобождения из-под ареста.

успех, что Бэкона сделали государственным канцлером. Но однажды наехала в суды ревизионная комиссия, рассмотрела состояние судопроизводства в Англии и выяснила, что Бэкон брал взятки и, вообще, совершал всякие злоупотребления. Его посадили в тюрьму.

Таким образом, его же теория (наблюдение и исследование действительности) послужила ему только во вред.

Был еще в Англии в те времена Мильтон, но он был совершенно слепой.

ДАНИЯ, ШВЕЦИЯ И НОРВЕГИЯ

Об этих странах лучше всего ничего не писать... В самом деле: кто их знает? Кто ими интересуется? Решительно никто.

Появились там три великих человека: Ибсен, Бьёрнстьерне-Бьернсон и Гамсун, да и то в самое последнее время.

А раньше был только один Ваза *.

И все у них было как-то несерьезно, по-детски — будто игра в куклы. Страны были маленькие, ничтожные, а тянулись за большими, подражали взрослым: так же устраивали политические восстания, казнили противников и, конечно, вводили реформацию. Но все было у них на детский рост: вместо войн — стычки, вместо казней — пустяки.

Да и реформация была какая-то такая...

Что же это за история?

ПОЛЬША

И Польша то же самое: никакого толку в ней не было. Кажется, и люди были умные, и воины храбрые — а все-таки ничего у них не клеилось...

Была, по моде того времени, взамен католической, своя собственная вера, но какая-то странная: антитринитарии **. Что это такое — и до сих пор никто не знает.

* Ваза (Васа) — шведская королевская династия в 1523—1654. Основатель Густав I.

** Антитринитарии — приверженцы течения, секта в христианстве, не принимающие один из основных догматов христианства — догмат Троицы.

С королями тоже не ладилось.

Стоило только прекратиться роду королей Сигизмундов, как стали приглашать на престол кого попало: французского принца Генриха Анжуйского, давшего потом потихоньку тягу во Францию; какого-то седмиградского воеводу Батория; шведского принца Сигизмунда и многих других.

В газетах того времени нетрудно было встретить объявление такого рода:

РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ

ищет трезвого, хорошего поведения короля.

Без аттестата от последнего места не являться.

Человеку ограниченному может показаться странным:

— Как так не найти короля?

Дело объяснялось очень просто: «король» — было только такое слово — и больше ничего. Никакой власти королю не давалось. Всякий делал, что хотел, и это называлось liberum veto *. И частенько по ночам плакали короли в подушку от этого liberum veto...

Удивительнее всего, что и парламент существовал у поляков (сейм), но никогда пишущему эти строки (да простит мне старая Польша!) не приходилось встречать более нелепого учреждения.

Например, собираются триста человек и решают вопрос о том, что нужно поднять благосостояние страны. Кажется — дело хорошее? 299 человек в восторге от проекта, а трехсотый, какой-нибудь скорбный главой шляхтич, неожиданно заявляет: «А я не хочу».— «Да почему?!» — «Вот не хочу, да и не хочу!» — «Но ведь должны же быть какие-нибудь основания?» — «Никаких! Не желаю!» И, благодаря этому трехсотому, решение проваливалось!! (Иловайский. Стр. 96.)

Можно ли писать историю такой страны? Конечно, нет. Это только Иловайский способен.

* Liberum veto *(лат.)* — свободное вето. Право наложения единоличного запрета на постановление законодательного собрания.

ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА (1618—1648)

Как это ни скучно, но нам приходится опять возвращаться к борьбе католиков с протестантами.

Человеку нашего времени решительно непонятно: как можно воевать из-за религиозных убеждений?

Ведь, в таком случае, человечество могло пойти дальше: брюнеты резали бы блондинов, высокие — маленьких, умные — глупых...

А в те времена — религиозные войны были обычным и привычным делом. Целые полки под командой глупых, с тупыми физиономиями полководцев носились из страны в страну, орали, молились, поджигали, разоряли, славили Бога (своего собственного), грабили, горланили гнусавыми голосами псалмы и вешали пойманных иноверцев с таким хладнокровием, как теперь вешают собственное пальто на гвоздик.

История говорит, что после Тридцатилетней войны Германия пришла в такой упадок, возник такой голод, что жители некоторых мест принуждены были питаться человеческим мясом... Жаль, что этим кончили; с этого нужно было начать: переловить до войны всех этих тупоголовых полководцев, курфюрстов, ландграфов — и, сделав над собой усилие, поесть их. И страна бы не разорилась, и ни в чем не повинные люди остались бы несъеденными.

До чего раньше одна часть человечества была проста и доверчива, видно из следующего: в сущности, ни немецкие католики ничего не имели против протестантов, ни немецкие протестанты против католиков.

Но появились за спиной герцога Фердинанда иезуиты и шепнули сладким голосом:

— Ка-ак? Чехи протестанты? Какое безобразие! Чего же вы смотрите? Бейте их!

А кардинал Ришелье с другой стороны обрушился на протестантов:

— Чего вы смотрите, дурачье! Бейте католиков по чем попало! Всыпьте им хорошенько.

Теперь таким образом можно стравить только две пьяные компании в трактире, причем драка может продолжиться максимум — полчаса. А в те времена столь примитивный прием был действителен на тридцать лет, и уменьшил он народонаселение Германии на пятьдесят процентов.

И господь жестоко покарал протестантов и католи-

ков за эту тридцатилетнюю глупость: предводитель католиков Валленштейн был убит в своей спальне, предводитель протестантов Густав Адольф убит на поле битвы, а разные Фридрихи, Фердинанды и курфюрсты тоже поумирали от разных причин — и ни одного не осталось до наших дней, чтобы поведать нам об этой бестактной войне.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Изголодавшиеся страны, в конце концов, съехались и заключили мир в Вестфалии — родине знаменитых окороков.

Летописец того времени утверждает, что воюющие стороны набросились прежде всего не друг на друга, а на окорока, и впервые за тридцать лет поели как следует...

А потом, когда стали делиться землями — глупые немецкие католики и протестанты, конечно, остались с носом: самые лакомые куски забрали французы и шведы.

Рассказывают, что, разобрав, в чем дело, один курфюрст почесал затылок и воскликнул:

— Да! Теперь, когда я кончил войну, я вижу, что я старый дурак.

— А когда вы ее начинали,— засмеялся француз,— вы были молодым дураком.

И все присутствующие иностранцы долго и раскатисто хохотали...

ЛЮДОВИК XIV И XV ВО ФРАНЦИИ

У французских королей того времени был один и тот же обычай, переходивший от отца к сыну: вступая на престол, король брал первого министра и первую любовницу (или любимицу, как мягко выражается Иловайский). Министр всегда оставался первым, а любимицы были и вторые и третьи.

Например:

Короли	Перв. министры	Любимицы
Людовик XIII	кард. Ришелье	Несколько
Анна Австрийская	кардинал Мазарини	Ментенон и др.
Людовик XIV	Кольбер	де ла Вальер,
Людовик XV	кардинал Флери	Помпадур

Но все-таки это был красивый изящный век, век менуэта, пудреных париков, Версальских праздников и любовных приключений.

Короли умели жить в свое удовольствие...

Всякий из них был настолько умен, что оставлял после себя историческую фразу, и народ поэтому его не забывал.

Людовик XIV, например, сказал:

— L'etat c'est moi! (Государство — это я.)

Народ прозвал его «Король-солнце». И верно. Никогда над Францией не всходило более жаркого солнца. Оно так жарило, что все финансы у Кольбера испарились, и первый министр даже получил, в конце концов, настоящий солнечный удар...

Вторая знаменитая фраза Людовика XIV, сказанная по поводу отправления внука в Испанию:

— Нет более Пиренеев!

Гораздо хуже первой. Мы считаем ее пустой бессмысленной фразой. Эдак всякий вдруг вскочит с места да крикнет:

— Нет более Монблана! Нет более западных отрогов Кордильер!

Сказать хорошо... А ты попробуй сделать.

Что касается Людовика XV, то он прославился тоже одной фразой:

— Apres nous le déluqe!

Что в переводе на русский язык значит:

— Начхать мне на моих потомков. Лишь бы мне хорошо жилось.

Великая французская революция показала, что у короля были свои основания повторять эту фразу.

ПЕРВЫЕ БАНКИРЫ

Кроме этой фразы и своей «любимицы» Помпадур, король прославился также и тем, что в его царствование один шотландец, Джон Ло, изобрел остроумный способ выпускать ассигнации, продавая их за настоящее золото.

К сожалению, Джон Ло, открыв по поручению регента для этих операций целый банк, смотрел на кредитные билеты глазами десятилетнего гимназиста, который думает, что если нужны деньги — их можно печатать на обыкновенной бумаге, сколько влезет...

Вы понимаете, что получилось? Джон Ло в компании с королевским регентом, герцогом Орлеанским, напечатали бумажек на несколько миллиардов и очень радовались:

— Вот, дескать, ловко придумали.

Но когда держатели ассигнаций испугались количества появившихся на рынке бумаг и потребовали свое золото обратно — банк лопнул, а Джон Ло заплакал и заявил, что «он вовсе не знал, что так будет».

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ШТАТЫ

Американские колонисты были мирными трудолюбивыми людьми.

Англичане, считая американских колонистов своими подданными, понемногу стали стеснять их свободу в смысле торговли и мореплавания.

Колонисты молчали.

Англичане ввели гербовую бумагу и некоторые сборы.

Колонисты промолчали. Была гробовая тишина.

Англичане стали взыскивать пошлины за привозные товары.

Колонисты поежились, переступили с ноги на ногу и неожиданно сказали:

— А, пойдите вы к черту!

Самолюбивые англичане спросили:

— То есть, как?

— Да так. Проваливайте с вашими пошлинами.

Сказав это, схватили изумленных англичан за шиворот, повернули лицом к Англии и вытолкали.

Началась война. Вот это была хорошая, честная, умная, вызванная необходимостью война, и мы ее очень одобряем. Это не протестанты с католиками, а умные люди схватились не на живот, а на смерть из-за своих прав.

Когда колонисты победили и выгнали англичан, те пожали плечами и обиженно сказали:

— И не надо. И без вас проживем (1783).

— Ступайте, ступайте,— поощрили их колонисты,— пока вам еще не попало... Ишь! (Брадлей. «Нов. История». Стр. 201).

ГЕРМАНСКИЕ ПРАВИТЕЛИ XVIII ВЕКА

Истинным бичом для несчастных учеников являются германские правители XVIII века. Мы не видели ни одного ученика, который не получил бы самым жалким образом единицы за «германских правителей в XVIII веке».

Даже пишущий эти строки, который считает себя человеком способным и сообразительным, историком опытным и знающим — и он, отойдя от своих манускриптов и покрытых пылью пергаментов, сейчас же начинал путать «германских правителей в XVIII веке».

Пусть кто-нибудь попробует запомнить эту тарабарщину, годную только для сухих тевтонских мозгов: великому курфюрсту бранденбургскому Фридриху-Вильгельму наследовал сын его просто Фридрих. Этому Фридриху наследовал опять Фридрих-Вильгельм. Кажется, на этом можно бы и остановиться. Но нет! Фридриху-Вильгельму наследует опять Фридрих!!

У прилежного ученика усталый вид... Пот катится с него градом... Ффу! Ему чудится скучная проселочная дорога, мелкий осенний дождик и однообразные верстовые столбы, без конца мелькающие в двух надоедливых комбинациях:

— Фридрих-Вильгельм, просто Фридрих. Опять Фридрих-Вильгельм, просто Фридрих...

Когда же ученик узнает, что «Опять Фридриху» наследовал его племянник Фридрих-Вильгельм, он долго и прилежно рыдает над стареньким, закапанным чернилами Иловайским...

— Боже ж мой,— думает он.— На что я убиваю свою юность, свою свежесть?

Историк, пишущий эти строки, может еще раз повторить имена династии Фридрихов. Вот, пожалуйста... Пусть кто-нибудь запомнит...

У великого курфюрста Фридриха-Вильгельма был сын Фридрих. Последнему наследовал Фридрих-Вильгельм, которому, в свою очередь, наследовал Фридрих; Фридриху же наследовал Фридрих-Вильгельм... Этот список желающие могут продолжать.

Даже история, беспристрастная история, запуталась во Фридрихах; до сих пор неизвестно, при каком именно Фридрихе случилась Семилетняя война. Доподлинно известно только, что он не был Вильгельмом.

СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА (1756—1763)

По сравнению с Тридцатилетней войной Семилетняя война была совсем девчонка. Та — годилась бы ей в матери.

Воевали так: с одной стороны Фридрих (какой — неизвестно), с другой — Франция, Россия, Австрия и Швеция.

Швеция, собственно, была союзникам ни к чему, но она тоже вслед за большими ввязалась в драку, семеня слабыми ножонками где-то позади взрослых...

Большие усатые союзники, ухмыляясь в усы, спрашивали ее:

— Тебе еще чего нужно?

— А я, дяденьки,— шмыгая носом, пролепетала Швеция,— тоже хочу повоевать (Броун. «Семилетняя война». Стр. 21).

Воевали плохо. Побеждал Фридрих — способом очень легким: он ссорил союзников и разбивал их. Нападают, например, на него русские и австрийцы. Он немедленно садится за стол и пишет австрийскому полководцу письмо:

«Дорогой коллега! Охота вам связываться с этими русскими свиньями... Вы и один прекрасно меня победите. Ей-Богу! И как вы можете допускать, чтобы в вашей армии командовал еще кто-то. Вы человек умный, красивый, симпатичный, а ваш товарищ просто необразованный дурак. Прогоните его скорее, а сами начните командовать».

Не было ни одного полководца, который не попался бы на эту удочку: получив письмо, прогонял союзного генерала, нападал на Фридриха и потом, разбитый, стремительно убегал от него с остатками армии и обидой в душе.

Семилетняя война была закончена вовремя: как раз прошло семь лет со времени ее начала.

Чисто немецкая аккуратность в исполнении принятых на себя обязательств.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ

Когда же войну закончили, то увидели, что и воевать не следовало: союзники хотели оттягать у Фридриха Силезию, но когда заключили мир (в Губертсбурге), «Си-

лезия осталась у Фридриха (как говорит Иловайский), и каждая держава осталась при своем».

И жалко их всех и смешно.

ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Король Людовик XVI

Выше мы указывали на стройную систему, которой держались французские короли: у каждого из них был первый министр и фаворитка.

Людовик XVI первый нарушил эту традицию. Фаворитки у него не было, а с первыми министрами он поступал так: попался ему один очень симпатичный человек, Тюрго. Только что этот Тюрго взялся за полезные, насущные реформы, как Людовик XVI под давлением аристократов спохватился и прогнал Тюрго. После Тюрго он, под давлением общественного мнения, пригласил управляющим финансами банкира Неккера, тоже взявшегося за реформы, но в скором времени спохватился и под давлением аристократии прогнал его. Впрочем, через некоторое время он, под давлением народа, снова пригласил Неккера.

Из вышеизложенного видно, что это был король, на которого не давил только ленивый.

Под давлением же народа было созвано королем национальное собрание. Но тут вмешалось давление аристократии и придворных. Король послал национальному собранию приказ разойтись. Оратор собрания Мирабо вскочил и заявил:

— Мы здесь по воле народа, и только сила штыков разгонит нас.

В эту минуту случилось так, что никто не давил на короля. Он кивнул головой и добродушно сказал:

— Ну, ладно. Сидите уж.

Впрочем, через несколько дней, под давлением придворной партии, король решил стянуть к Парижу войска из иностранных наемников.

Тогда-то Франция и возмутилась против своего короля.

Говорят, что муж последний узнает об измене жены.

То же происходит и с королями, причем роль жены играет страна.

До чего Людовик XVI был слеп, показывает следующий исторический факт.

Когда ему доложили, что национальное собрание отказалось разойтись, он всплеснул руками и сказал:

— Да ведь это каприз!

— Нет, государь,— возразили ему,— это скандал.

Через несколько дней ему донесли, что парижские граждане организовывают милицию.

Опять всплеснул руками король:

— Да ведь это скандал!

— Нет, государь,— возразили ему,— это уже бунт.

А через два дня, когда парижане взяли и разрушили Бастилию, король, узнав об этом, снова патетически всплеснул руками и воскликнул:

— Да ведь это бунт!

— Нет, государь... Это уже — революция!

Тогда король успокоился и даже переехал из Версаля в Париж.

У Людовика XVI оставался еще прекрасный выход, которым он мог спасти свое положение: стоило ему только выбросить за двери всех придворных, которые оказывали на него давление,— всех тунеядцев, ленивых и глупых негодяев.

Вместо этого он:

1) Под давлением приближенных задумал бежать за границу. Был пойман и привезен в Париж.

2) Под давлением придворных вступил в переговоры с иностранными государствами, прося у них помощи против Франции.

За это Франция приговорила короля к смерти.

Он умер 21 января 1793 года под ножом гильотины и перед смертью впервые держал себя твердо и спокойно... Вероятно, потому, что почти никто уже не оказывал на несчастного короля давления...

Умер король, искупив кровью все безумства своих пышных предшественников, искупив разорение и упадок страны, искупив страшную гнусно-пророческую фразу своего деда:

— После меня хоть потоп!

ТЕРРОР

Национальное собрание передало власть Законодательному собранию, а Законодательное собрание — Национальному Конвенту.

Если можно так выразиться — Франция левела с каждым днем.

Сначала у власти стояли жирондисты, казнившие врагов свободы, но когда они оказались недостаточно левыми — их сменили монтаньяры.

Монтаньяры с Робеспьером, Дантоном и Маратом во главе, конечно, немедленно казнили жирондистов как врагов свободы.

Когда все жирондисты были казнены, Робеспьер остановил свой рассеянный взор на Дантоне и подумал:

— А не казнить ли Дантона как врага свободы?

Когда он предложил это товарищам монтаньярам, те очень обрадовались и казнили товарища Дантона.

Впрочем, вскоре после этого монтаньяры задали сами себе вопрос:

— А не отрубить ли голову товарищу Робеспьеру?

Сделали это. У Робеспьера был товарищ монтаньяр Сент-Жюст. Отрубили голову и Сент-Жюсту.

Таким образом, из всей компании один только Марат умер своей смертью. Он был убит в ванне Шарлоттой Корде,— «одной мечтательной девушкой», как мягко выражается Иловайский.

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ

В то время как жирондисты и монтаньяры потихоньку рубили друг другу головы, Наполеон Бонапарт потихоньку выдвигался вперед.

— Кто же такой был Наполеон Бонапарт? — спросит любопытный читатель.

Это был обыкновенный артиллерийский офицер, выдвинувшийся при осаде Тулона.

Здесь мы категорически должны опровергнуть утверждение некоторых историков, которые производят имя великого Бонапарта от его военных подвигов на поле брани (На поле он). Во-первых, если бы это было так, то простая грамотность требовала бы иной орфографии (Haполеон), а, во-вторых, Наполеон был французом, более того, корсиканцем — корсиканцы же, как известно, по-русски не говорят, почему назвали бы Наполеона по-французски (Il est sur le champ); кроме того, имена, обыкновенно, даются еще при рождении, когда самый проницательный человек не может определить размера будущих ратных подвигов ребенка...

Вообще, солидный читатель, мы уверены, не придаст серьезного значения этой неосновательной гипотезе...

Секрет успеха Наполеона, если вдуматься в него, оказывается очень прост: армия была предана ему душой и телом, а добиться такой привязанности у простых честных солдат было очень легко.

Мы сообщим рецепт успеха Наполеона на тот случай, если кто-нибудь из главнокомандующих и, вообще, генералов пожелает им воспользоваться.

РЕЦЕПТ УСПЕХА

Предположим, кто-нибудь из читателей попал со своим войском в Египет. Предстоит упорная битва... Вы, не отдавая никаких сухих приказов и кисло-сладких распоряжений (вроде: «братцы, постоим же за матушку-родину... братцы, лупи неприятеля в хвост и гриву — получите потом по чарке коньяку!») — просто выбираете пару-другую пирамид повыше и указываете на них пальцем:

— Солдаты! — кричите вы.— Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид!

Простодушные солдаты поражены.

— Так много! — шепчут они.— Бросимся же, братцы, в бой!!

Если разобраться в сказанной вами фразе — в ней не найдется ничего существенного. Но закаленный в боях воин нетребователен. Ему многого не надо. «Сорок веков» его восхищают.

Если вблизи нет пирамид, можно придраться к чему-нибудь другому и опять привести солдат в крайнее возбуждение.

Например: кругом пусто, а сверху светит обыкновенное солнце.

— Солдаты! — торжественно говорите вы.— Это — то самое солнце (как будто бы есть еще другое), которое светило во время побед Людовика XII.

Не нужно смущаться тем, что злосчастный Людовик XII не имел ни одной победы — всюду его гнали без всякого милосердия...

Неприхотливым воинам это неважно. Лишь бы фраза была звонкая, эффектная, как ракета.

Конечно, полководец должен сообразоваться с темпераментом и национальностью своих солдат.

Немца на пирамиду не поймаешь... Ему нужно что-нибудь солидное, основательное или сентиментальное.

Немцу можно сказать так:

— Ребята! Нас сорок тысяч, а врагов — пятьдесят. Но они все малорослые, худые, в то время как вы — толстые, большие. Каждый враг весит в среднем около трех пудов, а вся ихняя армия — 150 000 пудов. В вас же, в каждом — около пяти пудов, т. е. вся наша армия на 50 000 пудов тяжелее ихней. Это составит 25%. Неужели же мы их не поколотим?

Кроме того, немец любит слезу:

— Солдатики! — говорите вы, сдерживая рыдания: — Что же это такое? Неужели ж мы не победим их? Если мы их не победим,— подумайте, как будут огорчены ваши добрые мамаши, вяжущие на завалинке шерстяной чулок, и ваши престарелые папаши, пьющие за газетой свой зейдель пива, и ваши дорогие невесты, которые плачут и портят свои голубые глазки.

И все заливаются слезами: полководец, солдаты... даже последний барабанщик плачет, утирая слезу барабанными палками. Потом все бросаются в бой и побеждают.

Легче всего разговаривать с китайскими солдатами. Им нужно привести такой аргумент:

— Эй, слушайте там: все равно, рано или поздно, подохнете, как собаки. Так не лучше ли подохнуть теперь, всыпав предварительно врагу по первое число.

Есть еще один прием, к которому Наполеон часто прибегал и который привязывал солдат к полководцу неразрывными цепями.

Холодное, туманное утро... Солдаты жмутся у костров, сумрачные, в ожидании битвы.

Наполеон выходит из палатки и отзывает от костра одного солдата.

— Э... послушай, братец!.. Как зовут того солдата с усами, которому ты давал прикуривать и который так весело смеется?

— Этот? Жан Дюпон из Бретани. Он вчера письмо получил от больной матери, которая уже выздоравливает — и поэтому сейчас рад, как теленок.

Наполеон направляется к указанному солдату.

— Здорово, Жан Дюпон!

Дюпон расцветает. Император знает его фамилию! Император его помнит!..

— А что, Жан Дюпон, ведь прекрасная страна ваша Бретань?!

Дюпон еле на ногах стоит от счастья. Император Франции знает даже, откуда он!

— Ну, как твоей матери — лучше теперь? Выздоравливает?

Если бедный солдатик не сходит сразу с ума от удивления и восторга — он падает перед чудесным повелителем на колени, целует руки и потом пытается убежать с определенной целью раззвонить товарищам обо всем, что произошло. Но Наполеон удерживает его:

— Скажи, от кого ты сейчас закуривал папиросу? Такой рыжий.

— А! Этот? Мой товарищ парижанин Клод Потофэ. Сирота. Отца его убили во время взятия Бастилии, и у него теперь, кроме невесты, маленькой Жанны, никого нет в Париже.

Часа через два Наполеон натыкается на Клода Потофэ.

— Здорово, старый товарищ, Клод Потофэ! Небось, сам здесь,— хе-хе! — а мысли в Париже, около маленькой Жанны. Эх, ты, плутишка!!! Ну, посмотрим, такой ли ты забияка в сражении, как твой отец, который свихнул свою старую шею около Бастилии 14 июля.

Клод Потофэ падает от изумления в обморок, а когда приходит в чувство, говорит своим товарищам, захлебываясь:

— Вот это полководец! Нас у него двести тысяч, а он знает и помнит жизнь каждого солдата, как свою собственную...

НАПОЛЕОН — ИМПЕРАТОР

Если изучить как следует жизнь и деятельность Наполеона I, то придется сознаться, что этот человек подорвал в нас всякое уважение к истории человечества, к солидности и постепенности в прохождении того величавого медлительного пути, который свыше намечен народам мира.

Этот бывший артиллерийский офицерик носился по всей Европе, как собака, которой привязали к хвосту гремящую жестянку-честолюбие, дрался, как лев, хитрил, как лисица, пролез сначала в генералы, потом в первые консулы, потом в императоры и споткнулся толь-

ко тогда, когда дальше идти было некуда — вся нечеловеческая прыть и прекрасная в своем ослепительном блеске наглость — была исчерпана до конца.

Пишущий эти строки счастлив, что ему представляется возможность закончить Всеобщую Историю человечества жизнью Наполеона I,— таким могучим аккордом, таким грандиозным апофеозом, который с самой беспощадной ясностью подчеркивает тщету всего земного, эфемерность так называемых «исторических и прочих условий».

Маленький человечек в треугольной шляпе и сером походном сюртуке захотел сделаться французским императором.

Он им сделался. Это так легко.

У него не было никаких предков королевской крови, никакой предшествующей династии, никаких традиций. Вероятно, поэтому он стал поступать дальше с прямотой и бесцеремонностью варвара, попавшего в музей, наполненный драгоценными реликвиями старины, прекрасными обветшалыми тронами и портретами целых поколений королей, к которым он относился с ироническим пожатием плеч разбогатевшего лавочника — себе на уме...

Сделавшись императором, он на минутку приостановился, призадумался, положив палец на губы, и махнул рукой:

— Эх! Сделаюсь уж, кстати, и королем Италии.

Кстати, сделался и королем Италии.

Наместником туда назначил пасынка своего Евгения Богарнэ, который при других условиях торговал бы на Корсике прованским маслом в розницу или занимался корсиканской вендеттой — делом, не требовавшим больших расходов, но и не дававшим никакой прибыли.

Можно вообразить, как смеялся в тиши своего кабинета или походной палатки Наполеон, раздавая направо и налево своим бедным родственникам троны и королевства.

Это делалось с такой легкостью и простотой, с какой сытый буржуа дарит своим бедным друзьям и родственникам старые галстуки и жилеты, отслужившие хозяину свою службу.

Например, докладывают Наполеону:

— Вас там в передней спрашивают.

— Кто спрашивает?

— Говорит — ваш братец Иосиф. Да только подоз-

рительно — правда ли это? Уж больно вид у них... подержанный.

— Ага! Зови его сюда.

Брат входит, мнется, переступая с ноги на ногу, мнет измызганную шапчонку в руках...

Добрый Наполеон лобызается с братом.

— Жозеф! Ты! Очень рад тебя видеть. Что это ты в таком непрезентабельном виде?

— Я к тебе... Нет ли местечка какого?

Наполеон трет лоб.

— Гм... Местечка... Можно было бы назначить тебя вице-королем в Италию, но туда я уже Женю посадил. Местечко занято. Разве, вот что: как тебе улыбается Неаполитанское королевство?

— Ну, что ж... У меня положение такое, что пойду и на это.

— Вот и прекрасно. Завтра же можешь и выехать. Скажи там, что я назначил тебя неаполитанским королем. Спроси, где трон — тебе покажут. Да я лучше записочку напишу . . . .

. . . .

— Вас там спрашивают, в передней.

— Кто?

— Говорят, братец Людовик. Вид тоже... тово...

— Бедняга! Зовите его сюда! Здорово, Людовик! Небось, тоже за местечком... Ну-с — пораскинем мозгами. Что у нас занято и что свободно? В Италии королевствует Евгений, в Неаполе Жозеф... Гм... А, вот! Голландия!! Хочешь быть голландским королем?

— Голландским? Другого ничего нет?

— Пока не предвидится.

— Ну, хочу.

— Ну, ладно.

Впрочем, не только к своим родственникам относился тепло добрый Наполеон.

За короткое время он сделал совершенно посторонним людям такие одолжения:

Герцогу	Баварскому	дал титул	короля.
—»—	Вюртенбергскому	—»—	—»—
Курфюрсту	Саксонскому	—»—	—«—
—»—	Баденскому	—»—	великого герцога.

Однажды Наполеону взгрустнулось.

— Что бы такое сделать?

После недолгого размышления он образовал из западногерманских владений «Рейнский союз», а себя назвал «протектором» этого союза.

Сам себя назвал. Никто не называл. Но когда он назвал себя протектором — все без споров стали называть его протектором.

Случилось однажды так: был у Наполеона еще третий брат Иероним — а королевств свободных больше не было... Что же делает умный Наполеон? Были у Пруссии какие-то земли «к западу от Эльбы». Наполеон отнимает их у пруссаков, составляет из них Вестфальское королевство и — отдает брату.

— На, милый. Ты хоть и младший, но будь не хуже других. Тоже не лыком шит!

Когда у Наполеона не осталось больше свободных родственников — он принялся за своих генералов. Брата своего Иосифа перевел из Неаполя в Испанию («довольно тебе, плутишка, быть неаполитанским королем — будь испанским»), а генерала Мюрата посадил на очистившийся неаполитанский престол.

Тех же генералов, которые не пользовались его расположением, Наполеон без всякого сожаления сажал на второстепенные троны. Так, его маршал Бернадот был посажен на шведский престол.

Историки рассказывают, что по этому поводу между Бернадотом и Наполеоном произошла тяжелая сцена.

— Сами садитесь на этот престол,— орал несдержанный Бернадот.— На что он мне! Не видал я вашего шведского престола!..

— Ничего, голубчик, сядешь! Невелика птица,— посмеивался Наполеон.

— Другие люди как люди,— рыдал огорченный Бернадот,— у того неаполитанский престол, у того испанский. А мне... Конечно... Понимаем-с, понимаем-с... Мы уже не нужны!! Мы уже свое сделали!! Ха-ха!.. Шведский престол...

— О, милый мой,— говорил мечтательно притихший Наполеон,— было время, когда и я бы с радостью ухватился за шведский престол...

— Было время... Конечно! Было время, когда мы без штанов бегали. Но это в прошлом, это золотое детство! А теперь — раз человек вырос, сделался солидным — вы обязаны дать ему престол — и не какой-нибудь, а большой, хороший.

— Ну, ладно, старый ворчун. Садись пока на то, что есть, а потом мы тебе подыщем что-нибудь получше... Что ты скажешь, например, об Австрии? Хе-хе...

Только этой хитростью и можно было сломить упрямого Бернадота.

История говорит, что Бернадот так и кончил свою опальную жизнь в тиши и неизвестности, всеми забытый на своем шведском престоле...

КОНЕЦ НАПОЛЕОНА

Наполеона погубило то, что он вздумал вести победоносную войну с русскими. Удивительнее всего, что так оно и случилось: Наполеон, действительно, вел победоносную войну с русскими. Всюду русские отступали. Наполеон побеждал, русские уходили из Москвы, Наполеон вступал в Москву, русские терпели поражения, Наполеон терпел победы.

Кончилось тем, что Наполеон потерпел последнюю победу при Березине и ускакал в Париж.

Солнце склонилось к западу...

Собака с прикрепленной к хвосту жестянкой-честолюбием — была затравлена, загнана и — погибла.

Наполеон был щедрее победивших его союзников. Он дарил последнему из своих маршалов целые королевства, а союзники подарили ему, императору, маленький островок Святой Елены и одного подданного — конвойного сторожа, ухаживавшего за императором.

Гордый император терпеливо улыбался, а потом согнал улыбку с лица и умер, сложив в последний раз по-наполеоновски руки,— те самые руки, которые долгое время жонглировали «исторически сложившимися государствами» без всякой церемонии и деликатности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Более философского, поучительного и мудрого заключения Всеобщей Истории, чем жизнь и деятельность Наполеона I — придумать нельзя.

У Наполеона не было своего личного герба (за хлопотами он забыл обзавестись им), но если бы был у Наполеона личный герб — ему приличествовала бы такая надпись:

«Vanitas vanitatum et omnia vanitas...» *

Что значит в переводе:

— Не боги горшки обжигают.

КОНЕЦ

---

* Суета сует и все — суета *(лат.)*. Библия. Экклезиаст, 1, 2.


ЭКСПЕДИЦИЯ
В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ
САТИРИКОНЦЕВ:
Южакина, Сандерса, Мифасова и Крысакова
...АСТЬЕ
МУЖЧИНЪ
МОСКВА

...И в то же время мы устраивали «сатириконские балы», ухитряясь в неделю записывать декоративные полотна во всю величину Дворянского собрания, устраивали вечера, юмористические лекции, выставки карикатур, совершали «образовательные» экспедиции за границу и выпускали книги.

Поверит ли кто-нибудь, что нами за эти пять лет, совместно с М. Г. Корнфельдом, было выпущено на рынок свыше двух миллионов книг.

Не верится? Увы... Цифра эта точна.

Это уже сделано. Это позади.

А если бы пять лет тому назад пришел какой-нибудь провидец и сказал бы: «Господа! Вы должны за пять лет сделать следующее:

1. Составить 300 номеров журнала.

2. Выпустить 2 000 000 книг.

3. Писать пьесы, декорации к ним, устраивать выставки, балы, над которыми возни 2—3 месяца, колесить по Европе, негодовать, возмущаться, бороться с цензурой и сверх всего этого — обязательно сохранять хорошее, ровное расположение духа, без которого «веселая» работа немыслима».

Если бы все это сказал нам пять лет тому назад провидец, каждый из нас выслушал бы его, молча повернулся спиной, выбрал бы по крепкой, прочной веревке — и сразу освободился бы и от книг, и от журнала, и от всего другого.

Теперь все это позади. Хорошо!

А. Т. Аверченко. Мы за пять лет.
1913 г.

I. ВВЕДЕНИЕ

О пользе путешествий.— Кто такой Крысаков.— Душевные и телесные свойства Мифасова.— Кое-что о Сандерсе.— Я.— Наш слуга Митя

Как часто случалось нам останавливаться в восторге и восхищении, с раскрытым сердцем перед чудесами природы, созданной всемогущими руками Творца!

Некоторые восторженные простоватые натуры раскрывают даже при этом рот, и на закрытие его соглашаются только при усиленных уговорах или после применения физического насилия.

Спрашивается: каким же образом можем мы получать наслаждение от созерцания природы во всем ее буйном размахе и многообразии?

Ответ один: путешествуя.

Да! Путешествие — очень полезное препровождение времени. Оно расширяет кругозор и облагораживает человека... Один мой приятель, живя безвыездно в России, приводил всех в ужас огрубением своего нрава: он беспрестанно и виртуозно ругался самыми отчаянными словами, не подозревая, что существует кроме брани и обыкновенный разговорный язык.

Однажды поехал он за границу. Объездил Германию, Францию, Италию и Испанию. Вернулся... и что же! После возвращения этот человек стал ругаться и поносить встречных не только по-русски, но и на немецком, французском, итальянском и испанском языках.

Такое поведение вызвало всеобщее изумление, и дела его поправились.

Даже небольшие путешествия облагораживают и развивают человека. Это можно видеть на примере обыкновенных учеников. Ежедневные краткие их путешествия

в училище делают из них образованных людей, которые никогда не заблудятся в лесу, несмотря на то, что главная его составная часть — буква «ѣ» *.

А открытие Америки? Была ли бы она открыта, если бы Колумб не путешествовал? Конечно, нет. А неоткрытие Америки вызвало бы экономические неурядицы. Европейские герцоги и принцы, не встречая богатых американок, впадали бы в бедность и вымирали, а американки, не подозревая о существовании материка, битком набитого гербами, титулами и высокопоставленными их носителями — быстро разбогатели бы до того, что денег девать было некуда, ценность их упала, и экономический кризис, этот бич народов, обрушился бы от одного океана до другого на этот замечательный материк.

А что может быть прекраснее путешествия в тропическую страну, например Африку? Я читал об одном англичанине, который задумал исследовать берега таинственной Танганайки; он взял с собой палатку, носильщиков, верблюдов и чемоданы. На берегу таинственной Танганайки он наткнулся на такое прожорливое племя, что оно съело, помимо англичанина, верблюдов и носильщиков,— даже чемоданы и съедобные части палатки.

Даже в этом трагическом случае можно наблюсти пользу и культурное значение путешествий: невежественные дикари приняли чрезвычайно цивилизованный вид, украсив уши своих жен коробками из-под консервов, а королю нахлобучив на голову, вместо короны, керосиновую кухню.

Это пустяк, конечно. Но это — первый шаг в обширную область культуры.

Я мог бы еще сотнями примеров доказать пользу и значение путешествий, но не хочу ломиться в открытую дверь. Это только гимназисты в классных сочинениях на тему «о пользе путешествий» измышляют, как бы поосновательнее доказать, что дважды два — четыре.

1

Четверо нас (кроме слуги Мити) единогласно решили совершить путешествие в Западную Европу. Цели и стремления у нас были разные: кое-кто хотел просто

* Здесь игра слов, основанная на старом написании слова «лес» — через букву «ять». Эта буква, совпадавшая по звуку с «е», была упразднена послереволюционной орфографической реформой.

«расширить кругозор», кое-кто мечтал по возвращении «принести пользу дорогой России», у одного явилось скромное желание «просто поболтаться», а слуге Мите рисовалась единственная заманчивая перспектива, между нами говоря, довольно убогая: утереть, по возвращении, своим коллегам нос.

В этом месте я считаю необходимым сказать несколько слов о каждом из четырех участников экспедиции, потому что читателю впоследствии придется неоднократно сталкиваться на страницах этой книги со всеми четырьмя, не считая слуги Мити.

Крысаков (псевдоним). Его всецело можно причислить к категории «оптовых» людей, если существует такая категория. Он много ест, много спит, еще больше работает, а еще больше лентяйничает, хохочет без умолку, в глубине сердца чрезвычайно деликатен, но на ногу наступить себе не позволит. При необходимости, полезет в драку или в огонь, без необходимости — проваляется на диване неделю, читая какую-нибудь «Эволюцию эстетики» или «Собрание светских анекдотов на предмет веселья». Иногда не прочь, ради курьеза, соврать, но, уличенный, не спорит, а вместо этого бросается на уличителя и начинает его щекотать и тормошить, заискивающе хихикая. В жизни неприхотлив. Спокойно доливает поданную чашку кофе — пивом, размешивает его с сахаром, а если тут же стоит молоко, то и молоко переливается в чашку. Пепел, упавший случайно в эту бурду, размешивается ложечкой для того, «чтобы не было заметно». Любит задавать официантам нелепые, бессмысленные вопросы. Раздеваясь у ресторанной вешалки, обязательно осведомится: приходил ли Жюль Верн? И чрезвычайно счастлив, если получит ответ:

— Полчаса, как ушли.

Беззаботность и лень его иногда доходят до героизма. Когда мы выехали из России, то, начиная от Берлина, у него постепенно стали отваливаться пуговицы от всех частей одежды. Постепенно же он заменял их булавками, иголками и главным образом замысловатой комбинацией из спичек и проволоки от лимонадных бутылок. Чтобы панталоны его сидели как следует, ему приходилось надменно выпячивать вперед живот и беспрестанно, с кажущейся беззаботностью, засовывать руки в карманы.

Положение его ухудшалось с каждым днем. Хотя еще стояла прекрасная весна, но крысаковские пуговицы,

вероятно, совершенно созрели, потому что падали сами собою, без посторонней помощи.

В Венеции наступил крах. Когда мы собрались идти обедать в какое-то «Капелла Неро», Крысаков сел в своем номере на кровать и тоскливо сказал:

— Идите, а я посижу.

— Что ты, крысеночек,— участливо спросил я,— болен?

— Нет.

— Тебя кто-нибудь обидел?

— Нет.

— А что же?

— У меня не осталось ни одной...

— Лиры?

— Пуговицы.

— Купи другой костюм.

— Да у меня есть костюм.

— Где же он?

— В чемодане.

— Так чего ж ты, чудак, грустишь? Достань его, переоденься и пойдем.

— Не могу. Потерял ключ.

— Взломай!

— Попробуйте! Он из крокодиловой кожи.

Из угла вытащили огромный, чудовищно распухший чемодан и с озверением набросились на него. Схватили сначала за ручки — отлетели. Схватили за ремни — ремни лопнули.

— Раскрывайте ему челюсти,— хлопотливо советовал художник Мифасов, лежа на постели.— Засуньте ему палку в пасть.

После получасовой борьбы чудовище сдалось. Замок застонал, крякнул, крышки разжались, и душа его полетела к небу.

Первое, что лежало на самом верху — было зимнее пальто, под ним галоши, ящик из-под красок и шелковый цилиндр, доверху наполненный мелом, зубным порошком и зубными щетками.

— Вот они! — сказал радостно Крысаков.— А я их с самого Вержболова искал. А это что? Ваза для кистей... Зачем же я, черт возьми, взял вазу для кистей?

— Лучше бы ты,— сказал Сандерс,— взял стеклянный футляр для каминных часов, или стенную полку для книг.

— Братцы! — восторженно сказал Крысаков, выни-

мая какую-то часть туалета.— Пуговиц, пуговиц-то сколько!.. Прямо в глазах рябит...

Он переоделся и, схватив свой чемодан, похожий на животное с распоротым брюхом, из которого вывалились внутренности, оттащил его в угол.

— Жалко его,— растроганно сказал он, выпрямляясь,— я так люблю животных...

— Что это у тебя сейчас упало?

— Ах, черт возьми! Пуговица.

Так он и ездил с нами — веселый, неприхотливый, пускавшийся иногда среди шумных бульваров в пляс, любующийся на красоту мира и таскавший за обрывок ручки свой ужасный полураскрытый чемодан, из которого изредка вываливался то тюбик краски, то ботинок, то фаянсовая пепельница, то рукав сорочки, радостно подпрыгивавший на неровностях тротуара.

Второй член нашей экспедиции — Мифасов (псевдоним) был молодцом совсем другого склада. Я не встречал человека рассудительнее, осмотрительнее и осведомленнее его. Этот юноша все видел, все знает — ни природа, ни техника не являются для него книгой тайн. Ему 25 лет, но по спокойному достоинству его манер и мудрости суждений — ему можно дать 50. По внешности и костюму он — полная противоположность бедняге Крысакову. Все у него зашито, прилажено, манжеты аккуратно высовываются из рукавов, не прячась внутрь и не вылезая за четверть аршина, воротничок рассудительно подпирает щеки, и шея подвязана настоящим галстуком, а не подкладкой от рукава старого сюртука (излюбленная манера Крысакова одеваться шикарно).

Осведомленность Мифасова приводила нас в изумление.

Уже спустя несколько часов после отъезда из Петрограда этот энциклопедический словарь, эта справочная машина заработала.

— Мы будем проезжать через Вильно? — спросил Крысаков.

— Что вы! — поднял плечи Мифасов.— Где наша дорога, а где Вильно. Совсем противоположная сторона. Неужели вы даже этого не знаете?

В глазах его светилась ласковая укоризна.

Мы проезжали через Вильно.

— Мифасов! — сказал я, наклоняясь к нему (он лежа читал книгу).— Ты говорил, что Вильно в стороне, а между тем мы его сейчас проехали.

Он скользнул по мне взглядом, сомкнул глаза и захрапел.

Перед Нюрнбергом он долго и подробно рассказывал о красоте замка Барбароссы и потом, по нашей просьбе, сообщил старинное предание о знаменитом тысячелетнем дубе, посаженном во дворе замка графиней Брунгильдой. Притихшие, очарованные, слушали мы прекрасную легенду о Брунгильде.

В одном только Мифасов, рассказывая это, оказался прав — он действительно рассказывал легенду: потому что дерево, как выяснилось, посадила не Брунгильда, а Кунигунда — и не дуб, а липу, которая, по сравнению с тысячелетним дубом, была сущей девчонкой.

По этому поводу Мифасов саркастически заметил:

— Нам не нужно было ехать через Вильно. Тогда бы все оказалось в порядке.

Свободное время Мифасов распределял аккуратно на две половины. Первая — безжалостно ухлопывалась на чистку ногтей, вторая — на боязнь заболеть. Между нами была та разница, что мы любили жизнь, а осторожный Мифасов боялся смерти. Каждое утро он брал зеркало, засматривал себе в горло, ощупывал тело и с сомнением качал головой.

— Что? — спрашивал его порывистый Крысаков.— Еще нет чахотки? Сибирская язва привилась? Дифтерит разыгрывается?

— Не оваите упосей,— невнятно бормотал Мифасов, ощупывая язык.

— Что?

— Я говорю: не говорите глупостей!

— Смотрите на меня! — восторженно кричал Крысаков, вертясь перед своим другом.— Вот я становлюсь в позу, и вы можете дотронуться до любой части моего тела, а я вам буду говорить.

— Что?

— Увидите!

Мифасов деликатно дотрагивался до его груди.

— Плеврит!

Дотрагивался Мифасов до живота.

— Аппендицит!

До рук.

— Подагра!

До носа.

— Полипы!

До горла.

— Катар горла!

Мифасов пожимал плечами:

— И вы думаете, это хорошо?

Мы бессовестно эксплуатировали осторожного Мифасова во время завтраков или обедов.

Если креветки были особенно аппетитны и Мифасов протягивал к ним руку, Крысаков рассеянно, вскользь говорил:

— Безобидная ведь штука на вид, а какая опасная! Креветки, говорят, самый энергичный распространитель тифа.

— Ну? Почему же вы мне раньше не сказали; я уже 2 штуки съел.

— Ну, две-то не опасно,— подхватывал я успокоительно.— Вот три, четыре — это уже риск.

Подавали фрукты.

— Холера нынче гуляет — ужас! — сообщал таинственно Крысаков, набивая рот сливами.— Как они рискуют сейчас подавать фрукты?!

— Да, пожалуй, еще и немытые,— говорил я с отвращением, захватывая последнюю охапку вишен.

Оставалась пара абрикос.

— Мифасов, кушайте абрикосы. Вы ведь не из трусливого десятка. Правда, по статистике, абрикосы — наиболее питательная почва для вибрионов...

— Я не боюсь! — возражал Мифасов.— Только мне не хочется.

— Почему же? Скушайте. Вот ликеров — этого не пейте. От них бывают почечные камни...

В чем Мифасов — в противоположность своей обычной осторожности — был безумно смел, расточителен и стремителен — это в . . . .

. . . .

. . . .

. . . . . * это был прекраснейший человек и галантный мужчина.

В наших скитаниях за границей он восхищал всех иностранцев своим своеобразным шиком в разговоре на чужом языке и чистотой произношения.

---

* Цензуровано Мифасовым.

Правда, багаж слов у него был так невелик, что свободно мог поместиться в узелке на одном из углов носового платка. Но эти немногие слова произносились им так, что мы зеленели от зависти.

Этот человек сразу умел ориентироваться во всякой стране.

В Германии, входя в ресторан, он первым долгом оглядывался и очертя голову бросал эффектное «Кёльнер!», в Италии: «Камерьере!» и во Франции: «Гарсон!»

Когда же перечисленные люди подбегали к нему и спрашивали, чего желает герр, сеньор или мсье — он бледнел, как спирит, неосторожно вызвавший страшного духа, и начинал вертеть руками и чертить воздух пальцами, графически изображая тарелку, вилку, курицу или рыбу, пылающую на огне.

Сжалившись над несчастным, мы сейчас же устраивали ему своего рода подписку, собирали с каждого по десятку слов и подносили ему фразу, которую он тотчас же и тратил на свои надобности.

Третьим в нашей компании был Сандерс (псевдоним) — человек, у которого хватило энергии только на то, чтобы родиться, и совершенно ее не хватало, чтобы продолжать жить. Его нельзя было назвать ленивым, как Мифасова или меня, как нельзя назвать ленивыми часы, которые идут, но в то же время регулярно отстают каждый час на двадцать минут.

Я полагаю, что хотя ему в действительности и 26 лет, но он тянул эти годы лет сорок, потому что так нудно влачиться по жизненной дороге можно, только отставая на двадцать минут в час.

От слова до слова он делал промежутки, в которые мы успевали поговорить друг с другом a part, а между двумя фразами мы отыскивали номер в гостинице, умывались и, приведя себя в порядок, спускались к обеду.

Плетясь сзади за нами, он задерживал всю процессию, потому что, подняв для шага ногу, погружался в раздумье: стоит ли вообще ставить ее на тротуар? И только убедившись, что это неизбежно, со вздохом опускал ногу; в это время ее подруга уже висела в воздухе, слабо колеблясь от весеннего ветерка и вызывая у обладателя тяжелое сомнение: хорошо ли будет, если и эта нога опустится на тротуар?

Кто бывал в Париже, тот знает, что такое — движение толпы на главных бульварах. Это — вихрь, стремительный водопад, воды которого бурно несутся по

ущелью, составленному из двух рядов громадных домов, несутся, чтобы потом разлиться в речки, ручейки и озера на более второстепенных улицах, переулках и площадях.

И вот, если бы кто-нибудь хотел найти в этом бешеном потоке Сандерса — ему было бы очень легко это сделать: стоило только влезть на любую крышу и посмотреть вниз... Потому что среди бешеного потока людей маячила только одна неподвижная точка — голова задумавшегося Сандерса, подобно торчащему из воды камню, вокруг которого еще больше бурлит и пенится сердитая стремнина.

Однажды я сказал ему с упреком:

— Знаете что? Вы даже ходите и работаете из-за лени.

— Как?

— Потому что вам лень лежать.

Он задумчиво возразил:

— Это пара...

Я побежал к себе в номер, взял папиросу и, вернувшись, заметил, что не опоздал:

— ...докс,— закончил он.

Сандерс человек небольшого роста, с сонными голубыми глазами и такими большими усами, что Крысаков однажды сказал:

— Вы знаете, когда Сандерс разговаривает, когда он цедит свои словечки, то часть их застревает у него в усах, а ночью, когда Сандерс спит, эти слова постепенно выбираются из чащи и вылетают. Когда я спал с ним в одной комнате, мне часто приходилось наблюдать, как вылетают эти застрявшие в усах слова.

Сандерс промямлил:

— Я брежу. Очень про...

— Ну, ладно, ладно... сто? Да? Вы хотели сказать: «просто»? После договорите. Пойдем.

При его медлительности у него есть одна чрезвычайная страсть: спорить.

Для того, чтобы доказать свою правоту в споре на тему, что от царь-колокола до царь-пушки не триста, а восемьсот шагов, он способен взять свой чемоданчик, уложиться и, ни слова никому не говоря, поехать в Москву. Если он вернется ночью, то, не смущаясь этим, пойдет к давно забывшему этот спор оппоненту, разбудит его и торжествующе сообщит:

— А что? Кто был прав?

Таков Сандерс. Забыл сказать: его большие голубые

глаза прикрываются громадными веками, которые непоседливый Крысаков называет шторами:

— Ну, господа! Нечего ему дрыхнуть! Давайте подымем ему шторы — пусть посмотрит в окошечки. Интересно, где у него шнурочек от этих штор. Вероятно, в ухе. За ухо дернешь — шторы и взовьются кверху.

Крысаков очень дружен с Сандерсом. Иногда остановит посреди улицы задумчивого Сандерса, снимет ему котелок и, не стесняясь прохожих, благоговейно поцелует в начинающее лысеть темя.

— Зачем? — хладнокровно осведомится Сандерс.

— Инженер вы. Люблю я чивой-то инженеров...

Четвертый из нашей шумливой, громоздкой компании — я.

Из всех четырех лучший характер у меня. Я не так бесшабашен, как Крысаков, не особенно рассудителен и сух, чем иногда грешит Мифасов; делаю все быстро, энергично, выгодно отличаясь этим свойством от Сандерса. При всем том, при наших спорах и столкновениях — в словах моих столько логики, а в голосе столько убедительности, что всякий сразу чувствует, какой он жалкий, негодный, бесталанный дурак, ввязавшись со мной в спор.

Я не теряю пуговицы, как Крысаков, не даю авторитетных справок о Кунигунде и ее дубе, не еду в Москву из-за всякого пустяка... Но при случае буду веселиться и плясать, как Крысаков, буду в обращении обворожителен, как Мифасов, буду методичен и аккуратен, как Сандерс.

Я не писал бы о себе всего этого, если бы все это не было единогласно признано моими друзьями и знакомыми.

Даже мать моя — и та говорит, что никогда она не встречала человека лучше меня...

Будет справедливым, если я скажу несколько слов и о слуге Мите — этом замечательном слуге.

Мите уже девятнадцать лет, но он до сих пор не может управлять как следует своими телодвижениями.

Обыкновенная походка его напоминает грохот обвалившегося шкапа со стеклянной посудой. Желая пошевелить руками, он приводит их в такое бешеное движение, что оно грозит опасностью прежде всего самому Мите. Рассчитывая перешагнуть одну ступеньку лестницы, он, неожиданно для себя, взлетает на самый верх площадки; однажды при мне он, желая чинно поклонить-

ся знакомому, так мотнул головой, что зубы его лязгнули и шапка сама слетела, описав эффектный полукруг. Митя бросился к шапке таким стремительным прыжком, что перескочил через нее, обернулся, опять бросился на нее, перескочил, и только в третий раз она далась ему в руки. Вероятно, если человека заставить носить до двадцати лет свинцовые башмаки, а потом снять их,— он также будет перехватывать в своих телодвижениях и прыжках.

Почему это происходит с Митей — неизвестно.

О своей наружности он мнения очень определенного. Стоит ему только увидеть какое-нибудь зеркало, как он подходит к нему и на несколько минут застывает в немом восхищении. Его неприхотливая натура выносит даже созерцание самого себя в крышку от коробки с ваксой или в донышко подстаканника. Он кивает себе дружески головой, подмигивает, и рот его распускается в такую широчайшую улыбку, что углы губ сходятся где-то на затылке.

У Крысакова и у меня установилась такая система обращения с ним: при встрече — обязательно выбранить, упрекнуть или распечь неизвестно за что.

Качества этой системы строго проверены, потому что Митя всегда в чем-нибудь виноват.

Иногда, еще будучи у себя в кабинете, я слышу приближающийся стук, грохот и топот. Вваливается Митя, зацепившись одним дюжим плечом за дверь, другим за шкап.

Он не попадался мне на глаза дня три, и я не знаю за ним никакой вины; тем не менее, подымаю глаза и строго говорю:

— Ты что же это, а? Ты смотри у меня!

— Извините, Аркадий Тимофеевич.

— «Извините»... я тебя так извиню, что ты своих не узнаешь. Я не допущу этого безобразия!!! Я научу тебя! Молодой мальчишка, а ведет себя черт знает как! Если еще один раз я узнаю...

— Больше не буду! Я немножко.

— Что немножко?

— Да выпил тут с Егором. И откуда вы все узнаете?

— Я, братец, все знаю. Ты у меня узнаешь, как пьянствовать! От меня, брат, не скроешься.

У Крысакова манера обращения с Митей еще более простая. Встретив его в передней, он сердито кричит одно слово:

— Опять?!!

— Простите, Алексей Александрович, не буду больше. Мы ведь не на деньги играли, а на спички.

— Я тебе покажу спички! Ишь ты, картежник выискался.

Митя никогда не оставляет своего хозяина в затруднении: на всякий самый необоснованный окрик и угрозу — он сейчас же подставляет готовую вину.

Кроме карт и вина, слабость Мити — женщины. Если не ошибаюсь, система ухаживать у него пассивная — он начинает хныкать, стонать и плакать, пока терпение его возлюбленной не лопнет, и она не подарит его своей благосклонностью.

Однажды желание отличиться перед любимой женщиной толкнуло его на рискованный шаг.

Он явился ко мне в кабинет, положил на стол какую-то бумажку и сказал:

— Стихи принесли.

— Кто принес?

— Молодой человек.

— Какой он собою?

— Красивый такой блондин, высокий... Говорит, «очень хорошие стихи»!

— Ладно,— согласился я, разворачивая стихи.— Ему лучше знать. Посмотрим.

Вы, Лукерья Николаевна
Выглядите очень славно.
Ваши щеки, как малина,
Я люблю вас, очень сильно —
Вот стихи на память вам,
Досвиданица, мадам.

— Когда он придет еще раз, скажи ему, Митя: «досвиданьица, мадам». Ступай.

На другой день, войдя в переднюю, я увидел Митю. Машинально я закричал сердито обычное:

— Ты что же это, а? Как ты смел?

— Что, Аркадий Тимофеевич?

— «Что»?! Будто не знаешь?!

— Больше не буду. Я думал, может, сгодятся для журнала. Я еще одно написал и больше не буду.

— Что написал?

— Да одни еще стишки.

И широкая виноватая улыбка перерезала его лицо на две половины.

Когда мы объявили ему, что он едет с нами за границу — радости его не было пределов.

— Только вот что,— серьезно сказал Крысаков.— Отвечай мне... Ты наш слуга?

— Слуга.

— И должен исполнять все то, что тебе прикажут?

— Да-с.

— Так вот — я приказываю тебе изучить до отъезда немецкий язык. Через неделю мы едем. Ступай!

Сейчас же Крысаков и забыл об этом распоряжении. Но Митя за день перед отъездом явился к нам и сказал:

— Готово.

— Что готово?

— Немецкий язык.

— Какой?

— Коммензи мейн либер фрейлен, их либези, данке, зицен-зи, гиб мир эйн кусс.

— Все?

— Все.

— Проваливай.

Думал ли Митя, что за границей его постигнет такая страшная, никем не предугаданная судьба.

2

Краткое описание Европы.— Статистические данные.— Флора.— Фауна.— Климат.— Мои беседы с путешественниками

Начиная описание нашего путешествия, я полагаю, будет нелишне дать краткий обзор места наших будущих подвигов...

Европа лежит между 36-й и 71-й параллелями Северного полушария. Мы собственными глазами видели это.

Берега Европы омывают два океана сразу: Северный Ледовитый и Атлантический. Не знаю, как омывает Европу Ледовитый океан, но Атлантический — особой тщательностью в возложенной на него работе не отличается — грязи на берегу сколько угодно.

Относительно общей фигуры Европы во всех учебниках географии говорится одно и то же:

«Фигура Европы не представляет никакой правильности... Но если срезать три самых больших полуострова — Скандинавию, Бретань и Ютландию, то окажется, что форма материка — прямоугольный треугольник».

Это очень наглядно. Можно то же сказать при описании фигуры жирафы: «если срезать у нее шею и ноги,

то получится обыкновенный прямоугольный треугольник».

Конечно, если вздорное самолюбие европейцев завлечет их так далеко, что из желания жить в прямоугольном треугольнике, они отрежут от материка упомянутые полуострова — я готов признать на будущее время эту форму типичной для Европы.

Пока же об этом говорить преждевременно...

Народонаселение Европы достигает 400 миллионов людей.

Здесь нелишне будет привести (кажется, это всегда делается в подобных случаях) несколько наглядных статистических данных.

1) Если бы все народонаселение Европы поставить друг на друга, то высота этой пирамиды была бы свыше 300000 верст. Мы знаем, что от Москвы до Петрограда 600 верст, следовательно, все народонаселение Европы уложилось бы 500 раз, немного менее ста раз на версту.

2) Если у каждого европейца выдернуть из головы только по одному волоску, то количество собранных волос, посаженных в землю, займет пространство величиной в $4^1/_2$ акра. Чтобы скосить этот «урожай», потребуется работа $2^7/_8$ косарей в течение 9 суток!

3) Наиболее наглядным является такой статистический пример: если бы кто-нибудь захотел лично познакомиться со всем народонаселением Европы, то, считая полторы секунды на каждое рукопожатие, этому человеку пришлось бы затратить на знакомство (считая восьмичасовой рабочий день) около 600 лет. Средняя продолжительность человеческой жизни 68 лет, т. е., другими словами, для этого опыта потребовалось бы 8,9 человека. Во что бы превратились правые руки этих тружеников?

Откуда же взялось такое количество людей?

Детские учебники географии отвечают на этот вопрос довольно точно:

«Потому что Европа лежит в умеренном климате, способствующем наибольшему развитию и напряжению человеческих способностей».

Всю эту ораву в 400 миллионов человек приходится одевать и кормить. Отсюда выросла промышленность и сельское хозяйство.

Промышленность распределяется так: в России — главным образом добывающая, за границей — обрабатывающая. Я до сих пор не могу забыть, как хозяин римского отеля обсчитал меня на 60 лир, добытых в России.

Фауна Европы очень бедна: в городах — собаки, лошади, автомобили; за городом — гуси, коровы, автомобили. В одной России до сих пор водятся медведи, и то вожаками, на цепи.

Флора Европы богаче — растет почти все, от апельсин и морошки до процентов на банковские ссуды. Особое внимание уделяется винограду, потому что всякая страна гордится каким-нибудь вином, кроме Англии, которая никаких вин не имеет. Оттого-то, вероятно с горя, англичане такие горькие пьяницы.

Первенство в отношении вин надо, конечно, отдать Франции. Оттого-то во Франции и пьют так много.

Впрочем, немцы качеством своих вин не уступают французам, и поэтому пьянство немцев вошло в пословицу.

В России виноделие стоит на очень низкой ступени. Поэтому ли или по другой причине, но встречаешь трезвого русского чрезвычайно редко.

Справедливо будет упомянуть еще об испанцах. Отношение их к вину таково, что даже свои лучшие города они прозвали «Хересом» и «Малагой». Не думаю, чтобы кто-нибудь из испанцев отважился на это в трезвом виде. В этом отношении португальцы гораздо скромнее: хотя и поглощают свой портвейн и мадеру в неимоверном количестве, но города носят приличные названия: Опорто, Мадейра и т. д.

В том же учебнике географии, автор которого безуспешно пытался срезать все европейские полуострова, сказано:

«В Америке, где пьют довольно много, трезвость европейцев вошла в пословицу».

Климат Европы разнообразный: есть много европейцев, которые с трудом излечивались от солнечного удара для того, чтобы через шесть месяцев замерзнуть самым неизлечимым образом. Ученые связывают климат Европы с какими-то воздушными течениями, то холодными, то теплыми. К сожалению, холодные течения появляются всегда зимой, а теплые летом, что никого устроить и утешить не может.

Площадь, занимаемая Европой, равняется 9 миллионам верст, т. е. на каждую квадратную версту приходится 44$^{1}/_{2}$ человека. Таким образом в Европе абсолютно невозможно заблудиться в безлюдном месте. Скорее есть риск быть зарезанным этими 44$^{1}/_{2}$ людьми, с целью получить лишний клочок свободной земли.

Начиная описание нашего путешествия, я должен оговориться, что нам удалось объехать лишь небольшую часть 9 миллионов верст и увидеть только ничтожный процент 400 миллионов народонаселения. Но это неважно. Если самоубийца хочет определить сорт дерева, на котором ему предстоит повеситься, он не будет изучать каждый листок в отдельности.

Перед отъездом я попытался собрать кое-какие справки о тех странах, которые нам предстояло проезжать.

Мои попытки ни к чему не привели, хотя я и беседовал с людьми, уже бывавшими за границей.

Я пробовал подробно расспрашивать их, выпытывать, тянул из них клещами каждое слово, думая, что человек, побывавший за границей, сразу должен ошеломить меня целым каскадом метких наблюдений, оригинальных характеристик и тонких штришков, которые дали бы мне самое полное представление о «загранице».

Пробовали вы беседовать с таким, обычного сорта, путешественником?

Вы. Ну, расскажите же, милый, рассказывайте поскорее — как там и что, за границей?

Он (холодно). Да что ж... Ничего. Очень мило.

Вы. Ну, как вообще, там... люди, жизнь?

Он. Да, жизнь ничего себе. В некоторых местах хорошая, в некоторых плохая. В Париже трудно через улицу переходить. Задавят. А то — ничего.

Вы. Ага! Так, так!.. Ну, а Эйфелеву башню... видели? Какое впечатление?

Он. Большая. Длинная такая, предлинная. Я еще и в Италии был.

Вы. Ну, что в Италии?!! Расскажите!!!

Он (зевая). Да так как-то... Дожди. А в общем, ничего.

Вы. Колизей видели?

Он. Ко... Колизей? Позвольте... гм... Сдается мне, что видел. Да, пожалуй, видел я и Колизей.

Вы. Ну, а что произвело там на вас, в Италии, самое яркое впечатление?

Он. Улицы там какие-то странные...

Вы. Чем же странные...

Он. Да так какие-то... То широкие, то узкие... Вообще, знаете, Италия!

Вы (обрадовавшись. Лихорадочно). Ага! Что Италия?! Что Италия!

Он. Гостиницы скверные, рестораны. Альберго, поихнему. Ну, впрочем, есть и хорошие...

Попробуйте беседовать с этим бревном час, два часа — ничего он вам путного не скажет. Вытянете вы из него клещами, с помощью хитрости, неожиданных уловок и ошеломляющих вопросов, только то, что в Германии хорошее пиво, что горы в Швейцарии «очень большие, чрезвычайно большие», что «Вена веселый город, а Берлин скучный город», что в Венеции его поразило обилие каналов, такое обилие, которого ему нигде не приходилось встречать...

Да пожалуй еще, если он расщедрится, то сообщит вам, что Париж — это город моды, роскоши и кокоток, а в Испании в гостиницах двери не запираются.

И потом внезапно замолчит, как граммофон, в механизм которого сунули зонтик...

Или начнет такой путешественник нести отчаянный вздор. Долго плачется на то, что, будучи в Страсбурге, целый день разыскивал прославленный Кельнский собор, а никакого Кельнского собора и нет... Куда он девался — неизвестно.

У некоторых путешественников есть другая манера — все отрицать, всякое установившееся мнение, сложившуюся репутацию — переворачивать кверху ногами...

Вы. Говорят, итальянки очень красивы?

Он. Чепуха! Не верьте. Толстые, неуклюжие и — удивительно — почему-то на одну ногу прихрамывают. Одни разговоры о прославленной красоте итальянок!

Ошибочно думать, что этот глупец изучил итальянских женщин со всех сторон, во всех деталях. Просто был он в Риме два дня, все это время проторчал в грязном кабачке на окраине, и прислуживала ему одна-единственная итальянка, толстая, неуклюжая, прихрамывающая на одну ногу.

Вы. А в Испании, небось, жарко?

Он. Вздор! Дожди вечно жарят такие, что ужас. Без непромокаемого пальто не показывайся. (Два часа. От поезда до поезда — случайно шел дождь).

Вы. А француженки — очень интересны?

Он. Ну, что вы! Накрашены, потерты и при первом же знакомстве папироску клянчат.

Вышеизложенные характеристики посторонних путешественников приведены для того, чтобы подчеркнуть: а сатириконцы (и Митя) не такие, а сатириконцы (и Митя) будут вдумчиво, внимательно и своеобразно подходить к укладу заграничной жизни и постараются осветить в ней такие стороны, что все раскроют удивленно глаза и ахнут.

ГЕРМАНИЯ ВООБЩЕ

Один немец спросил меня:

— Нравится вам наша Германия?

— О, да,— сказал я.

— Чем же?

— Я видел у вас, в телеграфной конторе, около окошечка телеграфиста сбоку маленький выступ с желобками; в эти желобки кладут на минутку свои сигары те лица, которые подают телеграммы и руки которых заняты. При этом над каждым желобком стоят цифры — 1, 2, 3, 4, 5 — чтобы владелец сигары не перепутал ее с чужой сигарой.

— Только-то? — сухо спросил мой собеседник.— Это все то, что нравится?

— Только.

Он обиделся.

Но я был искренен: никак не мог придумать — чем еще Германия могла мне понравиться.

Немцы чистоплотны,— но англичане еще чистоплотнее.

Немцы вежливы *,— но итальянцы гораздо вежливее.

Немцы веселы,— французы, однако, веселее.

Немцы милосердны *,— нет народа милосерднее русских — в частности, славян — вообще.

Немцы честны **,— но кто же может поставить это кому-нибудь в заслугу? Это пассивное качество, а не активное.

Ни один огурец не сделал в течение своей жизни ни одной подлости или мошенничества; следовательно, огурец следует назвать честным? Отнюдь. Честность его просто следствие недостатка воображения.

Большинство немцев честны по той же причине — по недостатку воображения.

Не то хорошо, что немцы честны, а то плохо, что все остальные народы, исключая французов и англичан, отъявленные мошенники.

Когда в России встречаешься с французской или английской честностью — это производит крайне выгодное впечатление.

Однажды в Харькове я зашел в английский магазин купить шляпу.

— Сколько стоит эта шляпа? — спросил я.

---

* Настоящая книга написана до войны с немцами.

** До войны мы, русские, все думали это...

— Десять рублей,— сказал хозяин.

— Хорошо, заверните. Вот вам 25 рублей — позвольте сдачу.

— Пожалуйста.

— Позвольте!.. Мне нужно сдачи 15 рублей, а вы даете 18. Вы ошиблись в мою пользу.

— Нет, не ошибся. Дело в том, что шляпа стоит всего 7 рублей, и я не могу взять за нее больше...

— А почему же вы сказали раньше — 10.

— Я думал, вы будете торговаться — русские всегда торгуются. Я бы и сбросил 3 рубля. Но раз вы не торгуетесь — не могу же я взять за нее больше...

Вот я рассказал этот эпизод. Но если бы русские купцы не были такими мошенниками — мне и в голову бы не пришло восхищаться поступком иностранца-шляпника.

* * *

Немецкая аккуратность, немецкая методичность — это все выводит настоящего русского из себя.

В Берлине мы зашли однажды в какой-то музей военных трофеев.

Подошли в первой зале к монументальному сторожу и спросили:

— А где тут знамена?

Он оглядел нас и стал со вкусом медленно чеканить:

— Знамена есть налево; знамена есть направо; знамена есть впереди; знамена есть в нижнем этаже; знамена есть в верхнем этаже; знамена есть в среднем этаже. Какие именно знамена хотели бы вы видеть?

В одной немецкой гостинице я наблюдал следующий факт: какой-то человек постучал в дверь первого номера и сказал:

— Очень прошу извинения — не здесь ли находится в гостях господин Шульц; он мне нужен по одному мануфактурному делу.

После этого он постучал во второй номер:

— Очень прошу извинения — не здесь ли находится в гостях господин Шульц; он мне нужен по одному мануфактурному делу. Я уже спрашивал в первом номере — его нет.

То же самое он повторил в третьем, четвертом и пятом номере. В шестом уже добавлял: я искал господина Шульца в первом номере, я искал господина Шульца во втором номере, в третьем и в четвертом, я искал господина Шульца также в пятом — его там не было. Нет ли у

вас господина Шульца, необходимого мне по мануфактурному делу?

У нас в России после этого монолога открылась бы дверь третьего или четвертого номера и сапог полетел бы в голову незадачливого мануфактурщика.

А в немецкой гостинице голоса отвечали из-за дверей:

— Я очень сожалею, но у меня в пятом номере нет в гостях господина Шульца, необходимого вам по мануфактурному делу; но нет ли господина Шульца в номере шестом?

Все немецкие двери украшены надписями: «выход», будто кто-нибудь без этой надписи воспользуется дверью, как машинкой для раздавливания орехов, или, уцепившись за дверную ручку, будет кататься взад и вперед. Надписи, украшающие стены уборных в немецких вагонах,— это целая литература: «просят нажать кнопку», «просят бросать сюда ненужную бумагу», под стаканом надпись «стакан», под графином «графин», «благоволите повернуть ручку», в «эту пепельницу покорнейше просят бросать окурки сигар, а также других табачных изделий».

Одним словом, всюду — битте-дритте, как говорил Крысаков.

Существует и немецкая любовь к изящному: в Берлине большинство автомобилей раскрашено разноцветными розочками; всякая вещь, которая поддается позолоте — золотится; не поддается позолоте — ее украсят розочкой...

Наряд немецкой женщины — это целая симфония. На голове зеленая шляпа с желтым пером и красной розочкой. Юбка голубая, обшита внизу оранжевыми полосками. Только кофточка отличается скромным фиолетовым цветом, но одета она так, что грудь делается плоской, а спина пузырится, как волдырь на обваренном месте; башмаки хотя из грубой кожи, но зато большие; чулки прекрасной верблюжьей шерсти.

Из этих элементов составляется вся немецкая женщина, из женщин — толпа на главных улицах, толпа дает физиономию всему Берлину, а Берлин — Германии.

Немецкий мужчина — это вторая сторона вышеописанной физиономии. Средний немецкий мужчина не имеет ни страданий, ни сомнений, ни очень возвышенных, ни очень низменных чувств.

Он любит прежде всего себя, за то, что никогда не доставлял сам себе ненужных страданий; потом семью,

потому что дети не огорчают его, а жена не изменяет, по недостатку темперамента или поклонников; наконец, любит родину, потому что она заботится о нем, пишет на каждых дверях «выход» и устраивает удобные перенумерованные желобки для сигар у телеграфных окошечек.

Он спокоен за себя, за семью и за родину.

Спокойствие дает ему возможность веселиться, и он действительно каждый день веселится, но не утром или днем — когда нужно устраивать свое благосостояние,— а вечером.

Как он веселится?

За столом в любимой пивной собирается каждый день одна и та же компания: Фриц Штумпе, Яков Миллер, Иоганн Миткраут и Адольф Гроссшток.

Целый вечер взрывы хохота несутся со стороны стола, занятого веселыми собутыльниками.

— Эге,— думает зритель в отдалении,— наверное, что-нибудь забавное рассказывают. Прислушаюсь-ка...

Прислушивается...

— Герр Штумпе! Отчего вы сегодня молчите? Не бьет ли вас ваша жена?

Взрыв гомерического хохота следует за этими словами.

— Ох,— говорит Иоганн Миткраут, задыхаясь от смеха.— Вечно этот Миллер придумает какую-нибудь штуку. А? «Не бьет ли», говорит, «вас ваша жена?» Ха-ха-ха!

— Хо-хо-хо!

Всеобщий восторг пьянит толстую голову Миллера; надо сказать что-нибудь еще, чтобы закрепить за собой славу присяжного весельчака и юмориста.

— Герр Штумпе! Говорят, что вы уже целый год не носите ваших сбережений в ваш банк?

— Почему? — недоумевает простоватый Штумпе.

— Потому что весь ваш бюджет уходит на покупку ваших зонтиков, которые ломает о вашу спину ваша жена.

Будто скала обрушилась — такой хохот потрясает стены пивной.

— Хо-хо-хо! — стонет басом изнемогающий Гроссшток.

— Хи-хи-хи,— октавой выше заливается, нагнув к столу голову, совершенно измученный Миткраут.

— Хе-хе-хе!

— Хо-хо-хо!!

— Э,— думает Штумпе,— дай-ка и я что-нибудь отмочу. Тоже когда-то острили не хуже.

— Вы, герр Миллер, кажется, купили вашего нового мопса? — спрашивает Штумпе, обводя компанию взглядом, который ясно говорит: «слушайте, слушайте! Сейчас я выкину штуку еще позабористее».

— Да, герр Штумпе. Не хотите ли вы на нем покататься верхом? — подмигивает неистощимый Миллер, вызывая долгий хохот.

— Нет, герр Миллер. Но теперь нам опасно прийти в ваш дом есть ваш обед.

— Почему? — хором спрашивают все, затаив дыхание.

— Потому что вы можете угостить нас вашими сосисками из вашего мопса.

— Хо-хо-хо!!!

— Хи-хи!

— Хо-хо. Кххх... Рррр. Однако этот Штумпе тоже с язычком! Хо-хо... Так как вы говорите? «Колбаса из мопса?» Ну, и чудак же! Вам бы попробовать написать что-нибудь в «Lustige Blatter»...

Так они веселятся до двух часов ночи. Потом каждый платит за себя и все мирно возвращаются под теплое крылышко жены.

— Сегодня мы прямо помирали от хохоту,— говорит длинный Гроссшток, накрываясь периной и почесывая живот.— Этот чудила Штумпе такую штуку выкинул! «Накорми-ка нас, говорит, герр Миллер, собачьими колбасами». Все со смеху полопались.

ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ

Сейчас я буду писать о том, что наполовину испортило наше путешествие, о том, что повергло нас в чрезвычайное уныние и благодаря чему мы потеряли человека, который доставлял нам немало хороших веселых минут.

Одним словом — я расскажу об инциденте с Митей.

Митя, пожив несколько дней в Берлине, начал уже приобретать некоторый навык в языке и стал понемногу отставать от неряшливой привычки путать: «бутер» и «брудер», «шинкен» и «тринкен».

Уже лицо его приняло выражение некоторого превосходства над нами, а разговор — тон легкого снисхождения к нашим словам и шуткам.

Уже он, отправляясь куда-нибудь с Крысаковым и надев яркий галстук и старую панаму, пытался изредка принимать вид барина, путешествующего со слугой, так как шел он впереди, заложив руки в карманы и насвистывая марш, в то время как безропотный Крысаков, неся в одной руке ящик с красками, в другой — фотографический аппарат, скромно плелся сзади.

Мы не могли налюбоваться на него, когда он, проходя по Фридрихштрассе, бросал влюбленный взгляд на свое отражение, затем задевал плечом пробегавшую мимо горничную с покупками и говорил густым, как из пустой бочки, голосом:

— Пардон!

Горничная испуганно оглядывалась, а он пускал ей в след самый лучший излюбленный прием своего несложного донжуанства:

— Гиб мир эйн кусс.

И все-таки то, что случилось с Митей, было для нас совсем неожиданно. Постараюсь восстановить весь инцидент в полном объеме, как он выяснился потом из расспросов, справок и сопоставлений.

Прошло уже несколько дней после нашего приезда в Берлин.

Так как ясные дни были для нас очень дороги, то мы, выбрав одно туманное, дождливое утро, решили посвятить его Вертгейму. Кто из бывших в Берлине не знает этого колоссального сарая, этого апофеоза немецкой промышленности, этого живого памятника берлинской дешевизны, удобства и безвкусицы?

— Митя! — сказали мы, поднявшись в башмачное отделение.— Этот магазин очень велик, и тут легко заблудиться и потеряться. Ты парень, может быть, и неглупый, да только не на немецкой почве. Поэтому сядь вот тут за столиком в ресторанном отделении, попроси стакан чаю и жди нас.

— Слушаю-с,— сказал он, смотря в потолок.— Ой-ой, как тут высоко...

— Митя! — строго крикнул Крысаков.— Опять?!

— Что, Алексей Александрыч?

— «Что»... Будто я не знаю. Я тебя насквозь вижу!

— Простите... И откуда вы все знаете? Я всего только одну кружечку выпью. Мюнхенского. Чаю не хочется. Удивительно — только подумаешь, а вы уже знаете.

— Ну, ладно. Только одну кружечку, не больше.

Мы оставили его за столиком, ушли в бельевое от-

деление — и больше его не видели. Вернулись, нашли столик пустым, обегали все этажи, но так как у Вертгейма миллион закоулков — пришлось махнуть на поиски рукой, надеясь на то, что каким-нибудь образом добрался Митя до нашей гостиницы и ждет нас в номере.

Увы! Его не было там; он не пришел и вечером; не пришел на другой день. Мы заявили полиции, сделали публикацию в трех берлинских газетах — о Мите не было ни слуху, ни духу. А на третий день нам уже нужно было ехать дальше, в Дрезден. Мы оставили консулу некоторые распоряжения, немного денег и, полные мрачных предчувствий и грусти — уехали.

Что же делал Митя?

Оставшись один, он выпил кружку пива, потом еще одну, и еще; мир показался ему светлым, радостным, а люди добрыми и благожелательными.

— Пока мои хозяева вернутся — пойду-ка я полюбуюсь на магазин. Я думаю, они не рассердятся.

Он нацарапал карандашом на мраморном столике (мы не заметили тогда этой надписи):

«Немножко я погуляю пока звините скоро завернусь пейте хорош. пиво Саветую. Прият. опетита. Ваш слу. Митя».

После этого Митя принялся бродить по галереям, спускаясь с каких-то лестниц, подымаясь куда-то на лифте и заглядывая во все закоулки.

Не прошло и получаса, как Митя должен был убедиться, что он заблудился. Он искал ресторан — ресторан как в воду канул.

Он остановил какого-то покупателя, с целью спросить, где ресторан, но тут же вспомнил, что не знает, как по-немецки ресторан...

Хмель выскочил из головы, и Митя почувствовал, что тонет.

У него было два выхода: или найти нас, или отправиться в гостиницу; но второе было не исполнимо — он не знал названия гостиницы.

Всему виной было его неуместное франтовство. Предусмотрительный Крысаков по приезде в Берлин заставил Сандерса изготовить следующий плакат на немецком языке для ношения на груди:

«Добрые туземцы! То, на чем навешен этот плакат, принадлежит нам, четырем чужестранцам, и называется слугой Митей. Если он потеряется — доставьте этого че-

ловека Отель Бангоф, № 26. Просят обращаться ласково; от жестокого обращения хиреет».

Плакат был составлен очень мило, наглядно, но, как я сказал выше, в Митю вселился бес франтовства: он категорически отказался от вывешивания на груди плаката.

— Почему же? — увещевал его Крысаков.— Хочешь, мы сделаем приписку, как в скверах: «волос не рвать, на велосипедах по нем не ездить».

Митя отказался — и теперь жестоко платился за это.

Долго бродил он, усталый, измученный, по разным лестницам и отделениям. Теперь он желал только одного: найти выход на улицу.

Но это было не так-то легко. Митя, шатаясь от усталости, ходил между чуждыми ему людьми, наполнявшими магазин, и призрак голодной смерти рисовался ему в чужом городе, в громадном магазине, среди чужих, не понимавших его людей.

Один раз он остановил покупательницу и попытался навести справки о выходе:

— Мейн герр! Битте цаллен. Их либе зи.

Нищенский запас немецких слов, имевшийся в его распоряжении, связывал его мысль; и весь разговор его, волей-неволей, должен был вращаться в сфере ресторанных или сердечных представлений.

Дама изумленно посмотрела на растрепанного Митю, пробормотала что-то и нырнула в толпу.

— Гм...— печально подумал Митя.— Не понимает.

Он обратился к господину:

— Где выход, а? Такой, знаете? Дверь, дверь! Понимаете?

— Was?

— Я говорю, выход. Гиб мир эйн кусс. Битте цаллен. Цузамен.

Господин задрожал от страха и убежал.

Бродил Митя так до вечера; покупатели стали редеть, зажглись огни... Мучимый голодом Митя заметил около одной покупательницы на стуле коробку конфет; потихоньку стащил ее, забрался в укромный уголок чемоданного отделения, съел добычу — и сон сморил его.

Только утром нашли его; он спал, положив под голову пустую раздавленную коробку из-под конфет, и на лице его были видны следы ночных слез. Бедный Митя...

Вот что последовало за этим: сердобольные продавщицы накормили его, одна из них поговорила с ним по-

русски, выяснила положение, но так как нашего адреса Митя не знал, то дальнейший путь его жизни резко разошелся с нашим.

Мы уехали в Дрезден, а Митя, поддержанный вертгеймовскими продавщицами, которые были очарованы его простодушным немецким разговором и веселостью нрава, Митя открыл торговлю: стал продавать газеты, спички и букетики цветов — одним словом, все то, сбыт чего не требовал знания тонкостей немецкого диалекта.

Только на обратном пути в Россию отыскали мы через вертгеймовских продавщиц нашего Митю; он сначала встретил нас презрительно, потом обрушился на нас с упреками, а в конце концов расплакался и признался, что хотя богатство и прельщает его, но родину он не забывает и, вернувшись, сделает для нее все, что может.

ТИРОЛЬ

Инсбрук.— Пернатые.— Тяжелый разговор.— О немецком остроумии.— Теория приливов и отливов.— Сандерс болен.— Еще одна теория.— В Штейнах.— Зловещее место.— Ссора с Крысаковым.— Отъезд в Фаркартен.

Инсбрук — столица Тироля. Правильнее, Инсбрук — мировая столица скуки, самодовольно-мелкого прозябания, сытости и сентиментальной тирольской глупости.

Приехав в Инсбрук, мы первым долгом на вокзале наткнулись на существо, которое во всяком нормальном здравомыслящем русском должно было вызвать смешанное чувство изумления и веселья.

Это был краснощекий, туполицый, голоногий тиролец, с ног до головы убранный разноцветными лентами и утыканный перьями, точно петух, которого кухарка начала ощипывать и, не окончив, побежала в мелочную лавочку за бутылкой прованского масла.

Голова этого дюжего парня была украшена какой-то бумажной короной, а за ушами торчали два пучка цветов.

Он что-то мурлыкал и приплясывал.

— Если бы не перья,— сказал Крысаков,— я мог бы предположить, что это человек.

— Больше того,— поддержал Мифасов.— Это похоже на девушку. Смотрите, сколько на ней лент.

В это время откуда-то вынырнул еще десяток людей, разукрашенных подобным же странным образом.

— Боже ты мой! Вероятно, где-нибудь поблизости лопнул сумасшедший дом и содержимое его вытекло на потеху мальчишек и на страх взрослым.

Но сейчас же мы заметили, что странная компания не только не пугала аборигенов, но даже не останавливала на себе ничьего мимолетного внимания. Взрослые тирольцы, тирольки и маленькие тирольчата проходили мимо не оглядываясь, и только некоторые раскланивались с предводителем труппы.

— Сандерс,— сказал Крысаков,— узнай, что с ними случилось? Не надо ли им чего?

Если судить о немецком языке по Сандерсову разговору — можно вывести заключение, что нет на свете языка длиннее, сложнее и утомительнее.

Сандерсу нужно было сказать только две фразы: «Кто вы такие? Почему так странно одеты?»

Он подошел к предводителю тирольцев из семейства ленточных, понурился и пробормотал что-то.

Тиролец ему ответил. Сандерс покачал головой с безнадежным видом и сказал такую длинную фразу, что два поезда успели уйти и один подкатил к вокзалу. Тиролец хлопнул себя по бедрам, прищелкнул пальцами и стал что-то объяснять, перепрыгивая с ноги на ногу. Объяснения тирольца не могли вырвать Сандерса из бездны уныния, угнетенности и сомнения. Он собрался с духом и размотал с невидимой катушки такую длинную фразу, что тиролец начал линять. Он потерял два пера с короны и одно с плеча, и, не заметив убытка, высказал Сандерсу такое количество слов, что в них должно было заключаться географическое описание Тироля, характеристика нравов народонаселения и перечисление главнейших видов флоры и фауны. Утешило ли это Сандерса? Разъяснило ли ему что-нибудь? Нет! Он потрогал зеленую пуговицу на толстом животе тирольца и вытянул из себя длинную, как осенняя ночь, фразу.

И только получив обоснованный ответ на это, отошел он от тирольца, переваливаясь, как объевшаяся утка.

— Ну?! — спросил нетерпеливый Крысаков.

— Обыкновенные тирольцы. Ферейн. Возвращаются после воскресной экскурсии.

— Скрытный народец,— подмигнул Крысаков.— Трудненько было вам вытянуть у этого оболтуса столь краткие сведения.

— Нет, ничего,— пожал плечами Сандерс.— Я только спросил, кто они такие, а он ответил...

— Тошнит меня от этих тирольцев,— признался Крысаков.— Чистенькие, куцые, кругозор ограничен горами и собственным недомыслием, благонравно ухаживают за тирольками и благонравно женятся. Здесь не бывает сцен ревности, убийств, измен и сильных душевных движений, как в сторону благородства, так и в сторону подлости. Шесть дней благонравно трудятся, седьмой день благонравно пляшут в какой-нибудь таверне. Кстати, как неимоверно сладок и противен их дефрегер! Брр! Самодовольно пляшут и самодовольно острят. Вы знаете, что такое ихние остроты? Вообще немецкое остроумие! В Берлине один господин с гордостью говорил, что немецкие дети не чета нашим. Они смелы, находчивы, сообразительны и в ответах не смущаются, а отвечают метко и остроумно. Мы сделали даже опыт... Встретили какого-то известного своей находчивостью знакомого господину школьника и вступили с ним в беседу. «Что ты любишь больше всего на свете?» — «Свою прекрасную родину».— «Неужели? А я думал, что больше всего тебе должно нравиться заехать в ухо мальчишке, который обидел бы тебя!» — «О нет. Вступать в драку стыдно. Лучше сообщить о нехорошем поступке мальчика его родителям, которые скажут ему, что он их огорчил, и ему станет стыдно».— «Та-ак... И, наверное, по воскресеньям вы собираетесь в школе и поете духовные псалмы?» — «О, да. Это лучший наш отдых в свободное время».— «Видите,— сказал мне господин, когда мы отошли.— Преострый мальчуган. За словом в карман не лезет».— «Может быть, может быть». И тут только я заметил, что мой господин тоже немецкий дуралей. Кстати о немцах. Меня томит жажда. Не выпить ли нам пива?

В этих случаях инициатива всегда принадлежала Крысакову. И удивительно, что мы — поднимавшие бесконечные споры по поводу выбора номера в гостинице или места в вагоне — в этом случае никогда не возражали и не спорили.

— Вы хотите выпить? Пойдем.

— А вы разве не хотите?

Все мы сразу делались чрезвычайно предупредительны к Крысакову, оставляя в забвении собственное желание и настроение.

— При чем тут мы? Раз вы хотите — пойдем.

— Да мне неудобно, что вы из-за меня идете.

— Ну, вот глупости. Отчего вам и не доставить удовольствия.

Иногда от меня исходило предложение «кой-чего перекусить». И в этом случае — наша дружба разыгрывалась в полном блеске.

— Отчего же вы не обедали вместе с нами?

— Я тогда не хотел, а теперь хочу.

— Эх, ну что с вами делать. Придется пойти с вами.

— Вы можете посидеть. Я скоро закушу.

— Да чего там... Вы не спешите. Я тоже чего-нибудь глотну.

Покорные желанию Крысакова, мы уселись, и нам подали четыре кружки прекрасного пенистого пива. Крысаков отхлебнул и благодушно сказал:

— Не люблю я, чивой-то, Тироля. Отчего у них, братцы, колени голые? Что это за обычай?

После недолгого раздумья я нерешительно сказал:

— Я думаю — это в целях сохранения тирольской нравственности...

— При чем тут нравственность?

— А как же? Местность у них гористая, мужчины же при объяснении девицам в любви обязательно становятся на колени.

— Ну?!

— Ну, а в гористой местности на голые колени не очень-то встанешь...

— Это вздор! Нет ничего нелепее ваших теорий.

— А у вас никаких теорий и вообще-то нет.

— Вы думаете? А моя теория причины приливов и отливов? Это не мысль, а молния!

— Воображаю!

— Вы знаете, господа? По-моему — на земном шаре не хватает воды. Все дело в том, что два противоположных берега океана можно сравнить с головой и ногами спящего человека, прикрытого коротким одеялом — океаном. Теперь: если натянуть короткое одеяло на голову, обнажаются ноги, натянуть на ноги — обнажается голова. Так и океан — если тут прилив, там должен быть отлив. Понятно?

— Садитесь! Два!

— Не два, а четыре.

— Идея. Кельнер! Еще четыре кружки.

— Я не хочу пива,— неожиданно сказал Сандерс, глядя на нас помутневшими глазами.— Мне нездоровится.

Мы засуетились, а больше всех Крысаков:

— Ну, вот! Говорил я, что вам не нужно было есть яиц утром.

— Да при чем тут яйца?

Крысаков не медик, но у него своя стройная система распознания болезней и лечения их; кроме того, у него собственное, ни у кого не заимствованное представление о человеческом организме.

— Как при чем яйца? У вас еще вчера была немного повышена температура. Крутые яйца при повышении температуры являются бродильным ферментом и, давя на печень, производят отлив крови от сердца.

— Вот-то чепуха.

Крысаков рассвирепел.

— «Чепуха»? Сначала не слушаете меня, а потом — чепуха?! Говорил я вчера, чтобы вы взяли холодную ванну? Говорил?

— Говорили.

— Ну, вот. А вы не взяли. У меня, батенька, отец доктор.

— Наверное, прекрасный доктор,— вежливо поддержал я.— Я думаю, тысяча его бывших больных возносят на том свете за него молитвы.

— Сандерс! Сейчас же в постель! Мы поднимемся на фуникулере на гору, посидим с полчасика и потом займемся вами.

Опечаленные, поднимались мы по головоломной дороге в хрупком вагончике на вершину горы.

Крысаков рассеянно смотрел на зеленеющий скат, сбегавший к серебряной реке, и несколько раз бормотал про себя:

— Да, несомненно... Типичный брюшной тиф. Без впрыскивания кокаина не обойтись. Гм... Ножные ванны.

Его красивое лицо с орлиным носом было сумрачно.

Чтобы отвлечь его от печальных мыслей, я спросил:

— Интересно, какой силой этот вагончик поднимается в гору.

— Очень просто,— пожал плечами Мифасов.— Один вагончик ползет вверх, другой вниз. Тот, который ползет вниз, подымает своей тяжестью первый, то есть идущий вверх.

— Я не техник,— возразил я,— но здравый смысл подсказывает, что это не так. По твоей теории выходит, что вагон, ползущий вниз, должен быть всегда в несколько раз тяжелее ползущего вверх.

— Он и тяжелее.

— А как же тогда следующая очередь, когда тяжелый должен ползти вверх, а легкий вниз?

— Очевидно, перекладывают какую-нибудь тяжесть.

— Как же перекладывать, когда вагончики ни разу не сходятся вместе внизу или вверху.

— Ну, это уже дело техники. Я говорю только то, что знаю наверное.

— А я думаю, что тяга электрическая...

— Что?!! Ха-ха! Ну и скажет же, ей-Богу.

Немного спустя выяснилось, что тяга, действительно, электрическая.

— Ну что? — безжалостно спросил я Мифасова.— Кто был прав?

— Что? Ну, милый мой — мне, вообще, ни тепло, ни холодно, какая там тяга. Вообще, не приставай ко мне.

Через час Сандерс с термометром под мышкой сидел, окруженный нами, и говорил:

— Ну, ребятки, плохо мне. Ужасно не хотелось бы умереть в Тироле.

Сердца наши разрывались от тоски и жалости.

— Подумайте, господа,— сказал я.— Четыре иностранца, сыны бедной России, заброшены судьбой в далекую тирольскую дыру. И вот один умирает... Как раз тот самый, который хоть и не спеша, но разговаривал по-немецки. Остаемся мы... Трое... Надо его хоронить, обычаев мы не знаем, положение отчаянное. Идем в лесок, срубаем дерево, выдалбливаем гробик и кладем туда Сандерса... И вот тирольцы видят странную, щемящую душу процессию. Три весельчака, понурив головы, в черных шапках, плетутся за гробом четвертого, влекомого равнодушной ко всему тирольской лошадью.... Это сатириконцы хоронят своего товарища... Опустили гроб в могилу... «Прощай, товарищ! Недолго ты прожил среди нас... Спи спокойно...»

Крысаков всхлипнул, Мифасов сделал вид, что рассеянно глядит в окно; он махнул перед лицом рукой, будто сгоняя с него назойливую муху. Было тихо... Только слышалось тяжелое дыхание Сандерса.

— Да... вернемся мы втроем... Первый раз втроем! Придем в свои комнаты. У стены сиротливо лежит чемоданчик Сандерса. Он ему уже не нужен! «А что, господа,— скажет тихо Крысаков,— ведь в этом чемоданчике лежат деньжонки, которые Сандерсу уже не нужны. Не поделиться ли нам? Жаль, что он такого маленького ро-

ста, а то бы можно было и одежонкой его воспользоваться...»

— Я бы пива выпил,— неожиданно сказал больной.

Поднялась буря протестов.

Решили сделать так: мы с Мифасовым уезжаем немедленно прямо в Штейнах, до которого час езды, а Крысаков остается с больным в Инсбруке.

— Я его вылечу! — сурово обещал Крысаков.

— Он на меня все время кричит,— пожаловался больной.— В Дрездене чуть не поколотил меня...

— Как же вас не бить? Представьте себе, господа, я ему говорю: у вас ангина, вам нужно есть для очищения горла орехи, а он не хочет.

С тяжелым сердцем уехали мы с Мифасовым, оставив за своей спиной эту странную пару.

Крупный дождь... ветер гнул деревья, шумел, метался и выл в тесных горах. У подножия одной из них приютился Штейнах.

До сих пор мы все не можем выяснить, почему, по каким соображениям дремлющий Сандерс включил Штейнах в наш маршрут. После громадного, чудовищного Берлина, веселого красивого Мюнхена — эта таинственная дыра с вымершим населением в несколько десятков человек — показалась нам тюрьмой, тем более, что горы со всех сторон окружили ее, стеснили ее, сдавили ее.

Помню крохотный вокзал, у которого поезд приостановился на одну минуту, помню черный, как вакса, вечер, мокрую от дождя землю и абсолютное страшное безмолвие.

Мы выползли со своими чемоданами, постояли минут пять и наконец в ужасе завыли:

— Треге-е-ер!!

— Здесь нет трегеров,— ответил нам откуда-то с неба неизвестно чей голос.

— О, черт возьми! Изво-о-озчик!!

— Здесь нет извозчиков,— ответил тот же беспощадный голос с неба.

— Швейцар из гостиницы!!

— Швейцаров нет.

— Дайте нам какого-нибудь человека.

И прозвучало похоронное:

— Здесь нет людей.

— Да вы-то кто? Не человек?

— Я начальник здешней станции.

— Где вы?
— Наверху. Во втором этаже.
— Посоветуйте, как нам найти гостиницу?
— Идите прямо.
— Да тут забор!
— Идите влево.
— Тут тоже забор!

Проклятый начальник станции неожиданно замолчал, будто ему заткнули платком рот.

— Эй, вы-ы! Как вас!! Тут забо-о-ры!

Дождь обливал нас сверху, грязь хлюпала внизу под ногами... Молча взвалили мы на плечи чемоданы, перелезли через забор и наткнулись на какую-то дверь.

— Это что?
— Гостиница.

Так мы приехали в Штейнах. Приезд был невеселый, житье наше печальное и отъезд угрюмый.

Все мы ко дню отъезда перессорились в самых разнообразных комбинациях: Крысаков с Сандерсом, я с Сандерсом, Сандерс с Мифасовым.

Вообще, должен признаться, к стыду нашему, что ссорились мы частенько. При этом ссора кого-нибудь из нас с товарищем вызывала необычайное повышение симпатии в поссорившемся — к остальным. Другими словами, если X разрывал отношение с Y, то к Z он относился настолько повышенно нежнее, насколько это чувство расходовалось раньше на Y.

Ничго в мире не пропадает, и ничто вновь не появляется.

Самая тяжелая ссора случилась в Берлине, когда Крысаков оказался на одной стороне, а мы трое — на другой.

Впечатлительный Крысаков выносил такое положение вещей только сутки... На другое утро он взял свой незакрывающийся чемодан, ящик с красками и, скорбно понурившись, сказал Мите (единственному, с кем отношения были хороши):

— Митя! Проведи меня до вокзала... Я уезжаю. Что уж там... Пожили! Эх, эх...

Я не выдержал:

— Вы с ума сошли! Куда вы уезжаете?

Он опустился на чемодан и, ни на кого не глядя, под журчание Митиных слез сказал:

— Уеду... Что ж, и без меня проживете. Не бойтесь, я поездку не бросаю... Только эти четыре дня, что вы

проживете в Берлине,— я посижу в том благословенном местечке, которое приглядел еще давеча.

— Какое местечко! Что вы задумали?!

— Такое... Я думаю, там будет тихо... Ни криков, ни попреков. Посижу там один. Может, когда меня не будет, вы поймете.

— Ну, слушайте, это черт знает что! Какое там вы местечко выбрали, не зная языка, с вашим «битте-дритте»? Мы вас не пустим!

— Нет уж, что уж там. Митенька, бери чемодан. Тебе не тяжело, милый Митя... дорогой Митечка?

По принятому обыкновению, вся любовь и приязнь изливалась теперь на единственного человека, который был с ним в хороших отношениях — на Митю.

— Извини меня, Митенька, что я тебя затрудняю... Может быть, мне самому лучше понести чемодан, а ты, Митя, отдохни.

Вокзал был в двух шагах, и поэтому берлинцы могли любоваться диковинной, нелепой процессией: впереди шагал плачущий, растроганный слуга с чемоданом, сзади барин с видом погребальной лошади, нагруженный ящиком для красок, а сбоку бежали три друга, умоляя непреклонного Крысакова одуматься, уговаривая и успокаивая его.

— Нет уж... не уговаривайте. Уеду... Не поминайте лихом!

— Ну, куда? куда вы едете? В какое местечко?

— Сейчас узнаете.

Он подошел к билетному окошечку и грустно сказал кассиру:

— Битте-дритте, эйн билет! В Фаркартен!

— Куда? — ахнули мы.

— В Фаркартен. Это, вероятно, такое местечко под Берлином. Я тут на доске прочел. С указательным пальцем. Туда и поеду. Уж вы не удерживайте. Раз я облюбовал.

— Вы знаете, что такое фаркартен? — зловеще спросил Сандерс.

— А что? Может быть, очень болотистое место?

— Нет. Фаркартен значит — «дорожные билеты».

— Митечка! — сказал Крысаков, помолчав: — Берика, тащи назад чемодан. Битте-дритте!

Мы подхватили его под руки и с заискивающим смехом повлекли обратно.

К сожалению, впоследствии частенько случалось, что

у каждого из нас поочередно мутился разум, и он, забыв дружбу, «собирался в Фаркартен»...

Заканчивая эту главу, искренно хочу крикнуть:

— Да здравствует дружба! Долой проклятый Фаркартен!

ВЕНЕЦИЯ

I

Город лени и музыки.— Cartolina postale.— Способ Крысакова.— Способ Мифасова.— Способ Сандерса.— Демократия и аристократия.— Пир с нищенкой.— Сандерс втягивается в лихорадку.— Лечение

Мы в Венеции.

Если бы какой-нибудь гениальный писатель обладал таким совершенным пером, что дал бы читателю, не видевшему Венеции, настоящее о ней представление,— такой писатель принес бы много несчастья и тоски читателям. Потому что узнать, что такое Венеция, и не увидеть ее, это сделаться навеки отравленным, до самой смерти неудовлетворенным.

Когда я приехал в Венецию, я подумал:

— «Ведь миллионы людей живут и умирают, не видя Венеции. Если бы они знали то, чего они лишены, жизнь их потеряла бы краски, и тоска по далекой невыразимой красоте иссушила бы сердце».

Я пишу эти строки в холодном угрюмом Петрограде, но стоит мне только закрыть глаза, как я до последних мелочей вижу Венецию. Она врезалась в память неизгладимо, я по ней тоскую и мечтаю, как о далекой прекрасной любовнице, свидание с которой сделает меня снова счастливым.

Я закрываю глаза...

Мягкий густой вечерний воздух, нежащий, как прикосновение, невыразимая истома во всем теле; хочется встать в гондоле и закричать от полноты настоящего наслаждения и счастья. Но не встаешь... Наоборот, развалившись на уютных подушках, погружаешься в блаженную неподвижность и всем телом, всеми органами, всеми порами впитываешь в себя ленивый, теплый, сладкий воздух, сладкую песню, лениво доносящуюся издалека, и молчишь, молчишь... Черная густая вода тихо журчит за

гондолой, нежно плещет весло ленивого парня на корме и таинственно молчат сбежавшиеся к воде старые-престарые дома, среди которых скользит тихая лениво-проворная гондола. Узенький канал кончился... Над головой мелькнул еще видимый изгиб мостика — и мы выносимся на широкий canale grande. Здесь широкое, пышное небо черным бархатом разметалось над нами и застыло, усеянное редкими сверкающими осколками-звездами. И внизу плещется черная теплая, слепая вода, и плывет далеко по каналу нежная, сладострастная серенада оттуда, где целый сноп огней, фонариков собрал полчища гондол, как свеча собирает мотыльков. Какие-то фигуры мелькают на огненном фоне и изредка песню прорезает смех и веселый говор.

Замерла посреди канала большая, изукрашенная фонариками, барка. На ней море огня, а все остальное зачернено ночью. Десятки гондол сползлись к огню, окружили его и, притихшие, почти невидимые, колышутся. Изредка багровый свет на барке выхватит из темноты резной нос гондолы, блеснет на металле и погаснет.

Тихо колышутся гондолы; сладко нежит песня; все необычно; рядом с нашей гондолой трется о ее борт чужая, за ней еще одна, а остальные тонут, невидимые... Боже мой, как хорошо! Пусть все это искусственное, пусть барка принадлежит корыстолюбивому антрепренеру, а у певцов, наверно, грязные руки, а какие-то подозрительные молодцы с ухватками кошек или разбойников ползают по бортам ваших гондол, собирая за пение сольди и лиры...

Все равно, не убить им этой Божьей красоты, пышного теплого неба и теплой воды, которая, как добрая нянька-колыбель — качает нашу гондолу. Пусть певцы нахальны и жадны, а немцы, самодовольно развалившиеся на подушках гондол, скупы до омерзения. Я все же нашел красоту, и ее у меня не отнять — я крепко прижал ее к моему сердцу. Боже, как далеко от меня Россия, Петроград, холод, грабежи, грязные участки, глупые октябристы, мой журнал, корректуры, цензурный комитет и немолчный телефон!..

Поют... Тихо постукивают гондолы боками одна о другую. Качаются.

Хорошо, когда усталого баюкают.

А утром другая — томительно-сладкая жизнь; зазвучит все по-другому... засверкает ослепительное солнце, четко вырежется на голубом небе кружево белых двор-

цов и легких мостиков, зазвучит музыкальная брань гондольеров, польется с неба золотой зной, и замелькают всюду живые, проворные, как обезьяны, и ленивые, как черепахи, итальянцы, наполняя жгучий воздух немолчным жужжаньем.

Ах, эти итальянцы... Над ними можно смеяться, но не любить их нельзя.

Уличная толпа сплошь состоит из беспардонных лгунов, мелких мошенников и попрошаек, но это такая веселая живая толпа, плутовство их так по-дикарски примитивно и неопасно, что не сердишься, а только добродушно смеешься и отмахиваешься.

— Cartolina postale.

— No, signore.

— Cartolina postale!!

— No, no!

— Cartolina postale!!

— Не надо, тебе говорят!!

— Русски! Ошень кароши cartolina... Molto bene.

— Русски, а? Купаться! Шеловек! Берешь cartolina postale?

— Убирайся к черту! Алевузан, пока тебе не попало.

— Господин, купаться, а? — заискивающе лепечет этот разбойничьего вида детина, стараясь прельстить вас бессмысленными русскими словами, Бог весть когда и где перехваченными у проезжих forestieri russo.

Я сначала недоумевал — чем живут эти люди, от которых все отворачиваются, товар которых находится в полном презрении и его никто не покупает?

Но скоро нашел; именно тогда, когда этот парень шел за мной несколько улиц, переходил мостики, дожидался меня у дверей магазинов, ресторана и, в конце концов, заставил купить эти намозолившие глаза венецианские открытки.

— Ну, черт с тобой,— сердито сказал я.— Грабь меня!

— О, руссо... очень карашо! Крапь.

— Именно — грабь и провались в преисподнюю. Ведь ты, братец, мошенник?

— Купаться,— подтвердил он, подмигивая.

Замечательно, что венецианцы знают одно только это русское слово и употребляют его в самых разнообразных случаях.

У Крысакова, по обыкновению, своя манера обращаться с этими надоедливыми комарами.

Он мерно шагает, не обращая ни малейшего внимания на приставания грязнорукого, темнолицего молодца, нагруженного пачками открыток и альбомов. Тот распинается, немолчно выхваляет свой товар, забегает спереди и сбоку, заглядывает Крысакову в лицо,— Крысаков с каменным, сонным лицом шагает, как автомат. И вдруг, среди этой болтовни и упрашиваний Крысаков неожиданно оборачивается к преследователю, раскрывает сомкнутый рот и издает неожиданно такой пронзительный нечеловеческий крик, что итальянец в смертельном ужасе, как бомба, отлетает шагов на двадцать. У Крысакова опять спокойное каменное лицо, и он равнодушно продолжает свой путь.

Мифасов, наоборот, враг таких эксцентричностей. Разговор его с этими паразитами — образец логики и внушительности.

— Cartolina postale! — в десятый раз ревет продавец.

— Милый мой,— оборачивается к нему Мифасов.— Ведь мы уже тебе сказали, что нам не надо твоих открыток, зачем же ты пристаешь? Когда нам будет нужно, мы сами купим, а пока — настойчивость твоя останется без всякого результата.

У каждого свой характер. Сандерс и здесь остается Сандерсом.

— Carrrrrtolina postale!!!

Сандерс останавливается и начинает аккуратно пересматривать все открытки. Он берет каждую и медленно подносит ее к близоруким глазам. Пять, десять, двадцать минут...

— Нет, брат. Плохие открыточки.

Умирающий от скуки итальянец рад, наконец, когда эта пытка кончается, хватает забракованные открытки и удирает в какую-нибудь щель, чтобы прийти в себя и собраться с духом.

Когда мы подъезжали к Германии, Крысаков лаконично сказал:

— Тут пьют пиво.

И мы, покорные обычаям приютившей нас страны, принялись поглощать в неимоверном количестве этот национальный напиток.

В Венеции, едва мы переоделись после дороги и спустились на еще не остывшую от дневного зноя пьяцетту, Крысаков потянул носом воздух и сказал:

— Жареным пахнет. Вы спросите, что здесь пьют? Вино. Кьянти.

И началось царство кьянти. Добросовестность наша в этом случае стояла вне сомнений. Мы решились есть и пить во всякой стране только то, чем эта страна славится.

Поэтому в Германии выработался свой шаблон.

— Четыре кружки пива, бульон «мит-ай», шницель и братвурст мит-краут.

К этому заказу Крысаков неизменно прибавлял единственную немецкую фразу, которую он сам сочинил и которой оперировал в самых разнообразных случаях:

— Битте-дритте.

Он был ошеломляющим среди скучных немцев, со своим сияющим лицом, костюмом, осунувшимся от отсутствия пуговиц, чемоданом, распухшим, как дохлый слон, внутри которого скопились газы, и неизменным припевом ко всем нашим распоряжениям:

— Битте-дритте.

Ехал он в Европу с самым независимым видом, обещая поддержать нас в смысле языка, но в Германии ему не пришлось этого сделать, так как он знал только французский язык, в Италии его французского языка итальянцы не понимали, а во Франции французы вполне присоединились в этом смысле к итальянцам.

Так он и остался со своим загадочным:

— Битте-дритте.

Начиная с Венеции, мы разбились на две резкие группы: Мифасов и Сандерс — благомыслящая, умеренная группа, я с Крысаковым — бесшабашная разгульная пара, неприхотливая и небрезгливая до последней степени. Мы якшались с подонками населения, пили ужасное грошовое вино, ели каких-то пауков, каракатиц и разных морских чудовищ, пожирали червяков, похожих на макароны, и макароны, очень смахивавшие на червяков, а Мифасов и Сандерс, обедая в приличных дорогих ресторанах, лишь изредка ходили за нами, наблюдая издали за нашими поступками.

Однажды мы затащили их в такую остерию, что Мифасов, прежде чем сесть на скамью, покрыл ее осторожно газетой.

— Ну, ребятки,— оскалил зубы Крысаков.— Покушаем, ха-ха, покушаем... Женщина! Синьора хозяйка! Дайте нам вон этих штучек и этих... Эту рыбку зажарьте да макарон закатите посмешнее. Да кьянти не забудьте, лучшее, что есть в вашем погребе.

Нам подали стряпню, о которой лучше не говорить,

и вино, о котором нужно сказать только то, что хотя бутылка и была покрыта паутиной, но, вероятно, в этом погребе паук содержался на определенном жалованьи — так все было нехорошо сделано.

— А вы что же, милые? — радушно обратился Крысаков к Мифасову и Сандерсу.— Кушайте, угощайтесь.

— Я сыт,— осторожно сказал Мифасов,— и, кроме того, сейчас иду в ресторан.

Бедному Сандерсу очень хотелось заслужить наше расположение; он принял молодецкий вид, наложил себе на тарелку немного кушанья и, осмотрев его, спросил:

— Это что? Рыба или мясо?

— Бог его знает. Среднее между рыбой и мясом. Земноводное. Во всяком случае, оно уже умерло, и вы его не жалейте.

Наши друзья смотрели на нас с отвращением, мы на них с презрением...

Утолили голод прекрасно, хотя на тарелке осталась целая гора макарон; в остерию зашла нищенка, увидела, что мы оставили недоеденным лакомое блюдо, и попросила разрешения докончить его.

Мы радушно усадили ее между застывшим Мифасовым и Крысаковым, налили ей винца, чокнулись и выпили за благополучие красавицы Венеции.

Без хвастовства могу сказать, что мы двое чувствовали себя вполне в своей тарелке, отличаясь этим от макарон, быстро перешедших с тарелки в желудок нашей соседки.

— Что, миленькие мои,— язвительно спросил Крысаков, когда мы вышли.— Вы ведь привыкли «спускаться к обеду, когда ударит гонг»? Здесь это проще: трахнет один гость другого бутылкой по голове — вот тебе и гонг. Можешь обедать с чехлом от чемодана на плечах вместо смокинга...

Сандерс и Мифасов нас презирали, не скрываясь — это было ясно.

— Вы заболеете от такой пищи! — предупредил Сандерс.

Он угадал: на другой день я был болен легкой лихорадкой, но, к несчастью, заболел и Сандерс, который питался «по гонгу». Этим блестяще опровергалась его теория.

И опять Крысаков трогательно, как сестра милосердия, ухаживал за нами. Сочинял нам разные лекарства, натирал нас вином и коньяком, отделяя для себя извест-

ный процент этих медикаментов в виде гонорара; совал нам под мышку термометры, вскакивал ночью и, встревоженный, прибегал к нам, чтобы пробудить нас от крепкого сна; мне рекомендовал холодную ванну, а Сандерсу горячую, хотя симптомы были у нас совершенно одинаковые...

2

Купанье на Лидо.— «Русским языком я тебе говорю!» — Гондолы. — Паразиты.— Собор св. Марка.— Перепроизводство дожей.— Школа св. Маргариты.— Снова и снова Сандерс болен.— Как мы купались

Через два дня Крысаков нашел нас совершенно здоровыми и повез на Лидо купаться.

И опять на долгое время погрузился я в состояние тихого восторга. Небо, какого нет нигде, вода, которой нет нигде, и берег, которого нет нигде.

Милые, милые итальянцы!.. Они не стыдливы и просты, как первые люди в раю. И удивительно, как сатириконцы быстро ко всему приспосабливаются: едва мы разделись и натянули на себя «трусики» величиной в носовой платок — как сразу почувствовали себя маленькими детьми, которых нянька полощет в ванне. Похлопывая себя по груди и бокам, ринулись мы на песок, не стесняясь присутствием дам, зарылись в него, выскочили, огласили воздух победным криком и обрушились в воду, подняв такое волнение, что, вероятно, не одно судно, паруса которых мелькали вдали, перевернулось и пошло ко дну.

Мужчины и дамы, полоскавшиеся около, смотрели на нас с некоторым удивлением. Эта обуглившаяся от солнца публика долго любовалась на наши белые, как молоко, северные тела, причем один из ротозеев соболезнующе сказал:

— Это недолго. Через три дня почернеете.

— О, милые! — возразил Крысаков.— Мы пожираем таких же пауков и спрутов, каких пожираете вы, пьем ваше кьянти, готовы петь и плясать по-вашему целый день, разделись голые, как вы сейчас, не стесняясь дам — почему же нам и не сделаться такими же черными, как вы?

Мы упали животами на песок и, надвинув на затыл-

ки панамы, подставили свои плечи и ноги под жгучий каскад горячего, как кипяток, солнца.

Крысаков, впрочем, нашел в себе силы доползти до Сандерса, приподнять его панаму и нежно поцеловать в темя.

— Зачем? — лениво спросил Сандерс.

— Инженер. Люблю инженеров.

И мы погрузились в нирвану.

Когда мы одевались, я услышал в соседней кабинке странный диалог.

Незнакомый сиплый голос говорил:

— Русским языком я тебе говорю или нет: принеси мне лампадочку вермутцу позабористее.

Голос слуги при кабинках — старого, выжженного солнцем итальянца-старика в матроске (я его видел раньше) отвечал:

— Нон каписко.

— Не каписко! Чертова голова! Не каписко, а вермут. Ну? Русским языком я тебе, кажется, говорю: вермут принеси, понимаешь? винца!

— Нон каписко.

— Да ты с ума сошел? Кажется, русским языком я тебе говорю... и т. д.

— Слушайте! — крикнул я. — Вы русский?

— Да, конечно! Кажется, русским языком говоришь этому ослу...

— На них это не действует... Скажите ему по-итальянски...

— Да я не умею.

— Как-нибудь... «прего, синьоре камерьере, дате мио гляччио вермуто...» Только ударение на «у» ставьте. А то не поймет.

— Ага! Мерси. Эй ты, смейся паяччио! Дате мио, как говорится, вермуто. Да живо!

— Субито, синьоре, — обрадовался итальянец.

— То-то, брат. Морген фри.

Мы оделись, уселись на пароход и покатили в Венецию, свежие, безоблачно радостные, голодные, как волки зимой.

Это были прекрасные дни. Долгими часами бродили мы по закоулкам среди старых величавых дворцов, любуясь небом, прислушиваясь к мрачной тишине узеньких каналов, которую редко-редко когда нарушит тяжело нагруженная кирпичом или овощами лодка. В лодке — итальянец и, конечно, он спит, прикрыв шляпой бронзо-

вое лицо и щедро подставляя под солнце бронзовые руки и ноги...

По всей Венеции разлит сладкий яд невыразимой лени и медлительности... Уличного шума нет, потому что нет грохота экипажей и криков извозчиков. А венецианские гондольеры, в большинстве случаев, молчаливы и сосредоточенны. Жизнь — вечный медленный праздник. Публика шагает не спеша, останавливаясь на каждом шагу, гондолы ползут лениво, потому что спешить некуда и пассажир все равно дремлет, изредка поднимая отяжелевшие от истомы веки и скользя ленивым взглядом по облупившимся фасадам примолкших дворцов и покосившимся причалам, которые зыбкой линией отражаются в черной воде уснувшего канала...

На пьяццете, у берега большого канала, жизнь шумнее. Здесь десятки черных гондол мерно качают своими благородными, прекрасной формы носами, а лодочники, как стая разбойников, притаившись, стерегут проходящего форестьера, растерянного и сбитого с толку необычностью всего окружающего.

Стоит только показаться иностранцу, как поднимается неимоверный крик десятков хриплых глоток:

— Гондола, гондола, гондола!

Выйдя из гостиницы (тут же на пьяццете), я подхожу к берегу и делаю знак. С радостным воем гондольер прыгает в гондолу и, как птица, подлетает ко мне. Сейчас же откуда-то из-за угла дома вылетают: 1) здоровенный парень, роль которого — подсадить меня, поддержав двумя пальцами под локоть; 2) другой здоровенный парень, по профессии придерживатель гондолы у берега какой-то палочкой,— хотя гондола и сама знает, как вести себя в этом случае; 3) нищий,— по профессии пожелатель доброго пути, и 4) мальчишка-зритель, который вместе с остальными тремя потребует у вас сольди за то, что вы привлекли этой церемонией его внимание.

Я сажусь; поднимается радостный вой, маханье шапками и пожелания счастья, будто бы я уезжаю в Африку охотиться на слонов, а не в ресторанчик через две улицы.

При этом все изнемогают от работы: парень, который подсаживал меня двумя пальцами, утирает пот с лица, охает и, тяжело дыша, придерживает рукой готовое разорваться сердце; парень, уцепившийся тоненькой палочкой за борт гондолы, стонет от натуги, кряхтит и всем своим видом показывает, что если в Италии и сущест-

вуют каторжные работы, то только здесь, в этом месте; нищий желает вам таких благ и рассыпается в таких изысканных комплиментах, что не дать ему — преступно; а ротозей-мальчишка вдруг бросается в самую средину этого каторжного труда и немедленно принимает в нем деятельное участие: поддерживает под локоть того парня, который поддерживал меня.

Если вдумаешься в происшествие, то только всего и случилось, что я сел в лодку... Но сколько потрачено энергии, слов, споров, советов и пожеланий. Четыре руки с четырьмя шляпами протягиваются ко мне, и четверо тружеников, получив деньги, дают клятвенное уверение, что теперь, после моего благородного поступка, обо мне позаботятся и Святая Мария, и Петр, и Варфоломей!

Я говорю гондольеру адрес, мы отчаливаем, тихо скользим по густой воде и, после получасовой езды, подплываем к самому ресторану. Кто-то на берегу приветствует меня радостными кликами. Кто это? Ба! Уже знакомые мне: придерживатель гондолы, подсаживатель под руку, пожелатель счастья и мальчишка поддерживатель поддерживателя под руку.

Они объясняют мне, что слышали сказанный мною гондольеру адрес и почли долгом прийти сюда, чтобы не оставить доброго синьора в безвыходном положении. Опять кипит работа: один придерживает гондолу, другой суетливо призывает благословение на мою голову, третий меня придерживает под руку, а четвертый поддерживает третьего.

Милая, голодная, веселая, мелко-жульническая и бесконечно-красивая даже в этом жульничестве Италия!

Нас обманывали на каждом шагу, но так мелко, так дешево, что мы только посмеивались.

У собора св. Марка целая туча гидов. Показывают собор, показывают могилу какого-то знаменитого дожа, настолько знаменитого, что потом в каждой церкви нам показывали могилу, где лежали настоящие, подлинные останки этого удивительного дожа.

Однажды я не вытерпел и спросил:

— Вы говорите, что это настоящая могила, в которой лежит настоящее, подлинное тело дожа Марка X?

— Си, сеньоре, только у нас!

— Странно... я до вас был в семи церквах и в каждой мне показывали настоящее трупохранилище Марка X.

— Они вам показывали? — презрительно возразил

проводник.— Хотел бы я посмотреть ихнего дожа! Воображаю... Вероятно, что-нибудь курам на смех. Туда же... лезут со своими дожами. У нас, синьор, такой дож Марко X похоронен, что пальчики оближете.

У меня осталось смутное впечатление, что в прежние времена трупы знаменитых дожей заготовлялись оптовым способом на одной из немецких фабрик и потом рассылались во все церкви, чтобы никому не было обидно...

Когда мы осмотрели собор св. Марка, гид, показывавший нам собор, опустил голову, отошел поодаль и задумался: «Что бы еще такое показать?»

Вспомнил. Показал то место, где Барбаросса стоял перед папой на коленях. Место было самое обыкновенное. Задумался. Вспомнил. Показал то место, где сидел папа.

— Ну, довольно,— сказали мы.— Все!

— Нет! — остановился гид.

Задумался. Вспомнил. Показал то место, на котором Барбаросса не стоял. Мы внимательно осмотрели указанное место. Понравилось.

— Я сейчас вам покажу мраморную колонну, отнятую у турок.

— Не надо,— сухо сказали мы.

— Покажу то место, где стояли кардиналы, когда Барбаросса...

— Не надо!

Он призадумался.

— Хотите, может быть, красивую синьору? Очень скромная, молодая, а?

— Пойди к черту!

— Открыток не надо ли? Вот хорошие есть. Эй, Джузеппе! Иди сюда, вот господам нужно открытки.

— К дьяволу! Ничего нам не нужно.

— Ага! Я знаю, что вам показать... Хотите видеть школу святой Елизаветы?

— Это интересно,— сказал Крысаков, обращаясь к нам.— Мне очень хотелось бы видеть, как у них поставлено учение... Ведите!

Мы последовали за гидом.

Он привел нас в какое-то помещение, одна часть которого была занята венецианским стеклом, а другая — несколькими десятками рабочих, копавшихся над какими-то мраморными статуэтками и мозаикой.

— Вот,— сказал гид, подмигивая хозяину,— эти господа хотят что-нибудь купить.

— Это что такое? — сурово спросил Мифасов.

— Школа святой Елизаветы!

— Это такая же школа, как ты честный человек. Ах ты, мошенник! Какая это школа?! Разве такие школы бывают?

— Я не понял синьоров,— сказал гид, сверкая зубами...— Школу желаете? Пожалуйте, я проведу вас в школу. Школу святой Маргариты! Синьоры останутся довольны.

Он повел нас, треща, как попугай, приплясывая и беспрестанно оборачиваясь...

Привел... Среди десятка манекенов сидели и плели кружева несколько прехорошеньких девушек.

— Вот,— сказал гид.— Настоящие венецианские кружева.

Меня удивило, что никто из нас не рассердился.

Наоборот, все подошли к красавицам и с захватывающим интересом стали следить за их работой.

Крысаков настолько заинтересовался проворством маленьких ручек, что взял одну из них и поцеловал.

— Нет,— сказал гид.— Я только хотел предложить вам купить кружева.

В другом углу Сандерс внимательно рассматривал плетенье, остановив работу самым примитивным способом: взял обе руки работницы в свои.

— Мифасов! — печально сказал я.— Только мы с тобой и отличаемся суровой нравственностью и закаленным сердцем.

— Да, да... Послушай... Тебе не нужен тот цветочек, что торчит в твоей петлице? Дай мне. Я приколю его к груди той, вон, высокой, черной...

— Боже,— подумал я с отвращением.— Эти люди, как тигры, набросились на беззащитных девушек...

Глубокое чувство сожаления охватило меня. Я нежно-покровительственно обвил талию ближайшей работницы и шепнул:

— Не бойтесь! Я не подпущу их к вам.

— Пойдем, синьоры,— сказал гид, лицо которого вытянулось.— Я вижу, что вы ничего не купите...

Действительно, мы вышли из «школы Маргариты», не купив даже аршина кружев.

— Все-таки,— задумчиво сказал Крысаков.— У них школьное дело обставлено недурно.

Когда наступил назначенный заранее день нашего отъезда из Венеции, мы с Сандерсом снова заболели.

Поезд уходил в пять часов вечера, и мы аккуратно пролежали до $4^1/_2$ часов вечера.

— Теперь уже на поезд не успеешь? — осторожно спросил Сандерс.

— Нет. Пока соберемся, пока гондола доползет...

— Ну, значит, можно вставать. Господи! Какое счастье еще один денек пожить в Венеции!

Мы вскочили, оделись и пошли бродить.

На другой день печаль разрывала наши сердца — нужно было уезжать.

Мы обошли все уголки, простились с Венецией, но... случилась непредвиденная вещь: в три часа дня заболел Мифасов.

— Плохо мне что-то,— сказал он.— Знаю, что нынче обязательно нужно ехать, но не могу встать.

— Гм... Ну, ты полежи, а мы поедем на Лидо купаться. Все равно уж, раз остались...

— И я с вами...

— С ума вы сошли! Смотрите-ка! У него лихорадка, а он — купаться!

Укутали Мифасова, пошли завтракать, побродили по переулкам и поехали на Лидо.

Разделись, легли на песок. Вдруг Крысаков поднялся на локтях и, глядя в воду, неуверенно сказал:

— Гм! Если бы Мифасов сейчас не лежал в Венеции в жестокой лихорадке, я бы подумал, что это он!

— А, это вы братцы,— пролепетал Мифасов, сконфуженно потирая тощую грудь.— А мне сделалось этого, знаете... как его? лучше! Да, сделалось лучше — я и приехал.

Признаться ли? Все мы втайне были благодарны за его ловкий прием. Пожить еще один день в Венеции! Этот Мифасов всегда придумает что-нибудь остроумное.

И в последний раз вошли мы в лазурные воды Лидо...

У всякого была своя манера купаться. Сандерс заплывал так далеко, что я, теряя его из вида, начинал подумывать о приискании, по возвращении в Россию, нового секретаря.

Крысаков, повертевшись в воде две минуты и наглотавшись соленой воды, вполне удовлетворенный, выбегал на берег и принимался за разные гадости: бросал в нас песком, завязывал узлы на рубашках и носился, как сорвавшийся с цепи слон, по всему побережью.

Мифасов входил в воду с таким лицом, что будто бы он уже махнул рукой на жизнь и что морская пучина —

близкая его могила. Валился на полуаршинной глубине во весь свой длинный рост и, выпучив в безумном паническом ужасе глаза, размахивал бешено руками с видом человека, решившегося дорого продать жизнь.

Со стороны казалось, что это человек среди океана борется с гигантским волнением и тонет, одинокий... На самом деле стоило ему только протянуть руку, чтобы она коснулась берега.

В первый раз, когда я увидел его полный отчаяния взгляд и бешеные спазматические движения на полуаршинной глубине, то, обеспокоенный, спросил:

— Боже мой! Что это ты делаешь?

— Плаваю! — прохрипел этот лихой малый.

— Где? Ведь тут глубины не больше двух футов.

— Что ты! Я ведь ногами до самого дна достаю.

Я не хотел ему говорить, что этого же результата он достигает на любой городской улице, где воды нет. Но, взглянув на его покрытое предсмертным потом лицо и отчаянный лихой взгляд — промолчал.

Может быть, кто-нибудь спросит, как плаваю я?

Боже мой! Да конечно — превосходно.

ФЛОРЕНЦИЯ

Мнение путеводителя. — Испорченный механизм Мифасова.— Фьезоле.— Катанье в странном экипаже.— Человек, перещеголявший Сандерса.— Мы растерялись.— Поиски.— Остроумный плакал.— Опять Фьезоле

В путеводителе — о Флоренции сказано:

— Этот город можно назвать самым красивым из всех итальянских городов.

А о Венеции в том же путеводителе сказано:

— Этот город считается самым красивым из всех итальянских городов.

К Риму составитель путеводителя относится так:

— Рим можно назвать самым красивым из всех итальянских городов.

Можно сказать с уверенностью, что жена составителя путеводителя в своей семейной жизни была не особенно счастлива. Каждую встретившуюся женщину увлекающийся супруг находил «лучше всех».

Венеция — царица, а Флоренция — ее красивая фрейлина, поддерживающая царственный шлейф. В Венеции нужно наслаждаться жизнью, во Флоренции — отдыхать от жизни.

Благородным спокойствием обвеяна Флоренция.

Улицы без крика и гомона, роскошная зелень недвижно дремлет около белых дворцов, а солнце гораздо ласковее, нежнее, чем в пылкой Венеции.

Едва мы умылись в гостинице и переоделись, я спросил:

— Что хотел бы каждый из вас сейчас сделать?

— Меня интересует,— нерешительно сказал Мифасов,— постановка их школьного дела.

Крысаков пожал плечами и взглянул на часы:

— Поздно! Они уже, наверно, кончили свои кружевные дела. Меня интересует — едят ли здесь что-нибудь? Я хочу есть.

— А вы, Сандерс, чего хотите?

Он вздохнул, поглядел в окно, передвинул ногой чемодан и сказал:

— Я...

Мы терпеливо подождали.

— Ну, ладно! Выскажетесь по дороге. Некогда.

— Надо, господа, ехать во Фьезоле,— предложил Мифасов.— Полчаса езды на трамвае. Там прекрасно. Красивое местоположение, зелень.

Совет Мифасова поставил нас в затруднительное положение. За час перед этим я заглядывал в путеводитель и нашел такие сведения: «Фьезоле, полчаса езды от Флоренции в трамвае; прекрасное местоположение, масса зелени».

Но раз это же самое утверждал Мифасов, я усомнился: нет ли ошибки в путеводителе? Потому что не было большего неудачника в подобных случаях, чем Мифасов. У него была прекрасная память, но какая-то негативная: все запоминалось наоборот.

— Может быть, Фьезоле не около Флоренции, а около Рима? — спросил, колеблясь, я.

— Нет, здесь.

— Может быть, это какая-нибудь скверная дыра? Не спутал ли ты, Коленька... А? Ну-ка, вспомни.

— Нет, там хорошо.

И что же... Не успел трамвай доехать до места назначения, как мы убедились, что это Фьезоле и что оно действительно прекрасно.

— Тут есть, господа, остатки древнего цирка. Можно взять лошадок и съездить посмотреть. Близко.

— Коля,— осторожно сказал Крысаков,— может быть, это не цирк, а театр, а? И не старый, а новый? Ну-ка вспомни-ка. Может, до него далеко? Может, тут не лошадки возят, а мулы или верблюды?

В механизме Мифасова что-то испортилось: цирк был действительно древний и находился он близехонько.

Когда я сравниваю себя с товарищами, мне прежде всего бросается в глаза разница нашей духовной организации. Попробуйте спросить меня, что осталось в моей памяти от Флоренции и Нюрнберга? Я отвечу в первом случае: красивая грусть, которой проникнуто было все; во втором случае: идиллическое настроение на фоне суровых, тесно сдвинувшихся зданий, в окна которых, казалось, грозно глядят прошлые, серые века, закованные в латы и отягощенные доспехами. А спросите о Флоренции и Нюрнберге моих товарищей. От всего Нюрнберга уцелел толстый немец Герцог, хозяин кабачка, в котором нас угостили несравненными кровяными колбасами, брат-вурстом и изумительным пивом. Я до сих пор не могу забыть ни этих колбас, ни этого пива... Флоренция? Фьезоле? О, конечно, при этом слове у моих друзей засверкают глаза и польются воспоминания:

— Помните кьянти? Нигде во всей Италии нам не давали такой прелести! А асти? Нигде нет такого! А мартаделла, а гарганзола!! А какая-то курица, приготовленная таинственно и чудесно. Ах, Фьезоле, Фьезоле!..

Действительно, должен сознаться, что ни этого вина, ни этих чудесных кушаний забыть нельзя. Ах, Фьезоле, Фьезоле!

После этого чудесного пира мы, ласковые и разнеженные, вышли из увитого зеленью дворика крохотного ресторана и бодро зашагали, полные искренней любви друг к другу. Крысаков не преминул снять с Сандерса шляпу и нежно поцеловать его в темя.

— Почему? — спросил сонно Сандерс.

— Славный вы человек. Дай Бог вам всего такого...

Идя сзади под руку с Мифасовым, я шепнул ему:

— В сущности, они хорошие ребята, не правда ли?

— Превосходные. В них есть что-то такое...

Он споткнулся, но я дружески поддержал его.

— Стойте! — закричал Крысаков.— Экипаж! Поедем на нем. Эй, ты! Свободен?

Это был большой, черный, поместительный экипаж,

влекомый парой лошадей, которых вел под уздцы парень в грязном, темном костюме.

— А флорентийцы, как и венецианцы,— люди одного вкуса. Все у них выдержано в черных тонах. Садитесь, господа! Фу ты, как неудобно...

Кучер что-то закричал и стал прыгать и кривляться около экипажа.

— Что он делает?

— Наверное, какая-нибудь секта. Эти итальянцы, вообще...

— Может быть, он занят? Спросите его по-французски.

По-французски возница не понимал.

— Свободен? — спросил Мифасов.— Либро? Э? Твоя экипажа свободна есть? Либро?

Экипаж оказался свободен и, тем не менее, возница очень не хотел, чтобы мы садились. Он кричал и бесновался...

— Покажите этому флорентийскому ослу пять лир. Может быть, это его успокоит.

Мы показали смятую бумажку и победоносно полезли в экипаж.

Возница застонал, всплеснул руками, вскочил на облучок, ударил по лошадям,— и экипаж поскакал, бешено подпрыгивая на каменистой мостовой.

Прохожие, встречаясь с нами, взмахивали руками и кричали что-то нам вслед; мальчишки бежали за нами, приплясывая и оглашая воздух немолчными воплями.

— Какое приветливое народонаселение,— сказал Мифасов удовлетворенно.— Вообще итальянцы всегда хорошо относятся к иностранцам.

— А может быть, они принимают нас за каких-нибудь должностных лиц? — спросил честолюбивый Крысаков.

— Ну, знаете... Мы больше смахиваем на конокрадов.

— О, черт. Ударился головой о верх! Знаете, я думаю, этот экипаж не создан для быстрой езды.

В справедливости слов Крысакова мы не замедлили убедиться через две минуты. Навстречу нам очень медленно подвигался такой же самый экипаж. Возница степенно вел четырех лошадей под уздцы, а сзади шагали погруженные в задумчивость люди. В экипаже был только один пассажир, и тот не сидел, а лежал, чинно сложив на груди руки.

— Посмотрите-ка, что это?
— Д-а-а... Гм!..
— Знаете что? Тут уж нам недалеко; пройдемся пешком.
— Идея! А то мы совсем без движения...
— Растолстеешь,— согласился Крысаков, поспешно спрыгивая с нашего странного экипажа.

Домой мы добрели молча. Говорить не хотелось.

Уезжали на другой день утром. Во Флоренции нам удалось видеть самого медлительного человека в мире. Сандерс казался перед ним человеком-молнией.

Наша гостиница была около самого вокзала, через дорогу. Портье сказал, что он довезет наши вещи на тележке; а мы можем пойти вперед, брать билеты. До поезда оставалось двадцать пять минут. Мы взяли билеты, просмотрели юмористические журналы; до поезда осталось десять минут. Выпили бутылку вина, проверили билеты, проверили время отхода — осталось три минуты.

— Проклятое животное! Мы опоздали. Не украл ли он наши вещи?
— Пусть кто-нибудь побежит за ним.
— А вдруг он сейчас откуда-нибудь вынырнет?
— Как же мы поедем без одного. Нам разлучаться нельзя.
— Теперь уж не разлучимся.
— Почему?
— А вот... наш поезд... тронулся.

Когда хвост поезда скрылся где-то за горизонтом, послышалось тихое пение, и портье, мурлыча популярную канцонетту и толкая впереди тележку с нашими вещами, показался из-за угла. Он подвигался популярным среди нас «шагом Сандерса» со скоростью десяти ругательств спутника в минуту.

Остановился... Вытер лицо красным платком, закурил сигару, пожал руку знакомому факкино и, заметив в углу нашу молчаливую группу, благодушно спросил:

— Опоздали? Поезд ушел?
— Ушел.
— Та-ак.
— Ну, что новенького в Риме? — спросил, сдерживая себя, Крысаков.
— О, я, синьоры, к сожалению, не был там.
— Неужели? Я думал, вы сейчас туда заезжали по дороге. Благополучно ли вы переправились через неприступное ущелье, отделяющее гостиницу от вокзала?

— О, синьоры, дорога совершенно прямая.

— Знаете, кто вы такой, синьор портье? Идиот, грязное животное, негодяй и бригант!

К французскому языку он относился совершенно равнодушно, что было видно из того, что лицо его оставалось сонным, и под градом ругательств он сладко затягивался отвратительной сигарой.

— По-итальянски бы его,— свирепо сказал я.

— Ладно. Кто будет?

— Говорите вы. А мы будем составлять фразы.

Каждый из нас знал по несколько итальянских ругательств, но это было плохое, разрозненное издание. Приходилось собирать у каждого по несколько слов, систематизировать и потом уже в готовом виде подносить их Крысакову для передачи по адресу.

Мы расселись на своих чемоданах, и фабрика заработала. Мы с Мифасовым произносили слова, Сандерс их склеивал, а Крысаков громовым голосом бросал уже готовый фабрикат в лицо обвиняемому.

Обвиняемый присел на пустую тележку, надвинул шапчонку на глаза и закрыл лицо руками.

Когда мы с Мифасовым опустошили себя, оказалось, что негодяй заснул.

— Пойдем жаловаться хозяину гостиницы.

Они ушли, а я остался около вещей. Прошло очень много времени; я видел, как ушел второй поезд на Рим, и узнал, что следующий уходит только через три часа. Велел факкино отнести вещи в багаж, а сам пошел бродить по городу, чтобы протянуть время до поезда. Обиженный, покинутый, плотно позавтракал. За час до отхода поезда вернулся на вокзал. Никого не было. Потом оказалось, что Сандерс, Крысаков и Мифасов пришли после моего ухода на вокзал. Увидели, что меня нет, и отправились искать меня по городу. Зашли по дороге в альберго, хорошо позавтракали. Потом опять искали. А я пришел на вокзал, никого не нашел и, встревоженный, отправился на поиски. Искал долго, устал... Зашел в ресторан пообедать. В это время потерянные друзья опять навестили вокзал, не нашли меня и снова пустились в поиски; заглядывали в рестораны, остерии; в одной решили пообедать. А поезда приходили из Рима, уходили в Рим, сновали туда и сюда, не дожидаясь несчастной, расползшейся по всему городу компании. Группа «Мифасов, Сандерс и Крысаков» устроила заседание, по поводу потерявшейся группы «Южакин», и решила по-

ставить поиски на самую широкую ногу: город был разбит на районы; на углах улиц поставлена была цепь сторожевых (Мифасов); член этой человеколюбивой экспедиции Сандерс был командирован на вокзал со специальным поручением: наклеить в багажном отделении на мой чемодан глубокомысленный плакат:

«Если вы придете на вокзал, забирайте вещи и идите в гостиницу «Палермо», где мы ночуем. А если не придете на вокзал, мы вечером — в шантанчике у Рынка Свиньи, туда прямо и идите».

Ниже приписка карандашом:

«Впрочем, что я за дурак: если вы не придете на вокзал, как же вы узнаете, что мы вечером у Рынка Свиньи? Тогда, ведь, вы не будете знать, где мы. В таком случае, поезжайте в «Палермо» и вечером просто ложитесь спать. Крысаков кланяется».

— А, ну вас,— подумал я.— Не люблю людей, делающих ложные шаги. К черту ваш Рынок Свиньи! Поеду-ка я лучше на Фьезоле, в этот милый кабачок.

Потом я выяснил, что мои спутники к концу вечера растеряли друг друга и каждый очутился в одиночестве. Это произошло потому, что Крысаков, вместо того, чтобы ждать Сандерса в условленном месте, решил пойти ему навстречу; Сандерс, наоборот, решил зайти по дороге за Мифасовым, а Мифасов отправился к Крысакову, не нашел его, полетел на вокзал,— и четыре человека весь день бродили в одиночестве по флорентинским улицам. Каждый из них был раздражен глупостью других и, не желая их видеть, решил провести вечер в одиночестве.

Поэтому, Крысаков был чрезвычайно изумлен, обнаружив меня на Фьезоле, в излюбленном ресторанчике, а Сандерс и Мифасов, появившиеся почти в одно время за нашими спинами, сочли это каким-то колдовством.

Сначала, усевшись, мы сделали кое-какую попытку разобраться в происшедшем, но это оказалось таким сложным, что все махнули рукой, дали клятву не разлучаться и... курица по-итальянски, выплывшая из ароматной струи асти, смягчила ожесточившиеся сердца.

РИМ

Сандерс сокрушается.— Старина.— Я стараюсь перещеголять гида.— Колизей.— Сандерс в катакомбах.— Музей.— Тяжелая жизнь.— Художественное чутье.— Дорогая палка.— Уна лира

Рим не на всех нас произвел одинаковое впечатление. Когда мы осмотрели его как следует, Сандерс засунул руки в карманы и спросил:

— Это вот и есть Рим?

— Да.

— Это такой Рим?

— Ну, конечно. А что?

— Гм, да...— протянул он, ехидно усмехаясь.— Так вот он, значит, какой Рим...

— Да, такой. Вам он не нравится?

— О, помилуйте! Что вы! Как же может Рим не нравиться? Смею ли я...

Свесив голову, он долго повторял:

— Да-с, да-с... Вот оно как! Рим... Хи-хи. А я-то думал...

— Что вы думали?

— Ничего, ничего. Городок-с... Городочек-с! Хи-хи.

Мы пробовали рассеять его огорчение.

— Он, правда, немножко староват... Но зато...

— Да, да... Староват. Но зато он и скучноват. Он и грязноват. Он и жуликоват. Хи-хи!

В этом смысле я резко разошелся с Сандерсом. Рим покорил мое сердце. Я не мог думать без умиления о том, что каждому встречному камню, каждому обломку колонны — две, три тысячи лет от роду. Тысячелетние памятники стояли скромно на всех углах, в количестве, превышающем фонарные столбы в любом губернском городе.

А всякая вещь, насчитывавшая пятьсот, шестьсот лет не ставилась ни во что, как девчонка, замешавшаяся в торжественную процессию взрослых.

Я долго бродил с гидом по Форуму, среди печальных обломков старины, и в ушах моих звенели диковинные цифры:

— Две тысячи лет, две с половиной! Около трех тысяч лет...

Когда мы брели усталые по сонным от жары улицам,

я остановился около мраморного, позеленевшего от воды и лет фонтана и сказал:

— О! Вот тоже штучка. Я думаю, не из новых.

Гид пожал плечами, сплюнул в струю воды и возразил:

— Дрянь! Всего-то восемьсот лет.

На углу меня заинтересовала чья-то бронзовая статуя.

— Господин,— сказал гид,— если мы будем останавливаться около таких пустяков — у нас не хватит недели.

— Вы это считаете пустяком?

— О, Господи ж! Поставлен в прошлом столетии.

— Однако,— сказал я.— Как же вы терпите эту ужасную новую ярко-позолоченную конную статую Виктора-Эммануила?

— О, ведь это вещь временная. Этот памятник еще не готов.

— Почему?

— Он будет готов через шестьсот — семьсот лет, когда позолота слезет. Тогда это будет благороднейшее старинное произведение искусства.

— Странный обычай. У нас, в России, таким способом заготовляют только огурцы впрок. Раз он не готов — не нужно было его открывать...

— Закрытыми такие вещи нельзя держать,— возразил гид.— Тогда позолота и в тысячу лет не слезет.

Я проникся культом старины даже гораздо раньше, чем этого мог ожидать гид.

В сумерки он зашел ко мне в гостиницу и предложил, лукаво ухмыляясь:

— Не желает ли господин посмотреть тут один шантанчик?

— Старый? — спросил я.

— О, нет, совершенно новый, недавно отремонтированный.

— Так что ж вы мне его предлагаете! Еще если лет восемьсот, девятьсот...

— О, тогда господину нужно пойти в кафе Греко.

— Старое?

— О, да. Еще в восемнадцатом веке...

— Только-то? Нет, мой дорогой. Я полагаю — его можно будет посещать лет через триста... и то с большой натяжкой...

Я имею основание думать, что гид почувствовал ко мне тайное почтение. Он поклонился и сказал:

— В таком случае, не посмотрите ли вы завтра собор святого Петра?

— О,— равнодушно пожимая плечами, промямлил я.— Вы говорите — святого? Это, вероятно, что-нибудь уже после Рождества Христова?

— Да, но...

— Знаете что? Отложим это до будущего приезда. Все-таки будет годиком больше, а?

— Ну, я знаю, что господину нужно... Он завтра утром посмотрит Колизей и термы Каракаллы.

— Ну что ж,— сказал я.— Я полагаю, что это меня позабавит.

На другой день утром автомобиль в двадцать минут доставил нас прямо к Колизею. Был прекрасный жаркий день.

Лицо гида сияло гордостью и торжеством.

— Вот-с! Извольте видеть.

— А где же Колизей?

Гид побледнел:

— Как... где?.. Вот он, перед вами!

— Такой маленький? Тут повернуться негде.

— Что вы, господин! — жалобно вскричал гид.— Он громаден! Это одно из величайших зданий мира. Пожалуйте, я вам сейчас покажу ямы, где содержались звери до представления и откуда их выпускали на христиан.

— Там сейчас никого нет? — осторожно спросил положительный Мифасов.

— О, синьор, конечно. Вам со мной нечего бояться. Вот видите, остатки этих громадных стен; все они были облицованы белым мрамором — такую работу могли сделать только рабы.

— А где же мрамор?

— Монахи утащили в Ватикан. Весь Ватикан построен из награбленного отсюда мрамора.

— Ага! — сказал Сандерс,— око за око... Сначала звери в Колизее драли христиан, потом христиане ободрали Колизей.

— О,— сказал гид,— христианство погубило красоту Рима. Это была месть язычеству. Лучшие памятники разграблены и уничтожены Ватиканом. Вам еще нужно взглянуть на бани Каракаллы и на катакомбы.

Добросовестный гид потащил нас куда-то в сторону, и мы наткнулись на грандиозные развалины, на стенах которых еще кое-где сохранилась живопись, а на полу — чудесная мозаика.

Мы, притихшие, очарованные, долго стояли перед этим потрясающим памятником рабства и изнеженности, над которым несколько тысячелетий пронеслись, как опустошительный ураган, пощадив только то немногое, что могло дать представление нам, узкогрудым потомкам, о мощном размахе предков.

И мне захотелось остаться тут одному, опуститься на обломок колонны и погрузиться в сладкие мечты о безвозвратно минувшем прошлом. Так хотелось, чтобы никого около меня не было, ни гида, ни Сандерса, с его сонным видом и вечным стремлением завязать спор по всякому ничтожному поводу, ни размашистого громогласного Крысакова, ни самоуверенного кокетливого Мифасова, которому до седой старины такое же дело, как и ей до него.

В это время ко мне приблизился Мифасов и сказал тихонько:

— Вот она, старина-то!.. Так хочется побыть одному, без этого хохотуна Крысакова, без вялого дремлющего Сандерса, которому, в сущности, наплевать на всякую старину... Так хочется посидеть часик совсем одному.

За моей спиной послышался шепот Сандерса:

— Вас не смешат, Крысаков, эти два дурака, которые, вместо того, чтобы замереть от восторга, шепчутся о чем-то? Как бы мне хотелось, чтобы никого из них не было!.. Сесть бы в уголочке да помечтать.

— Да, да,— сказал Крысаков.— Мне тоже. Чтобы никого не было!.. Ну, разве только вы,— деликатно добавил он.

Были мы в катакомбах. Сырой, холодный воздух, зловещий шорох наших ног, огонек свечи, освещающий пространство в ладонь величиной, и тяжелое смутное настроение, которое еще больше усиливали вопросы Сандерса, неожиданно вступившего в полосу разговорчивости в этом неподходящем месте.

— Почему тут так темно? — осведомился он у монаха.

— Катакомбы.

— Ну, я понимаю — катакомбы! А все-таки могло быть светлее. Тут никто не живет?

— Конечно, нет. Здесь хоронили мучеников, а в последнее время — пап.

— Чьих? — бессмысленно спросил Сандерс, отколупывая пальцем кусок воска от свечки.

— Римских.

— Ага! Теперь уже, вероятно, нет древних христиан? Времени-то, слава Богу, прошло немало.

— Ради Бога, довольно! — сурово перебил Крысаков. — Теперь я понимаю, почему Сандерс так редко разговаривает... У него есть солидные основания.

Большую часть времени, проведенного в Риме, мы тратили на хождение по музеям и картинным галереям.

Я подозреваю, что с музеями у нас с самого начала вышло недоразумение: художники боялись показаться мне и Сандерсу людьми некультурными, не интересующимися искусством и потому, едва успев приехать в город, уже неслись с искаженными тоской лицами во все картинные галереи города; мы, не желая показать себя перед художниками людьми отсталыми, равнодушными к их профессии, носились за ними.

Сколько мы видели картинных галерей? Сколько музеев обежали мы за все время наших скитаний по Европе? Какое количество картин больших и маленьких промелькнуло перед нашими утомленными глазами? Берлин, Дрезден, Мюнхен, Нюрнберг, Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь, Генуя, Париж... Всюду целое море полотна — зеленого, красного, розового, старинного и нового...

В Ватикане Сандерс заснул в музее за дверью, а в другом музее — забыл его название — мы так разошлись, что, поднимаясь все выше и выше, попали в большую комнату, уставленную столами, за которыми сидели несколько живых стариков. Мы тупо осмотрели их, постояли добросовестно около портрета Виктора-Эммануила и потом потащились обратно, шатаясь от усталости.

— Вот столб какой-то, — указал Мифасов, когда мы спускались по темной лестнице.

— Старинный?

— Бог его знает! Спокойнее будет, если осмотрим.

Осмотрели столб. Как говорится, ничего особенного.

Начиная с Мюнхена, мы, по приезде в каждый город, усвоили привычку робко спрашивать у обывателей:

— Нет ли тут каких-нибудь музеев или картинных галерей?

И если музеи были, Крысаков решительно надевал шляпу и с суровой складкой у углов рта с видом подвижника говорил:

— Ну, ничего не поделаешь... Надо идти.

Остальные трое безропотно надевали шляпы и шагали за ним, угрюмо опустив головы.

— Может быть, он закрыт? — шептал Сандерс, с надеждой поглядывая на Крысакова.

— Глупости! Почему бы ему быть закрытым?

— Ремонт... Или по случаю пожара.

— Вздор! Пойдем. Я вам покажу тут такого Луку Кранаха, что даже ахнете.

Как люди деликатные, мы с Сандерсом ахали.

— Смотри, Сандерс — Кранах!

— Да, да! Лука. Изумительно.

Крысаков и Мифасов распознавали художников и их картины по общепринятой системе; у Сандерса же была своя система — очень дикая, но, к общему изумлению, довольно верная. Например, Рубенса он узнавал по цвету женских колен, а какого-то французского художника единственно по тому признаку, что на всякой его картине в центре была нарисована белая лошадь. И действительно — в десятке разбросанных картин было заключено десять лошадей, и все белые, и каждая в центре.

Я с завистью смотрел на трех друзей, которые издали безошибочно, по одним им известным признакам, узнавали среди десятков — какого-нибудь Гверчино, Зурбарана или Луку Кранаха.

В конце концов, я придумал следующий практичный и простой способ конкурировать с ними: когда они застывали в изумлении перед какой-нибудь картиной, я потихоньку прокрадывался в следующую комнату, прочитывал подписи под картинами, возвращался и потом, шествуя в хвосте в эту следующую комнату, говорил, выглядывая из-за спин товарищей:

— А! Что это? Если не ошибаюсь, эта старина Лауренс? Похоже на его письмо...

— Да, это Лауренс,— неохотно соглашался Крысаков.

— Еще бы! Я думаю. А этот, вот в углу висит — убейте меня, если это не Берн-Джонс. Сразу можно узнать этого дьявольского виртуоза! Ну конечно. Да тут, если я не ошибаюсь, и Гэнсборо, и Рейнольдс!

Сандерс, Мифасов и Крысаков изредка ошибались. Я никогда не ошибался.

— Смотрите! — говорил Крысаков.— Ведь это Коро! Его сразу можно узнать.

Я читал на дощечке:

«Ван-Хиггинс, Голландская школа».

— Неужели? А ведь совсем Коро!.. Не правда ли, Мифасов?

— Да! — подтверждал Мифасов, очень ревниво относившийся к поддержанию их профессионального престижа. — Ну, Добиньи, конечно, вы сразу узнали?

— Это не Добиньи, — поправлял я. — Это Курбе.

— Ну, Курбе! Их часто смешивают.

— У Курбе всегда толстое дерево сбоку, — авторитетно замечал дремавший Сандерс.

И мы шли дальше, пробегая одним взглядом десятки картин, лениво волоча усталые ноги и судорожным движением выпрямляя изредка натруженные спины и затылки.

Когда уже все было осмотрено, несносный проныра Крысаков неожиданно говорил:

— А вот тут есть еще один закоулочек — мы в нем не были.

— Ну, какой там закоулочек... Стоит ли? Я уверен, там ничего путного нет.

— Нет, Сандерс — так нельзя. Нужно все осматривать...

— Милые мои! Отпустите вы меня...

— Что вы! Там целых два Фрагонара.

— Два?.. Эх! Ну, идем!!

Всюду нам сопутствовала компания англичанок. Англичанки все, как на подбор, были старые — ни одной молоденькой, ни одной красивой.

За все время мы видели несколько сот англичанок — все они были старые, отвратительные. Я уверен, что в Англии есть много и молодых, но они на континенте не показываются. Их, вероятно, держат где-нибудь взаперти, выдерживают в каком-то погребе, дожидаясь, пока они постареют. А когда они готовы — их выпускают на континент большими партиями. Ездят они всюду по Куковскому маршруту, сопровождаемые длинными, иссохшими от времени англичанами; забавно видеть, как Куковский проводник набивает чудовищно-громадный автомобиль этим старым мясом, хватая леди и джентльменов за шиворот и пропихивая их ногой в затруднительных местах. Ничего, довольны.

И бродят они, несчастные, подобно нам, застывая с видом загипнотизированных кроликов перед какой-ни-

будь «головой старика» или «туманным вечером в Нидерландах».

Это позор и несчастье — изучать сокровища искусства таким образом. Что у меня осталось в памяти? Несколько Рубенсов, два-три Рембрандта, полдюжины Беклинов, и кое-что испанское: поразительные Хулоага, Англада и Саролла-Бастила. А сколько я видел? Зеленые, желтые пейзажи, розовые тела, разные девушки с кошкой, девушки без кошек и кошки без девушек; цветы, сырая рыба рядом с персиками и вечный Святой Себастьян, которого не изображал только тот, кто вместо живописи занимался другими делами. Потом было много каких-то уродливых облупленных картин с детской перспективой и кривыми телами.

Корректный Мифасов считал необходимым восхищаться и этими облупленными обрывками старины; а хронический протестант Сандерс в таких случаях ввязывался в ожесточенный спор:

— Замечательно! Ах, как это замечательно! Крысаков! Посмотрите, какой это чудесный тон! И как проштудировано!

— Да, действительно... тон,— деликатно подтверждал Крысаков.

— Послушайте,— начинал Сандерс, как бык, потупив голову и озираясь.— Неужели эта ерунда вам нравится?

— Милый мой, это не ерунда!

— Это не ерунда? Вы посмотрите, как нарисовано! Теперь гимназист пятнадцати лет нарисует лучше.

— Вы забываете исторические перспективы.

— Тогда при чем здесь «тон», «проштудировано»? Изумляйтесь исторически — и этого будет довольно.

— Вы варвар!

— А вы сноб!

— Ах, так? Надеюсь, наши отношения...

— Ну, поехала! — кривился Крысаков.— «Не осенний мелкий дождичек»...

И Крысаков, и Мифасов, как авгуры, упорно охраняли своих богов, а мы, честные, откровенные люди без традиций — не церемонились. Впрочем, однажды, изловив Крысакова в темном уголку, я путем вопросов довел до его сознания, что Боттичелли не так уж хорош, чтобы захлебываться перед ним. На сцену, правда, выступила историческая перспектива, но я налег — и Крысаков сдался. Это меня тронуло, и я, помню, очень расхвалил

какую-то незначительную картинку, которая ему понравилась.

Он очень любил живопись, но под конец нашего путешествия, если по приезде в новый город в нем не оказывалось музея, Крысаков оживлялся, шутил и вообще начинал чувствовать себя превосходно.

К концу нашего путешествия мы с Крысаковым оказались обладателями очень драгоценных предметов: я — палки, он — фотографического аппарата. Эти две вещи мы вывезли из России, и на месте они стоили: палка — рубль, аппарат — двенадцать рублей.

Мы с ними нигде не расставались, и поэтому при входе во всякий музей или галерею у нас их отбирали, а потом взыскивали за хранение.

В Риме я решил бросить эту дрянную рублевую палку, но она уже стоила около пятидесяти лир,— было жаль. В Неаполе цена ее возросла до семидесяти лир, начиная от Генуи — до ста, а после Парижа — потеря ее совершенно бы меня разорила. Эта палка и сейчас находится у меня. Любопытные долго ее осматривают и очень удивляются, что такая неказистая на вид вещь обошлась мне около двухсот франков. А крысаковский аппарат к концу путешествия разорил своего хозяина, потому что, как верная собака, таскался за ним в самые неподходящие места.

Рим в отношении поборов — самый корыстолюбивый город. Там за все берут лиру: пойдете ли вы в Колизей, захотите ли взглянуть на картинную галерею, на памятник или даже на собственные часы.

В Ватикане с нас брали просто за Ватикан (лира!), за картинную галерею Ватикана (лира!), за левую сторону галереи (лира!), за правую (тоже!), за Сикстинскую капеллу (лира!) и еще за какой-то закоулочек, где стоит подсвечник — ту же лиру.

Немудрено, что самый захудалый папский кардинал имеет возможность носить бархатную шапку.

Все это сделано на наши лиры.

Извиняюсь за это лирическое отступление, но оно необходимо для того, чтобы пристыдить некоторых итальянцев, если они прочтут эту книгу.

НЕАПОЛЬ

1

Неаполитанцы.— Случай с монетой.— Город нищих.— Неаполитанский купец.— Первое появление Габриэля.— Аквариум.— Позилиппо.— Тарантелла.— Мы разрываем с Габриэлем.— Кафе-концерт.— Ресторанная тактика.— Помпея.— Гривуазность Габриэля.— Самая богатая страна

В путеводителе сказано, что Неаполь один из самых больших городов Италии — в нем свыше полумиллиона жителей.

Я думаю, путеводитель сказал на этот раз правду, потому что уже на вокзале я насчитал очень много народу.

Неаполитанцы у нас, в России, известны своими оркестрами. Мифасов сообщил нам некоторые сведения об оригинальном подразделении этого народа на группы: весь Неаполь делится на так называемые оркестры, а оркестры делятся на отдельных жителей, мужчин (игра на гитаре и пение) и женщин (пение и танцы).

Конечно, Сандерс не приминул вступить с ним в бесконечный спор, оспаривая правильность этого простого и ясного подразделения. Мне оно понравилось.

Стремление неаполитанца надуть туриста возведено в культ. В Венеции и Риме это делается спешно, по-любительски, без установленных приемов и твердой организации. Неаполь же может похвастаться серьезным и добросовестным отношением к своему делу.

Один мой знакомый рассказывал следующий случай из неаполитанской жизни...

Сидел он однажды в кафе и пил кофе. Народу было мало — несколько итальянцев за мороженым и одинокий турист-англичанин, мирно пивший в углу кофе. Выпив его, англичанин вынул портмонэ, стал рыться в нем и при этом нечаянно выронил золотую монету. Никто не трогался с места. Только один слуга прошел в этот момент мимо, обремененный подносом с новыми порциями мороженого.

Англичанин позвал других слуг, попросил поднять монету, но — монета как в воду канула. Все слуги искали ее на глазах у англичанина — утаить было невозможно, монета не могла куда-нибудь закатиться, потому что щелей в полу не было.

И тем не менее монета исчезла.

Выругавшись, англичанин расплатился и ушел.

Тогда мой знакомый подозвал к себе человека, несшего в момент потери громадный поднос, и потихоньку сказал:

— Послушайте, камерьере... Я не буду поднимать истории — расскажите мне, как вы это сделали?

— Что я сделал?

— Ну, вот... Укр... присвоили себе монету. Каким это образом?

— Господин ошибается. Я никакой монеты и не видел,— возразил итальянец, скаля зубы.

— Послушайте... я же прекрасно видел, как она упала, как вы, проходя, наступили на нее ногой и как она сейчас же исчезла...

— Не знаю, о чем синьор говорит.

— О, черт возьми! Я ведь не полицейский, и мне все равно, но, если вы не расскажете, я заявлю обо всем хозяину кафе.

— В таком случае,— усмехнулся слуга,— дело это очень простое. Средина моей подметки была смазана клеем. Я увидел, как монета упала, и сию же секунду наступил на нее. Вот и все.

— Послушайте... Но ведь не могли же вы сегодня, когда смазывали подметку сапога, предвидеть, что кто-нибудь уронит золотую монету?

— О, сударь, золотая, серебряная — это все равно,— возразил добрый слуга,— и падают они, конечно, не так часто, но подметки — все мы смазываем с утра *на всякий случай*.

Это ли не организация?

И, вместе с тем, нет итальянца ленивее, чем неаполитанец. Целыми днями валяются они на набережной, в узких кривых переулках и между мраморных колонн домов. Вероятно, лежат и мечтают: как бы почуднее надуть туриста?

Но трудно собраться с мыслями, когда солнце так приятно поджаривает оборванца, а море дышит в самое лицо вкусным соленым запахом.

Много ли ему нужно? На целый день оборванцу заработать, найти или украсть пару сольди. На эту пышную сумму он по заходе солнца купит в грязной, шумной обжорной улице, сплошь заставленной громадными чанами с кипящей снедью — какую-нибудь жареную рыбку или тарелочку макарон, и тут же съест все это бок о бок

с таким же оборванным любителем dolce far niente. Жаркий климат много еды не требует, и в пище все очень умеренны.

Все жизненные потребности до смешного невелики.

Проезжая по рынку — одно из самых интересных живописных зрелищ Неаполя,— я видел такого рода купцов: около корзиночки, сооруженной из щепочек и наполненной двумя крохотными жалкими полудохлыми рыбками, сидит продавец и пронзительным голосом выкликает свой товар. Сколько могут стоит эти рыбки величиной с ладонь — в Неаполе, в этом рыбном царстве? Нужно добавить, что грязная простоволосая женщина, которая закупит оптом весь запас этого товара, будет торговаться до седьмого пота, хватая несчастных рыбок, подбрасывая их, перевертывая, нюхая и, вообще, стараясь выжать из флегматичного купца все, что можно.

Большинство неаполитанских промышленников — это «купец, продающий пару рыбок».

Часто мы встречали целую длинную процессию: два дюжих итальянца везут крохотную тележку, на которой стоит обыкновенная шарманка. Третий, мускулистый мужчина, гордо идет сбоку, положив одну руку на шарманку (очевидно, это настоящий владелец ее), а еще два здоровяка подталкивают тележку сзади.

В сущности, эту тележку могла бы повезти вскачь обыкновенная кошка; но пять верзил присосались к шарманке, как пиявки, и каждый всеми силами старается доказать, что он честным трудом зарабатывает свой хлеб.

Шарманка останавливается... Двое начинают вертеть ручку, меняясь с видом полного изнеможения каждые две минуты; один горланит какое-нибудь «sole mio», а остальные двое энергично собирают у слушателей деньги.

Соберут копеек десять, покроют чехлом шарманочку и поплетутся дальше, придерживая, подпихивая и таща тележку, точно русские многострадальные бурлаки по берегу Волги баржу тянут.

Ленивые... Если у итальянца чешется затылок, он не почешет его до того случая, когда встретится со знакомым и снимет шляпу; тогда заодно и почешется.

Вся нечеловеческая энергия целиком, как в громадных коллекторах, собралась в продавцах открыток и разносчиках газет.

Только в Неаполе возможен такой прямо-таки невероятный способ распространения газет.

Газетчик, опережая вас, вдруг ловко подбрасывает

вам под ноги какую-нибудь «Миланскую газету» или «Popolo Romano», с таким расчетом, чтобы вы с разгону наступили ногой на газету... Тогда газетчик поднимает крик и взыскивает деньги за якобы испорченную вашей ногой газету.

Добродушные туземцы, зная этот способ, остерегаются и ставят ногу с разбором, а форестьеры всегда попадаются.

Никаким промыслом не брезгуют оборванные юнцы, если можно получить несколько чентезимов.

Один итальянский мальчишка, пробегая мимо меня, вдруг остановился и указал мне на проходившего жирного патера.

— Ну? Что?

— Патер.

— Прекрасно. Что же дальше?

— Это патер. Господин мне даст что-нибудь?

— За что?!

— За то, что я указал господину патера.

Таких указателей патеров в Неаполе несметное количество.

Едва мы приехали и, оставив вещи в гостинице, отправились купаться, как перед нами выросла фигура молодца самого подозрительного вида, с грязными руками и бегающими вороватыми глазами.

Этот человек на все время нашего пребывания в Неаполе сделался нашей тенью, нашим эхом, нашим вторым я.

Увидев, что он отделился от группы людей не менее подозрительных, мы инстинктивно сдвинулись ближе и вынули руки из карманов, но грязный парень сказал:

— Господа путешественники! Я могу предложить себя в качестве гида. Хорошо знаю город, могу показать самое интересное.

— Не надо! — хором ответили мы.

— Могу показать вам Везувий, повезти вас на Позилиппо и порекомендовать самый лучший кафешантан в городе.

— Не надо!

— В таком случае, я знаю, что заинтересует молодых путешественников (он засмеялся с самым развратным видом) — тарантелла!

— А-а, тарантелла,— заинтересовались мы.— Это любопытно. Посмотрим...

— Где господа остановились? «Эксцельсиор»? Тут за

углом! Знаю. Я сегодня вечером зайду. Сейчас купаться? Знаю! Пойдемте, я вас провожу.

— Да не надо,— сказали мы.— Зачем же? Купальня ведь в двух шагах.

— Нет, что вы! Я вам помогу. Разве можно? Вот тут купальня. Видите — вот она. А это вот будка, где продают билеты! Здравствуйте, мамарелла! Вам, конечно, нужны билеты? Вот этим господам нужны билеты! Дайте им билеты! Они очень нуждаются в билетах! Пожалуйста, три билета. Вот они платят вам деньги. Позвольте, я заплачу. Нет, нет, не беспокойтесь. Вот их деньги, мамарелла. Сдачи! А, вот сдача. Получите сдачу, синьоры. Это сдача. Позвольте, я проведу вас в купальню. Это вот называется купальня. Это тут раздеваются, а там вот купаются, видите, где вода. Прислужник! Вот эти господа хотят выкупаться. Это прислужник, господа. Не бойтесь, господа — он славный малый. А то вон пароход идет. Здесь вот раздевайтесь. Позвольте, я вам расстегну жилет — вам неудобно. Я вам расшнурую ботинки. Сядьте на стул, а ножку свою поставьте мне на колено. Прислужник! Эти господа будут купаться. Они добрые, хорошие господа. Надо, чтобы им было хорошо купаться. Позвольте, я галстук развяжу.

— Ради Бога, нам ничего не нужно! Мы все сами сделаем.

— Позвольте, я разверну вам простыню.

— Ничего, ничего не надо. Мы сами все сделаем — вернитесь к своим повседневным делам.

— Так я вас тут около купальни подожду...

Он ушел с глубоким сожалением. «Вернулся к своим повседневным делам», по выражению Мифасова.

Но, очевидно, кроме нас — у него никаких повседневных дел не было. Вообще, этот человек произвел, в конце концов, на нас такое впечатление, что до нашего приезда у него никаких дел не было, что все его существование на этой планете приспособлено исключительно к нашему появлению в Неаполе и что после нашего отъезда он, исполнив свое земное предназначение, вернется к небытию.

Когда мы вышли, он ждал нас у входа, задремав на закатном солнышке.

Мы хотели потихоньку пройти мимо, но он очнулся, вскочил, рассыпался в извинениях и завертелся, как мельница.

— Господа искупались и идут в гостиницу? Я провожу их в гостиницу.

— Не надо! Нам тут два шага. Мы знаем, где гостиница.

Он замотал головой и, отстраняя попавшегося нам навстречу прохожего, понесся на всех парах.

— Я вас провожу! Пустите, прохожий, этих господ. Они идут к себе в гостиницу, не преграждайте им пути. Они в гостинице, вероятно, освежившись купаньем, будут пить чай или вино, не так ли?

— Прованское масло! — отвечал Сандерс. — Пустите нас, или я задушу вас, как котенка.

— Ха-ха-ха! Господин очень веселый, он шутит. Итальянцы тоже веселые. Эввива, руссо! Швейцар! Вот эти господа пришли в вашу гостиницу, они тут остановились. Это хорошие господа, и ты, швейцар, относись к ним внимательно. Не нужно ли вам разложить ваши чемоданы, ваши вещи? Что? К черту? О, господин большой весельчак. Имею честь кланяться. До вечера!

Стоя внизу, в пролете лестницы, он долго посылал нам приветственные знаки и махал грязным платком.

Через час я вышел на улицу с целью побриться. Первое лицо, которое я увидел около гостиницы, был Габриэль, наш знакомец.

— Что вы тут делаете? — изумленно спросил я.

— Ожидаю. Может быть, синьорам что-нибудь понадобится.

— Ничего не надо. Как дойти до парикмахерской: налево или направо?

— О, я, конечно, провожу вас! Пойдемте, я знаю, где парикмахерская. О, действительно, хорошо было бы, если бы Габриэль не знал, где парикмахерская.

— Не надо провожать меня. Я просто возьму извозчика.

— Извозчика? Сейчас!

Он исчез, и через полминуты ко мне подкатил экипаж. Я взглянул на извозчика...

Это был Габриэль.

— Как?! Разве вы и извозчик?!

— Я все, господин. Все, что вам понадобится.

— Я хочу акробата, — пошутил я.

Габриэль камнем скатился на мостовую, положил бич и, хлопнув в ладоши, стал на голову. Еле уговорил я его усесться на козлы.

В тот же день мы с Сандерсом отправились в знаменитый неаполитанский аквариум.

Человек, продававший билеты, попросил на чай, человек, отбиравший билеты, попросил на чай же, и сторож при рыбах попросил тоже на чай за то, что он палочкой пошевелил какого-то гада.

Аквариум действительно был чудесный. Громадные омары и крабы медленно шевелились за стеклом, беззвучно перебирая чудовищными клещами... Отвратительные осьминоги такого вида, который только и может пригрезиться в ночных кошмарах, смотрели на нас страшным неподвижным взглядом, присосавшись к стеклу и медленно втягивая и вытягивая тошнотворные лапы, покрытые, как маленькими белыми блюдцами, присосками.

Какие-то толстые рыбы с презрительно отвисшей нижней губой, точно сытые бюрократы, еле шевелили плавниками в тупой дремоте... Стаи юрких рыбок стрелой неслись по воде, моментально, как по команде, поворачивались и так же стройно неслись в другую сторону. Одна суетливая рыба чрезвычайно напомнила нам провинциальную сплетницу: она безтолку шныряла от одной группы к другой, подсматривала, что делают омары, и, взмахнув возмущенно плавниками, неслась сейчас же к угрям, рассказывала о виденном и, махнув хвостом, летела уже к сонному крабу, донося на поведение угрей. Всюду она вынюхивала, шпионила и подслушивала. И еще потому была она похожа на человеческую сплетницу, что имела рот узенький, собранный в ниточку, глазки остренькие, а на голове нечто вроде природного капора.

В то время, как я за ней наблюдал, Сандерс задумчиво стоял около другого стеклянного ящика, изредка вертя головой во все стороны.

— Вот чудаки! — сказал он.— Насыпали песку и поставили пустой ящик.

Сторож, услышав это, по выражению лиц заметил наше недоумение и, хлопнув Сандерса ободряюще по плечу, исчез.

Через минуту он явился с длинной палкой. Сунул ее в пустую вазу и — вдруг песок зашевелился, разорвался на десяток кусков, и каждый кусок песку оказался плоской рыбой,— до смешного точно — сотворенной мудрой природой под цвет и вид настоящего песка.

— Мимикрия! Защитный цвет. До сих пор я видел это только у бабочек.

Так как мы не были одарены свойством мимикрии и не могли слиться с окружающей нас обстановкой, то сто-

рож, вернувшись, без труда отыскал нас и потребовал на чай, за то, что пошевелил палкой.

Осьминог, присосавшись к стене, смотрел, как мы расплачивались, и в его страшных выпученных глазах тоже ясно читалось всеобщее, как эпидемия, желание получить с форестьера на чай.

— А вот,— сказал я Сандерсу,— посмотрите-ка какие хорошие раковины. Если бы на каждой из них было еще написано: «Привет из Ялты» — совсем они были бы настоящими раковинами.

— А вот это так называемая чернильная рыба,— сказал Сандерс,— кстати, надо будет нынче вечером написать домой письмо.

Сандерс никогда ни в чем не хотел от меня отставать. Стоило только сострить мне, как острил и он.

— Однако,— ледяным тоном сказал я.— Атмосфера начинает сгущаться. Пожмите осьминогам лапы и пойдем отсюда.

Конечно, Габриэль уже дожидался при выходе. И, конечно, он уговорил нас ехать на Позилиппо.

Мы не жалели, что поехали. Чудесная живописная дорога... С одной стороны обрывистый берег моря, с другой — непрерывный многоверстный ряд домишек, населенный ужасающей беднотой. Но все это так красиво, грязные растрепанные дети, ленивые прохожие, тяжелые простоволосые простолюдинки, перебрасывающиеся из окна с соседкой тихими односложными словами, или перебегающие дорогу с фьяской вина под мышкой, живописное тряпье, развешанное на стенах и окнах домишек, обрывок песни, донесшейся слева, запах свежей рыбы, донесшийся справа, клуб золотой от заходящего солнца пыли впереди и крики мальчишек, бегущих сзади за экипажем, в чаянии получить что-нибудь с ошалелого иностранца...

Позилиппо... Ресторан с верандой на громадной высоте, над морем. Вдали выгнулась из воды мощная спина Капри — место невольного заточения Максима Горького *.

Чисто физическое, животное чувство довольства охватило нас, когда мы, потребовав вина и музыки, погрузились в созерцание тихого синего моря, теплого неба и осколка бледно-розовой луны в чистой прозрачной высоте.

* Написано в 1912 году. *(Авт.)*

Нежная, сладкая итальянская песня, тихий рокот двух гитар, теплота наступающего вече...

— Cartolina postale!!

— О, чтоб тебя черти забрали! Что такое?

— Cartolina postale...

— Провались ты с ними вместе! Даже сюда забрался, каналья.

— Возьмите. Хорошие карточки.

— Отстань, тебе говорят.

— Тогда, знаете что? Я вас познакомлю с барышней... Синьоритта беллиссима! Рариссима! Чрезвычайно честная девушка, но вы сами понимаете... Отец бедный...

— Не надо.

— Уверяю вас — красавица...

Сандерс сделал вид, что заинтересовался. Стал участливо расспрашивать.

— Неужели красавица?

— О, mio Dio!..

— И вы говорите — честная девушка?

— Чрезвычайно честная.

— Ну что вы говорите?! Это неслыханно! А отец бедный?

— О, очень бедный!

— Неужели? Что же это он так... Работы нет?

— Нет. Так хотите — поедем?

— Вы говорите — красавица?

— Да, очень. Но бедность — сами понимаете...

— Ничего, ничего. И очень красивая, вы говорите?

— О, да.

— Она, может быть, просто хорошенькая... Или действительно — красавица?

— Настоящая!

— Так, так... Ну, ступайте! Нам ничего не надо.

— Синьоры! Это вас ни к чему не обязывает,— отчаянно возопил продавец открыток, видя, что добыча ускользает.— Вы только можете посмотреть! Право, поедем.

Но в это время Габриэль, подойдя к веранде, услышал его слова и налетел на него, как коршун,— изгнав беднягу в одну минуту.

Смысл его протеста был такой, что, дескать, эти хорошие господа принадлежат ему, он их нашел, честно около них кормится и никому другому не позволит переходить себе дорогу.

Они спорили, будто два гуртовщика о стаде баранов.

Впрочем, мы их умиротворили, выслав остатки вина и мартаделлы; вся компания продавцов открыток и просто ротозеев, под предводительством Габриэля, уселась на ступеньках и стала пировать, издавая в нашу честь восторженные крики и произнося заздравные тосты.

Я заметил, что Сандерс был на верху блаженства: около нас гремела специально нанятая нами музыка, пели для нас певцы, внизу пировала восторженная чернь под командой нашего первого министра... Я подозреваю: не чувствовал ли Сандерс себя в этот момент королем среди своего доброго народа?

Вечером каналья Габриэль действительно повез нас «смотреть тарантеллу».

В этот вечер изучение неаполитанского быта ни на шаг не подвинулось вперед.

Мы были бессовестно обмануты.

Вас,— путешественников, которые когда-нибудь попадут в Неаполь,— хочу я предупредить, что такое «тарантелла», которую так усиленно рекомендуют нечестные гиды...

Нас (меня и Сандерса) ввели в большую круглую комнату, стены и потолок которой были покрыты зеркалами. Вокруг стен диваны, посредине комнаты круглое бархатное возвышение — все это аляповатое, ужасающе грубое.

— Садитесь, господа,— загадочно ухмыляясь, сказал Габриэль, и сейчас же засуетился, обращаясь к тучной женщине, на лице которой была написана целая книга былых преступлений и порока.— Вот эти господа, мамарелла, очень желают видеть тарантеллу, им нужно показать тарантеллу... Ах, да покажите же этим добрым господам вашу тарантеллу. Это прекрасные и хорошие господа, и им надлежит посмотреть тарантеллу.

«Мамарелла» хлопнула в жирные ладони, и тотчас же шесть женщин выбежали из боковых дверей.

Были они в том, «в чем», по русской поговорке, «мать родила», и даже еще меньше, принимая во внимание, что какая-нибудь из них в свое время родилась в сорочке. Одним словом, были они абсолютно, безусловно и радикально голы.

С заученными жестами дефилировала эта армия перед нами, а мы сидели с Сандерсом, опечаленные этим обманом, оскорбленные в нашей скромности.

— Нравится? —спросила торжествующим тоном бесхитростная мамарелла.

Бедняге и в голову не могло прийти, что ее «тарантелла» могла в ком-нибудь не вызвать одушевления.

— Гм, да...— смущенно сказал Сандерс.— Вещь забавноватая. Недурно, как говорится, задумано. Женщины?

— Конечно. Вы же видите.

— Так, так... Гм... Не холодно?

Пансион мамареллы, привыкший к скотской разнузданности немцев и к шумному поведению галантных французов — был изумлен нашей сдержанностью; все поглядывали на нас с недоумением.

— Протанцуйте им, деточки,— скомандовала мамарелла.— Пусть посмотрят вашу тарантеллу.

Она взяла в руки бубен, и шесть женщин закружились, заплясали; откормленные торсы сотрясались от движений, и вообще, все это было крайне предосудительно.

— Помпейские позы! — скомандовала мамарелла, уловив на нашем лице определенное выражение холодности и осуждения.

Но и помпейские позы не развеселили нас. Женщины становились в неприличные сладострастные позы с таким деловым, небрежным от частых повторений видом, как утомленный приказчик мануфактурного магазина к концу вечера показывает надоевшим покупательницам куски товара.

На сцену вдруг появился дожидавшийся где-то неподалеку Габриэль.

— О!.. А почему господа так скромно сидят? Почему они не приласкают этих красавиц? Смотрите, какие красоточки. Вот эта или эта... Или вот эта! Настоящая богиня. А эта! Красавица, а? Не нравится? Пошла вон. Тогда, может, эта? Украшение Неаполя, знаменитая красав... Не надо? Ну ты, лошадь, отойди, не мешайся тут. А вот эта... Что вы о ней скажете, синьоры?..

Он с деланным восторгом хлопал женщину по плечам, трепал по щекам, отгонял равнодушно «первых красавиц» и «богинь», а красавицы и богини с таким же холодным видом шептались около нас, ожидая нашего одобрения и благосклонности.

— Пойдем! — сказал Сандерс.

— Что вы, синьоры! Куда? Неужели вам не нравится?!

— Не нравится? Мы в восторге! Это прямо что-то

феерическое... Когда-нибудь после... гм... на днях... Мы уж, так сказать, к вам денька на три. А теперь — прощайте.

Мы, угрюмые, замкнутые, спускались по лестнице, а Габриэль вертелся около нас, юлил и заглядывал в наши лица, стараясь отгадать впечатление.

— Видишь вот эту улицу? — обратился к нему Сандерс.— И вот эту улицу?.. Ты иди по этой, а мы по этой... И если ты еще к нам пристанешь — мы дадим тебе по хорошей зуботычине.

Он захныкал, завертелся, заскакал, но мы были непреклонны. Отношения были прерваны навсегда.

Я уверен, что настоящим неаполитанцам никогда бы в голову не пришло пойти на тарантеллу и «помпейские позы». Все это создано для туристов и ими же поддерживается. Для них же весь Неаполь принял облик какого-то громадного дома разврата.

Пусть иностранец попробует пройтись в сумерки по Неаполю. Из-за каждого угла, из каждой подворотни, буквально на каждом шагу к нему подойдет гнусного вида незнакомец и тихо, но назойливо предложит «красивую синьору», «обольстительную синьору» или даже рогаццину (девочку).

Эти поставщики осаждали нас, как мухи варенье.

— Что такое?

— Синьоры... берусь показать вам одну прекрасную даму. Познакомлю даже... тут сейчас за углом. Пойдем...

— К ней? К даме? Явиться одетому по-дорожному — что вы! Это неудобно.

— Ничего! Я ручаюсь вам — можно.

— Ну, что вы... И потом неловко же являться в чужой дом, не будучи знакомыми.

— Пустяки! С ней нечего — хи-хи — церемониться.

— Ну, вам-то нечего — вы, конечно, хорошо знакомы... По праву старой дружбы можете и без смокинга. А нам неудобно.

— Но я вам ручаюсь...

— Милостивый государь! Мы знаем правила хорошего тона и не хотим делать бестактности. Мы уверены, что дама будет шокирована нашим бесцеремонным вторжением. Она примет нас за сумасшедших.

...Итальянский кафе-концерт — зрелище, полное интереса и разных неожиданностей.

Действие происходит больше в публике, чем на сцене.

Весь зал подпевает, притоптывает, вступает с певицей в разговоры, бешено аплодирует или бешено свищет.

Если певица не нравится — петь ей не дадут. Понравится — измучают повторениями.

У всех душа нараспашку. Подстерегают всякого удобного случая, чтобы выкинуть коленце, посмеяться или посмешить публику. Зал набит порохом, взрывающимся от малейшей искры.

Всякого вновь входящего зрителя сидящая публика приветствует единогласным доброжелательным:

— А-а-а!..

Приветствуемый, гордый всеобщим вниманием, пробирается на свое место и через минуту присоединяет уже свой голос к новому приветствию:

— А-а-а!

Выходит на сцену толстая немка... берет несколько хриплых нот.

Музыкальная публика этого не переносит:

— Баста. Баста!!

— Баста!!!

Немка, не смущаясь, тянет дальше.

И тогда гром невероятных по шуму и длительности аплодисментов обрушивается сверху, перекатывается и растет, как весенний гром.

Петь невозможно. Виден только раскрытый рот, растерянные глаза. Забракованная певица исчезает под гомерический свист.

Когда мы покупали билеты, перед нами вынырнул Габриэль.

— А-а, синьоры идут сюда! Сейчас, сейчас! Кассир! Выдайте этим хорошим господам билеты... Они желают иметь билеты. Это мои знакомые господа — дайте им лучшие билеты. Вот сдача. Вот билеты. Красивые красные билетики. Я вас тут подожду. Когда выйдете — поедем в одно местечко.

— Отстаньте,— сурово сказали мы.— Не смейте нас дожидаться — мы все равно не поедем с вами. Напрасно только потеряете время. И ни чентезима не получите и потеряете время.

— О, добрые господа! Зачем вы обижаете Габриэля? Он бедный человек и подождет вас.

Конечно, когда мы через три часа вышли — бедный человек ждал нас.

— Пройдемся, господа,— сказал Крысаков.— Прелестная ночь.

— Пожалуйте! — подкатил Габриэль.— Тут как раз четыре места. Я вас ждал.

— Убирайся к дьяволу! Мы тебе сказали, что ты не нужен? Отъезжай! Мы хотим идти пешком...

Мы зашагали по озаренному луной тротуару, а Габриэль шагом потянулся за нами.

Узкие улицы, еще сохранившие в каменных стенах и мостовой теплоту солнца, накалившего их днем — нежились и дремали под луной... И везде нам приходилось шагать через груды беспорядочно разметавшихся тел. Весь голодный, нищенский Неаполь спит на улицах... это красиво и жутко. Будто весь город, все дома вывернуты наизнанку.

Аршина два макарон днем и аршина два тротуарной плиты ночью — весь обиход оборванного гражданина прекрасной Италии. Господь Бог хорошо обеспечил этих бездельников...

Странные жуткие улицы.

Какой-нибудь англичанин верхом на осле медленно пробирается среди этой беспорядочной гекатомбы спящих и пожирающих макароны тел, медленно пробирается, напоминая смешную пародию на Штуковскую картину «Бог войны».

— Зайдем в ресторан, господа. Закусим.

Когда мы взбирались по лестнице ресторана, Габриэль крикнул:

— Я подожду вас, синьоры!

— Убирайся к черту!

— Синьоры только крикнут — и я уже тут как тут.

В итальянских ресторанах средней руки у нас своя линия поведения, выработанная общими усилиями хитроумного Сандерса и изобретательного Крысакова.

Дело в том, что рестораторы и слуги — невероятные бестии, жадные, трусливые, нахальные, только и помышляющие о том, как бы надуть бедного путешественника, подсунув ему вместо асти — помои, заменив заказанное кушанье отвратительным месивом и приписав к счету процентов пятьдесят.

Поэтому мы, являясь в ресторан, с места в карьер подчеркиваем — с кем им придется иметь дело.

— Почему на скатерти пятно? — яростно кричит Крысаков, свирепо вращая глазами.— Что? Где? Вот оно! Если вы вытираете сапоги скатертью, так можете сунуть ее в карман, а не подсовывать нам!! Это что?? Это что?!

Вода? А графин? Его когда мыли? Такие графины на стол ставят?! Позвать метрдотеля! Хозяина сюда! Как же вы нас накормите, если у вас так обращаются с гостями!! На ножах ржавчина! Ложки погнуты! Одна ножка стола короче других!! А? Позовите сюда полицию... Мы консулу пожалуемся!!! Все ваше гнусное заведение по косточкам разнесем!!!

Все обитатели ресторана мечутся около нас в паническом ужасе.

— Будет,— деловито говорит Мифасов.— Довольно. Теперь они подготовлены...

Мы сразу успокаивались.

И, действительно — после этого за нами ухаживали, как за принцами. Подавали лучшее вино, прекрасное кушанье, и счет предъявлялся потом такой честный и скромный, что всякий не отказался бы выдать за него собственную дочь.

— Хорошо ли поужинали, синьоры? Габриэль ждет вас — и лошадка его тоже ждет добрых великодушных синьоров... Какие-то господа сейчас нанимали нас, но мы с лошадкой отказались.

— Вы знаете, что? — дрожа от негодования, вскричал Мифасов.— Я думаю, что нам придется из-за этого проклятого человека уехать из Неаполя раньше времени. Вы подумайте, если он умрет с голоду, мы будем виновниками его смерти... Потому что он не пьет, не ест и ездит за нами с утра до ночи. Он ничего не зарабатывает, не получает ни от нас, ни от других пассажиров, которым он из-за нас отказывает! Что привязало его к нам? Какую несбыточную мечту лелеет он, привязавшись к нам, как пиявка к бескровному железу. Постойте! Я ему сейчас скажу все как следует!

— Не надо! Самое лучшее не обращать на него внимания... Представим себе, что его нет.

Мы пошли дальше, весело беседуя, а Габриэль плелся за нами на своей лошаденке, изредка окликая нас, льстя и заискивая.

С этого вечера мы стали прикидываться, что совершенно не замечаем его, не слышим его голоса и не видим тела. Он вертелся около нас, предлагал, клянчил, а мы продолжали начатую беседу и смотрели сквозь него, как сквозь оконное стекло, равнодушным, неостанавливающимся взглядом.

Утром возник спор, ехать ли в Помпею и на Везувий или только в одну Помпею.

— На что нам Везувий? — говорил Сандерс.— Обыкновенная гора с дырой посредине. Ни красоты, ни смысла. Тем более что она ведь и не дымится.

— Тогда, значит, и Траянову арку не нужно было смотреть: обыкновенная арка, с дырой посредине и тоже не дымится.

— Это не то. Не можем же мы рассматривать все интересные предметы только с двух сторон: дымятся они или не дымятся. А вулкан должен дымиться. Это его профессия. Если же он этого не делает — не стоит и смотреть на лодыря.

— Господа! Кто за Везувий,— сказал Крысаков,— пусть подымет руки.

Было так жарко, что никто и не пошевелился. Даже сам Крысаков — поклонник вулканов — помахал рукой, но поднять ее не имел силы.

Везувий провалился.

Гид, нанятый через контору гостиницы, повез нас в Помпею.

Конечно, почти всю дорогу за нами ехал Габриэль, взывая к нам, предлагая освободить нас от гида и суля различные диковинные уголки в Помпее, о которых гид и не слыхивал.

Пустые угрюмые развалины Помпеи производят тягостное, хватающее за душу впечатление. Стоят одинокие пустые, как глазницы черепа, примолкшие дома, облитые жестоким, палящим глаза солнцем... В каждом закоулке, в каждом крошечном мозаичном дворике притаились тысячелетия, перед которыми такими смешными, жалкими кажутся наши «завтра», «на той неделе» и «в позапрошлом году».

Останавливает внимание и углубляет мысль не главное, не вся улица или дом, а какой-нибудь трогательный по жизненности пустяк: камень, лежащий посреди узкой улицы на повороте и служивший помпейским гражданам для перехода в грязную погоду с одной стороны улицы на другую; какой-нибудь каменный прилавок с углублением посредине для вина — в том домишке, который когда-то был винной лавкой.

Это дает такое до жгучести яркое представление о прошлой повседневной жизни! Так хочется закрыть глаза, задуматься и представить толстого, обрюзгшего продавца вина, разгульных покупателей, толпящихся в лавчонке, стук сандалий промелькнувшей мимо женщины; стан ее лениво изгибается от тяжести кувшина с водой,

и черные глаза щурятся от солнца, разбивающего золотые лучи о белый мрамор стен...

Спит мертвая теперь, высохшая, изглоданная временем, как мумия, Помпея,— скелет, открытый через две тысячи лет.

Только проворные изумрудные ящерицы быстро и бесшумно скользят среди расщелин стены, покрытой тысячелетней пылью, да болтливый, жадный, вертлявый гид оглашает немолчной трескотней мертвые, как раскрытый гроб, улицы.

Вот посреди улицы фонтан... Бронзовый фавн с раскрытым ртом, из которого когда-то лилась вода. Гид обращает наше внимание: нижняя губа и часть щеки фавна совершенно стерты; на мраморе водоема видна большая глубокая впадина — будто оттиск руки в мягком тесте. Это — следы миллионов прикосновений уст жаждущих помпеян — на лице бронзового фавна, и миллионы прикосновений рук, опиравшихся на мраморный край водоема, в то время когда губы сливались с бронзовыми губами фавна...

В Риме, в соборе св. Петра, большой палец бронзовой статуи Петра наполовину стерт поцелуями верующих; в какой-то другой церкви мраморная статуя популярного святого имеет странный вид — одна нога обута в бронзовый башмак. Зачем? Мрамор очень непрочный материал для поцелуев. Надолго его не хватит.

Этот стертый рот фавна и большой палец св. Петра дают такое ясное представление о времени, мере и числе, что сжимаешься, делаешься маленьким-маленьким и чувствуешь себя песчинкой, подхваченной могучим самумом, рядом с миллионами других песчинок, увлекаемых в общую мировую могилу...

— Что он вам показывает какого-то дурацкого фавна. Пойдем со мной, добрые, великодушные синьоры!.. Я вам покажу такие пикантные фрески, что вы ахнете. Только мужчинам их показывают, дорогие, прекрасные синьоры!

Из-за расщелины стены показывается орошенная обильным потом плутоватая физиономия Габриэля.

— Что он вам показывает? Все какую-то чепуху... А я вам, синьоры, мог бы показать неприличную статую фавна.

Наш гид настроен серьезно, академично, мошенник же Габриэль, наоборот, весь погряз в эротике, и вне гривуазности и сала — никакого смысла жизни не видит.

Гид отгоняет его, но он увязывается за нами и, следуя сзади, с сардонической улыбкой выслушивает объяснения гида.

— Вот тут, в этом доме, при раскопках нашли мать и ребенка, которые теперь находятся в здешнем музее. Мать, засыпаемая лавой, не нашла в себе силы выбраться из дома — так и застыла, прижав к груди ребенка...

— А неприличную собаку видели, синьоры? — вмешивается Габриэль.— Вот-то штучка... Хи-хи...

Никто ему не отвечает.

В каком-то доме мы, наконец, к превеликому восторгу Габриэля, натыкаемся на висящий на стене деревянный футляр, в виде шкапчика...

Его открывают... Если в античные времена эта фреска красовалась без всякого прикрытия — античная публика имела о стыдливости и пристойности особое представление.

Габриэль корчится от циничного смеха; наш гид снисходительно подмигивает, обращая наше внимание на некоторые детали.

Человек, который показывает эту непристойность, просит на чай; тот человек, который впустил нас в дом — тоже просит на чай; и тот человек, который пропустил нас в какие-то ворота — взял на чай.

В помпейском музее брали с нас за вход в каждую дверь; неизвестный человек указал пальцем на иссохшее тело помпейца, лежащее под стеклом, сказал:

— Это тело помпейца.

И протянул руку за подаянием.

Я указал ему на Крысакова и сказал:

— Это тело Крысакова.

После чего, в свою очередь, протянул ему руку за подаянием.

Он ничего мне не заплатил, хотя мои сведения были ценнее его сведений: я знал, что его помпеец — помпеец, а он не знал, что мой Крысаков — Крысаков.

Возвращаясь обратно на станцию, мы наткнулись на громадные штабели лавы, сложенной здесь после раскопок; на несколько верст тянулись эти штабели.

Вышел из хижины человек, взял несколько кусков лавы в орех величиной и роздал нам на память. Потом попросил уплатить ему за это.

— Сколько? — серьезно спросил Мифасов.

— О, это сколько будет вам угодно!..

— Нет — так нельзя. Всякая вещь должна быть оп-

лачена ее стоимостью. Во сколько вы цените врученные нам кусочки?

— Если синьоры дадут мне лиру — я буду доволен.

— Сандерс! Уплатите ему лиру.

Мифасов оглядел необозримое пространство, покрытое лавой, и завистливо сказал:

— Какая богатая страна — Италия!

— Почему?

— Четыре кусочка лавы, общим весом в четверть фунта — стоят одну лиру. Сколько же должно стоить все, что тут лежит? Интересно высчитать.

Возвращались усталые.

— Видели в музее сохранившиеся зерна пшеницы, кусочки почерневшего хлеба и даже остатки какого-то кушанья... Это изумительно!

— Понимаю,— подмигнул Крысаков,— просто вы проголодались и потому сворачиваете все на съестное. Вон, кстати, и ресторанчик.

Первый стакан кьянти приободрил нас.

— Милое винцо! Смотрите, господа, что это Сандерс такой задумчивый? Сандерс! Что с вами?

Он рассеянно поднял опущенные глаза и сказал:

— Приблизительно, около двенадцати с половиной миллиардов пудов, на общую сумму девятьсот миллиардов рублей.

— Чего?!!

— Лавы. Тут.

2

Розовая черепаха.— Максим Горький.— Итальянская толпа.— Старик.— Тяжелое путешествие.— Последнее мошенничество.— Опять Габриэль

На Капри пароход отходил утром.

Так как весь Неаполь пропитан звуками музыки и пения, то и на пароходе оказался целый оркестр.

Хорошо живется бездельничающему туристу. Сидит он, развалясь под тентом, а ему играют неаполитанские канцонетты, пляшут перед ним, охлаждают пересохшее от жары горло какой-то лимонной дрянью со льдом — и за все это лиры, лиры, лиры...

Тут же у ног пресмыкается продавец черепаховых изделий и кораллов.

Крысаков, осажденный продавцом, пробует притво-

риться глухим, но когда это не помогает, прибегает к странному способу: он берет нитку кораллов, осматривает их и пренебрежительно говорит:

— Ну, милый мой, какая же это черепаха!.. Ничего общего.

— Да это, синьор, не черепаха. Это кораллы.

— Что? Не слышу. Ты можешь мне клясться хоть отцом родным — я не поверю, что это черепаха. Разве розовые черепахи бывают?

— Но это не черепаха! Я и не говорю, что это черепаха. Это кораллы.

— Что? Не слышу. А это что? Коралл? Почему же он в форме гребенки?.. Ты, братец, изолгался; ну разве бывает коралл прозрачный, коричневого цвета. Это что-то среднее между янтарем и агатом. Что? Не слышу!

Продавец орет Крысакову в самое ухо:

— Это и есть, господин, черепаха! Настоящий черепаховый гребень.

— Врешь, врешь! Он на коралл ни капельки не похож. Как не стыдно?! Господа, разве это коралл?

— Конечно, не коралл,— в один голос поддерживаем мы.

— Ну, вот видишь. Ты уж думаешь, если мы иностранцы, русские,— так и ничего не понимаем. У нас, братец, за такие штуки в полицию тянут. Ступайте, чужеземец.

Скрипки заливаются, солнце печет, винт оставляет сзади на чудесном лазурном зеркале воды — длинную вспаханную борозду.

У «голубой пещеры» пароход останавливается. Туча лодок подлетает к пароходу, лодочники разбирают пассажиров, и мы, улегшись на дно лодки, вползаем в пещеру.

За то, что пещера, действительно, голубая — с нас берет по лире главный лодочник, берут простые лодочники и потом еще взыскивают в пользу какого-то акционерного общества, которое эксплуатирует голубую пещеру.

Туристы нисколько не напоминают баранов, потому что баранов стригут два раза в год, а туристов — каждый день.

Я не сказал о цели нашей поездки на Капри — мы ехали к Максиму Горькому.

Я бы мог многое рассказать об этом чудесном, интереснейшем человеке нашего времени, об этой кристальной душе, узнав которую, нельзя не полюбить крепко и

надолго; я бы мог рассказать о его жизни, так непохожей теперь на печение булок в пекарне, о его мастерском увлекательном разговоре, о детском смехе и незлобии, с которым он рассказывает о попытках компатриотов в гороховых пальто залучить его на родину; бедные гороховые пальто потратились на дорогу, приехали, организовали слежку, но все это было так глупо устроено, что веселые итальянцы за животы хватались от смеху. Так ни с чем и уехали компатриоты; разве что только русский престиж среди итальянцев подняли.

Я бы мог рассказать о той исключительной приветливости и радушии, с которыми мы были встречены писателем...

Но, щадя его скромность, пропущу все это.

А вот нижеизложенное имеет некоторое отношение к этой книге...

Мы говорили о Неаполе.

— О, видите ли,— сказал Горький,— есть два Неаполя. Один Неаполь туристов: жадный, плутоватый, испорченный и распутный; другой — просто Неаполь. Этот чудесен. И неаполитанцы тоже бывают разные... К сожалению, иностранца встречают только отбросы, специально живущие на счет туристов, обирающие их. Будьте уверены, что настоящий неаполитанец с глубоким отвращением относится ко всем этим «тарантеллам», ко всему тому, что специально создано для нездорового спроса форестьера. Нужно пожить между итальянцами, чтобы узнать их. Они добры, великодушны, горячи и неизменно веселы. Я вам расскажу сейчас один случай, очень характеризующий славных неаполитанцев...

Пришло в Неаполь однажды какое-то русское судно. Матрос, отпросившись на берег, стал бродить по городу, дивясь на незнакомую обстановку, пока не наткнулся на кинематограф. Бедняге вятичу или костромичу, взятому от сохи, никогда не приходилось видеть раньше кинематографа, и он решил посмотреть. Купил билет, сел. Просмотрел всю программу — пришел в такой восторг, что остался снова ее смотреть... Билета с него второй раз не спросили, но покосились... Просмотрел второй раз программу... Восхищение его было так велико, что он остался и на третий раз. Тут уж хозяин не выдержал — потребовал, чтобы матросик взял второй билет. Матросик заспорил и, по незнанию ли итальянского языка или по чему другому — но дал хозяину зуботычину. Поднялся крик — матросика схватили и потащили в полицию.

Итальянская толпа любопытна до истерики. Увидели, что ведут чужеземца в полицию, заинтересовались:

— За что? Что сделал?

Хозяин кинематографа рассказал: «смотрел, дескать, человек программу два раза, да еще хотел и в третий раз смотреть. А деньги за билет уплатить отказался, да, кроме того, когда его стали выводить — вступил в драку».

Посмотрели неаполитанцы на матросика.

— Знаете что,— обращаются к полицейским и хозяину.— Отпустите вы его.

— Как-так, отпустите?

— Ну, чего там... Бедный человек, видит кинематограф впервые, обрадовался, что дорвался — за что его в полицию?

— В самом деле, отпустите его.

Толпа загудела — сначала просительно, потом — не просительно.

— Отпустите этого человека! Отпустите его! — гудела вся улица.

Итальянская толпа шутить не любит. Просят, значит, надо сделать.

— Ну, Бог с тобой,— согласился кинематографщик.— Ступай! Отпустите его, я ничего против него не имею.

Торжествующая толпа бросилась качать кинематографщика, полицейских; потом устроила овацию матросику, подхватила его на руки и с веселым пеньем и плясками повела в ближайший кинематограф.

Ввалились, просмотрели программу, подхватили опять матросика на руки и с той же восторженностью повлекли в другой кинематограф, оттуда в третий, четвертый, и так до самого вечера, пока несчастный матросик не взмолился:

— Братцы, отпустите меня! Тошнит меня от него...

Вот и вся история. Но сколько в ней неожиданности, добродушия и милой шутки. Ко всякому поводу придерется неаполитанец, чтобы погорланить, повеселиться и поплясать.

До сих пор не могу сказать точно,— какое впечатление произвели мы на Максима Горького.

Говорю это потому, что знаю — порознь каждый из нас сносный человек, но все мы in corpore — представляем собою потрясающее зрелище. Человек с самыми крепкими нервами выносит пребывание в нашей компании не больше двух-трех часов. Шутки и веселье хороши, как

приправа, но если устроить человеку обед из трех блюд: на первое соль, на второе горчица и на третье уксус — он на половине обеда взвоет и сбежит.

Однажды ехали мы из Петрограда в Москву — Крысаков, Мифасов и я. В четырехместное купе к нам сел какой-то сумрачный старик. Он начал сурово прислушиваться к нашему разговору... Постепенно морщины на его лице стали разглаживаться, через пять минут он стал усмехаться, а через полчаса хохотал как сумасшедший, радуясь, что попал в такую хорошую компанию. В начале второго часа смех его заменился легкой, немного усталой усмешкой, в середине второго часа усмешка сбежала с лица, и весь он осунулся, со страхом поглядывая на нашу компанию, а к исходу второго часа — схватил свои вещи и в ужасе убежал отыскивать другое купе.

Мы же были свежи и бодры, как втянувшиеся в алкоголь пьяницы, которых и бутылка рому не свалит с ног.

. . . .

На другой день мы решили сами (безо всякой просьбы со стороны Горького) покинуть Капри и вернуться на родину — в Неаполь.

Пароход отходил в 4 часа дня, но был другой способ добраться до Неаполя — на лодке.

Мы с Крысаковым сначала колебались в выборе, но когда Мифасов и Сандерс подали голоса за пароход — мы решили ехать на лодке.

Минусы были таковы: 30 верст по палящей жаре. Если не будет ветра — на веслах 6—7 часов езды (на пароходе $1^1/_2$ часа), если же будет ветер, то будет и качка. Цена — на пароходе 8 лир, на лодке 30.

Облив Сандерса и Мифасова потоком холодных, ядовитых, презрительных слов и замечаний, мы вдвоем сели в 10 часов утра и поехали.

Ветер оказался таков: не настолько сильный, чтобы надуть паруса, и не настолько слабый, чтобы не было качки.

Поэтому мы стояли на месте, и нас качало. Я немедленно подружился с лодочниками. Откупорил бутылку кьянти, угостил этих добрых людей, эти добрые люди угостили меня какой-то колбасой с хлебом, и потом я с этими добрыми людьми принялся горланить неаполитанские песни.

Что в это время делалось с Крысаковым — говорить не буду; он частенько наклонялся за борт, и не знаю,

что заставляло его вести себя так — проклятая качка, которой он не переносил, или наше энергичное, но нестройное пение.

А сверху палило прежестокое, обваривавшее нас, как раков, солнце, а внизу колыхалась изумрудная вода, и вялый парус ласково трепал Крысакова по лицу.

Бедняга частенько наклонялся за борт, и мы из деликатности отворачивались, рассматривая какую-нибудь чайку и заглушая его стоны визгливым пением «Bella Napoli» и «Sole mio».

Приехали мы на полчаса (они выехали в 4 часа!) позднее Сандерса и Мифасова. То есть, приехал я почти один, потому что от большого могучего Крысакова осталась одна оболочка, которую я, как плед, перекинул через руку, выходя из лодки.

Нужно было три дня, чтобы набить эту опустевшую оболочку пищей и чтобы эта оболочка приняла некоторое подобие контуров прежнего Крысакова.

Очнувшись, он протянул мне слабую руку, и первые слова его были таковы:

— Теперь вы можете представить, как я вас люблю, если согласился, ради вас, на такую штуку!

— Спасибо,— добродушно сказал я.— Обещаю вам, что первую попавшуюся картинную галерею исхожу с вами вдоль и поперек...

Прощай, прекрасный Неаполь!.. Мы уезжаем.

Заключительный неаполитанский аккорд был таков: собираясь ехать на пристань, мы с Сандерсом наняли извозчика; сели, тронулись.

Меланхоличный Сандерс, бродя рассеянным взором по окружающему, увидел на стекле таксометра нашего извозчика какую-то маленькую прилипшую бумажечку, в полтинник величиной; от скуки он стал пальцем соскабливать ее. Бумажечка сейчас же отклеилась и — о чудо! Под ней на таксометре красовалась цифра — 2 лиры!

Мы только что тронулись, и поэтому с нас могло следовать не более двадцати чентезимов...

— Стой! — заорали мы.— Это что такое? Откуда у тебя две лиры?

Извозчик сразу прикинулся не понимающим по-французски (в Италии почти все говорят довольно внятно по-французски) и стал что-то объяснять нам, спорить, кричать.

Бедняга не знал нашей системы. Мы сразу подняли такой вой и крик, что сбежалось пол-Неаполя.

— В полицию! — ревел я.— К консулу! Телеграмму посланнику!! Разбойники!..

— Стреляйте в него,— кричал Сандерс.— Где ваш ножик? Нас грабят!! Перережьте ему горло!

Извозчик обрел неожиданный дар французской речи. Подобострастно вскочил, низко кланяясь, перевел механизм таксометра, и мы, сразу заговорив обыкновенными спокойными голосами, двинулись, под восторженные клики собравшейся толпы.

Больше всех был в восторге наш возница. Он смотрел на нас с восхищением, оборачивался, хлопал меня по коленке и говорил:

— Добрый синьор руссо — умный, понимающий человек. Он прекрасный чудесный путешественник, и пусть он не сердится на Беппо. Ну, вышла маленькая ошибочка — чего там... Хе-хе.

Мы приехали на пристань.

Правду говорит пословица: «кто на море не бывал, тот горя не видал»,— пароход задержался с погрузкой, и нам пришлось ожидать четыре часа.

Всякий развлекался как хотел: Крысаков ел, Сандерс спал, а мы с Мифасовым бросали в воду серебрянные монеты. Несколько юрких мальчишек бросались за ними с пристани, ныряли и доставали со дна. Были изумительные искусники.

Какой-то немец тоже бросал монеты, но, как человек экономный, не желающий даром тратить денег, он — или забрасывал монету за двадцать метров от намеченного ныряльщиками места или старался попасть ныряльщикам в голову...

Прогудел уже второй гудок, и в это время на пристани показался Габриэль. Он долго отыскивал нас глазами, а найдя — закричал, заплясал и стал посылать нам воздушные поцелуи.

— А что, господа,— сказал Мифасов.— Может быть, он всюду увязывался за нами не из-за выгоды, не из-за денег, а просто потому, что искренно полюбил нас. А мы не понимали его, гнали, унижали и не замечали.

Это было совершенно новое освещение поступков Габриэля. Мы наскоро сложились, завернули в бумагу несколько лир и бросили это сооружение Габриэлю.

И за этим последовал не дождь, а целый ливень воздушных поцелуев... с обеих сторон.

— Прощай, Габриэль! Кланяйся иссохшему Помпейскому человеку! Поцелуй от нас мартаделлу.

Бедный, милый Габриэль!.. Прощай. Ты ведь никогда, никогда, вероятно, не узнаешь, что я, где-то в далекой России, вспоминаю о тебе в книге, написанной непонятным тебе, кроме слова «купаться», языком и напечатанной непонятными буквами.

НА ПАРОХОДЕ ИЗ НЕАПОЛЯ В ГЕНУЮ

— А братья есть у вас?

— О, да. Семь миллионов, три миллиона и четырнадцать с половиной.

— Простите... что вы такое говорите?

— В этих суммах выражается состояние каждого из них! Трое.

— А матушка ваша... жива?

— Нет. Скончалась. Позвольте... дайте вспомнить... Да! Двадцать восемь тысяч долларов было истрачено на ее похороны.

— Вероятно, ваша семья сильно горевала?

— Еще бы! Приостановка дела на четыре дня дала по конторе убытку около четырехсот тысяч... А когда умерла бабка Стивенсон, их горе не стоило и сотняги тысяч. Вот вы и смекните.

— Да? Какое бессердечие... Смотрите, что за чудесное облако направо от нашего парохода!..

— Будущий атмосферный осадок. Если бы его перегнать на сушу, да спустить на пшеницу — ого!

— А что?

— А то, что за него всякий неглупый сельский хозяин пару сотен отвалит.

Это было мое первое знакомство и первый разговор с мистером Джошуа Перкинсом. Он казался самым обыкновенным американцем: одетый в брюки отвратительного американского фасона и ботинки, похожие больше на лошадиные копыта, он шатался по всему пароходу без пиджака и жилета, с засученными рукавами, распевал пронзительным, фальшивым голосом ужасные американские песенки и презирал всех так откровенно и беззаботно, что все полюбили его.

Только ко мне он благоволил, потому что при первой встрече я выказал себя еще большим американцем, чем он: выйдя после обеда на палубу и заметив, что мистер Перкинс развалился на занятом мною longue chaise'е, я подошел и, лениво зевнув, опустился к нему на колени.

Он забился подо мной, завыл и, сбросив меня, в бешенстве вскочил на ноги.

— Простите,— заметил я,— но я сел на свое место. Вот карточка с моим именем на спинке.

Он захохотал и, пересев на соседний стул, вступил со мной в вышеприведенный разговор.

После замечания относительно облака он посвистал немного и спросил:

— Женаты?

— Был.

— Жена?

— Умерла.

— От чего?

— О, это тяжелая история... Она сгорела на моих глазах от лопнувшей бутылки с бензином.

— А!

В глазах его засветился живой интерес к моим словам.

— Тяжелая история?

— Да. Очень.

— Хотите дело?

— ?..

— Я, вероятно, не говорил вам, что у меня в Нью-Йорке есть две газеты... Опишите вашу историю погуще — у вас есть литературное имя — я смогу заплатить вам по пол-доллара за строчку.

— Нет. Не хочу.

— Почему? Мне просто хочется утереть такой штукой нос этому зазнавшемуся каналье Чарли Пегготу. Он изо дня в день пичкает своих читателей историями о вырытых трупах и взбесившихся животных — этот мошенник Пеггот...

— Я не могу принять вашего предложения,— сухо отвечал я.

Он похлопал меня по плечу.

— Молодец! Я, признаться, хотел испытать вас — настоящий вы мужчина или нет. Вы сразу раскусили меня. Действительно, пол-доллара за строчку — это сор. All right! Я заплачу вам доллар.

— Не находите ли вы,— угрюмо возразил я,— что покойница, дорогая сердцу мужа,— плохое средство для утирания носов зазнавшимся Чарли Пегготам.

Джошуа Перкинс смутился и крепко пожал мою руку.

— Простите, если я не так выразился. Конечно, ути-

рание носа Пегготу вашей... дорогой покойницей... это скорее метафорический оборот...

— Ничего. Прекратим этот разговор. Вы давно путешествуете по Европе?

— Третий месяц.

— Что же вас тут больше всего интересует?

— Искусство.

— Значит — музеи, картинные галереи, да?

— Да. Есть изумительные вещи. Говорят, тут за одного Рубенса отвалили около двух миллионов?

— Да.

— Вот это приемная вещь!

— Что это такое — приемная?

— Вещь, которую не стыдно повесить в приемной. А, откровенно говоря, все эти Луки Кранахи да Паоло Веронезе — ведь это так... для кабинета или в другую какую комнату... а?

Он нерешительно заглянул в мое непроницаемое лицо.

— А? как вы думаете?

— Да... Это правда. Кранахом Пегготу носа не утрешь!

— Вы думаете? Это, пожалуй, верно. Можете представить, у него в буфетной комнате, в дверцах буфета, вделаны четыре настоящих Фрагонара!

— Шикарно! Надеюсь, вы утерли нос этому зазнавшемуся выскочке?

Джошуа подмигнул мне:

— Собираюсь. Да так, что он и не ожидает! Хе-хе!

Мы оба долго смеялись.

— Небось,— предположил я,— обмеблируете свою квартиру египетскими мумиями? Они стоят бешеных денег. А живот ей выдолбить, да устроить там погребец для ликеров... То-то позеленеет ваш Пеггот.

— Нет, это почище мумий. Вы знаете, я подыскиваю себе старинный замок!

— Для чего?

— Жить в нем. Буду приезжать месяца на три в год, да и жить в нем. Не правда ли, комфортабельно?

— Нашли что-нибудь подходящее?

— Нет. Есть или простые развалины, или хорошие замки, но не продают. Я приторговывал замок Барбароссы в Нюрнберге... Нет, говорят, нельзя.— Почему? — неизвестно!

— Как же вы думаете устроиться?

— Я уже говорил с архитектором. Он обещал выстроить новый, но как бы старый. Как вы думаете?

Я подумал немного и сказал решительно:

— Нет, это не то.

— Ну, что вы говорите!..

— В старых замках обыкновенно есть прекрасные галереи портретов, где так сладостно-жутко и страшно по ночам, когда желтая луна тускло светит в разбитые, затканные паутиной окна...

— О, за этим дело не станет. Любой антикварий развесит за гроши целую галерею!.. Стекла, если их разбить...

— Пожалуй. Но где летучие мыши, гнездящиеся под потолком полуразрушенной башни, где треск ветхой мебели, шорохи под полом и завывание ветра в трубе громадного, веками закопченного камина?

— Да, это так. Гм...

Джошуа поднял ноги, положил их на перила палубы и, осмотрев свои похожие на лошадиные копыта башмаки, спросил:

— А вы не знаете, как их разводят?

— Кого?

— Летучих мышей.

— Кто же их разводит... Сами разводятся. Черт их знает как. Пустите одну пару для завода, а там видно будет. Остальное, конечно, пустяки. Камин можно закоптить порохом, под полом поставить несколько аппаратов, которые трещали бы при ходьбе, ветер в трубе прекрасно имитируется парой органных труб, вековая пыль в нежилых комнатах оседает в три дня, если десяток дюжин рабочих будет посменно шаркать пыльными сапогами... Все это не так трудно. И устроите вы такое помещеньице, что утрете нос самому Барбароссе... Одного только у вас не будет.

— Ого!

— Да-с. Не будет у вас старого зловещего привидения, которое бродило бы по ночам, пугая обитателей замка.

— Да ведь привидений-то вообще нет.

— Ну, это смотря где. Конечно, в вашем нью-йоркском небоскребе ему не ужиться, а в старых замках их целые гнезда.

— Может быть и у меня заведется...

— Не-ет, дорогой мой... На имитацию его не подловишь. Оно, как тесто на муке, замешивается на леген-

де, на каком-нибудь старинном злодеянии. А старинного злодеяния вам за миллион не устроить.

Джошуа был огорошен искренно и серьезно.

— Наловить их в развалинах да напустить ко мне...

— Убегут. Главное дело — легенды нет. Злодеяния нет.

— Есть дело! — сказал Джошуа, хлопнув меня по колену.— Вы писатель? Так придумайте мне легенду. Легенду старинного замка Джошуа Перкинса.

— Да что ж тут можно придумать? Есть определенные американские легенды: железнодорожные короли Дженкинс и Бридж, имея две параллельные железнодорожные линии, конкурировали в ценах на перевозку скота из места, где его было много, в места, где его было мало. Дженкинс спустил цены за перевозку до минимума, а Бридж, по американскому обычаю, захотел «утереть нос» Дженкинсу и назначил цены себе в громадный убыток. Что же делает умный Дженкинс? Он начинает сам покупать скот и отправлять его за гроши по дороге своего конкурента, кладя в карман огромные прибыли, чем и разоряет его. Вот вам и легенда. А что из нее сделаешь? Если даже Бридж повесился, то и тогда, что он скажет Дженкинсу, явившись к нему темной страшной ночью — в качестве привидения? «Дженкинс, Дженкинс»,— скажет он только,— «зачем ты отправлял скот по моей дороге?» — «Да ведь и ты, голубчик»,— основательно возразит ему Дженкинс,— «спустил цены так, что хоть ложись да помирай. Не надо было зарываться». Нет. Такой легенды никакой замок не выдержит.

Джошуа сосредоточился, что-то припоминая.

— А вот у меня дед скончался при крайне таинственных обстоятельствах.

— Именно?

— Его повесили в Канзасе за кражу лошадей...

Я скептически пожал плечами:

— Уж и легенда! Да махните рукой на привидение. Живите так.

— Это не то. Не комфортабельно. Впрочем, я поговорю с архитектором.

— Вам бы жениться лучше,— посоветовал я.

— О, это очень трудная вещь — брак. У меня есть две девушки на примете — не знаю, на какой из них остановиться.

— А какая между ними разница?

— Хлебный элеватор.

— Удивляюсь я вам, американцам... Все вы сводите на деньги да на элеваторы. Могли бы хоть тут последовать влечению сердца. Каковы они собою?

— Одна миниатюрная, небольшого роста, килограммов около пятидесяти весу, другая высокая, хорошо развитая девушка.

— Килограммов в семьдесят?

— Да, около этого. Вот вы тут и посоветуйте!..

— И советовать нечего. Женитесь на той, которая весит больше.

Он с сомнением посмотрел на меня — не смеюсь ли я.

— Однако... Это, мне кажется, несколько меркантильный взгляд...

— Ничуть! — горячо возразил я.— Вы подумайте. Что такое жена? Это нечто такое, что дороже всего человеку. И если этого дорогого, прекрасного будет на двадцать процентов больше, то не ясно ли, даже не умеющему считать, что от этого счастье обладания любимым существом подымется на такое же количество процентов.

Он снисходительно пожал плечами:

— Эти европейцы неисправимые идеалисты. Впрочем... Пароход наш уже подходит к Генуе... Мы сейчас расстанемся. Я совершенно незаметно провел с вами два часа сорок семь минут. Очень рад. Не откажитесь принять от меня на память эту любопытную вещицу!

Джошуа вынул из бумажника зубочистку и благоговейно протянул ее мне.

— Это что такое?

— Это замечательные зубочистки. Их всего у меня три, и каждая обошлась мне в 300 долларов.

— Из чего же они сделаны? —изумился я.

Он самодовольно улыбнулся.

— Из пера на шляпе Наполеона Первого, на той самой шляпе, в которой он был на Аркольском мосту. Мне было очень трудно достать эту вещь!

Джошуа Перкинс пожал мне руку, надел пиджак, засвистал фальшиво и зашагал за носильщиком.

Я подошел к борту парохода, бросил наполеоновскую зубочистку в воду и стал смотреть на закат...

ГЕНУЯ

Генуя знаменита своим Campo Santo; Campo Santo знаменито мраморными памятниками; памятники знамениты своей скульптурой, а так как скульптура эта — невероятная пошлятина, то о Генуе и говорить не стоит.

Впрочем, есть люди, которые с умилением взирают на такие, например, скульптурные мотивы:

1) Мраморный детина, в мешковатом сюртуке, брюках старого покроя и громадных ботинках, стоит у чайницы, долженствующей, по мысли скульптора, изображать могилу отца детины; детина, положив под мышку котелок, плачет. Ангел, сидя на чайнице, тычет в нос безутешному молодцу какую-то ветку.

2) Огромный барельеф: внизу на крышке гроба стоит ангел и передает, вытянув руки, парящему наверху ангелу — покойника, с безмолвной просьбой распорядиться им по своему усмотрению.

3) Безносая смерть тащит упирающуюся девицу в склеп.

4) А вот девица, судьба которой лучше — ее просто два ангела ведут под руки к вечному блаженству.

5) Целая композиция: мраморный хозяин умирает на мраморной кровати, окруженный домочадцами; налево господин в мраморном галстуке не то утешает, не то щекочет пальцем даму, возведшую глаза горé.

Всюду невероятное смешение старомодных сюртуков и панталон с ангельскими крыльями, ангельскими хитонами, ангельскими факелами в руках.

Ангельское терпение нужно, чтобы пересмотреть всю эту бессмыслицу.

Во время нашего путешествия по этому бесконечному морю испорченного мрамора произошел странный инцидент.

Именно: Крысаков, который задержался около стучащейся в райские двери девицы, вдруг догнал нас бледный и в ужасе зашептал:

— Со мной что-то случилось...

— Что такое?

— Сколько кьянти выпили мы за завтраком? — спросил Крысаков, дрожа от страха.

— Сколько каждому хотелось — ни на каплю больше. А что случилось?

— Дело в том — я не знаю, что со мной сделалось, но я сразу стал понимать по-итальянски.

— Как так? Почему?

— Видите ли, около той «девушки у врат» стоит публика. Вдруг кто-то из них заговорил — и я сразу чувствую, что понимаю все, что он говорит!

— Какой вздор! Этого не может быть.

— Уверяю вас! Другой ему ответил — и что же! Я чувствую, что понял и ответ.

— Тут что-то неладно... Пойдем к ним!

Мы подошли.

— Слышите, слышите? Я прекрасно сейчас понимаю, о чем они говорят... О том, что такой сюжет они уже встречали в Риме... Хотите, я вам буду переводить?

— Не стоит. Это излишне.

— По... почему?

— Потому что они говорят по-русски.

Мифасов оглядел фигуру смущенного Крысакова и уронил великолепное:

— Удивительно, как вы еще понимаете по-русски.

СТРАШНЫЙ ПУТЬ

Путь из Генуи в Ниццу был ужасен. Отвратительные, грязные вагоны, копоть, духота.

Все мы грязные, немытые — и умыться негде.

Едим ветчину, разрывая ее пальцами, и пьем кьянти из апельсинных шкурок и свернутых в трубочку визитных карточек.

Солнце склонялось к закату. Все мы сидели злые, мрачные и все время поглядывали подстерегающими взорами друг на друга, только и ожидая удобного случая к чему-нибудь придраться.

В вагоне сразу стемнело.

— Удивительно, как на юге быстро наступает ночь,— заметил Мифасов.— Не успеешь оглянуться, как уже и стемнело.

— Удивительно, как вы все знаете,— саркастически заметил Сандерс.

— В вас меня удивляет обратное,— возразил Мифасов.

Вдруг в вагоне стало проясняться, и опять дневной свет ворвался в окно.

— Удивительно,— захихикал Сандерс,— как на юге быстро светлеет.

Поезд опять нырнул в туннель.

— Удивительно,— сказал Крысаков,— как на юге быстро темнеет...

— Черт возьми,— проворчал Сандерс,— как быстро время летит. Сегодня только выехали, и уже прошло три денечка.

— Опять темнеет! Четвертая ночка!

— А вот уже и рассвет... Четвертый денечек. С добрым утром, господа.

Угрюмо озираясь, сидел затравленный Мифасов.

Чем дальше, тем туннели попадались чаще, и до границы мы проехали их не меньше сотни.

Когда, по выражению Крысакова, «наступила ночка», я вдруг почувствовал, что какое-то тяжелое тело навалилось на меня и стало колотить меня по спине. Я с силой ущипнул неизвестное тело за руку, оно взвизгнуло и отпрыгнуло.

Поезд вылетел из туннеля — все смирно сидели на своих местах, апатично поглядывая друг на друга.

— Хорошо же,— подумал я.

Едва только поезд нырнул в следующий туннель, как я вскочил и стал бешено колотить кулаками, куда попало.

— Ой, кто это? Черрт!

Опять светло... Все сидят на своих местах, подозрительно поглядывая друг на друга.

— Кто это дерется? Что за свинство,— спросил сонный Сандерс.

— Действительно,— подхватил я,— безобразие! Вести себя не умеют.

Тьма хлынула в окна. И опять поднялась в вагоне неимоверная возня, рев, крики и протесты.

— Стойте! — раздался могучий голос Крысакова.— Я поймал того, который нас бьет. Держу его за руку... Нет, голубчик, не вырвешься!

Засиял свет и — мы увидели бьющегося в Крысаковских руках Сандерса.

Все набросились на него с упреками, но я заметил, как змеилась хитрая улыбочка на губах Мифасова.

От Монте-Карло к нам в купе подсели две француженки.

Одна из них обвела нас веселым взглядом и вдруг нахлобучила Крысакову на нос его шляпу.

— Ура! — гаркнул Крысаков из-под шляпы.— Отселе, значит, начинается Франция!

НИЦЦА

Ницца — небольшой городок, утыканный пальмами.

Мы попали в него в такое время, когда все приезжее народонаселение состояло из шести человек: нас четырех

и тех двух француженок, которых мы встретили в вагоне.

У бедняжек, очевидно, в сезоне были такие плохие дела, что уехать было не на что, и поэтому они влачили вдвоем жалкое существование, надеясь на случай.

Но случай не подвертывался, потому что кроме нас никого не было, а наши принципы удерживали нас от легкомысленных поступков и преступного общения с женщинами.

Нам не нужно было тратить много времени, чтобы заметить, что вся Ницца живет только нами и для нас; все гостиницы были закрыты, кроме одной, в которой жили мы; все извозчики бездельничали, кроме двух, которые возили нас, магазины отпирались для нас, музыка по праздникам на площади гремела для нас, и только легкомысленные бабочки, кружившиеся около нас, были вне этого распорядка — спрос на женскую привязанность стоял до смешного низко.

Когда мы уезжали, было такое впечатление, что душа Ниццы отлетает и тело сейчас замрет в последней агонии.

В Париж! В Париж!

ПАРИЖ

Тоска по родине.— Мы четверо.— Призрак голода.— Муки.— 14 июля.— Лирическое отступление.— Деньги отыскиваются.— Последние усилия.— Драка.— Победа.— В Россию.— Последнее merci...

Наиболее остро это началось с Парижа.

Первым был пойман Мифасов: пойман на месте преступления, в то время, когда, сидя в маленьком кафе на бульваре Мишель и увидя нас, пытался со сконфуженным видом спрятать в карман клочок бумаги.

— Погодите! — строго сказал Крысаков.— Дайте-ка сюда. Ну, конечно, я так и подозревал.

Это был обрывок русской газеты.

— А наше слово? Наше слово — не читать русских газет, не вспоминать о России, не пить русской водки?..

Опустив голову, смущенно шаркал ногой по цементному полу Мифасов.

Вторым попался Сандерс.

Однажды идя по улице впереди него и неожиданно оглянувшись мы заметили, что он отмахнулся два раза

от какого-то попрошайки, а потом вдруг остановился, прислушался к его словам, и лицо его, как будто очарованное сладкой музыкой, распустилось в блаженную улыбку.

— О! —сказал Сандерс,— вы говорите — вы русский! Неужели? Не обманываете ли вы меня?

— Русский! Ей-Богу! Поверьте, третий день уже хожу — ни шиша...

— Как? Как вы сказали? «Ни шиша?» О, это очень мило! Какое образное русское слово! Это очень хорошо, что вы русский. Это благородно с вашей стороны!

— Обносился, оборвался я, как босявка...

Склонив голову набок, Сандерс сладко слушал...

— О, что за язык! «Босявка»... «оборвался»... Почему никто из товарищей моих не говорит так по-русски? Давно я не слыхал от них русского слова. Все стараются французить... Русский! Я желаю вас выручить, русский. Вот вам пять франков.

Крысакова однажды поймали ночью уже на лестнице в то время, когда он, крадучись, со своим распухшим, больным чемоданом пробирался к выходу...

— Неужели, господа, вы не можете потерпеть несколько дней? — возмущался я,— до нашего срока отпуска — двух месяцев — осталось всего шесть суток.

Но в тот же вечер я сам, подойдя к открытому окну, увидел на небе нашу русскую добродушную луну. И мне захотелось, как собаке, положить лапы на подоконник, вытянуть кверху голову, да как завыть!.. Завыть от тоски по нашей несчастной, милой родине...

В предыдущих очерках я уделял наибольшее внимание этнографическим описаниям; Париж настолько всем известен, что я считаю себя вправе заняться, главным образом, путешественниками — Мифасовым, Крысаковым, Сандерсом и мною.

Всякий, конечно, был верен себе: Сандерс однажды задремал с булкой в руках, остановившись на полпути между прилавком и нашим столиком; он же, заспорив как-то о том: какой из двух путей, ведущих к Лувру, ближе,— встал в шесть часов утра и пошел проверять тот и другой путь; среди сна все трое были разбужены и оповещены о том, какой хороший, умный человек Сандерс и как он всегда бывает прав.

Всякий, конечно, был верен себе: Мифасов после обеда потащил нас в кафе-шантан Марини; он же возмутился бешеными ценами на места в этом учреждении; он

же предложил поехать в какой-нибудь из маленьких шантанчиков на Севастопольском бульваре, утверждая, что хотя это далеко, но зато дешевизна тамошних кабачков баснословная, он же, в ответ на наши сомнения, сказал, что ему приходилось бывать там и что спорить с ним, опытным кутилой, глупо. «За свои слова я ручаюсь головой». По приезде на место выяснилось, что цены в кафе-концерте на Севастопольском бульваре выше цен Марини на 40%.

Всякий, конечно, был верен себе: шокируя Мифасова и Сандерса, мы с Крысаковым присаживались за столиком в третьеклассном кафе, требовали пива, а потом Крысаков мчался к тележке, развозившей всякую снедь, покупал на 10 су паштета из телячьей печенки, на 3 су хлеба, и мы устраивали такой пир, что все с восхищением глядели на нас, кроме Мифасова и Сандерса.

— Кушайте,— добродушно угощал Крысаков, похлопывая ладонью по своему паштету.— Битте-дритте.

Должен заметить, что паштетом питались и наши антагонисты — Мифасов и Сандерс. Должен заметить, что и насыщение паштетами за 10 су и хлебом за 3 су, и возмущение ценами шантана — все это имело под собой основательную почву: дело в том, что мы разорились.

Кто был виноват в этом? Что было причиной этому: склонность ли Мифасова к фешенебельным ресторанам, «обедам под гонг», страсть ли Сандерса к эффектным одеждам, покупка ли массы оружия, которое всякий из нас приобрел для защиты жизни от могущих посягнуть на нее врагов? Вероятно, все вместе повредило нам.

Правда, мы ждали солидного перевода на Лионский кредит, и перевод этот должен был получиться в Париже 12 июля. Но 12 июля банки были закрыты потому, что через два дня предстояло огромное празднование 14 июля — день взятия Бастилии; 13 июля банки не открывались потому, что оставался всего один день до 14-го; 14-го праздновали Бастилию; 15-го отпраздновали первый день после взятия Бастилии, а 16-го была какая-то генеральная проверка всех банковских касс; так как 17-го было воскресенье — то мы, очутившись 11-го без денег — могли ожидать их получения только 18-го.

Грозный призрак голода протянул к нам свои костлявые, когтистые лапы.

Первые признаки бедствия выяснились неожиданно:

11-го июля, после роскошного завтрака в ресторане на Итальянском бульваре, мы взяли мотор и полетели в Булонский лес.

Сандерс был задумчив. Вдруг на полдороге он хлопнул ладонью по доске мотора и с несвойственной ему энергией воскликнул:

— Стойте! Сколько показывает таксометр?

— 6 франков 50.

— Мотор! Назад!

— Что случилось?

И, как гробовой молоток, прозвучали слова Сандерса:

— У нас всего 8 франков... (общественными суммами заведовал Сандерс).

Раздались крики ужаса; мотор повернули, и он, как вестник бедствия, полетел со страшным ревом и плачем в город.

— Стойте! До дому версты полторы. Дойдем пешком,— предложил благоразумный Крысаков.— Шоферу нужно, конечно, заплатить полным рублем, но на чай, ввиду исключительности положения, не давать; пусть каждый пожмет ему руку; это все, чем мы можем располагать.

Все с чувством пожали шоферу руку и поплелись домой.

Вечером прибегли к паштету с пивом, а утром на другой день Мифасов засел за большую композицию «Голодающие в Индии».

— Как жаль, что нет с нами Мити,— заметил Крысаков.— Его можно бы послать собирать милостыню. Самим нам неудобно, а он мог бы поработать на бедных хозяев.

— Бедный Митя! — вздохнул Мифасов.— Он, вероятно, умирает от голоду в Берлине, мы — в Париже. О, жизнь! Ты шутишь иногда жестоко, и твоя улыбка напоминает часто гримасу смерти.

Сандерс обошел кругом Крысакова и, щелкнув зубами, сказал:

— Думал ли я, что рагу из Крысакова будет казаться мне таким заманчивым?!

Крысаков, взволнованный, встал, поцеловал Сандерса в темя и выбежал из нашей комнаты в свою.

Потом вернулся, положил на стол золотой и сурово сказал:

— Последний! Прятал на похороны. Берите!

Радостный крик сотряс наши груди.

— Беру в кассу,— сказал Сандерс.— Что мы сделаем на эти деньги?

— Тут я на углу видел один ресторанчик...— несмело заметил Мифасов.

«Голодающие» на его рисунке сразу пополнели. Он приделал им животы, округлил щеки, прибавил мяса на руках и ногах и сказал:

— Произведения художника есть продукт его настроения. Налево за углом, вход с бульвара. Обед два франка с вином!!

— Браво, Мифасов! Он заслуживает качанья. В первую же хорошую качку на море вы будете вознаграждены! За угол, господа, за угол!!

Было 13-е число. Весь Париж наряжался, украшался, обвешивался разноцветными лампочками; на улицах строили эстрады для музыкантов, драпируя их материей национального цвета. Уже приближался вечер, и пылкие французы не могли дождаться завтрашнего дня, зажгли кое-где иллюминацию и плясали на улице под теплым небом, под звуки скрипок и флейт.

А мы сидели в комнате Мифасова без лампы, озаренные светом луны, и тоска — этот спутник сирых и голодных — сжимала наши сердца, которые теперь переместились вниз и свили себе гнездо в желудке.

Недоконченный этюд «Голодающие в Индии», снова реставрированный в сторону худобы и нищенства — смутно белел на столе своими страшными скелетообразными фигурами.

— Мама, мама,— прошептал я.— Знаешь ли ты, что испытывает твой сын, твой милый первенец?

— Постойте,— сказал Мифасов, очевидно, после долгой борьбы с собой.— У меня есть тоже мать, и я не хочу, чтобы ее сын терпел какие-нибудь лишения. В тот день, когда голод подкрадывался к нам — у меня были запрятанные 50 франков. Я спрятал их на крайний случай... на самый крайний случай, когда мы начнем питаться кожей чемоданов и безвредными сортами масляных красок!.. Но больше я мучиться не в силах. Музыка играет так хорошо, и улицы оживлены, наполнены веселыми лицами... сотни прекрасных дочерей Франции освещают площади светом своих глаз, их мелодичный смех заставляет сжиматься сердца сладко и мучи...

— По 12 с половиной франков,— сказал Сандерс.— Господи! Умываться, бриться! Черт возьми! Да здравствует Бастилия!

И мы, как подтаявшая льдина с горы, низринулись с лестницы на улицу.

Какое-то безумие охватило Париж. Все улицы были наполнены народом, звуки труб и барабанов прорезали волны человеческого смеха, тысячи цветных фонариков кокетливо прятались в темной зелени деревьев, и теплое летнее небо разукрасилось на этот раз особенно роскошными блистающими звездами, которые весело перемигивались, глядя на темные силуэты пляшущих, пьющих и поющих людей.

Милый, прекрасный Париж!..

Как танцуют на улице? Играют оркестры?!

Невероятным кажется такое веселье русскому человеку.

Бедная, темная Русь!.. Когда же ты весело запляшешь и запоешь, не оглядываясь и не ежась к сторонке?

Когда твои юноши и девушки беззаботно сплетутся руками и пойдут танцевать и выделывать беззаботные скачки?

Желтые, красные, зеленые ленты серпантина взвиваются над толпой и обвивают намеченную жертву, какую-нибудь черномазую модистку или простоволосую девицу, ошалевшую от музыки и веселья.

На двести тысяч разбросает сегодня щедрый Париж бумажных лент — целую бумажную фабрику, миллион сгорит на фейерверке и десятки миллионов проест и пропьет простолюдин, празднуя свой национальный праздник.

Сандерс тоже не дремлет. Он нагрузился серпантином, какими-то флажками, бумажными чертями и сам, вертлявый, как черт, носится по площади, вступая с девицами в кокетливые битвы и расточая всюду улыбки; элегантный Мифасов взобрался верхом на карусельного слона и летит на нем с видом завзятого авантюриста. Мы с Крысаковым скромно пляшем посреди маленькой кучки поклонников, вполне одобряющих этот способ нашего уважения к французам. Писк, крики, трубный звук и рев карусельных органов.

А на другое утро Сандерс, найдя у себя в кармане обрывок серпантина, скорбно говорил:

— Вот если бы таких обрывков побольше, склеить бы их, свернуть опять в спираль, сложить в рулон и продать за 50 сантимов; двадцать таких штучек изготовить — вот тебе и 10 франков.

Крысаков вдруг открыл рот и заревел.

— Что с вами?

— Голос пробую. Что если пойти нынче по кафе и по-

пробовать петь русские национальные песни; франков десять, я думаю, наберешь.

— Да вы умеете петь такие песни?

— Еще бы!

И он фальшиво, гнусавым голосом запел:

Матчиш прелестный танец —
Шальной и жгучий...
Привез его испанец —
Брюнет могучий.

— Если бы были гири,— скромно предложил я.— Я мог бы на какой-нибудь площади показать работу гирями... Мускулы у меня хорошие.

— Неужели вы бы это сделали? — странным, дрогнувшим голосом спросил Сандерс.

Я вздохнул:

— Сделал бы.

— Гм,— прошептал он, смахивая слезу.— Значит, дело действительно серьезно. Вот что, господа! Мифасов берег деньги на случай питания масляными красками и кожей чемоданов. Я заглянул дальше; на самый крайний, на край-нейший случай,— слышите? — когда среди нас начнет свирепствовать цинга и тиф — я припрятал кровные 30 франков. Вот они!

— Браво! — крикнул, оживившись, Крысаков.— У меня как раз цинга!

— А у меня тиф!

Мифасов сказал:

— Тут... на углу... я...

— Пойдем.

Грохот восьми ног по лестнице разбудил тишину нашего мирного пансиона.

Когда мы были в «Кабачке мертвецов» и Сандерс, уходя, сказал шутовскому привратнику этого кабачка, где слуги поносили гостей, как могли: «Прощайте, сударь», тот ответил ему привычным, заученным тоном: «Прощайте, туберкулезный!»

Конечно, это была шаблонная шутка, имевшая успех в этом заведении, но сердце мое сжалось: что если в самом деле слабый здоровьем Сандерс заболеет с голодухи и умрет?..

Последние десять франков ухлопали мы на это кощунственное жилище мертвых, будто бы для того придя сюда, чтобы привыкнуть постепенно к неизбежному концу.

— Удивляюсь я вам,— сказал мне Крысаков.— Чело-

век вы умный, а не догадались сделать того, что сделал каждый из нас! Припрятать деньжонок про запас. Вот теперь и голодай. До открытия банков два дня, а я уже завтра с утра начинаю питаться верблюжьим хлебом.

— Чем?

— Верблюжьим хлебом. В Зоологическом саду верблюдов кормят. Я пробовал — ничего. Жестко, но дешево. Хлебец стоит су.

— Ну,— принужденно засмеялся я.— У вас, вероятно, у кого-нибудь найдется еще несколько припрятанных франков — «уже на самый крайний случай — чумы или смерти».

— Я отдал все! — возмутился Мифасов.— Запасы имеют свои границы.

— И я.

— И я!

— Я тоже все отдал,— признался я.— Натура я простодушная, без хитрости, я не позволю утаивать что-нибудь от товарищей, «на крайний случай». А тут — чем я вам помогу? Не этой же бесполезной теперь бумажонкой, которая не дороже обрывка газеты, раз все меняльные учреждения закрыты.

И я, вынув из кармана русскую сторублевку, пренебрежительно бросил ее наземь.

— В Олимпию,— взревел Крысаков.— В Олимпию — в это царство женщин! Я знаю — там меняют всякие деньги!

Как нам ни противно было очутиться в этом царстве кокоток и разгула — пришлось пойти.

Меняли деньги... Крысаков был очень вежлив, но его «битте-дритте» звучало так сухо, что все блестящие ночные бабочки отлетали от него, как мотыльки от электрического фонаря, ударившись о твердое стекло.

В тот момент, когда, наконец, для французов красные, а для нас черные дни —кончились и наступили будни, мы получили пачку разноцветных кредиток и золота.

И в тот же момент в один истерический крик слились четыре голоса:

— В Россию!

— Домой!

— В Петроград!

— К маме!

Но кто проследит пути судьбы нашей?

Кто мог бы предсказать нам, что именно в день отъезда случится такой яркий потрясающий факт, который

до сих пор вызывает в нас т р е х смешанное чувство ужаса, восторга и удивления?!

Милый, веселый, неприхотливый Крысаков... Ты заслуживаешь пера не скромного юмориста с однотонными красками на палитре, а, по крайней мере, могучего орлиного пера Виктора Гюго или героического размаха автора «Трех мушкетеров».

Постараюсь быть просто протокольным,— иногда протокол действует сильнее всего.

Было раннее утро. Крысаков накануне вечером сговорился с нами идти в Центральный Рынок поглазеть на «чрево Парижа», но, конечно, каждый из нас придерживался совершенно новой оригинальной пословицы: «вечер утра мудренее». Вечером можно было строить какие угодно мудрые, увлекательные планы, а утром — владычествовал один тупой, бессмысленный стимул: спать!

Крысаков собрался один. Жил он в другом пансионе с женой, приехавшей из Ниццы; с утра обыкновенно заходил к нам и не расставался до вечера.

В шесть часов утра хозяйка пансиона видела жильца, который на цыпочках, стараясь не шуметь, пробирался к выходу с вещами (ящик для красок и этюдник); в девять часов утра та же хозяйка заметила жену жильца, выходившую из своей комнаты с картонкой в руках.

Хозяйка преградила ей путь и сказала:

— Прежде чем тайком съезжать, милые мои — надо бы уплатить денежки.

— С чего вы взяли, что мы съезжаем? — удивилась жена Крысакова.— Я еду к модистке, а муж поехал на этюды, на рынок.

— На этюды? Все вы, русские, мошенники. И ваш муж мошенник.

— Не больше, чем ваш муж,— вежливо ответила жена нашего друга.

Затем произошло вот что: хозяйка раскричалась, толкнула квартирантку в грудь, отобрала ключ от комнаты, несмотря на уверения, что деньги лежат в комнате и могут быть заплачены сейчас, а потом квартирантка была изгнана из коридора и поселилась она в помещении гораздо меньшем, чем раньше — именно на уличной тумбочке у парадных дверей, где она, плача, просидела до двух часов дня.

Она не знала, где найти мужа, который в это время, ничего не подозревая, весело завтракал с нами на полученные из Лионского кредита денежки.

Позавтракав, он вспомнил о семейном очаге, поехал домой и наткнулся на плачущую жену на тумбочке.

Наскоро расспросив ее, вошел побледневший Крысаков в зал пансиона, где за общим табль д'от сидело около двадцати человек аборигенов.

Мирно завтракали ветчиной и какой-то зеленью.

— Где хозяин? — спросил Крысаков.

— Я.

— Почему ваша жена безо всякого повода позволила себе толкнуть в грудь мою жену?

— О,— возразил хозяин, пренебрежительно махнув рукой.— Вы русские?

— Да.

— Так ведь русских всегда бьют. Русские привыкли, чтобы их били.

Привычному человеку, конечно, не особенно больно, когда его бьют. Но непривычный француз, получив удар кулаком в живот, заревел, как бык, и обрушился на маленький столик с цветочным горшком.

Несколько французов вскочили и бросились на славного, веселого, кроткого Крысакова.

Крысаков повел могучими плечами, ударил ногой по громадному столу, и все слилось в одну ужасающую симфонию звона разбитой посуды, стона раненых и яростного крика взбешенного Крысакова.

Вот подите ж: глупые разные «Земщины» и «Колоколы» с истинно дурацким постоянством из номера в номер уверяют десяток своих читателей, что сатириконцы — это жиды (?!) без всякого национального чувства и достоинства.

А Крысаков безрассудно, без всякого колебания, полез один на двадцать человек именно за одну нотку в голосе хозяина, которая показалась ему безмерно горькой и обидной.

И вот когда зажиревший в свободах француз поднял, по примеру всероссийского городового, руку на русского — в голове должно помутиться и рассудок должен отойти в сторону...

— Мерзавцы,— гремел голос нашего товарища.— Русских бьют? Не так ли вот? Или, может быть, этак?

Двое пытались уползти от него в дверь, один выскочил в раскрытое окно; какой-то глупец схватил палку, взбежал по винтовой лестнице в углу комнаты и пытался поразить оттуда всесокрушающего Крысакова; но тот схватил палку, стащил ее вместе с обладателем с лестни-

цы и, задав ему солидную трепку, бросил палку под ноги двум последним удиравшим противникам.

Поломанные стулья, разбитая посуда, хрустящим ковром покрывавшая пол, и посредине Крысаков с мужественно поднятыми руками и ногой на животе лежащего без чувств хозяина...

Момент — и он забился в шести дюжих руках... Три полисмена схватили его, приглашенные расторопной хозяйкой пансиона.

— Полиция? — сказал Крысаков.— Сдаюсь. Это уже закон!

Но когда его привели в участок и комиссар предложил в резкой форме снять шляпу, Крысаков с любопытством спросил:

— А почему вы в шляпе?

Полисмен сзади ударом ладони сбил с Крысакова шляпу, но Крысаков повернулся и в один момент посбивал с полисменов кепи (по своей теории — «иногда и русские бьют»).

Нужно ли говорить еще что-нибудь?

Личное задержание, штраф, убытки за поломанную посуду и поврежденных французов — одним словом, мы уехали вдвоем с Сандерсом, оставив Крысакову для подкрепления Мифасова.

Потом они передавали нам, что русский консул, к которому Крысаков обратился за заступничеством, сказал:

— Знаете что? Не стоит поднимать истории... Заплатите им штраф и убытки. Правда, они первые оскорбили вашу жену... Но если бы недалеко были наши броненосцы, я бы говорил с ними. А так, что я могу сказать?! Что мы можем сказать?

Жалкое, забитое существо этот консул.

Нам говорили опытные люди, что если русский человек хочет найти серьезное заступничество — он должен обратиться к английскому консулу.

И вот мы едем в Россию.

В Вержболове поздоровались с жандармом, а Сандерс, изнемогая, остановил носильщика и сказал:

— Я хочу услышать от тебя хоть одно русское слово. Истосковался. Скажи мне его, это слово, вот тебе за это целковый.

— Мерси,— ответил расторопный носильщик.

Пахло щами.

КОНЕЦ


ШУТКА
МЕЦЕНАТА
Роман
CRÈME

Меня часто спрашивают:

— Простодушный! Почему вы торчите в Константинополе? Почему не уезжаете в Париж?

— Боюсь,— робко шепчу я.

— Вот чудак... Чего же вы боитесь?

— Я писатель. И потому боюсь оторваться от родной территории, боюсь потерять связь с родным языком.

— Эва! Да какая же это территория — Константинополь!

— Помилуйте — никакой разницы. Проходишь мимо автомобиля — шофер кричит: «Пожалуйте, господин!» Цветы тебе предлагают: «Не купите ли цветочков? Дюже ароматные!» Рядом: «Пончики замечательные!» В ресторан зашел — со швейцаром о Достоевском поговорил, в шантан пойдешь — слышишь:

Матреха, брось свои замашки,
Скорей тангу со мной пляши...

Подлинно черноземная Россия!

— Так вы думаете, что в Париже разучитесь писать по-русски?

— Тому есть примеры,— печально улыбнулся я.

А. Т. Аверченко. Трагедия русского писателя.
1923 г.

Роман «Шутка Мецената» написан в годы эмиграции, в 1923 году, в Сопоте, где короткое время жил автор.

ЧАСТЬ I
КУКОЛКА

Глава I
Его величество скучает

— Должен вам сказать, что вы все — смертельно мне надоели.

— Меценат! Полечите печень.

— Совет не глупый. Только знаешь, Мотылек, какое лучшее лекарство от печени?

— Догадываюсь: всех нас разогнать.

— Вот видишь, почему я так глупо привязан к вам: вы понимаете меня с полуслова. Другим бы нужно было разжевывать, а вы хватаете все на лету.

— Ну, что ж... разгоните нас. А через два-три дня приползете к нам, как угрюмый крокодил с перебитыми лапами, начнете хныкать — и снова все пойдет по-старому.

— Ты, Мотылек, циничен, но не глуп.

— О, на вашем общем фоне не трудно выделиться.

— Цинизмом?

— Умом.

— Меня интересует один вопрос: любите вы меня или нет?

— Попробуйте разориться — увидите!

— Это опасный опыт: разориться не штука, а потом, если увижу, что вы все свиньи, любящие только из-за денег,— опять-то разбогатеть будет уже трудно?

— Я вас люблю, Меценат.

— Спасибо, Кузя. Ты так ленив, что эти четыре слова, выдавленные безо всякого принуждения, я ценю на вес золота.

В большой, беспорядочной, странно обставленной комнате, со стенами, увешанными коврами, оружием и картинами — беседовали трое.

Хозяин, по прозванию Меценат — огромный грузный человек, с копной полуседых волос на голове, с черными, ярко блестящими из-под густых бровей глазами, с чувст-

венными пухлыми красными губами — полулежал в позе отдыхающего льва на широкой оттоманке, обложенный массой подушек.

У его ног на ковре, опершись рукой о край оттоманки, сидел Мотылек — молодой человек с лицом, покрытым прихотливой сетью морщин и складок, так что лицо его во время разговора двигалось и колыхалось, как вода, подернутая рябью. Одет он был с вычурной элегантностью, резко отличаясь этим от неряшливого Мецената, щеголявшего ботинками с растянутыми резинками по бокам и бархатным черным пиджаком, обильно посыпанным сигарным пеплом.

Третий — тот, кого называли Кузей,— бесцветный молодец с жиденькими усишками и вылинявшими голубыми глазами — сидел боком в кресле, перекинув ноги через его ручку, и ел апельсин, не очищая его, а просто откусывая зубами кожуру и выплевывая на ковер.

— Хотите, сыграем в шахматы? — нерешительно предложил Кузя.

— С тобой? Да ведь ты, Кузя, в пять минут меня распластаешь, как раздавленную лягушку. Что за интерес?!

— Фу, какой вы сегодня тяжелый! Ну, Мотылек прочтет вам свои стихи. Он, кажется, захватил с собой свежий номер «Вершин».

— Неужели Мотылек способен читать мне свои стихи? Что я ему сделал плохого?

— Меценат! С вами сегодня разговаривать — будто жевать промокательную бумагу.

В комнату вошла толстая старуха с сухо поджатыми губами, остановилась среди комнаты, обвела ироническим взглядом компанию и, пряча руки под фартуком, усмехнулась:

— Вместо, чтоб дело какое делать — с утра языки чешете. И что это за компания такая — не понимаю!

— А-а,— радостно закричал Мотылек,— Кальвия Криспинилла! Magistra libidinium Neronis! *

— А чтоб у тебя язык присох, бесстыдник! Этакими словами старуху обзывать! Боря! Я тебя на руках нянчила, а ты им позволяешь такое! Нешто можно?

— Мотылек, не приставай к ней. И что у нее общего, скажи, пожалуйста, с Кальвией Криспиниллой?

---

* Наставница Неронова сладострастья *(лат.)* — Кальвия Криспинилла — устроительница оргий императора Нерона. «В свое время Криспинилла устраивала для Нерона все его постыдные развлечения»,— сообщает Тацит в своей Истории.

— Ну, как же. Не краснейте, Меценат, но я пронюхал, что она ведет регистрацию всех ваших сердечных увлечений. Magistra libidinium Neronis!

— Гм... А каким способом ты будешь с лестницы спускаться, если я переведу ей по-русски эту латынь?..

— Тссс! Я сам переведу. Досточтимая Анна Матвеевна! Magistra libidinium Neronis! — по-нашему «женщина, украшенная добродетелями». А чем сегодня покормите нас, звезда незакатная?

— Неужто уже есть захотел?

— Дайте ему маринованного щенка по-китайски,— посоветовал Кузя.— Как ваше здоровье, Анна Матвеевна?

— А! И ты здесь. И уж с утра апельсин жрешь. Проворный. А зачем шкурки на пол бросаешь?

— Что вы, Анна Матвеевна! Я, собственно, бросал их не на пол, а наоборот, в потолок... но земное притяжение... сами понимаете! Деваться некуда.

— Эко, язык у человека без костей. Боря, чего заказать на завтрак?

— Анна Матвеевна! — простонал Меценат, зарывая кудлатую голову в подушки.— Неужели опять яйца всмятку, котлеты, цыплята? Надоело! Тоска. Мрак. Знаете что? Дайте нам свежей икорки, семги, коньяку да сварите нам уху, что ли... И также — знаете что? Тащите все это сюда. Мы расстелим на ковре скатерть и устроим этакий пикничок.

— В гостиной-то? На ковре? Безобразие какое!

— Анна Матвеевна! — сказал Мотылек, поднимаясь с ковра и приставляя палец к носу.— Мы призваны в мир разрушать традиции и создавать новые пути.

— Ты не смей старухе такие слова говорить. То-то ты весь в морщины пошел. Взять бы утюг хороший да разгладить.

— Боже вас сохрани,— лениво сказал Кузя, вытирая апельсиновый сок на пальцах подкладкой пиджака,— его морщины нельзя разглаживать.

— Почему? — с любопытством осведомился Меценат, предвидя новую игру вялого Кузиного ума.

— А как же! Знаете, кто такой Мотылек? Это «Человек-мухоловка». В летний зной — незаменимо! Гений по ловле мух! Сидит он, расправив морщины, и ждет. Мухи и рассядутся у него на лице. Вдруг трах! Сожмет сразу лицо — мух двадцать в складках и застрянут. Сидит потом и извлекает их, полураздавленных, из морщин, бросая в пепельницу.

— Тьфу! — негодующе плюнула старуха, скрываясь за дверью.

Громкий смех заглушил стук сердито захлопнутой двери.

Глава II

Первое развлечение

Не успел смех угаснуть, как послышался топот быстрых ног и, крутясь, точно степной вихрь, влетел высокий, атлетического вида человек, широкая грудь которого и чудовищные мускулы плеч еле-еле покрывались поношенной узкой студенческой тужуркой.

Он проплясал перед компанией какой-то замысловатый танец и остановился в картинной позе, бурно дыша.

— Вот и Телохранителя черт принес,— скорбно заметил Кузя.— Прощай теперь две трети завтрака.

— Удивительно,— промямлил Мотылек,— у этого Новаковича физическая организация и моральные эмоции, как у черкасского быка, но насчет свежей икры и маргелевского коньяку — деликатнейшее чутье испанской ищейки.

— Так-то вы меня принимаете, лизоблюды?! — загремел Новакович, схватывая своими страшными руками тщедушного Кузю и усаживая его на высокий книжный шкаф.— А я все стараюсь, ночей для вас не сплю!..

— Телохранитель,— жалобно попросил Кузя.— Сними меня, я больше не буду.

— Сиди!

— Телохранитель! Я знаю, твоя доброта превосходит твою замечательную силу. Сними меня. У тебя тело греческого бога...

Новакович самодовольно усмехнулся и, как перышко, снял Кузю со шкафа.

— Тело греческого бога,— добавил Кузя, прячась за кресло,— а мозги, как греческая губка.

Раздался писк мыши в могучих кошачьих лапах — снова Кузя, как птичка, вспорхнул на шкаф.

— Меценат! — прогремел Новакович.— Вы скучаете?

— Очень. Ты ж видишь. У этих двух слизняков нет никакой фантазии.

— Меценат! Можете заплатить за хорошее развлечение 25 рублей?

— Потом.

— Нет, эти денежки — мои кровные. Предваритель-

ные расходы. Надо вам сказать, ребята, что нынче утром выхожу я из дому, сажусь в экипаж...

— В трамвай!..— как эхо отозвался с высоты Кузя.

— Ну, в трамвай, это не важно. Подкатываю к ресторану...

— ...называемому харчевней,— поправил Кузя.

— Что? Ну, такое, знаете... Кафе одно тут. Вроде ресторана. Сажусь, заказываю бутылочку шипучего...

— ...квасу,— безжалостно закончил Кузя...

— Что-о? — грозно заревел Новакович.

— Сними меня — тогда ври, сколько хочешь. Слова не скажу.

— Сиди, бледнолицая собака. Ну, ребята, долго ли, коротко ли — не важно, но познакомился я в этом кафе с одним молодым человеком... Ароматнейший фрукт! Бриллиантовая капля росы на весеннем листочке! Девственная почва. Представьте — стихи пишет!! А? Каков подлец?! Будто миру мало одного Мотылька, пятнающего своими стихирами наш и без того грязный земной шарик!

— Телохранитель! — прошипел, как разъяренный индюк, Мотылек.— Не смей ругать мою землю. В Писании о тебе сказано: из земли ты взят, в землю и вернешься. И чем скорее, тем лучше.

— Ага! Не любишь беспристрастной критики?! Кстати, вы знаете, какие стихи мастачит мой новый знакомый? Я запомнил только четыре строчки:

В степи — избушка,
Кругом — трава.
В избе — старушка
Скрипит едва!..

— Каково? Запомните, чтоб цитировать. Я его с собой привел.

— Кого?!

— Этого самого. Внизу ждет. Я ему сказал, что это очень аристократический дом, где нужно долго докладывать.

В скучающих глазах Мецената загорелось, как спичка на ветру, ленивое любопытство.

— Веди его сюда, Новакович. Если он действительно забавный — пусть кормится. Нет — сплавим.

— Двадцать пять рублей,— хищно сказал Новакович,— я на него потратил. Ей-Богу, имея вас в виду! Верните, Меценат.

— Возьми там. В ящике стола. Вы, дьяволы, для меня хоть бы раз что-нибудь бесплатно сделали.

— Ах, милый Меценат. Жить-то ведь надо. Хорошо вам, когда сделал в чековой книжке закорючку — и сто обедов с шампанским в брюхе. А мы народ трудящийся.

Когда он прятал вынутые из ящика деньги, Мотылек сказал, поглаживая жилетный карман:

— Телохранитель! Ты теперь обязан из этих денег внести четыре рубля за мои часы в ломбарде. Иначе я испорчу твоего протеже. Все ему выболтаю — как ты его Меценату продаешь.

Меценат удивился:

— Опять деньги на часы? Да ведь ты у меня вчера взял на выкуп часов?!

— Не донес! Одной бедной старушке дал.

— Не той ли, что скрипит в избушке, а кругом трава?

— Нет, моя старушка городская.

— Как теперь быстро стареют женщины,— печально сказал Кузя сверху.— В двадцать два года — уже старушка.

Мотылек покраснел:

— Молчи там, сорока на крыше!

Вышедший во время этого разговора Новакович вернулся, таща за руку так разрекламированную им «бриллиантовую каплю росы».

Глава III

Куколка

Это был застенчивый юноша, белокурый, голубоглазый, как херувим, с пухлыми розовыми губами и нежными шелковистыми усиками, чуть-чуть видневшимися над верхней губой. Одет он был скромно, но прилично, в синий, строгого покроя костюм, в лаковые ботинки с серыми гетрами, с серой перчаткой на левой руке.

— Вот он — тот, о котором я говорил. Замечательный поэт! Наша будущая гордость! Байрон в юности. А это вот тот аристократический дом, о котором я вам рассказывал. Немного чопорно, но ребята все аховые. Тот, что на диване — хозяин дома,— Меценат, а этот низший организм у его ног — Мотылек. Он — секретарь журнала «Вершины» и может быть полезен вам своими связями.

— Очень приятно,— робко пролепетал юноша, тряся пухлую меценатову руку с длинными холеными ногтями.— Я очень, очень рад. Новакович много о вас говорил хорошего. Моя фамилия — Шелковников. Имя мое — Валентин. Отчество — Николаевич...

— Бабушку мою звали Аглая,— в тон ему сказал Кузя, свешивая голову с вершины шкафа.— Мопсика ее звали — Филька. Меня зовут Кузя. Познакомьтесь и со мной тоже и, если можете — снимите меня со шкафа.

Шелковников с изумлением поглядел наверх и только теперь заметил Кузю, беспомощно болтавшего ногами.

— Простите,— смущенно воскликнул он.— Я вас и не заметил. Очень приятно. Моя фамилия Шелковников... Мое имя...

— И так далее,— сказал Кузя.— Снимете меня или нет?

— Не трогайте его,— схватил Шелковникова за руку Новакович.— Это я наказал его за грубость нрава. Пусть сидит.

Вошла Анна Матвеевна с приборами на подносе, с двумя бутылками коньяку и скатертью под мышкой.

— Этого еще откуда достали,— ворчливо сказала она, оглядывая новоприбывшего.— Ишь ты, какой чистенький да ладный. И как это вас мамаша сюда отпустила?

Заметив, что гость окончательно смутился, Меценат попытался ободрить его.

— Не обращайте на нее внимания — это моя старая Анна Матвеевна. Она вечно ворчит, но предобрая.

Юноша вежливо поклонился, чуть-чуть прищелкнув каблуком, и почел нужным представиться старухе:

— Очень рад. Моя фамилия Шелковников, мое имя...

— Уху сварили, Кальвия Криспинилловна? — осведомился Мотылек, оттирая плечом нового гостя.— Знаешь, Телохранитель, у нас сегодня пикник в этой комнате. На ковре будем уху есть. Ловко?

— Взять бы хорошую палку...— добродушно проворчала старуха,— да и... А вы чего же, сударь, стоите? Присели бы. А лучше всего, скажу я вам, не путайтесь вы с ними. Они — враги человеческие! А на вас посмотреть — так одно удовольствие. Словно куколка какая.

— Ур-ра! — заревел Новакович.— Устами этой пышной матроны глаголет сама истина. Гениально сказано: «Куколка»! Мы сейчас окрестим вас этим именем. Да здравствует Куколка! Меня зовите Телохранителем, ибо

я в наших похождениях охраняю патриция Мецената от физической опасности, а то птичье чучело на шкафу — называется Кузя.

— Снимите меня,— попросил Кузя, обрадованный, что вспомнили и о нем.

— Сиди! Там наверху воздух чище. Дыши горным воздухом!

Новокрещеный Куколка, оглушенный всеми этими спорами и криками, не знал, в какую сторону поворачиваться, кого слушать...

Меценат ему показался самым уравновешенным, самым спокойным. Поэтому он деликатно протискался бочком сквозь заполнивших всю комнату Мотылька и Телохранителя, придвинул к Меценату стул и сел, осведомившись с наружно независимым видом:

— Как поживаете?

— Благодарю вас,— вежливо отвечал Меценат, пряча в седеющие усы улыбку полных и красных губ.— Скучаю немножко.

— А вы бы искусством занялись. Поэзией, что ли?

— Хорошо, займусь,— согласился покладистый Меценат.— Завтра же.

— Я еще молодой, но очень люблю поэзию. Это как музыка... Правда?

— Совершеннейшая правда.

— Скажите, это ваша фамилия такая — Меценат?

— Фамилия, фамилия,— подскочил Мотылек, протискиваясь между разговаривающими и фамильярно присаживаясь на оттоманку.— Наш хозяин сам родом из римлян. Происходит из знаменитого угасшего рода. В нем умер Нерон, и слава Богу, что умер. А то бы, согласитесь сами, неприятно было попасть в его сад в виде смоляного факела. А теперь это — какое прекрасное угасание! А? И от всей былой роскоши осталась только Кальвия Криспинилла.

— Это... латынь? — простодушно спросил Куколка.

— Испанский, но неважно. Скажите, вы не родственник одного очень талантливого поэта — Шелковникова?

— Нет... Не знаю... А что он писал?

— Ну, как же! У него чудные стихи. Одно мы даже заучили наизусть. Как это?

В степи — избушка,
Кругом — трава.
В избе — старушка
Скрипит едва.

Чудесно! Кованый стих.

— Позвольте,— расцвел как маковый цвет Куколка.— Да ведь это же мои стихи!.. Откуда вы их знаете? Ведь я их даже не печатал!

— Помилуйте! По всему Петербургу в рукописных списках ходят. Неужели это ваши?! Да что вы говорите? Позвольте мне пожать вашу руку!.. Это чудно! Какая простота и какая чисто пушкинская сжатость!.. Кузя, тебе нравится?

— Я в форменном восторге,— сказал сверху Кузя, позевывая.— Кисть большого мастера. Ни одного лишнего слова: «В степи — избушка»! Всего три слова, а передо мной рисуется степь, поросшая ковылем и ароматными травами, далекая, бескрайная... И маленькой точкой на этой беспредельной равнине маячит покосившаяся серая избушка с нахлобученной на самые двери крышей...

И Кузя замолчал, погрузившись в задумчивость. На самом деле он был так ленив, что ему не хотелось лишний раз повернуть языком. Впрочем, немного потрудился: поднял голову и подмигнул, предоставляя дальнейшее подвижному Мотыльку.

Мотылек сложил свое гуттаперчевое лицо в гармонику и пылко продолжал:

— А это: «Кругом — трава»! Трава, и больше ничего. Стоп. Точка. Но я чувствую аромат этой травы, жужжание тысячи насекомых. Посмотрим дальше... «В избе — старушка». И верно! А где же ей быть? Не скакать же по траве, как козленку. Не такие ее годы. И действительно поэт тут же веско подкрепляет это соображение: «Скрипит едва». Кругом пустыня, одинокая старость — какой это, в сущности, ужас! Что ей остается? Скрипеть!

Меценат опустил голову и закрыл рукой лицо с целью скрыть предательский смех, а Куколка ясным взором восторженно оглядывал всю компанию и поддакивал:

— Да, да!.. Я вижу, вы поняли мой замысел.

— Мотылек! — сказал расставшийся окончательно со своей тоской Меценат.— Ты должен устроить эти стихи в какой-нибудь журнал.

— Обязательно устрою. За такие стихи всякая редакция зубами схватится.

Новакович отвел Куколку в сторону и спросил шепотом:

— Ну, как вам нравится общество, в которое я вас ввел?

— Чудесное общество. Они все такие тонкие, понимающие...

— Еще не то будет. Вы коньяк пьете?

— Я... собственно, не пью...

— Ага! Ну, значит, выпьете. Анна Матвеевна! Надеюсь, икорка у вас на льду стояла?

— Для тебя еще буду на лед ставить!..

— Анна Матвеевна! Не забывайте, что я знал вашего папу.

— Врешь ты все,— проворчала скептическая старуха.— Он уже лет тридцать будет, как помер.

— Ну, что ж. А мне уже под пятьдесят. Вы не смотрите, что я такой моложавый. Это я в спирту сохранялся. Боже, как быстро жизнь мчится! Как сейчас помню вашего отца... Веселый был старик! Мы с ним часто рыбу удили...

— Да неужто ж, верно, знал отца?! — зацепилась на удочку старуха.— Нешто ты тоже зарайский?

— Я-то? Всю жизнь. Еще, помню, у вашего папы коровка была... серенькая такая...

— Бурая.

— Во-во. Серовато-бурая. Хорошее молоко давала. Старик часто меня угощал. «Сережа, говорит, ты мне первый друг. Жалко, говорит, что моя дочка Анюта уже замуж вышла. А то был бы ты мне зятем».

— Скажете тоже! — застыдилась Анна Матвеевна, расстилая на ковре скатерть.

У Новаковича была странная натура: он мог так нахально рассказывать о самых невероятных вещах, способен был так просто и самоуверенно лгать, что одним своим тоном мог поколебать недоверие самого скептического слушателя.

Почему-то из всей компании нянька Мецената отдавала предпочтение именно Новаковичу и даже изредка высыпала ему в карман целую сахарницу колотого сахару, который он ел, уверяя всех, что сахар придает крепость костям.

Приятелям он рассказывал:

— Отчего я такой сильный? Исключительно от сахару. Да еще сырую морковь ем, как заяц. Поэтому медный пятак мне согнуть в трубку ничего не стоит.

— Ну, вот тебе пятак — согни его.

— Зачем же его портить,— хладнокровно говорил Новакович, опуская пятак в карман,— он мне на трамвай пригодится.

— Экий ты, братец. Ну, вот тебе еще пятак — согни.

— Вот спасибо. На первый пятак я проеду только туда, а на второй смогу вернуться обратно.

И второй пятак находил упокоение вместе с первым в широком кармане студенческих брюк Новаковича.

Куколка сидел притихший, широко раскрытыми глазами глядя на приготовления к завтраку, которые никак не вязались с «чопорным аристократическим домом», как характеризовал квартиру Мецената Новакович.

— Почему эта старуха накрывает завтрак на полу? — робко шепнул он Новаковичу.

— О, это странная история,— с готовностью объяснил Новакович.— У нее была семья из восьмидесяти двух человек, и все они один за другим умирали, и всех их она видела мертвыми на столе! И поэтому с тех пор стол, по ее понятиям — святое место, которое не должно оскверняться икрой и коньяком!..

— Как это удивительно! — воскликнул Куколка.— По-моему, вот сюжет для жуткой баллады в стиле Жуковского.

— И очень просто! Вы бы записали, чтоб не забыть.

— Ей-Богу, запишу.

Когда все, кроме забытого Кузи, улеглись на ковер спинами вверх и принялись за коньяк с икрой, Кузя взвыл:

— Телохранитель! Сними, или я прыгну вниз и сломаю ногу.

— Какие у меня мозги?

— Замечательные! Галилей, Коперник, Ньютон и Эдисон — причудливо соединились в твоей черепной коробке.

— Не люблю грубой лести. Сиди.

Видя, что яства и пития исчезают с поражающей быстротой, Кузя решил помочь себе сам: лег на верхушку шкафа и, открыв его дверцы, принялся сбрасывать огромные томы «Словаря» с верхних полок — на пол.

Меценат равнодушно поглядывал на такое варварское обращение с его библиотекой, а Новакович и Мотылек тихо хихикали, ерзая животами по ковру.

Когда груда сброшенных книг оказалась достаточной — Кузя повис на шкафу и сполз вниз, приветствуемый кощунственными словами Мотылька:

— Сошествие Святого Духа на апостолов.

Икру ели столовыми ложками из объемистой миски, коньяк пили из чашек, потому что наливание в рюмки от-

нимало, по словам Новаковича, массу времени. Меценат был щедр, как король, и радушно потчевал Куколку, чуть ли не вмазывая ему в рот полные ложки икры.

Подвыпивший Куколка болтал без умолку:

— Я раньше не верил в себя, а теперь, с сегодняшнего дня, верю! Я напишу целую книгу и посвящу ее господину Меценату!

— Пиши, старик, пиши,— поддакивал Мотылек.— Мы тебя не покинем! Здорово это у тебя вышло о старушке:

В лесу старушка
Сидит в кадушке,
Скрипит избушка...

— Позвольте... Вы перепутали...

— Неважно! Главное — музыка стиха.

— А что, Куколка? — спросил Новакович.— Что если переложить эти стихи на музыку? Я бы и переложил.

— Да разве вы композитор?

— Я-то? Вы оперу «Майская ночь» слышали?

— Но ведь это вещь Римского-Корсакова?!

— Вот я и говорю — знаете «Майскую ночь» Римского-Корсакова? Так я могу написать в десять раз лучше!

— А вы в шахматы играете? — осведомился Кузя.

— Очень плохо.

— То-то и оно. Я вам могу дать вперед коня и пешку.

— Неужели вы так хорошо играете?

— Замечательно! — скромно заявил Кузя.

— Он может играть с вами партию, не только не глядя на доску, но даже не спрашивая, какой ход вы сделали.

— Да как же это так? — изумился Куколка.

— Догадывается. О, это прехитрая бестия.

Мотылек нашел нужным сказать и свое слово:

— Читали мои стихи?

— А вы тоже... поэт?

— Гм... конечно, не такой, как вы, однако половина моих стихов попала во все гимназические хрестоматии.

Один Меценат молчал, но видно было, что он искренне наслаждался беседой, изредка расширяя ноздри, будто вдыхая аромат невероятного простодушия, наивности и доверчивости Куколки.

После ухи Меценат поднял чашку за здоровье своего юного гостя и попросил Мотылька:

— Сыграй нам Шопена.

Желание Мецената всегда для всех было законом.

Мотылек вскочил, сел за рояль и запел очень приятным голосом:

В степи стоит себе избушка,
Кругом трава, трава, трава...
Живет себе в избе старушка,
И хоть скрипит себе едва,
Но, в руки взяв вина стакан,
Танцует все канкан, канкан...

— У меня немножко не так...— попытался нерешительно протестовать Куколка.

— Я знаю, но по музыке нельзя иначе.

Развеселившийся Меценат велел подать шампанского, и все с бокалами в руках спели застольную песню все о той же безропотной старушке.

Ушел Куколка, очарованный обществом, крепко потрясая всем руки и обещая, что он «никогда, никогда не забудет этого чудного дня и что он, если позволят, будет приходить часто-часто»...

Когда амфитрион и его веселые клевреты остались одни, Новакович стал посреди комнаты, засунул руки в карманы и вызывающе сказал:

— Ну??!!

— Этот человек действительно стоит 25 рублей,— тоном специалиста определил Меценат.— Его нужно прикормить здесь.

— Хотите я для смеху напечатаю его стихи в журнале? — предложил Мотылек.

— Надо сделать больше,— подхватил Кузя.— Мы должны сделать из него знаменитость. Я завтра дам в свою газету о нем заметку.

— Одну? Нужно дать ряд заметок. А потом мы устроим вечер его произведений!

Таким образом — однажды в сумерки была организована эта противоестественная издевательская кампания, направленная против святой простоты доверчивого, наивного, глуповатого юноши...

Глава IV

Вообще о Меценате

Странный господин этот Меценат. По существу, не плохой человек, он с ранней юности был заедаем скукой, а эта болезнь вела его жизнь по самым причудливым, прихотливым путям.

Богатство избавляло его от прозы добывания средств к существованию, и поэтому неистощимый запас дремавшей в нем энергии и пылкой фантазии он направлял в самые неожиданные стороны.

Много путешествовал, но без толку. Приехав в любую страну, он не знакомился с ней, как все другие путешественники, не осматривал музеев и достопримечательностей, а, осев где-нибудь в трущобном кабачке, заводил знакомство с рыбаками, с матросами, дружился с этим полуоборванным людом и, угостив шумную компанию, потом с наслаждением созерцал их бурные споры, ссоры и потасовки.

Горячо любил всякую живую жизнь, но как-то так случалось, что искал он ее не там, где нужно.

Писал очень недурные рассказы, но не печатал их. Прекрасно импровизировал на рояле, но тут же забывал свои творения.

Временами целые дни валялся на диване с «Историей французской революции» или «Похождениями Рокамболя» в вялых руках, а потом вдруг на него нападала дикая энергия, и он носился с компанией своих приспешников из подозрительных трактиров в первоклассные рестораны и обратно, шумя, втягивая в свою орбиту массу постороннего народа, инсценируя ссоры, столкновения и разрешая их гомерическим пьянством.

И потом после двух-трех таких бурных дней снова тихо опускался на дно, как безгласный труп утопленника...

Он был женат, и это, пожалуй, можно назвать самой большой нелепостью его жизни... Зачем он женился?

Ответ можно было найти один: Меценат пылко, истерически любил всякую красоту — в красках ли, в звуке, в шелесте спелой ржи или в текучей изменчивости подвижного лица прекрасной женщины.

Поэтому встреча с Верой Антоновной и решила его бестолковую судьбу.

Она была прекрасна — высокая пышная брюнетка с мраморным телом и глазами, как две звезды освещавшими матово-бледное лицо. Такой соблазнительной ножки и трепетных гибких рук Меценат не встречал за всю свою жизнь, и поэтому он решил вопрос просто:

— Или эта женщина будет моей, или я умру.

Из того, что он не умер, ясно для читателя решение этой дилеммы в его пользу.

Эта роскошная красавица была невероятно ленива, ум

ее и тело были всегда в дремлющем состоянии; поэтому, когда Меценат впервые ее поцеловал, она, полуразбуженная, недоумевающая, осведомилась:

— Чего это вы там возитесь около моего лица?

Такой вопрос еще больше привел его в восхищение:

— О, прекрасная мраморная статуя! Это я вас поцеловал.

— Здравствуйте! Была охота. Неужели это вам доставляет удовольствие?

— Слушайте,— пылко сказал Меценат.— Мне бы очень хотелось, чтобы вы вышли за меня замуж! Я вижу, вы любите спокойную малоподвижную жизнь — я дам вам ее! Я настолько богат, что могу окружить вас чисто восточной роскошью, полной неги, лени и наслаждений!

— А? — переспросила она музыкальным, но сонным голосом.— Простите, я не расслышала.

И добавила с очаровательной простотой:

— Я, кажется, задремала... Повторите, что вы сказали.

Меценат повторил, разукрасив свое предложение пышными цветами своей дикой исступленной фантазии.

— Жениться на мне хотите, что ли? — кратко формулировала она поток его красноречия.

— Да, да, божественная статуя Киприды!..

— А вы не будете меня... тормошить?..

— О, нет. После медового месяца — полная свобода.

— Слушайте... только, по-моему, женитьба — это такая возня... Портнихи, какие-то документы, обручение. Вы человек очень приятный, но... нельзя ли без этого?

— Без... чего?

— Без того, чтобы меня тормошили.

— Вот что... У вас завтра найдется полчаса свободного времени?

— Увы, я уж чувствую, что это будут «несвободные полчаса времени». Чем вы хотите меня занять?

— Я все устрою раньше. Ваше дело только — заехать в церковь обвенчаться.

— Неужели это можно так просто? — поглядела она на него, приятно удивленная.

— Да, да,— только полчаса. А потом мы с вами поедем путешествовать.

— Только поедем куда-нибудь подальше. Хорошо? В вагоне экспресса так удобно. А вылезешь — бррр... Носильщики, суета, толпа на вокзале... В отеле нужно

устраиваться... Что вы так на меня смотрите? Послушайте! Неужели я вам нравлюсь такая?

— Больше, чем когда-либо! Да ведь это клад — спящая красавица! По крайней мере, лень помешает вам говорить и делать глупости...

— А? Что вы говорите?

Он пылко целовал ее, а она, сложив классически изваянные руки на прекрасных коленях, погрузилась в сладкую дремоту...

После свадьбы Меценат сделал все по желанию Веры Антоновны: полтора месяца они носились в экспрессах по всей Европе — он пылкий влюбленный, она в состоянии сладкой неподвижности и полудремоты... Никогда еще в мире не было большего контраста между бешено мчавшимся экспрессом и этим роскошным неподвижным телом, безмятежно покоящимся в его железных недрах.

Через полтора месяца эта удивительная пара вернулась, и Меценат любовно устроил жену на отдельной квартире, потому что, как объяснила она, «так меньше беспокойства».

Жили они дружно, потому что Меценат, насытившись первым пылом страсти, не докучал ей своими посещениями, снова погрузившись в мир Мотыльков, Телохранителей и пикников с ухой на дорогом персидском ковре в своей дикой гостиной... Перебесился, благосклонно объясняла нянька, преклонявшаяся перед Меценатом.

Глава V

О клевретах Мецената

Эту странную коллекцию «развратных молодых людей, впоследствии разбойников» — как называл своих клевретов Меценат, пользуясь ремаркой Шиллера,— он составлял постепенно...

Первым к нему пристал Кузя.

Однажды Меценат сидел в задней комнате темного кафе, играя с незнакомым унылым старцем в шахматы.

Кузя, ленивый репортер одной плохо читаемой газетки, сидел тут же и, хлопая отяжелевшими веками, следил за игрой...

После одного из ходов унылого старика Кузя посоветовал:

— Возьмите у него коня.

— Что вы, милый мой! Да ведь тогда он делает королю и королеве «вилку» и забирает королеву.

— Ах, да!..— сконфуженно сказал Кузя.

Через два-три хода Кузя снова дал преглупый совет:

— Двиньте этой пешкой, двиньте!

— Да ведь тогда король открывается.

— Ах да!..

— То-то вот «ах да!»,— добродушно сказал Меценат, делая старичку мат.— Гнилой вы игрок, я вижу. Хотите, сыграем, я вам дам вперед королеву.

— Не знаю уж, как и быть...— нерешительно пробормотал Кузя.— Уж больно я плохо играю. По рублику разве одну партию.

Сыграли. Кузя выиграл с большим трудом и усилиями. Сыграли вторую партию. Эту Кузя выиграл легче.

— Нет, королеву вперед мне трудно,— признался Меценат.— Хотите коня?

— Давайте коня,— после некоторого колебания согласился Кузя и... выиграл и эту партию.

— Желаете ли на квит без форы? — предложил Меценат, совершенно обескураженный таким странным случаем.

— Желаю,— коротко согласился Кузя и... выиграл. На седьмой партии уже Кузя давал Меценату вперед коня — и к концу игры толстый бумажник Мецената значительно похудел.

— А вы ловкий парень,— рассмеялся Меценат, кончая игру.

— Да, я ловкий,— согласился Кузя.— А вам наука: не играйте так азартно с незнакомыми.

— Ну, теперь, я надеюсь, мы не будем незнакомы,— любезно сказал восхищенный его цинизмом Меценат.— Пойдем, я угощу вас ужином.

— Нет, лучше я угощу. Я совершенно вас обыграл.

— О, у меня дома еще много денег.

И, увидев, как Кузя, не вынимая правой руки из кармана, пытался одной левой зажечь спичку о коробку, лежавшую на столе, воскликнул с неподдельным восторгом:

— Послушайте! Вы почти так же ленивы, как моя жена.

— Шахматный ум,— лаконически пояснил Кузя.— В обычной жизни дремлет.

— Вы шахматами только и живете?

— Нет, я репортер в «Голосе Утра». Если вас кто-

нибудь ночью ограбит — позвоните ко мне. Я опишу это так, что сам преступник будет плакать, как дитя.

После ужина Меценат затащил Кузю к себе, и до утра за рюмками шартреза оба с приятностью проспорили об Эдгаре По, о лучших способах обнаруживать преступления и о красоте донских казачек.

Оба были энциклопедисты.

Встреча с Новаковичем произошла при более трагических обстоятельствах.

В 3 часа ночи в трактире «Иордань» — месте, наименее всего подходившем по своему характеру к этому кроткому библейскому наименованию — карманный вор Гриша с пылом объяснял заинтересованному Меценату сложные приемы своего ремесла, демонстрируя способ ощупывания «пассажира», расстегивания пуговиц и извлечения бумажника.

Меценат не брезговал и таким обществом, потому что, как сказано было выше, любил «живую жизнь во всех ее проявлениях», а карманный вор Гриша был яркой личностью и специалистом в своей опасной профессии.

Поэтому Меценат забавлялся новинкой, как дитя, и, когда Гриша, показывая некоторые позиции правой и левой руки, ловко вытащил Меценатовы золотые часы уже не с целью демонстрации, а с корыстолюбивыми намерениями, Меценат тут же, повторяя Гришины пассы, незаметно извлек из Гришина галстука бриллиантовую булавку, после чего оба, хохоча, как дети, вернули друг другу вещи по принадлежности.

— А вы тоже ловкий,— отпустил Гриша галантный комплимент.— Вам бы подучиться, могли бы с нами вместе работать.

Тут же он, окликнутый товарищем, отошел на минуту от польщенного Мецената, а к Меценату приблизился кроткий, елейного вида мужчина с ласковыми глазами и предложил:

— Не хотите ли перекинуться в картишки? Тут, в задней комнате. Пойдем, господин, много выиграть можете, ежели повезет.

«Шулер,— мелькнуло в голове Мецената,— любопытно с ним сразиться...»

— Ну что ж, пойдем,— благодушно согласился он вслух.

И уже собрался идти, как к столу приблизился огромный плечистый студент в узкой порыжевшей тужурке — мирно уплетавший до этого объемистое блюдо сосисок с

пивом за соседним столом,— приблизился и сказал спокойно, но увесисто:

— Нет, вы с ним не пойдете играть в карты.

— Почему? — с любопытством осведомился Меценат.

— Потому что...

— Послушайте, молодой человек...— кротко сказал елейный игрок.— Вы лучше бы не мешались не в свое дело, а?

— А ты, голубчик, лучше отойди,— не менее кротко посоветовал атлетичный студент.

У «голубчика» лицо мгновенно изменилось, елейность слетела, как шелуха, и бешеный волк с горящими, как угли, глазами ощерился и защелкал зубами.

— Ну, ну, брось,— спокойно, но серьезно сказал студент.— Отойди. А! Чер-р-рт!

Последующее произошло так быстро, что Меценат не успел бы сосчитать до трех: елейный человек сделал неуловимое движение рукой и в ней вдруг сверкнул, будто бы схваченный в воздухе, короткий финский нож. Он так и застыл на весу, потому что студент, сделав не менее неуловимое движение, уже держал руку «игрока» с ножом немного повыше локтя.

Студент стоял очень спокойно, а «игрок» вдруг побледнел, и рука его задрожала мелкой дрожью...

— Видишь, чудак... я ж предупреждал. Как вы думаете,— спросил студент, глядя на Мецената открытым ясным взглядом,— сломать ему руку или просто выкинуть его?

— Неужели можно сломать? — заинтересовался Меценат, более, впрочем, академически, как любитель спорта.

— О, пустяки. Один резкий поворот наружу и...

Нож со звоном выпал из посиневшей руки «игрока».

— Отпустите,— угрюмо сказал он, корчась от боли.— Я уйду.

— Иди, милый, иди с Богом. Нечего тебе тут делать. Пойди займись чем-нибудь другим.

Когда они остались одни, Меценат спросил:

— Кто это такой?

— О, страшная скотина. Тот первый, с которым вы сидели давеча, очень приличный малый. Обыкновенный вор. В крайнем случае, лишились бы бумажника — и все, а этот... и табаком глаза засыплет, и ножичком ткнет при удобном случае, не задумываясь. А мы еще и не знакомы: студент Новакович.

Вернувшийся Гриша, узнав, в чем дело, в полной мере подтвердил слова Новаковича:

— У нас его тоже не любят... Мы на «мокрое дело» никак не пойдем, а ему это — все равно как «Отче наш» прочитать. Чуть что — сейчас за «перо» *, нехороший человек, наши его избегают... Разрешите пощупать ваши мускулы? — вежливо отнесся он к Новаковичу.

— Сделайте одолжение. Вишь ты, они у меня какие. Это от сахару, да еще моркови ел я много.

Тут же он самым простым убежденным голосом рассказал новым знакомым такую невероятную, неправдоподобную историю, что и Меценат, и Гриша до упаду смеялись.

С этого дня Новакович сделался неизменным спутником, а иногда и телохранителем Мецената во всех авантюрах благодушного скучающего богача.

Позднее всех прилетел на Меценатов огонек беззаботный поэт Паша Круглянский, прозванный Мотыльком, потому что первое время, являясь в компанию даже в десять часов утра, он неизменно говорил извиняющимся тоном:

— А я к вам на огонек зашел.

Впервые обнаружил его Меценат у витрины большого книжного магазина.

Мотылек стоял, собирая свое морщинистое лицо в чудовищные складки и снова распуская их, и вполголоса ругался.

— Ослы! Подлецы! Скоты несуразные. Черти.

— Кто эти «ослы»? — ввязался Меценат в его телеграфический монолог.

— Издатели,— доверчиво пояснил Мотылек.— Что они выпускают? Что печатают? Разве это стихи?

— А вы, собственно, какие стихи предпочитаете?

— Свои. Вот послушайте...

И, прислонившись спиной к витрине, Мотылек принялся с пафосом декламировать какую-то элегическую балладу.

— Правда, хорошо?

— Очень. Кстати, хотите привести в порядок мою библиотеку?

— А у вас большая?

— Тысячи три томов.

— Пойдем! — решительно сказал Мотылек, хватая Мецената за руку.

* «Перо» на воровском жаргоне — нож.

— Да не сейчас, чудак. Это успеется. Сейчас время завтрака.

— Пойдем завтракать! — не менее бурно ухватился за эту мысль, а равно и за руку Мецената Мотылек.— Только вот что...

Он выпустил Меценатову руку, вынул тощее портмоне и принялся задумчиво пересчитывать серебряную мелочь.

— Гм! Хватит ли на двух, а?

— С моими хватит,— успокоил его Меценат.— В общем у нас с вами тысячи полторы наберется.— И повлек оглушенного Мотылька за собой.

С тех пор так и повелось, что за всех расплачивался Меценат. Нельзя сказать, чтобы клевреты были корыстолюбивы, но все они рассуждали вполне справедливо, что, если бы им вздумалось тянуться в расходах за Меценатом, каждый из них лопнул бы через два дня, а расстаться из-за этих пустяков с Меценатом никому и в голову не приходило — очень уж они привязались к Меценату, более того, полюбили Мецената.

Впрочем, Меценат, субсидируя их наличными, хорошо знал, что часть его денег попадала к их посторонним приятелям, еще более нищим, чем они, и поэтому ничто не нарушало его благодушного равновесия.

— Справедливое распределение между населением благ земных,— говорил он иногда, посмеиваясь.

Несмотря на всякие шуточки и подтрунивания, эта банда очень уважала Мецената, и все по молчаливому уговору обращались к нему на «вы», в то время как Меценат ласково, бесцеремонно всех называл на «ты».

Между собой «клевреты Мецената», как они сами себя величали, жили дружно, только Новакович изводил Кузю, играя с ним, как огромный дог со щенком, да Кузя иногда любил «топить Мотылька», что выражалось в следующем: декламирует Мотылек перед всем обществом свои новые стихи или рассказы. Кончит — и несколько секунд перед аплодисментами царит восхищенное молчание.

— Н-да-с, н-да-с, н-да-с,— скучающе говорит Кузя.— Хороший рассказец, очень славный. Только я его уже читал у другого писателя раньше.

— У кого ты читал?..— полусмущенно, полусердито допрашивает Мотылек.

— У этого, как его... забыл фамилию. И фабула та же, и даже выражения одинаковые.

— Нет, так нельзя,— стонет возмущенный Мотылек.— Ты обязан указать, где ты читал!!

— Да это не важно. Чего ты волнуешься. Я где-то в немецком журнале читал...

— Да ведь ты не знаешь немецкого языка!

— А ты знаешь?

— Я-то знаю.

— Ну, вот, значит, ты и «воспользовался». А мне переводил один знакомый. Ну, прямо-таки у тебя слово в слово, что и там. Знакомого Семен Семенычем зовут,— заканчивал Кузя, заимствуя этот прием «достоверности» у Новаковича.

Мотылька такая неуловимая туманная клевета расстраивала почти до слез. В самом деле — пойди проверь: «Твердо знаю, что читал то же самое в немецком журнале, а в каком — не помню».

Однако в глубине души тот же Кузя признавал большой литературный талант Мотылька, и они часто с Меценатом в интимной беседе горевали, что их столь одаренный приятель не может добиться известности. Вот каковы были люди, организовавшие шутку в «титанических размерах», по словам одного из них, избрав целью этой шутки глуповатого, наивного, как дитя, но самоуверенного в своем простодушии юношу...

Глава VI

Меценат и его клевреты продолжают развлекаться

Несколько дней спустя после первого появления Куколки можно было наблюдать в знаменитой квартире Мецената мирную семейную картину: сам Меценат, облаченный в белый халат, прилежно возился около станка, на котором возвышалась груда сырой глины, и под его проворными гибкими пальцами эта груда принимала постепенно полное подобие сидящего тут же в гордой позе Мотылька.

В другом углу обнаженный до пояса могучий Новакович тренировался гантелями, широко разбрасывая свои страшные, опутанные, как веревками, мускулами руки, ритмично сгибаясь то в одну, то в другую сторону...

— Телохранитель! — воззвал Меценат, округляя большим пальцем лоб глиняного Мотылька.— У меня руки в глине, а как назло щека зачесалась. Почеши, голубчик.

— Которая? — деловито приблизился к нему Телохранитель.— Эта, что ли?

Он почесал Меценатову щеку и, склонив голову на сторону, уперев руки в боки, принялся разглядывать произведение Мецената.

— Морщин маловато,— критически заметил он.— Еще бы десяточек подсыпать.

— Довольно, довольно! — испуганно закричал Мотылек.— Ты рад из меня старика сделать!

— Ну, какой же ты старик! У тебя только кожа на лице плохо натянута. Ты бы сходил к обойщику перетянуть.

— Отстань, черт.

— Мотылек!

— А?

— Сколько парикмахер берет с тебя за бритье?

— Что значит — сколько? Обыкновенную плату: 15 копеек.

— Да ведь работы-то ему какая уйма! Сначала должен выкосить все пригорки и бугорки, потом, перекрестившись, спуститься в мрачные ущелья твоих морщин и там, внизу, во тьме, спотыкаясь, почти ощупью бедняга должен выкорчевывать все пеньки и корни.

— Ну, поехал. Глупо.

— Был у меня, братцы, приятель,— начал, сев верхом на стул, Новакович одну из своих идиотских историй, которые он всегда рассказывал с видом полной достоверности.— И у этого приятеля, можете представить, совершенно не росли усы. А дело его молодое — очень ему хотелось каких-нибудь усишек. И придумал он вещь не глупую: выдрал с затылка сотни две волосиков вместе с луковицами, потом сел у зеркала, вооружился увеличительным стеклом, иголкой и — пошла работа! Иголкой ткнет в верхнюю губу и сейчас же туда волос с луковицей ткнет и луковицу в дырочку посадит. Прямо будто виноградные черенки сажал.

— Врешь ты все, Телохранитель.

— Не такой я человек, чтобы врать — эта история потом наделала в сферах много шуму. Посадил он, стал каждое утро водичкой поливать. И что ж вы думаете — ведь принялась растительность! Но только ужас был в том, что растительность эта, новенькая-то, не лежала на губе, как у других, под углом в 45 градусов, а торчала перпендикулярно, потому что он луковицы торчмя вгонял. Очень терзался бедняга.

Меценат, выслушав эту историю, рассмеялся, а Мотылек возмущенно воскликнул:

— Телохранитель! Всякому вранью есть границы.

— Ты думаешь, я вру? А если я тебе назову фамилию этого человека — Седлаков Петр Егорыч,— тоже, значит, вру? Он жил на Кирочной, а теперь переехал не знаю куда. Можешь сходить к нему. Эта история подробно описана в одном немецком жур... А! Кузя! Откуда Бог несет?

Кузя влетел, бодро помахивая пачкой свежих газет.

— Вот, друзья, какова сила печати! Не только Куколку — берусь Анну Матвеевну всероссийской знаменитостью сделать.

— А что?

— Вот! Заметка первая — в «Столичном Утре». «На днях в роскошном особняке известного Мецената и покровителя искусств (это я вам так польстил, Меценат) в присутствии избранной литературно-артистической публики (Мотылек, цени, это я о тебе так!) впервые выступил молодой, но уже известный в литературных кругах поэт В. Шелковников. Он прочитал ряд своих избранных произведений, произведших на собравшихся неизгладимое впечатление...»

Одобрительный смех встретил эту заметку.

— Это не все, господа! Вот литературная хроника «Новостей дня»: «В литературных кругах много толков вызывает появление на нашем скудном небосклоне новой звезды — поэта Шелковникова. По мощности, силе и скульптурной лепке стиха произведения его, по мнению знатоков, оставляют далеко позади себя таких мастеров слова, как Мей и Майков. В скором времени выходит первая книга стихов талантливого поэта».

— Ай да старушка в избушке верхом на пушке! — воскликнул Мотылек, злорадно приплясывая.— Смеху теперь будет на весь Петербург.

— И, наконец, последняя заметка,— самодовольно улыбаясь, сказал Кузя.— «Нам сообщают, что Академией наук возбужден вопрос о награждении Пушкинской премией молодого поэта В. Шелковникова, произведения которого наделали столько шуму». Все!!

— Кузя! Да как же редакторы газет могли напечатать такую галиматью?

— Э, что такое редакторы,— цинично рассмеялся Кузя.— Они по горло сидят в большой политике, и их сухому сердцу позиция Англии в китайском вопросе гораздо

милее и ближе, чем интересы родного искусства... Признаться, в своей газетке я заметочку сам подсунул, в чужих — приятелей из репортеров подговорил... Сейчас у «Давыдки» стон стоит от хохоту. Там уже балладу сложили насчет скрипучей старушки, признаться, очень неприличную.

— Интересно бы сейчас увидеть Куколку... Вот, поди, именинником ходит!

— А ведь он, ребята, по своей глупости все это всерьез примет!

— Портрет свой у Дациаро выставит!

— Фабриканты выпустят папиросы «Куколка»!

Громкий смех веселой компании заглушил робкий стук в дверь.

Только чуткий Меценат расслышал.

— Стучат, что ли? Кто там? Входите!

Вошел он... Куколка. Элегантный, дышащий свежестью молодости.

Оглядел всю компанию своими мягкими лучистыми глазами и кротко улыбнулся.

— Я вам помешал, господа? Вы почему-то очень громко смеялись?

— Это я о своем отце рассказывал,— нашелся Телохранитель,— понимаете, он был до того высок ростом, что, когда ему приходилось высморкаться в платок, он на колени становился.

— Как странно,— удивился Куколка.— Зачем же это он так?

— А вот спросите! Глеб Иваныч его звали.

Куколка помедлил немного, потом глаза его засияли небесным светом, и он тихо сказал:

— Господа... я, может быть, глуп и неловок, я сам сознаю это... И ненаходчив тоже. Но я сейчас пришел сказать вам, что... таких людей, как вы, я встречаю первый раз в своей жизни!!!

Это горячее восклицание Куколки было так двусмысленно, что все опасливо переглянулись.

— Неужели сорвалось? — испуганно пробормотал Мотылек на ухо Меценату.— Неужели догадался?

— Куколка,— сухо сказал Кузя.— Мы не понимаем — что вы хотите сказать этими словами? Мы такие горячие почитатели вашего чудного таланта...

— Я знаю, знаю! — в экстазе воскликнул Куколка.— Вот поэтому-то я и говорю, что людей, подобных вам, я встречаю впервые в жизни! До встречи и знакомства с ва-

ми все другие, даже друзья мои — только бессмысленно трещали мне в уши, говорили мне хорошие слова, а вы не только обласкали меня, но и сделали для совершенно неизвестного вам человека то, чего не сделал бы и отец родной! Вы мне дали крылья, и я, до сих пор скромно ползавший, как червяк, по пыльной земле, теперь чувствую себя таким сильным, таким... таким мощным, что кажется мне — несколько взмахов этими сильными новыми крыльями, и я взлечу к самим небесам!!!

— Куколка, не улетайте от нас,— сентиментально попросил Новакович.

— О нет! Вы для меня теперь самые родные, и я вас никогда не покину! Я должен быть около вас, вдыхать, впитывать тот благородный аромат чистой поэзии, который вас окружает и который я буду вдыхать одной грудью с вами. До встречи с вами я был мелок и вял — теперь я будто окреп и вырос! Друзья! Я, конечно, знаю, что в ваших газетных заметках обо мне много дружеского преувеличения, многого я еще не заслужил... Но, друзья! Я сделаю все, чтобы оправдать эти ваши даже преувеличенные надежды на меня! Теперь у меня появился смысл и цель работы, и я клянусь вам, что наступит время, когда вы сами будете гордиться мной, и скажете вы тогда: «Да, это мы поддержали первые робкие шаги Куколки и это благодаря нам он сделался тем человеком, который и свою долю меду внес в благородный улей русского искусства...» И когда румяный Феб взметнет свою золотую колесницу к солнцу...

— Коньяк-то... дома будете хлестать али куда пойдете? — деловито спросила Анна Матвеевна, незаметно вошедшая во время пылкого монолога Куколки.— Ежели дома, то я послала бы за коньяком... Что было старого запасу — как губки высосали!

— Кальвия Криспинилла! — завопил Мотылек.— Как вы можете говорить о пошлом земном коньяке, когда мы пили сейчас божественный напиток, изливающийся из уст Куколки!..

— Анна Матвеевна! — высокопарно сказал Новакович.— Вы вошли в ту самую минуту, когда, может быть, в мире в муках рождался истинный, Божьей милости поэт!..

И прозаично докончил шепотом:

— Нет ли у вас сахарцу, многоуважаемая? Я бы пожевал сладенького.

— Бестолковый вы народ, как погляжу я на вас,—

проворчала Анна Матвеевна, доставая из кармана горсть сахару и суя в руку Новаковича.— А ты чего, сударь, с ними разговариваешь? Погубят они тебя. Плюнул бы на них да пошел бы прочь, в хорошую чистую компанию.

— Имею честь кланяться,— ласково приветствовал ее Куколка.— Как ваше здоровье, дорогая Анна Матвеевна?

— Здравствуй, здравствуй, голубчик! — благосклонно кивнула ему головой нянька.— Какое там наше старушечье здоровье. С ногами что-то нехорошо. Не то ревматизм, не то что другое.

— Муравьиным спиртом советую натереть,— авторитетно посоветовал Куколка.

— Как приятно видеть,— тонко усмехаясь, сказал Меценат,— сочетание в одном лице Эскулапа с Аполлоном. Куколка, будем пить коньяк?

— Я... собственно, не пью...

— Но выпьете. Выпьем за появление на свет нового поэта, большой успех которого я провижу духовными очами!

— О, как вы все добры ко мне! — чуть не со слезами воскликнул Куколка, поворачиваясь во все стороны.— О, какая сладкая вещь — дружба!

— То-то и оно! Кальвия Криспинилловна — распорядитесь.

— Какая я тебе Кальвия,— огрызнулась старуха.— И что это за человек? В морщинах весь, а ругается.

— Да морщины-то, может, и породили во мне скепсис, мамаша. Будь я такой красавчик, как Куколка... О-о! Тогда бы я покорил весь мир.

Глава VII

Мотылек показывает зубы

Когда на столе появился коньяк и закуска, Мотылек первую рюмку выпил за успех Куколки.

— Куколка! — воскликнул Кузя.— Хотите, я научу вас играть в шахматы? Это разовьет точность мысли и способность к комбинациям, что никогда не помешает такому поэту, как вы.

— Да ведь я уже играю в шахматы,— с сияющей улыбкой признался Куколка.— Только плохо.

— Знаем мы, как вы плохо играете.

Новакович дружески посоветовал:

— Куколка, раз вы теперь входите в известность — вам бы сняться нужно. Будете дарить поклонникам свои портреты.

— Да я уже и снялся. Позавчера. У Буассона и Эглер. Они обещали, что портреты будут превосходные.

Все значительно переглянулись, а Меценат одобрил:

— Молодец. Не зевает. Действительно, надо ковать железо, пока горячо. Фрак бы вам тоже нужно. Для публичных выступлений.

— Вчера заказал у Анри. Хороший будет фрак.

— Ну и Куколка же! Вот голова! Обо всем подумал.

— Я и книжку своих стихов собрал,— застенчиво признался Куколка.— Вдруг найдется издатель, ан книжка уже и готова.

— Что это за человек,— чуть не захлебнулся коньяком Мотылек.— Только что-нибудь подумаешь, а он уже все предвидел и все сделал. В одном теле и Аполлон и Наполеон.

— Господа,— воскликнул Меценат.— Я предлагаю устроить пышный праздник коронования Куколки в поэты! Устроим это у меня, и тогда можно будет пригласить и Яблоньку. Я сначала думал снять отдельный кабинет в какой-нибудь таверне, но в таверну Яблонька не пойдет.

— Праздник с Яблонькой?! — пришел в восторг Кузя.— Да это же будет великолепно!

— Кто это — Яблонька? — с любопытством спросил Куколка.

Новакович заметно оживился:

— Яблонька-то? Если вы не знаете Яблоньки — вам незнакома подлинная красота мира, вы не поймете по-настоящему смысла в шелесте изумрудной травы, вы не поймете музыки журчания лесного ручья, пения птицы и стрекотания кузнечика — одним словом, в Яблоньке вся красота мира видимого и невидимого...

— Послушайте, Новакович,— радостно сказал Куколка,— да ведь вы же тоже поэт!

Раздался общий смех, который окрасил мужественные ланиты Новаковича в ярко-багровый цвет. Он смущенно пробормотал:

— Не обращайте на них внимания, Куколка. Они бывают иногда утомительно глупы. Они ничего не знают.

— Нет, мы многое знаем. Я, например, знаю способ,

с помощью которого физическое напряжение мускулов путем перегонки превращается в букет дорогих, привозимых из Ниццы белых роз и гвоздик!

— Кузя! На шкаф посажу!

— Ты меня можешь засунуть даже в карман... Но тогда у тебя в кармане, как говорил один древний мудрец, будет больше ума, чем в голове!

Меценат заинтересовался:

— Да как же это можно, Кузя, перегонять человеческую мускульную силу в цветы?

— Ах, вы не знаете, Меценат? А как вы назовете это, если человек вопреки своим спортивным принципам напяливает на голову черную маску, поступает инкогнито в цирковой чемпионат, кладет на лопатки несколько идиотов, получает за это деньги и вместо того, чтобы сшить себе новый костюм, посылает Яблоньке букет роскошных белых роз в день ее рождения?! Так сказать: цветок цветку.

Новакович сидел, опустив голову, угрюмый, совершенно раздавленный ядовитым рассказом Кузи.

Меценат внимательно глядел на Новаковича и вдруг покачал своей мудрой беспутной седеющей головой. В глазах его на один миг мелькнула чисто отеческая ласка.

— Телохранитель! Я и не знал о твоих подвигах на арене. На кой черт ты это сделал? Превосходно мог бы взять деньги у меня. Тем более — для Яблоньки.

— Вы знаете, Меценат,— тихо сказал Новакович,— я залезаю в ваш карман без всякой церемонии слишком часто и знаю, что вы выше этих пустяков, но я хотел сделать Яблоньке приятное на собственные заработанные деньги.

Кузя захихикал:

— Как заработанные? Как? На этих белоснежных лепестках сверкала не роса, а капли борцовского пота, выдавленного из несчастных «чемпионов Африки и Европы» твоими медвежьими нельсонами...

— Кузя! Ты можешь об этом больше не говорить? — нахмурясь, сказал Новакович.

— И верно! — увесисто подкрепил Меценат.— Где замешана Яблонька — клевреты должны безмолвствовать.

Кузя вдруг завопил:

— Шапки долой перед святой красотой!! Телохранитель, я люблю тебя.

— Я был бы счастлив познакомиться с этой достойной девицей,— жеманно заявил Куколка.

— Я думаю! Губа-то у вас не дура. Я того мнения, Меценат, что Яблонька должна короновать нашего поэта собственными руками... А?

— Конечно, впрочем, я выработаю подробный ритуал всего празднества. Куколка! Куда же вы?

— А мне нужно спешить... Я должен обработать одно мое стихотворение...

— Неужели такое же, как о старушке в избушке?! — восторженно ахнул Кузя.

— Нет, в другом роде. Однако неужели, господа, вам так понравилась «Печаль старушки»?

— О, это вещь высокого напряжения. То, что немцы называют «шлягер»! Я ее недавно декламировал в одном доме — так все чуть с ума не сошли!

— Ей-Богу? — расцвел Куколка.— И за что вы все так меня любите, не понимаю!

— За талант, батенька, исключительно за талант! За редким растением и уход особенный.

— Спасибо. Хотите, я свои новые стихи посвящу вам?

— О, достоин ли я такой чести,— сказал Кузя таким жалобно-уничижительным тоном, что Новакович отвернулся и прыснул в кулак.

А Куколка, ничего не подозревая, обводил всех ясным доверчивым взглядом, и сияла в этом взгляде ласка и собачья любовь к каждому из них.

— Жалко мне с вами расставаться, но ничего не поделаешь: искусство выше всего. Зайду только проститься с уважаемой Анной Матвеевной и помчусь домой. До свидания, мои хорошие.

Он вышел. Все помолчали. Потом Новакович почесал затылок и сказал:

— Меценат! Каков экземпляр, а? Это я его нашел. И за такого человека я получил всего 25 рублей. То есть так продешевить могу только я. Нет, не гожусь я в торговцы живым товаром.

— Послушайте-ка, господа,— и Меценат озабоченно обвел взглядом клевретов.— Шутка наша хороша, конечно... Она забавна, тонка и остроумна. Но как мы из нее в конце концов выпутаемся?! Представьте себе, что этот бездарный идиот вдруг действительно каким-нибудь чудом выпустит книжку своих стихов. Что тогда? Ведь скандал будет на весь мир?!

Мотылек, сидевший до этого в глубокой задумчиво-

сти, вдруг вскочил и, собрав свое лицо в такие складки, что они оказались трепетавшим клубком судорожно извивавшихся змей, вдруг прошипел с самой настоящей злобой в голосе:

— И пусть! И пусть! Я давно уже жажду такого звонкого мирового скандала! Ведь подобного болвана, как этот Куколка, в сто лет не отыщешь! И какой самоуверенный болван! Пусть будет скандал! Так и надо! Так и надо!

— Чего ты,— даже отшатнулся от него Кузя.— Смотрите, взбесился человек! Лицо-то у тебя — будто черт лапой смял. Эй, морщины! Вольно! Марш по местам!

— Я давно, давно поджидал такого случая!! Обратите внимание на меня! Я пишу, творю вещи кровью моего мозга, изливаю лучшие свои чувства, щедро бросаю в тупую толпу целые пригоршни подлинных бриллиантов — и что же?! Я, как слизняк, пребываю во тьме, в неизвестности! Критика даже не замечает меня, публика глотает мои произведения, как гиппопотам — апельсины или как та гоголевская свинья, которая съела мимоходом цыпленка и сама этого не заметила!! Так я ж тоже плюю на них на всех! Более того! Я хватаю этого Куколку и швыряю его им всем в гиппопотамью морду!! Нате, нате вам! Вот достойный вас поэт. Смакуйте его, жуйте вашими беззубыми челюстями! Эввива, поэт Шелковников! Кузя! Друг ты мне или нет? Так пиши еще о Шелковникове, звони, ори на весь мир — я буду тебе помогать! Я буду читать лекции о новом поэте Шелковникове, устрою целый ряд докладов, лекций, рефератов — и когда толпа, как стадо, ринется к его ногам, я плюну им в лицо и крикну: «Вот ваш бард! Я, как Диоген с фонарем, отыскал самое бездарное и самоуверенное, что есть в мире, и, хохоча, склонил ваши воловьи шеи перед этим апофеозом пошлости! Кланяйтесь ему, кланяйтесь, скоты!»

Он упал в кресло и, закрыв лицо руками, погрузился в молчание.

Остальные трое, ошеломленные этой неожиданной бешеной вспышкой, стояли вокруг него, не зная, что сказать. Они хорошо знали Мотылька, но сейчас на них глянуло совсем другое, новое лицо этого беззаботного человека.

Когда же молчание сделалось невыносимым, Кузя решил смягчить общее настроение.

— Здорово! — усмехнулся он.— Мы-то в простоте ду-

шевной думали, что «игра с Куколкой» — просто новенькая забава скучающей части русского мыслящего общества, а Мотылек — вишь ты, дай Бог ему здоровья — взял да и подвел под эту дурацкую историю прочный идеологический фундамент... Умная голова — наш Мотылек!

Меценат засвистел, подошел к неоконченному бюсту Мотылька и, оглядывая свое произведение, сказал:

— Попробую сделать тебе такое лицо, которое я видел сейчас, и назову это произведение: «Ярость».

— Трудно это, Меценат! — подхватил Новакович.— Для морщин на лице места не хватит.

Все шутили, но... в глубине души были очень удивлены. Чрезвычайно.

Впервые веселый Мотылек повернулся ко всем столь неожиданной стороной своей разнообразной натуры.

Глава VIII

О Яблоньке и ее физических и душевных свойствах

У Мецената и его клевретов была непонятная страсть: награждать всех, кто с ними соприкасался, прозвищами. Этим как будто вносился какой-то корректив в ту слепую случайность, благодаря которой человек всю жизнь таскает на своих плечах имя, выбранное не по собственному вкусу или вкусу других, а взятое черт знает откуда: почему этот элегантный, одетый с иголочки парень именуется Иван Петрович Кубарев, а не Виктор Аполлоныч Гвоздецкий, почему та пышная черноволосая красавица называется Людмила Акимовна, когда по всяким соображениям гораздо более подходило бы ей пышное черноволосое имя: Вера Владимировна?

Бессознательно, но, вероятно, именно поэтому клевреты крестили всех окружающих по-своему.

Самой удачной, меткой кличкой у компании считалось Полторажида — кличка, которую прицепили к невероятно длинному рыжему унылому еврею-портному, часто освежавшему несложный гардероб клевретов.

И совсем уж несправедливо звучала «Кальвия Криспинилла» — Magistra Libidinium Neronis, как окрестили добрую русскую няньку Анну Матвеевну... В ее характере ничего не было общего с «профессоршей Неронова разврата», хотя Мотылек и божился, что она не только снисходительно относится к объектам Меценатовых сер-

дечных увлечений, но даже сортирует их на «стоющих» и «не стоющих» и ведет с ними по телефону длинные беседы принципиального свойства.

Одной из удачных кличек считалось также сокращенное «Яблонька» или официальное — «Яблонька в цвету», потому что это поэтическое название вполне соответствовало внешности Нины Иконниковой.

Высокая гибкая блондинка с огромными синими глазами, любовно озиравшими весь Божий мир, с пышной короной белокурых, нежных, как шелковая паутина, волос, вся белая, ароматная, будто пахнущая яблочным цветом, с высокой грудью и круглыми плечами, упругая, здоровая и свежая, как только что вылупившееся яичко. Походка у нее была изумительная: идет и вся вздрагивает, будто невидимые волны пробегают по телу, будто спелый колос волнуется от налетевшего теплого летнего ветерка...

Однажды некий экспансивный прохожий не выдержал: остановился посреди улицы, сложил молитвенно руки и пылко воскликнул:

— Боже мой! И пошлет же Господь в мир такую красоту!

Она нисколько не была шокирована этим восклицанием; приостановилась и, мило улыбнувшись, поблагодарила:

— Спасибо вам за ласковое слово. Мне приятнее всего, что в вашем комплименте дважды встречается слово «Бог». Значит, что вы хороший человек.

И пошла дальше как ни в чем не бывало, прямая и гибкая, как молодой тополь, по-прежнему приветливо улыбаясь синему небу.

Первым познакомился с Яблонькой Мотылек. Этот расторопный поэт однажды долго шел за ней по боковой аллее Летнего сада и потом, восхищенный, потеряв над собой власть, как он вообще всегда терял власть над своим бурным темпераментом, вдруг подошел к ней и вступил в разговор.

— Куда вы идете? — порывисто спросил он.

— В библиотеку. Книгу менять.

— И я пойду с вами.

— Вы тоже идете книгу менять? — спросила она просто, без всякой иронии.

— Нет... я этого... Давно собирался абонироваться... Да представьте себе, не знаю, как это сделать, Это сложно?

— Совершенно несложно,— мило рассмеялась она.— Пойдемте, я вам это устрою.

Мотылек бурно зашагал за ней, но, когда оба предстали перед прилавком, на котором лежали толстые каталоги, Мотылек вдруг ощутил, что он оступился и летит вниз головою в глубокую пропасть: он сейчас только вспомнил, что у него в кармане всего тридцать копеек, а плата за абонемент в месяц с залогом превышала эту сумму ровно в семь раз.

— Вот вам бланк,— сказала будущая Яблонька,— обязательно напишите ответы на вопросы и здесь подпишитесь.

Чтобы отсрочить окончательно гибель и позор, Мотылек долго возился над маленьким листком, собирал и распускал свои знаменитые морщины, раза два даже смахнул тайком пот со лба, каллиграфически выписал свою фамилию, сделал росчерк — роковой час расплаты придвинулся вплотную.

— Ну, что ж вы? — поощряла его Яблонька.— Теперь остается только заплатить и выбрать книгу по каталогу.

Мотылек тоскливо поглядел на ее свежие губы, поскреб яростно холодными пальцами затылок и вдруг брякнул:

— Послушайте... Можно вас отозвать в сторону на два слова?

— Что случилось? Пожалуйста.

Они отошли в сторону.

— Милая девушка! Видели вы еще когда-нибудь такого мерзавца, как я?

Ее губы дрогнули и глаза немного затуманились...

— Что вы такое говорите... Разве можно так?

— Мерзавец! — в экстазе воскликнул Мотылек.— Форменный подлец. Слушайте же, как кается Мотылек! Слушай весь православный народ! Книга мне была нужна? По морде мне нужно было хлопнуть несколько раз этой книгой! Ведь это я к вам просто пристал давеча в Летнем саду — пристал, как самый последний уличный нахал!! А вы святая душа — даже не догадались! Вы, как Красная Шапочка, доверчиво разговорились с Серым Волком...

— Да вы не похожи на Серого Волка,— рассмеялась одними лучистыми синими глазами Яблонька.— У вас доброе лицо. А я боюсь только пьяных. И то я одного пьяного однажды вечером устыдила. С ними только нуж-

но побольше простой примитивной логики. Подходит он ко мне вечером на Владимирской улице и говорит: «Пойдем со мной, барышня». Конечно, можно было бы позвать городового — в двух шагах стоял,— но мне жалко сделалось этого пьяненького. «Куда же,— я говорю,— мне с вами идти?» — «Пойдем поужинать».— «Смотрите-ка,— говорю,— какая жалость... А я уже поужинала!» — «Да что вы,— опечалился он.— Экая жалость! Ну, вина выпьем, что ли?» — «Вина мне нельзя! Доктор строго запретил». Призадумался: «Как же быть?» — «Уж я и не знаю».— «Что ж мне с вами делать все-таки? А может быть, бокальчик бы одолели? Попытались бы, а?» — «Да нет уж, и пытаться не стоит». Совсем он сбился с толку. «Что ж мне с вами делать?» — «Да уж придется, верно, махнуть на меня рукой. А вы бы спать лучше пошли... а? Вон у вас вид какой усталый. Небось заработались». Всхлипнул он, утер мокрые усы и говорит: «А что вы думаете — и пойду! Никто меня не понимает, а вы поняли! Главное теперь — спать». Снял котелок, поклонился — и разошлись мы в наилучшем расположении духа.

— Вот вы какая! — восхитился Мотылек.— Вам бы с Меценатом познакомиться — он бы вас очень оценил.

— Кто этот Меценат?

— Кто?! А вот кто: у вас два рубля есть?

— Есть.

— Дайте мне на несколько минут. Вот спасибо. Теперь я беру вашу книгу — что там у вас? Новая книга Локка. Меценат, наверное, не читал. А вы возьмите свеженькую — и пойдем.

— Куда? — засмеялась Яблонька.

— Я вам долг отдам. Я, миленькая моя, человек честный. Ну, живо, живо!

— Да куда вы меня тащите, сумасшедший человек!

Но Мотылек уже запылал, задергался, как он пылал и дергался всегда... Взял Яблоньку под руку, озабоченно собрал в дорогу все свои морщины и повлек сбитую с толку Яблоньку на улицу.

— Вы очень странный человек,— робко успела пролепетать Яблонька.

— Да уж и не говорите. Кончу я жизнь или знаменитым поэтом, или в сумасшедшем доме... Девушка! Любите ли вы красоту мира? Она во всем: в плакучей иве, склонившейся над тихо плывущей рекой, в угрюмой прямизне петербургской улицы, в новом интересном че-

ловеке, а человек этот... Девушка!! Что может быть интереснее Мецената? Нашего доброго мудрого благородного Мецената — этого ленивого льва с львиной гривой на львиной шкуре, льва, наполовину бросившего свою прекрасную львицу — ради красоты, свободы и созерцательности!

— Я вас не совсем понимаю,— мягко возражала Яблонька, пытаясь освободить свою руку.

— И не надо! Сейчас не понимаете — потом поймете! Скоро поймете. Даже сейчас! Вот мы уже у Меценатова подъезда. Эй, швейцар! Немедленно же вызовите из второго номера хозяина — скажите, по очень важному, спешному делу. Живо!

— Вы очень странный,— покачала головой Яблонька.— Очень; но вы не страшный. Только зачем Меценат? Может быть, он занят сейчас чем-нибудь, а вы его отрываете. Не лучше ли в другой раз?

— Ни-ни! Да вот уже его шаги. Видите, как он мягко спускается — как старый добрый лев. А за ним слышен тяжкий бег буйвола — это, конечно, Телохранитель.

Меценат, а за ним Новакович, оба без шапок, выскочили на улицу и, увидев около Мотылька белокурую красавицу, замерли, молчаливые, удивленные.

— Меценат! Я вас сейчас же, сейчас, прямо-таки вот немедленно познакомлю, но... дайте мне сначала два рубля. Вот вам за это книга. Вы абонированы! Локка книга. Читайте ее, она интересная. Ведь книга интересная? — стремительно обратился он к Яблоньке.

— Интересная,— спокойно улыбнулась она, разглядывая странную группу — Мецената в засыпанном пеплом бархатном пиджаке и выглядывающего из-за его плеча мощного студента Новаковича.

— Скорей два рубля, Меценат! Спасибо! Вот вам, благодетельная фея, мой долг, а теперь можно и познакомить вас. Это Меценат. Правда, чудный? А тот пещерный медведь сзади — Телохранитель. Новакович! Дай тете ручку и шаркни ножкой. Господа! Эта девушка — лучшая в столице. Я с ней заговорил на улице, как мерзавец, а она ответила мне, как святая. А красота какая! Хотите, мы будем на вас молиться? Лампадку зажжем! Песнопение для вас сочиним. Телохранитель! Подбери глаза — а то на мостовую рассыплешь. Меценат! Видите, как я вас люблю! Увидел воплощение красоты, и первая моя мысль — о Меценате!.. «Меценат! — подумал я.— Ты будешь бедный, если не увидишь ее хоть издали!» А Но-

вакович, светлая девушка, тоже хороший — двумя руками девять пудов выжимает.

— Мотылек с ума сошел,— усмехнулся первым пришедший в себя Меценат.— Позвольте узнать ваше имя?

— Нина Иконникова.

— А вы знаете, как я вас назвал, когда вы так вот стояли, белая, ласковая, около этого корявого пня? Подумал я: Яблонька в цвету!

— Гип, гип, ура, Яблонька! — заорал Мотылек на всю улицу.

— Вы не обидитесь,— улыбаясь, спросил Меценат,— если я предложу вам зайти к нам отдохнуть от трескотни Мотылька? Они оба люди, которые могут с непривычки ошеломить, но публика, в общем, не страшная.

— Я должна спешить домой,— ответила, подумав, Яблонька,— но, если вы не будете меня задерживать, я минут десять посижу.

— Яблонька,— сказал Новакович, выдвигаясь вперед.— За то, что вы нас сразу поняли и доверились и идете к нам — я отныне даю присягу быть вашим рыцарем, защищать вас от всяких невзгод, а если кто-нибудь посмеет что-нибудь лишнее — оторву голову и суну ему под мышку. Господа! Дорогу Яблоньке!

И, когда Яблонька шагнула на площадку Меценатовой квартиры, Новакович одним движением снял с себя тужурку и почтительно подбросил ее под ножки Яблоньки.

«И жители восторженно встречали ее,— неизвестно откуда процитировал Новакович,— и расстилали плащи перед ней, чтобы ее нежной стопы не коснулась грубая земля».

— У вас сзади рукав рубашки разорвался,— заботливо заметила Яблонька, осматривая рукав Новаковича.— Если у вас найдется нитка и иголка — я зашью.

— Вот девушка!.. Если бы я был достоин — я поцеловал бы край ее платья,— вздохнул Новакович, толкнув Мотылька плечом.

Яблонька вступила в знаменитую гостиную Мецената и с любопытством огляделась.

— Уютно у вас, а только странно. И солнца мало. Отчего портьеры задернуты? А для пепла полагается пепельница, а не ковер и не плечи бархатного пиджака. Где у вас щетка? Я вас почищу немного...

Яблонька посидела самую чуточку, скушала одну грушу, поправила висящую криво картину и уже наде-

вала перед зеркалом воздушную шляпку, собираясь уходить, как в дверях показалась Анна Матвеевна.

— Экое чудо у нас,— охнула она, разглядывая Яблоньку.— Вы бы, барышня, подальше от них были! Это ведь сущие разбойники — обидят они вас.

— Меня, бабушка, невозможно обидеть,— рассмеялась Яблонька.— Я в Бога верю и всех людей люблю. Какие же они разбойники? Странные немного, но милые.

— Этакими милыми в пекле все дорожки вымощены. Как звать-то вас?

— Яблонька,— выскочил сбоку Мотылек.

— Яблонька и есть. До чего ж ладная девушка. Хоть бы вы их, барышня, усовестили, чтоб коньячища этого не лакали спозаранку...

— Анна Матвеевна! Да ведь мы по рюмочке!

— Знаю, что по рюмочке. В этакую рюмочку тебя и поп при святом крещении окунал. Скушать чего не хотите ли, сударыня?

— Нет, спасибо, мне идти надо... Буду в этих местах — зайду еще посмотреть, как вы тут живете. А коньяк лучше не пейте. Хорошо?

— Сократимся,— усмехнулся Меценат.— А если вам нужны какие-нибудь книги — так моя библиотека к вашим услугам. Ройтесь, разбрасывайте — у нас это принято.

Яблонька ушла, звонко поцеловав Анну Матвеевну на прощание.

После ее ухода нянька подошла к креслу, грузно уселась в него и, посмотрев на победоносно переглядывавшихся клевретов, строго сказала:

— Ну, ребята... Не пара она вам. Не по плечу себе дерево рубите.

— Кальвия,— возразил Мотылек, обнимая ее седую голову.— Где же это видано, чтобы Мотыльки да рубили Яблоньки? Наоборот, я буду порхать около нее, вдыхая аромат, буду порхать — вот так!

Он вспрыгнул на оттоманку, перемахнул на стол, оттуда обрушился на плечи Новаковича и наконец, тяжело дыша, сполз с Новаковича на пол.

— Мотылек,— сказал размягченный Меценат.— За то, что ты сегодня вспомнил, подумал обо мне — я дарю тебе изумрудную булавку для галстука. Она тебе нравилась.

— А я,— торжественно подхватил Новакович,— никогда больше не позволю Кузе говорить, что все твои

произведения читал у чужих авторов в немецких журналах!! Ты совершенно оригинальный писатель, Мотылек!

— А я,— проворчала нянька,— оборву тебе уши, если ты будешь бросать мне на ковер апельсиновую шелуху.

— Кальвия! Я вас так люблю, что отныне буду есть апельсины вместе с кожурой.

И все впоследствии не исполнили своих обещаний, кроме Мецената, булавка которого навсегда украсила тощую грудь Мотылька как память о Яблоньке, изредка, как скупой петербургский луч, заглядывавшей в темную Меценатову гостиную.

ЧАСТЬ II
ЧЕРТОВА КУКЛА

Глава IX
В кавказском кабачке

В уютном, увешанном восточными коврами и уставленном по стенам тахтами отдельном кабинете кавказского погребка на Караванной улице заседала небольшая, но очень дружная компания под главным председательством и руководством Мецената.

Кроме него были: Кузя, Новакович и великолепная Вера Антоновна, которая, как это ни странно, но выехала в свет из-за своей лени.

Сегодня как раз был день ее рождения, и Меценат, созвав с утра своих клевретов, предложил отпраздновать этот замечательный с его точки зрения день в квартире Веры Антоновны. Но, когда ей сообщили об этом по телефону, она вдруг выказала чрезвычайную, столь не свойственную ей энергию, заявив, что лично прибудет к Меценату для обсуждения этого сложного вопроса.

Приехала и, устало щуря звездоподобные глаза, заявила:

— Послушайте, в уме ли вы?! Ведь это сколько хлопот, возни?.. Да ведь я после праздника буду три дня лежать совершенно разбитая! Неужели вы не знаете, что быть гостеприимной хозяйкой — это нечеловеческий труд! Пожалейте же меня — не приезжайте. Ну, не стыдно ли вам так мучить меня; я ведь красивая и добрая...

Мотылек застонал:

— Кто же, кто вас мучит, Принцесса?! Кто это осмелится, Великолепная (две клички Веры Антоновны, которыми наделили ее неугомонные клевреты при молчаливом одобрении Мецената)?! Укажите мне такого мучителя, и я объем мясо с его костей! Разве мы вас не понимаем?! Действительно — адская работа: встреть каждого гостя отдельно, да скажи ему, подлецу, несколько ласковых слов, да еще, пожалуй, придется ему подкла-

дывать кушанья на тарелку?! А предлагать вино? А приказать переменить приборы?! Да ведь еще же меню сочинять придется! Нам ли с вами такая тяжесть под силу?..

— Да, да, Мотылек! Вот видите, вы меня поняли!

И, когда вся компания покатилась со смеху, Вера Антоновна обвела всех недоумевающими глазами и, дернув Мотылька за ухо, сказала:

— Что это? Вы, кажется, издевались сейчас надо мной, Мотылек? Кузя! Пойдите поближе ко мне... Вы единственный, который меня понимает.

— Этот поймет! — засмеялся Новакович.— Вам бы, Принцесса, за него нужно было выйти замуж, а не за Мецената. Был вчера такой случай: захожу я к Кузе, а он лежит в кровати и стонет... «Что с тобой, Кузя?» — «Ах, Телохранитель, испытывал ли ты когда-нибудь мучительную жажду? Я вот уже целый час терзаюсь!» — «Так ты бы воды выпил, чудак!» — «А где же возьмешь воду-то?» — «Да вот же графин, на умывальнике стоит, в десяти шагах от тебя!» — «Это,— говорит,— не вода».— «А что же это такое?» — «Перекись водорода». Потом стал стонать, как издыхающая лошадь. «Что с тобой?» — «Совсем,— говорит,— я расхворался. А тут из окна дует. Телохранитель,— говорит,— передвинь мою кровать к умывальнику». Ну, я и передвинул кровать к умывальнику вместе с ним... И что же вы думаете? Едва он очутился на таком расстоянии от графина, что мог достать рукой, как схватывает его и ну глотать жидкость, как ожившая лошадь!..

— Неужели перекись водорода пил? — удивился Меценат.

— Какое! Простая вода в графине была.

— При чем же тут перекись?

— А видите, в чем дело: скажи он мне, чтоб я дал ему воды, я бы из принципа не дал. Не люблю поощрять его гомерическую лень. Вот он и выдумал историю с окном, из которого дует, и с перекисью. Да это еще не все! Прохаживаюсь я по комнате, ругаю его последними словами, вдруг — хлоп! Сапог мой цепляется за гвоздь, высунувшийся из деревянного пола, и распарывается мой старый добрый сапог!! «Кузя! — кричу я.— У тебя тут гвоздь из пола вылез!!» А он мне: «Знаю!» — говорит. «Так чего ж ты его не вытащишь или не вобьешь обратно?» — «А зачем? Я уже привык к этому гвоздю и всегда инстинктивно обхожу его. А посторонние пусть не

шляются зря!» Взял я угольные щипцы, вбил гвоздь по шляпку и этими же щипцами отколотил Кузю.

— Грубый у тебя нрав, Новакович,— вяло возразил Кузя.— Как ты не понимаешь, что гвоздь торчал вне моего фарватера, который ведет от кровати к умывальнику и от умывальника к зеркалу. Глупый ты! Ведь гвоздь-то торчал не на моей проезжей дороге!

— Как это вам понравится, Принцесса?!

— Что такое? — медленно подняла на него свои огромные сонные глаза Принцесса.

— Да вот история с Кузей!

— А я, простите, не слышала, замечталась. Кузя! О вас тут рассказывали какую-то историю? Вы здесь самый симпатичный, Кузя. Принесите мне платок из ридикюля. Он в передней.

— Сейчас,— с готовностью откликнулся Кузя, не двигаясь с места.— Вы твердо помните, что ридикюль в передней?..

— Ну, да.

— А где именно положили вы ридикюль в передней? На подзеркальнике или на диване?

— Не помню, да вы посмотрите и там и там.

— У вас какого цвета ридикюль? — допрашивал Кузя, потонув по-прежнему в мягком кресле.

— Ах ты, Господи! Да ведь не сто же там ридикюлей?!

— Я к тому спрашиваю, чтоб вас долго не задерживать поисками. А то, может, он завалился за диван, так в полутьме сразу и не найду... Кроме того... Ах, вот он!

Он взял ридикюль из рук уже вернувшегося из экспедиции в переднюю Новаковича и любезно протянул его Принцессе.

— Спасибо, Кузя. Вы милый.

— Вот дура горничная,— заметил будто вскользь Новакович.— Забыла в передней ведро с мыльной водой, а чье-то пальто упало с вешалки да одним рукавом в ведро и попало. Мо-окрое!

— А какого цвета пальто? — ухмыляясь, спросил Мотылек.

— Серенькое, кажется.

— Так это ж мое! — испуганно закричал Кузя и, как заяц, помчался в переднюю.

— Действительно, ты видел пальто в ведре?

— Ничего подобного. Просто хотел, чтобы Кузя размял себе ноги. Это ему наказание за ридикюль!

Вошла Анна Матвеевна, расцеловалась с Принцессой, села напротив, поглядела на нее, укоризненно покачала головой и вступила с Принцессой в обычную для них обеих беседу:

— Где дети?

— Какие дети? — удивилась Принцесса.

— Как какие? Твои!

— Да у меня, нянечка, нет детей.

— А почему нет?

— Не знаю, нянечка. Бог не посылает.

— «Бог не посылает». Лень все твоя проклятая. И в кого ты такая уродилась?!

— В кого? В Венеру Милосскую,— подсказал Мотылек.

— В Кузю,— поправил Новакович.— Впрочем, это одно и то же: если Кузе оборвать руки — получится форменная Венера Милосская для бедных.

— Ах, милые мои,— сказала старая нянька, пригорюнившись.— То есть до чего мне хочется ребеночка нянчить,— сказать даже невозможно.

— Да,— грустно улыбнулся Меценат.— Этого товара не держим. Так как же, господа, насчет сегодняшнего торжества?

Мотылек выручил:

— Да очень просто! На Караванной есть превосходный кавказский кабачок с восточными кабинетами. Пойдем туда — чудное винцо!

— А тебе бы только винцо, бесстыдник,— упрекнула нянька.

— Я не виноват, пышная Кальвия. У меня мамка была пьяница. У нее даже два сорта молока было: левая грудь — бургундское, правая — бордоское.

— Тьфу! — негодующе сплюнула Анна Матвеевна.— С вами поговоришь, только нагрешишь. В постный день оскоромишься.

Решили идти на Караванную. Мотылек заявил, что он еще должен заехать в редакцию своего журнала, устроить редактору скандал, после чего не замедлит явиться, а все прочие с гамом и шумом, резко выделяясь на сонном фоне невозмутимой статуарной Принцессы, зашагали по улице, и, когда ввалились в кабачок, изо всех занятых кабинетов высунулись обеспокоенные шумом головы.

Вера Антоновна выбрала самый уютный уголок, окружив себя подушками, и замерла, как изумрудная яще-

рица на горячем солнце, откинув на спинку дивана свою великолепную голову.

— Что вы будете кушать, Ваше Высочество? — спросил Меценат, нежно целуя ее руку.— Есть шашлык карский, есть обыкновенный.

— А какая разница? — осведомилось дремлющее Ее Высочество.

— Обыкновенный шашлык маленькими кусочками на вертеле, карский — большим куском.

— Так его еще резать надо? Лучше тогда обыкновенный!

— И мне! — присоединился Кузя.

Через двадцать минут приехал Мотылек. Губы его дрожали, и глаза метали гневные молнии. Число морщин на лбу возросло в угрожающей лицу прогрессии.

— Подлецы! — закричал он еще с порога.— Подлые рабы!

— Что случилось, Мотылек? — беспокойно глянул ему в глаза Меценат.— Ты чем-то расстроен?

— Ах, Меценат! Вы представить себе не можете, что за олух наш редактор! Я уже три года секретарь журнала и считаю, что приобрел себе известный вес и положение... Сдаю в набор свое стихотворение «Тайна жемчужной устрицы», помните, еще оно вам очень понравилось, вдруг он мне заявляет: «По техническим условиям не может быть напечатано!» — «Это что еще за технические условия?!» — «Размер велик! 160 строк».— «Да ведь стихотворение хорошее?!» — «Замечательное».— «Так чего ж его не напечатать?!» Он опять: «Потому что длинное!» — «Но ведь хорошее?» — «Хорошее».— «Так почему не напечатаете?» — «Размер велик». Взвыл я. «У Пушкина,— говорю,— поэмы были на две тысячи строк! Вы бы и Пушкина не напечатали?!» — «Нет,— говорит,— не напечатал бы». Ну, знаете, Меценат... Насчет себя бы я еще мог простить, но — Пушкин! Озверел я. «Да вы знаете, кто такой Пушкин?!» — «А вы знаете, что такое технические условия?» Я ему Пушкиным по голове, а он мне техническими условиями по ногам. Встал я и говорю: «Сегодня мой приятель Новакович о Кузин гвоздь сапог разорвал!» — «А мне,— говорит,— какое дело?» — «А такое, что — не почините ли?» — «Что я вам, сапожник, что ли?» Я и говорю: «Конечно, сапожник!» Крик у нас был на всю редакцию. «Вы,— говорит,— невоспитанный молодой человек!» — «А вы воспитанный в цирке старый осел, умеющий скакать только по ограниченной арене!» Забрал свои рукописи, хлопнул дверью и ушел.

— Промочи горло, Мотылек,— посоветовал Новакович.— Хочешь, я пойду отдую твоего редактора?

— Нет, я ему лучшую свинью подложил! Иду к вам, встречаю нашу знаменитую Куколку. «Что с вами, Мотылек?» — «Куколка! Вы, как человек тонких эмоций, как Божьей милостью поэт, меня поймете!» Рассказал ему всю историю, а он мне: «А знаете, Мотылек, Пушкин действительно очень пространно писал. Теперь так уже не пишут! Нужна концентрация мыслей». Посмотрел я на него и говорю: «Пойдите к редактору, попроситесь в секретари — он вас с удовольствием возьмет!» А он замялся, да и спрашивает меня так деликатно: «Я не знаю, как и быть. Боюсь, что это будет не по-товарищески по отношению к вам...» — «Ничего, идите. Я буду очень рад. Все равно в этом доме мне больше не бывать!» Он и потащился. Воображаю разговор этих двух ослов! Кстати, я его потом сюда пригласил. Вы не против этого, Меценат?

— Я очень рад! Послушайте, Принцесса! Вы ничего не будете иметь против, если сюда придет один очень милый воспитанный молодой человек?

— А он меня не заговорит? — опасливо спросила Принцесса.

— То есть как?

— Да вдруг начнет меня расспрашивать — бываю ли я в театрах... или еще что-нибудь? Тоска!

— Не бойтесь, Великолепная,— хитро ухмыльнулся Кузя.— Мы представим ему вас как настоящую кровную принцессу... Язык у него и прилипнет к гортани...

— Ну вот, глупости... Я не хочу быть самозванкой.

— Ну, Принцессочка, позвольте. Вы ведь в шутку... Он так глуп, что всему верит! Сделайте этот пустяк для нас.

— Это будет сложно?

— Ни капельки! Сидите, как великолепная статуя, а мы около вас будем порхать и щебетать, как птички.

Глава X

Тосты. Первая удача Куколки

Когда подали вино и шашлыки, произошло общее движение, полное восторга, почти экстаза.

Новакович глянул хищным оком на шашлыки и простонал:

— О, как я люблю этого зайца!

— Да это не заяц, а шашлыки.

— Ну, все равно, я люблю эти шашлыки.

И блестяще доказал это. Шашлыки понесли от его зубов полное поражение. Увлеченный его аппетитом, Меценат заказал еще несколько порций, потом встал с бокалом в руках и провозгласил:

— Этот бокал я выпью за вечную немеркнущую красоту мира! И воплощение этой красоты в сегодняшней нашей имениннице — Принцессе. которая одной своей улыбкой способна осветить все кругом! О, конечно, вы можете возразить мне, что женская красота — предприятие непрочное, но я смотрю на это шире: когда красота поблекнет, когда наступит мудрая красивая старость, за ней смерть, а потом разложение жизненной материи на первоначальные элементы, то из элементов моей дорогой жены снова получится что-либо не менее прекрасное: вырастет стройная белая кудрявая березка, под ней свежая шелковая травка, а над ней проплывет душистое жемчужное облачко, прольется несколькими жемчужными каплями и потечет светлым ручейком... И во всем этом — в березке, в облачке, в мураве и в каплях весеннего дождя — будет часть красоты моей прекрасной жены, именины которой мы сейчас так чинно и благородно празднуем. Принцесса! За ваше великолепное здоровье!!

— Вот тебе,— прошептал пригорюнившийся Новакович,— начал Меценат за здравие, а кончил за упокой. А интересно, братцы, куда, в какие элементы перейду я после смерти?

— В силу справедливости,— ухмыльнулся Кузя,— ты бы должен был целиком перейти в барана...

— Почему? — грозно спросил Новакович.

— Потому что сейчас целый баран со всеми своими элементами и даже с почками, которые ты стащил с моей тарелки, потому что целый баран перешел в тебя. Нет, господа, вот я скажу речь, так это будет речь, а не разложение живого человека на первичные элементы. Друзья! Никто из вас так не понимает Принцессу, как я. Нам говорят: «Вы ленивы! Вам не хочется даже пальцем пошевелить, лишний шаг сделать...» Слепцы! Да разве ж это не самое прекрасное, не самое благодетельное в мире?! Вот мы ленивы — да разве ж мы способны поэтому сделать кому-нибудь зло? Ох, бойтесь, господа, активных людей! Мы-то, может быть, наполовину и приятные такие, что мы ленивы. Да дайте Принцессе подвижной, дея-

тельный характер, дайте ей инициативу — сколько она нашего мужского человека погубила бы на своем пути?! Этакая красавица, да если бы она не дремала в прямом и переносном смысле этого слова — ряд мужских трупов окружил бы ее, как цветочная гирлянда на голове неумолимой богини Кали! Есть чудаки, которым мил ураган, разматывающий тучи, как щепки, ломающий вековые деревья и срывающий с домов крыши, есть любители бешеной бури на море, когда скалы стонут под напором озверевших волн! Я не из их числа! Мне мила тихая зеркальная заводь, где дремотные ивы, склонясь, купают свои элегические зеленые ветви в застывшей воде и где я вижу свое отражение, тоже мирное, кроткое, не возмущенное рябью никакого беспокойного ветра!

— Однако ты довольно ловко приплел себя к этому тосту,— ядовито перебил его Мотылек,— все «я» да «я»! «Мне мило то-то», «я смотрю туда-то», «я любуюсь собою там-то и там-то». Нарцисс паршивый.

— Молчи, изгнанник из редакционных недр! Придержи язык, заступник Пушкина! Я перехожу сейчас непосредственно к Принцессе. Сегодня вместе с ней на нас сошла сама прекрасная Тишина, наши души окутал сладкий покой нирваны, мы будто стоим на берегу южного знойного моря, заснувшего в такой прекрасной неге, что взять бы крикнуть — «Остановись, мгновенье, на всю жизнь! Ты прекрасно!» Но не хочется нарушать криком этого знойного душистого молчания и стоишь так молча — зачарованный колдовской волшебной царицей лени и сладкой неподвижности. За ваше здоровье, Принцесса! Вы согласны со мной?

— А? Что вы такое сказали? Я, признаться, немного замечталась... Простите!

Общий смех не смутил Кузю. Он сделал рукой знак помолчать.

— Не гогочите. Клянусь вам, что в жизни своей я не произносил такой длинной речи, и еще клянусь, что вопрос великолепной Принцессы есть лучшее подтверждение моих слов и лучший для меня комплимент. Я сейчас молился, понимаете вы это? Моя душа звенела, как Эолова арфа... Мотылек, дай мне спичку.

— Какую тебе спичку?! Моя коробка у меня в пальто, а твоя лежит около тебя.

— О толстокожий! Как ты не понимаешь, что твоя коробка в пальто ближе к тебе, чем моя здесь же на столе! Тебе легче...

— Я не помешаю? — раздался мягкий голос из-за портьеры.— Можно к вам?

Вошел Куколка, свежий, застенчиво улыбающийся красными пухлыми губами, как всегда, безукоризненно одетый — в свежий черный костюм, в элегантном галстуке, с перчаткой на левой руке...

— А, Куколка! Вас только и недоставало до ансамбля. Входите! Позвольте вам представить. Это Ее Величество, принцесса Остготская. Ваше Величество! Разрешите вам представить нашего юного друга, чудного поэта, для которого наши духовные очи провидят большое будущее.

— Очень счастлив,— сказал, склоняя кудрявую голову, Куколка.— Мое имя Шелковников Валентин... мое отчество...

— Подробности письмом,— бесцеремонно перебил его Мотылек, целуя вместо него на лету белую душистую руку, протянутую Принцессой,— садитесь, сын Аполлона. Ну, что... вас можно поздравить? — осведомился он, подмигивая всей компании.

— С чем?

— С секретарским местом! Ведь я же вас давеча туда направил.

— Ах,— вспыхнул Куколка,— а я и забыл поблагодарить вас! Экая неучтивость. Вы знаете, Мотылек (вы позволите мне вас так называть?), родной брат не сделал бы мне того, что сделали вы!

— Да что такое? — нервно перебил его Мотылек.

— Дело в том... (Ох, как я вам благодарен. О, какая, господа, это великая вещь — дружба!) Дело в том, что я пошел почти безо всякой надежды... единственно потому, что решил во всем вас слушаться. Ведь я знаю, что вы желаете мне добра...

— Да не мямлите. Ближе к делу! — проскрежетал нетерпеливо Мотылек.

— Ну, что ж... Ваш редактор оказался очень симпатичным. Когда он узнал, что я тот самый поэт Шелковников, о котором последнее время так много писали в газетах, то сделался вдвое любезнее. «Буду,— говорит,— счастлив сделать для вас все, что ни попросите».— «Я,— говорю,— слышал, что у вас освободилось место секретаря редакции, так вот нельзя ли!..» — «Видите ли,— говорит,— мой принцип — избирать себе помощников только среди людей хорошо мне известных, но я вижу, что характер у вас хороший, покладистый, да и имя вы себе

уже кое-какое приобрели... А кроме того, явились вы под горячую руку!! Так что приступайте с Богом к своим обязанностям...» — «Простите,— говорю я,— я буду согласен на все ваши условия, но разрешите мне поставить только одно свое: я могу занять место лишь тогда, если вы пообещаете напечатать стихи моего предшественника — «Тайна жемчужной устр...».

— Ни за что! — дико закричал Мотылек, вскакивая с места.— Кто вас просил ставить такие условия?!! Не хочу! Завтра же отбираю свою «Тайну устрицы»!!

— Постойте... Да ведь он согласился. Я его убедил.

— Вы его убедили?! — угрюмо сказал Мотылек, обведя всю компанию непередаваемым взглядом.— Вы его убедили!! Я его не мог убедить, а вы его убедили...

— Я же хотел вам приятное сделать,— моляще прошептал Куколка, прижимая к груди руки.— Если бы я знал, что этого не следовало...

— Он его убедил,— простонал Мотылек, роняя голову на руки.

Потом встряхнулся и угрюмо поглядел на Куколку.

— Короче говоря — место за вами?

— Да, за мной. Но если хотите, я завтра же...

— Нет, нет! — с дикой энергией вскричал Мотылек.— Вы должны, обязаны занять это место! Я так хочу. И вы пишите в этом журнале! Пишите больше!!

— Он и просил у меня стихотворение для следующего номера. У меня и сюжет в голове есть.

Воцарилось долгое молчание, которое каждый переживал по-своему... Один Меценат был царственно невозмутим, тихо посмеиваясь в свои пышные седеющие усы... Да еще Куколка: он с детским любопытством поглядывал на Принцессу и потом, не выдержав, склонился к уху своего соседа, Новаковича.

— Скажите, эта дама — действительно Принцесса? Настоящая Принцесса?

— О да,— с готовностью отвечал шепотом Новакович.— Только она не любит, когда ей говорят о ее царственном происхождении. Это вообще тяжелая история... Она недавно пережила большую душевную драму. Дипломаты ее родины задумали выдать ее замуж за абиссинского негуса, а она, понимаете, не может переносить черного цвета... Это, кажется, называется, дальтонизм. Или еще проще — идиосинкразия! Она сначала хотела лишить себя жизни посредством фиалкового корня, но ее

спасли, тогда она подкупила слуг и бежала, севши в корзинку воздушного шара, который для забавы был привязан в роскошном саду ее владетельного отца... Северо-восточный ветер и принес ее в Петербург.

— Как же вы с ней познакомились?

— Целая история! Пошел я однажды ночью прогулки ради на Горячее Поле, вдруг вижу — воздушный шар низко-низко над полем летит... А внизу конец гайдропа болтается... так сажени на полторы от земли. Ну, вы же знаете мою силу и ловкость; подскочил я, ухватился за конец и притянул корзинку. В корзинке Принцесса в обмороке и мертвый, уже разложившийся, как говорит Меценат, на свои составные элементы слуга. Извлек я Принцессу, привел в чувство, и с тех пор вы видите: нас водой не разольешь, такие друзья. Только вы, Куколка, не напоминайте ей этой истории... Вы понимаете, как тяжело!.. Слугу Рудольфом звали,— добавил Новакович ни к селу ни к городу.

— О, я понимаю, совершенно понимаю,— пылко воскликнул Куколка.— Однако, Новакович, какой это замечательный сюжет для стихотворения, правда?

— Чудный сюжет,— согласился Новакович, запихивая в рот кусок шашлыка.— Вы бы поговорили с Ее Высочеством. А то наши ребята перед ней робеют. А вы такой находчивый.

— Чего ж тут робеть,— улыбнулся Куколка.— Я могу вести какой угодно разговор.

И изысканным тоном обратился к дремлющей Принцессе:

— Как поживаете, Ваше Высочество?

Принцесса открыла глаза и впервые взглянула на Куколку.

— Что вы говорите?

— Я спрашиваю: как вы себя чувствуете?

— Спасибо, очень хорошо. Только они все такие шумные. Давеча даже речи какие-то в мою честь говорили. А вы тоже из их компании?

— Да, я имел счастье недавно познакомиться с Меценатом и его друзьями, и вы знаете, Ваше Высочество, они ко мне отнеслись, как к родному. В их обществе я себя чувствую чудесно.

— Отчего они называют вас Куколкой?

Куколка зарумянился и опустил свои длинные шелковые ресницы.

— Право, не знаю... Это меня впервые Анна Матве-

евна — достойнейшая женщина! — так окрестила, а им и понравилось.

— Я вас тоже буду называть Куколкой. Можно?

— Пожалуйста, Ваше Высочество.

— А вы не шумите?

— То есть как? Нет, я вообще тихий.

— Ну, тогда хорошо. Заезжайте когда-нибудь ко мне, я вас чаем попою.

— Буду счастлив. Не замедлю.

— А они все такие шумные,— капризно пожаловалась Принцесса.— Новакович однажды Кузю в ковер закатал... Мне же пришлось его потом и раскатывать.

— Какой ужас! — искренне огорчился Куколка.— Но, если не ошибаюсь, господин Кузя, кажется, очень тихий?

— Да он ничего, только однажды в мою раскрытую шкатулку с бриллиантами окурков насовал.

— Пепельница далеко стояла,— вразумительно пояснил Кузя.— Но я люблю бывать у Принцессы. Тихо так, никто не беспокоит. Я один раз у нее часа три в кресле проспал.

— А вы любите поэзию? — осведомился Куколка.

— Люблю,— согласилась, немного подумав, Принцесса,— только чтоб стихи были короткие.

— Мои не длинные,— успокоил Куколка.

— Господа! — нетерпеливо стукнул кулаком по столу хмуро молчавший до сего Мотылек.— Когда же мы устроим коронование Куколки в поэты?!

— Не нравится мне что-то Мотылек,— шепнул Кузя Меценату.— Мы все шутим, смеемся, а у него в истории с Куколкой какой-то надрыв.

— Мотылька надо понять,— качнул седеющей головой Меценат.— Он талантливее нас всех, а не складывается у него, у бедняги, литературная судьба. Вот он и дергается. Денег дать ему, что ли? Да нет, это его не устроит.

— Когда коронование? — капризно повторил Мотылек, ударяя ладонью по столу.— Хочу короновать Куколку.

— Да можно в субботу. У меня. Только Яблоньку нужно бы предупредить.

— Хорошо,— поспешно подхватил Новакович с деланно-равнодушным видом.— Я зайду ей сказать.

Кузя толкнул Мецената локтем в бок.

— Да зачем же тебе затрудняться? Я почти мимо ее дома прохожу. Зайду утречком.

— Где тебе! Ты так ленив, что на площадке лестницы заснешь. Не трудись — я сам зайду.

— Нет, я!

— Кузя! Опять в ковер закатаю!

— А я высуну голову из ковра, да и крикну на весь крещеный мир: «Православные! Телохранитель влюбился в Яблоньку!»

— Дурак! — прошептал Новакович, отворачивая лицо к стене.— Ах, какой ты дурак! И с чего взял, спрашивается.

— Что я взял?

— Что я... этого... люблю Яблоньку.

— Ах, значит, ты ее не любишь? Завтра же доложу ей: «Телохранитель сказал, что он вас не любит!»

— Да чего ты пристал к нему, как комар,— вступился Меценат.— Не смей обижать моего Телохранителя!

— Как это они хотят вас короновать? — спросила Принцесса, мерцая из полутьмы своими черными звездами-глазами.

— Не знаю,— добродушно усмехнулся Куколка.— Но это, вероятно, очень забавно и весело.

Разошлись поздно. Решили всем обществом проводить Веру Антоновну. Ночь была ясная, звездная, и дышалось после душного кабинета легко. Шли так: впереди Куколка вел Принцессу под руку, за ними Меценат об руку с Мотыльком — что-то тихо, но горячо доказывал своему погасшему другу-неудачнику, а сзади Новакович с Кузей энергично доругивались по поводу все той же Яблоньки...

А она, даже не подозревая, что служит предметом спора, уже давно спала в своей белоснежной девственной постельке... Белокурые волосы, как струи теплого золота, разметались по подушке, а полуобнаженная свежая девичья грудь дышала спокойно, спокойно...

Глава XI

Приготовления к коронованию Куколки

— Какой у вас тут беспорядок,— критически заметил Новакович, оглядывая Меценатову гостиную,— отчего вы не прикажете вашим слугам прибрать?

— Ну, слуги! Они тут такой беспорядок сделают, что потом ничего не найдешь. А у меня все на месте.

— Именно что. Например, эта пачка старых газет

на ковре около оттоманки, кусок глины на подзеркальнике, грязный полотняный халат на дверце книжного шкафа — все это придает комнате очень уютный, чисто будуарный вид! На крышке рояля такой слой пыли, что все письменные работы можно исполнять на этой крышке. Вот я вам тут напишу сейчас один вопль!

И он четко вывел по слою пыли на крышке рояля:

«Ребята, позвольте рекомендоваться: я — пыль. Братцы, да кто же меня сотрет, наконец?!»

Кузя привстал с кресла, прочитал «вопль» и деловито объяснил:

— Эту пыль нельзя трогать. Она уже осела и лежит себе спокойно, не попадая ни в чьи легкие... А начни ее стирать — наши легкие погибнут.

— А эти бутылки на полу в углу? А грязные пивные стаканы? Удивляюсь, Меценат, как вам не противно!

— Да что тебя вдруг обуял такой бес аккуратности?! — удивился Меценат.— Никогда я этого за тобой не замечал.

— Мне-то, в сущности, все равно, но сегодня у нас будет дама... Ну, как ее посадить в такое кресло, на котором пепла столько же, сколько на голове древнего горюющего еврея?! Яблонька не любит грязи.

Все значительно переглянулись и в один голос монотонно затянули:

— А-а-а!!

Когда один уставал и замолкал, другой подхватывал эту заунывную ноту и тянул дальше, пока его не сменял первый.

— А-а-а!.. А-а-а!..

— Честное слово, я расскажу Яблоньке, как вы надо мной издеваетесь, приплетая ее имя!!

К Яблоньке клевреты относились молитвенно, поэтому после угрозы Новаковича рты моментально захлопнулись, как пустые чемоданы.

Впрочем, Кузя не утерпел:

— Телохранитель, когда свадьба?

— Чья? — не понял сразу Новакович.

— Ваша же, ваша! Ты ведь сохнешь так, что даже сахар Анны Матвеевны не помогает. Сдашь государственные экзамены — надевай фрак, белый галстук и делай предложение.

Новакович, уныло свесив голову, помолчал, потом вдруг встряхнулся и сказал с неожиданной откровенностью:

— До чего бы это было хорошо! Конечно — фрак ерунда, но вообще, помимо фрака... Эх, братцы, грех вам смеяться над таким чувством.

— Да мы не смеемся, чудак. Мы сочувствуем. Я это понимаю. Я сам один раз был влюблен в некую вдову — так влюблен, что и сказать невозможно. До того дошло однажды, что я на пол повалился и стал ножку стола грызть.

— Что общего? — возмутился Мотылек.— Тут чистая, благородная, благоуханная девушка, а этот шахматный Кузя со своей затрапезной вдовой вылез да еще ножкой стола подпер?! Новаковича я понимаю, тем более что Яблоньку чудесным образом отыскал именно я. И горжусь!

И закончил прозаически:

— Тем более это стоило Меценату всего два рубля! Куколка обошелся нам в двенадцать раз с половиной дороже...

— Мотылек, не будь циником,— мягко упрекнул шокированный такой странной математической выкладкой Меценат.

— Моя вдова не затрапезная,— обиженно сказал Кузя, думая о своем,— у нее был муж полковник и такая грудь, что вы таких грудей не видывали! А волосы! А губки!

Новакович счел нужным перебить его:

— Анатомия полковничьих вдов в твоем живописном изложении не является тем предметом, который увлек бы нас! Меценат! Разрешите все-таки, мы тут приведем все немного в порядок. А?

— Как хотите! Разве я могу в чем-нибудь вам отказать? А прислугу не допущу! Она порядок путает.

— Ну-ка, Мотылек, Кузя! Долой пиджаки. Приступим.

Кузя снял пиджак, уселся в кресло и сказал:

— Начинайте! Я буду руководить вами. Мотылек, собери газеты, накрой глину тряпкой и сунь ее под стол подальше! Новакович, сними халат с дверцы шкафа, оботри им пыль и стряхни пепел на пол. Потом подметешь.

Работа закипела, а Кузя, потонув в кресле, изредка командовал Новаковичем и Мотыльком, ворча себе под нос в паузах:

— Хм! «Затрапезная вдова»! Да она бы вас к себе и на кухню не пустила. А ноги у нее какие были — кра-

сота! Беленькие, пухленькие... Вот тебе и «затрапезная»! Аристократы нашлись! Отнеси теперь халат к Анне Матвеевне — пусть в грязное белье бросит! А шейка у нее была — мрамор! Бывало, оскалит белые зубки... Окурки, окурки не забудьте смести с подоконника!

Меценат в это время тоже не сидел без дела: он усердно мастерил из золоченой бумаги и разноцветных осколков стекла великолепную корону.

— Порфиру бы ему еще соорудить, черту полосатому,— сказал Мотылек, отрываясь от работы,— да не из чего!

— Послушайте,— задумчиво почесал за ухом Меценат,— а что если он раскусит нас и обидится... Неловко будет.

Мотылек собрал складки своего лица в очень причудливый рисунок и хихикнул:

— Он-то? Да представьте вы себе — он сейчас плавает в океане блаженства! Я его раздул, как детский воздушный шар! Не встречал я дурака самонадеяннее! Все принимает за чистую монету, строит самые наглые планы насчет своей литературной карьеры и... Да ведь вы знаете, что он каким-то чудом все-таки удержался на моем бывшем месте в редакции... Я, признаться, думал, что дело окончится скандалом, а он... приспособился! Вот именно такие ничтожества этаким болванам, как редактор, и нужны! Впрочем, я спокоен: он удержится до выхода первого очередного номера. А как тиснет в журнале свою «старушку в избушке, кругом трава» — так ведь, как пустое ведро, по лестнице загремит! И опять, хамы этакие, придут ко мне на поклон... Тут-то я и поиздеваюсь. А-а, скажу, аршинники, самоварники... О, мне Куколка еще нужен! Я все редакции взорву этим Куколкой... Пусть они его подхваливают да заметочки о нем печатают, вроде как вчера: «Входящий в известность поэт В. Шелковников, о котором в последнее время так много писали, выпускает свою первую книгу, ожидаемую литературными гурманами с большим интересом...» Нет, Куколку обязательно нужно короновать в короли поэтов! А потом я им преподнесу: «Глядите, остолопы! Вот тот властитель мыслей, которого вы заслуживаете!»

— Одна вещь только меня заботит...— обеспокоенно сказал Новакович, крутя свой рыжий ус.— Ведь по проекту церемониала участие в этом идиотском короновании должна принять и Яблонька?

— Конечно! Она увенчает его короной!!!

— Ну вот. Как же мы поступим: объясним Яблоньке, что Куколка — жалкий болван, или оставим ее в неизвестности, придав всей церемонии вид настоящего преклонения перед этим «Божьей милостью» поэтом?

— По-моему, признаться во всем Яблоньке, да и дело с концом! Она же с нами и повеселится.

Новакович твердо посмотрел всем в глаза.

— Нет, ребята, значит, плохо вы знаете Яблоньку! Могу сказать заранее, что будет: узнав, что мы мистифицируем этого жалкого парнишку, она возмутится, назовет нас жестокими, бессердечными, пристыдит нас, укажет на то, что мы зря издеваемся над Божиим творением, что у этого «творения» тоже есть живая страдающая душа — и прочее, и прочее. Одним словом, сорвет всю нашу игру. Вы об этом не подумали?

— Тогда можно Яблоньке вообще ничего не говорить... Представим его как нового Шиллера, Пушкина и Байрона — вместе взятых, и что мы, дескать, хотим почтить это гигантское дарование!!!

Новакович покачал головой:

— Значит, вы предлагаете попросту обмануть нашу Яблоньку?

— Да чего ты заныл преждевременно? — вскипел Мотылек.— Сегодня Яблоньке ничего не скажем, а завтра явимся все к ней, падем на колени, поцелуем край ее платья, да и покаемся. Кто открыл Яблоньку? Ты, что ли? Я ее открыл! Значит, я за все отвечаю!

Комната была уже прибрана и приняла чрезвычайно свежий вид; посередине на ковре, покрытом шкурой белого медведя, стояло кресло, в свою очередь покрытое великолепной персидской шалью; по бокам кресла — две развесистые пальмы в кадках, задрапированных одеялами. В стороне — маленький столик, на столике красная шелковая подушка, а на ней — сверкающая разноцветными камушками чудесная корона, которая под искусными пальцами волшебника Мецената превратилась в подлинное художественное произведение. В стороне стол — с цветами и фруктами.

Мотылек ходил вокруг, любовно осматривая все эти вещи, и только крякал от удовольствия. Все поработали сегодня достаточно — даже Кузя внес свою лепту в общие труды: разбил фарфоровую вазу для цветов.

Когда Анна Матвеевна выплыла с заказанным шампанским и бокалами — она остановилась посреди комнаты, совершенно остолбенелая...

— Это чего такого вы тут настроили?

— Красиво, бабуся? — с гордостью спросил Кузя.— Видите, как я тут все прибрал?!

— Да что это вы... женить кого собрались, что ли? Что за праздничек придумали?

— О, благодетельная Кальвия,— выскочил вперед Мотылек.— Все это для вас! Мы пронюхали, что ровно сорок лет назад вы погасили огонь Весты; уронили пылающий факел девственности и, упав в объятия супруга, перешли на брачное положение. Этот угрюмый факт мы и решили отметить!

— И кто тебе, лешему, такой язык привесил? — сердито сказала Анна Матвеевна.— Ты бы лучше в церковь ходил да Богу молился!

— Нет, уж вы его не заставляйте Богу молиться,— вступился Кузя.— А то он лоб разобьет — кто будет чинить церковные плиты? Вы, что ли?

За дверью свежий звучный голос произнес:

— Разбойнички!.. А здесь Яблонька! Впустите!..

Глава XII

Коронование

Рев восторга приветствовал гостью. Гибкая, золотистая, в платье персикового цвета, с обнаженными руками и открытой шеей — будто кусочки белого мрамора мелькнули перед глазами восхищенных клевретов,— она была обворожительна в своей неискушенной кокетством юности.

От пышных волос, окружавших прекрасное лицо золотым сиянием, до маленьких ножек, обутых в серебристые туфельки,— она вся теплилась, как радостная пасхальная свечка.

— Яблонька,— восхищенно воскликнул Меценат.— Если я ослепну от вашей красоты, как старый Велизарий, будете ли вы водить меня за руку, как тот мальчик, который питал Велизария?

Новакович вздохнул и мрачно ответил за Яблоньку:

— Не такой она человек, чтобы водить за руку. Она за нос водит...

Яблонька в это время здоровалась с Анной Матвеевной, и поэтому горькая тирада Новаковича не достигла ее ушей.

— Голубка ты моя белая,— обратилась к ней нянь-

ка.— Хучь ты объясни мне — чего это тут затевается?! От них нешто добьешься толку?! Такое мне объяснили, что тебе, девушке, и слушать неподобно!

— А вы думаете, нянечка, я знаю? Прилетает ко мне Новакович, сует в руки две груши и наказывает, чтоб обязательно я сегодня пришла в самом парадном виде! Спрашиваю, зачем. Мычит что-то.

— Мудреные они,— сокрушенно сказала нянька.— Ты бы их остерегалась, девушка, а то втянут они тебя в историю. Ведь я их знаю — сущие мытари!

— Настало время объяснений,— напыщенно сказал Мотылек.— Сегодня мы коронуем одного чудного поэта, а имя этому поэту: Куколка.

— Что за коронация? — забеспокоилась нянька.— Чего надумали?! Нешто он царь какой?

— Король, бабуся! Король поэтов.

— Ну, дай ему Бог,— смягчилась нянька.— Очень он ладный парнишка: деликатный такой, почтительный — не вам, бесстыжим, чета. Да вот он, легок на помине.

Куколка появился, одетый, как и подобает королю поэтов, в черную бархатную тужурку, ловко обрисовывавшую его стройную талию... Черный глубокий тон бархата резко оттенял бледно-розовую свежесть его красивого лица и мягкий блеск белокурых волос.

— Вот они, — любовно сказала нянька, поглядывая то на него, то на Яблоньку.— Две золотые головушки! Будто ангелята в ад слетели.

— Тссс! — зашипел Мотылек, приложив палец к носу.— Частные разговоры не допускаются! Без прозы! Все по местам!

Он низко поклонился Куколке, взял его деликатно за пальцы, усадил в торжественное кресло на белой медвежьей шкуре, подскочил к роялю и, обрушив на клавиши свои проворные пальцы, стройно заиграл полонез из «Сказок Гофмана»...

Кончил. Схватил со стола заранее приготовленный том Пушкина, развернул его, как Евангелие, на заранее приготовленном месте и звучно прочел:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон —
В забавы суетного света
Он малодушно погружен.
Когда ж в избе старушки скрип
До слуха чуткого коснется...
Тотчас к бумаге он прилип
И от нее не оторвется!..

Так он и откатал все стихотворение, причудливо мешая звучащий медью пушкинский стих с пресловутыми Кукольными стихами о старушке. Окончив, захлопнул книгу, благоговейно поцеловал ее и начал речь:

— Ваше величество, дорогой Куколка! В жизни почти всякого большого поэта есть одна неизбывная трагедия... Современники его или недостаточно ценят, или совсем не ценят, и только после смерти поэта приходят признание, слава, почести. Это ужасно!! И вот мы, люди хрупкой утонченной духовной организации, почуяв, что в отношении вас может совершиться та же вековая несправедливость, решили по мере своих слабых сил дать вам при жизни то, на что при других условиях вы бы имели право после смерти! Мы создадим вам славу, потому что вы достойны ее, и сегодняшний день — это первый робкий шаг в страну Очаровательных Возможностей, которые ожидают вас на вашем пути, на том пути, с которого мы заботливо сметем все камни преткновения, все шипы — чтобы шествие ваше встречало по сторонам только цветущие розы, только благоухание цветов и приветственные улыбки благодарного народа, который вы вознесете и облагородите вашим волшебным талантом! Настоящих поэтов коронуют так же, как подлинных королей, поэтому, о, прекраснейшая из русских женщин, Яблонька,— благоволите покрыть сверкающее будущим гением чело этой королевской короной. Ур-ра!

Яблонька, ласково улыбаясь, взяла с подушки корону, надела ее на кудрявую голову «короля поэтов», а «король поэтов» с серьезным видом преклонил одно колено и благодарно поцеловал гибкую душистую ручку...

И все клевреты во главе с Меценатом грянули могучее «ура!», а в углу сидела нянька, растроганная речью Мотылька, и тихо плакала, утирая глаза белым фартуком.

«Ура» продолжало греметь, клевреты выхватили из ваз благоухающие цветы и принялись забрасывать ими сияющего, глубоко растроганного Куколку.

Когда овации утихли, Яблонька подняла с белой медвежьей шкуры темно-красную розу и, приколов ее к корсажу, обратилась к Куколке:

— К сожалению, я еще не читала ваших произведений, но я доверяю литературному вкусу всех, кто находится здесь, и поэтому присоединяю свои поздравления и пожелания... Вот что скажу вам: работайте, рвитесь вперед, не удовлетворяйтесь внешним успехом, а главное —

не застывайте на одном месте! В искусстве — все в стремлении.

— Спасибо! А мы с вами еще не знакомы. Позвольте представиться: моя фамилия Шелковников, мое имя...

— Имя ваше можете не произносить,— перебил его Мотылек.— Оно будет прочтено миллионами на обложке ваших сочинений. Господа! Теперь по бокалу шампанского! Яблонька! Предложите королю из ваших ручек.

Когда Мотылек подскочил к разливавшей шампанское Анне Матвеевне, старуха взяла его за ухо и доброжелательно сказала:

— Ведь вот и шут ты, и сущий разбойник, а сказал давеча так, что меня, старуху, слеза прошибла. Тебе бы остепениться — из тебя бы человек вышел.

— Э, бабуся! Куда мне в люди выходить... Я на себя рукой махнул. Дай Бог других в люди вывести! А я — ни в чем мне нет удачи...

И среди этого напускного веселья густое облако грусти наползло на морщинистое лицо Мотылька, и такое это было густое облако, что часть влаги осела в одной из морщин под глазом, задержалась на минуту и потом окончательно скатилась на борт пиджака.

— Фу ты,— развязно сказал Мотылек,— сколько газу в этой шампанее. Инда до слез!..

А на другой стороне комнаты огорченный Кузя с бокалом шампанского, спрятавшись в глубокое кресло, как черепаха в свой панцирь, бормотал, глядя выцветшими глазами в пространство:

— «Затрапезная вдова»! Да вы, может, таких вдов еще и не нюхали! Грудь, как слоновая кость, упругая, как на пружинах, и на рояле хорошо играла... А мужа, может быть, и генералом бы сделали, да он сам не хотел. Зачем, говорит, мне! Я не чинов, говорит, добиваюсь, а дело люблю делать. Дело, дело и только дело! Вот тебе и «затрапезная»!

Глава XIII

Болтовня на ковре

Пить вино на полу — была затея Кузи. Он объяснял ее уютностью такого положения, оправдывал примером древних римлян, которые, дескать, тоже всегда во время пиров возлежали, но на самом деле эта мысль имела своим источником отчаянную лень этого вялого шахматиста. Ему очень хотелось полежать, но в обществе растянуться

вдруг ни с того, ни с сего на оттоманке было невежливо, а если сделать из этого общую забаву, то ему, Кузе, будет удобно, а всем вообще весело...

В центре большого персидского ковра поставили объемистую вазу с крюшоном, а вокруг нее радиусами разлеглась вся компания, не исключая и Яблоньки, которой пылкий влюбленный Новакович смастерил царственное ложе: шкура белого медведя, на шкуре плюшевый плед, а на пледе Яблонька, положившая круглый алебастровый подбородок на огромную пушистую голову страшного зверя.

— Дорогие друзья,— предложил Меценат,— мы могли бы заняться светским разговором, но нет ничего более нудного и тягучего, чем эта болтовня, в которой не больше содержания, чем в пустом орехе! Вместо этого пусть каждый из нас расскажет самую диковинную, самую замечательную историю из своей жизни и практики. Это всегда весело и поучительно, а тем более в такой торжественный день. Ну-ка, Телохранитель, зачинай! Какой самый удивительный случай был в твоей многоцветной жизни?

Умный Меценат неспроста начал с Новаковича, потому что труднее всего в таких случаях начинать первому, а известно, что Новакович в карман за словом не лазил и в любой момент способен был с самым хладнокровным видом состряпать самую чудовищную историю.

— Извольте,— с готовностью сказал Новакович.— Только в моей истории будет одна девушка и один поцелуй, так что я заранее прошу у Яблоньки прощения за некоторую фривольность сюжета.

— Рассказывайте, Телохранитель,— рассмеялась мягким всепрощающим смехом Яблонька.— Я не такая наивная, чтобы не знать, что некоторые девушки целуются.

— И даже очень! — подхватил Кузя с таким фатовским видом, который ясно указывал, что в этих отклонениях от девичьей добродетели он, Кузя, играл не последнюю роль.

— Кузя! Девушки не твоя среда, помолчи. Вот когда девушка выйдет замуж, да муж ее сделается полковником, да потом умрет, да она останется вдовой с белыми ножками и прочим...

— А вы сегодня мою вдову напрасно обидели,— опять омрачился Кузя.— Как она играла на рояле! И когда играла, так ямочки на плечах, как живые, прыгали...

— Это ты нам расскажешь без Яблоньки,— сурово прервал его пуританин Новакович.— Но, так вот вам, почтенные, моя история... Называется она —

Поцелуй в каюте

Должен я начать с самой интимной подробности моей прошлой жизни: в дни своей юности я влюбился... Чувства свои я подарил одной очень достойной девушке, а отвечала она мне взаимностью или нет — я не знал, и это чрезвычайно терзало меня!

(При этих словах рассказчик бросил косой взгляд на Яблоньку, ожидая, что веки ее или углы губок предательски дрогнут, но Яблонька самым безмятежным образом была погружена в вылавливание розовым язычком ананаса из бокала с крюшоном. Рассказчик вздохнул и стал продолжать.)

Я теперь, господа, застенчив и робок с женщинами, а в те времена взглянуть даже на женщину дерзновенным взглядом было для меня подвигом совершенно невозможным. И случилось так, что любимая мною девушка и я должны были ехать на пароходе из Одессы в Севастополь. Я только издали поглядывал на нее да вздыхал, а она была весела, как никогда: каждую минуту подходила ко мне, шутила, подтрунивала надо мной, а когда ее заинтересовывало что-нибудь из жизни моря — мимо идущий корабль или плывущий обломок лодки, разбившейся где-нибудь о скалы, или резвящаяся за корабельной кормой стая дельфинов, или поле водорослей, колышащееся на поверхности воды,— она обо всем этом меня расспрашивала, и я толково объяснял ей, потому что в морских делах очень хорошо понимаю и во мне, может быть, заглох какой-нибудь морской корсар, и слава Богу, что заглох, потому что за эти штуки по головке не гладят.

Вот так-то беседуем мы с ней, а она вдруг и спроси меня:

— У вас, кажется, есть коллекция открыток с картин Третьяковской галереи?

— Есть,— говорю.— Хорошая коллекция.

— Покажите. Только вы не тащите всего этого сюда, а я,— говорит,— лучше пойду в вашу каюту. Можно?

А у меня была отдельная каюта — капитан был приятелем, так дал.

Услышав предложение любимой девушки, я засиял,

как бриллиант Ко-и-Нор, и, конечно, помчался вперед самым гостеприимным образом. Входим мы — и как остановилась она посреди каюты, красивая, будто наша Яблонька, сверкающая черными глазами, белыми перламутровыми зубками, освещенная ярким полуденным солнцем из открытого иллюминатора, как наклонилась она над альбомом жарко дышащей грудью — вспыхнул я, как солома на огне.

И уж буду с вами откровенен до конца — до того захотелось мне поцеловать эту прекрасную девушку, что чуть не до крику.

Собственно, другой на моем месте, может быть, и сделал бы это, потому что девушка относилась ко мне чрезвычайно ласково, но, как я вам говорил уже, характер у меня был дико застенчив. Как так? Среди бела дня вдруг ни с того, ни с сего — чмок! Еще если была бы темная ночь — тогда не так стыдно... А то как назло: солнце нагло лезло всеми своими лучами, как осьминог лапами, прямо в открытый иллюминатор, так что я мог пересчитать все вьющиеся мягкие волосики на ее склоненном затылке...

И воззвал я ко Господу:

— Всемогущий! Если для тебя действительно нет ничего невозможного — пошли сейчас ночную тьму, чтобы я мог наглядно объяснить этому твоему прекрасному созданию волнующие меня чувства!

Не успел я вознести к Богу эту краткую молитву, вдруг — трах! В каюте наступает мгновенно такая темнота, что хоть глаз выколи... Не помня себя, я хватаю любимую девушку в объятия, целую, и — о, счастье! — она отвечает мне таким же горячим поцелуем!! Оказалось, что я ей давно уже не только не противен, а совсем даже наоборот...

Божье чудо!

Новакович умолк, благоговейно склонив голову на ковер и бросая косые взгляды на Яблоньку, залившуюся самым беззаботным, безоблачным смехом.

— Послушай, Новакович,— значительно начал Кузя.— Я в течение нашего знакомства выслушал много твоих историй, но эта сегодняшняя история... гм! Не находишь ли ты, что всему на свете все-таки должны быть какие-нибудь границы?!

— Почему? А что тут невероятного? — хладнокровно пожал плечами Новакович.

— Не будешь же ты утверждать, проклятая Эйфелева башня,— заревел выведенный из своего дремотного состояния Кузя,— что ради твоего поцелуя на небе погасло солнце?! Осмелься сказать это — и ваза с крюшоном будет у тебя на голове!!

— Нет, солнце не погасло.

— Значит, вы оба на несколько минут ослепли?!

— Зрение наше было в совершеннейшем порядке.

— Телохранитель,— вступился Меценат, увидев, что Кузя потерял все свое безмятежное спокойствие и вот-вот готов броситься на Новаковича.— Телохранитель! Если ты нас не дурачишь, то объясни же: откуда среди бела дня вдруг спустилась ночь?

— Ах, простите, я и забыл сказать вам! Дело в том, что у борта парохода резвилась стая дельфинов... И вот один, наиболее прыткий, подпрыгнул выше других и, попав в иллюминатор моей каюты, плотно заткнул своим туловищем отверстие иллюминатора, каковым поступком произвел совершеннейшую темноту, столь благоприятствовавшую ворам и влюбленным. То, что я рассказал, факт! Можете проверить у капитана! Он теперь плавает на «Императрице Екатерине», Чайкин фамилия его.

Все прыснули со смеху, а Куколка поднял на Новаковича свои прозрачные, как лесное озеро, голубые глаза и воскликнул с увлечением:

— А вы знаете, Телохранитель, вот прекрасная тема для рассказа в эксцентричном английском стиле!

— Я думаю! Запишите, чтоб не забыть.

— Кузя,— скомандовал Меценат, выпив залпом бокал холодного крюшона и утирая усы.— Твоя очередь.

— Моя история коротка,— проворчал ленивый Кузя.— В ней нет ни девушек, ни дельфинов, а есть только —

Двуногая собака

О двуногой собаке я говорю не в ироническом смысле — это была настоящая собака, и жила она во дворе той гимназии, где я получил свое блестящее воспитание.

Когда я учился в третьем классе — это была обыкновенная четвероногая собака, но когда я перешел, засыпанный наградами, в четвертый класс (хотя моя карьера и не имела прямого отношения к трагическому случаю с псом), то однажды этот ординарный пес потерпел самое оригинальнейшее крушение! Именно: перебегая дорогу, попал под автомобиль, да так попал, что колесом ему

начисто отрезало переднюю левую и заднюю правую лапу.

— Какой ужас,— покачала головой сердобольная Яблонька.— Неужели издох?!

— В том-то и дело, сударыня, что выжил! Мы, гимназисты, его и лечили. Но тут вот и начинается самое диковинное: остался он, псенок этот, с одной правой передней и левой задней ногой, причем ходить, конечно, не мог. Это, знаете, как стол, у которого отломаны две ножки, и по диагонали. Никак его, черта, не поставишь. Но прошло некоторое время, и собака наша стала показывать чудеса... Лежит, бывало, у стенки, греется на солнышке, вдруг — свистнешь ее! Подползет она на брюхе к стенке, обопрется об нее боком да вдруг как побежит!!

— Послушай, Кузя, да ведь это невозможно!

— Почему невозможно?! Она бегала по принципу двухколесного велосипеда: сразу приобретала инерцию и мчалась как сумасшедшая! Но стоило ей только остановиться, как она сваливалась на бок, тоже вроде двухколесного велосипеда! И так как ноги ее были расположены не на одной линии с направлением туловища по оси, а вкось, по диагонали, то она бегала не прямо, а всегда загибала самые крутые виражи.

Кузя поглядел на Новаковича с убийственной иронией и закончил:

— Я вижу, что вы мне не совсем верите, но утверждаю, что собака такая была, и, как любит говорить Новакович, это легко проверить: ее звали Лорд! А владельца звали — Гусаков! Он теперь тоже плавает где-то, на чем-то.

После некоторого молчания — дани общего удивления странной Кузиной собаке — перст Мецената направился на Мотылька:

— Твоя очередь, Мотылек. Твой стиль обладает большими литературными достоинствами, и поэтому ты не будешь калечить собак и затыкать дельфинами иллюминаторы! Алло! Мы слушаем.

— Моя история не будет веселой, потому что я нынче настроен не особенно хорошо, хотя коронование Куколки для меня большой праздник! Кстати, Куколка! Благополучно ли вы несете ваши секретарские обязанности?

— О, спасибо! Я вам бесконечно благодарен. С редактором мы ладим, хотя знаете что? Он мне говорил,

что собирается оставить «Вершины»... Его приглашают редактировать большую ежедневную газету. Хотите, я вас помирю, и он устроит вам в газете заведывание литературным отделом?

— Нет, где там! Я его так тогда отделал, что придется мне жить отдельно от этого отдела — простите за плохой каламбур. А за вас я рад, очень рад, Куколка! Вы оправдываете мои надежды!

Мотылек собрал лицо в клубок морщин, странно поглядел на Куколку и сказал:

— Однако к делу. Моя история под стать моему настроению — будет во вкусе болезненного, причудливого, как орхидея, художника Гойи. Тем более что и в истории этой главное действующее лицо — художник! Итак —

О художнике, который не мог попасть домой

Я, подобно Меценату, люблю побродить по разным трущобам, поэтому да не покажется вам удивительным, что однажды судьба, прихоть и ноги занесли меня в мрачный трактиришко на Обводном канале, нечто подобное той «Иордани», где Телохранитель при первом знакомстве удержал Мецената от карточной игры с елейным убийцей...

Трактир, в который я попал, был переполнен публикой, плохо одетой и еще хуже воспитанной, что неопровержимо доказывалось двумя висящими на стене суровыми плакатами:

«За потребованное платить вперед».

«За головные уборы гостей, положенные на стол, хозяин не отвечает».

Я полчаса просидел среди шумливой рвани, попивая скверное теплое пиво, как вдруг мое внимание приковал к себе один человек, сидевший налево от меня в полутемном углу этого прокопченного дымом и пропитанного зловонием устаревших кушаний трактира.

Лицо этого человека было бело, как мел, углы рта опустились в какой-то невыносимой смертельной тоске, а глаза угрюмо и будто испуганно сверкали из-под надвинутой на лоб широкополой шляпы. Он тоже поглядел на меня длинным тяжелым взглядом из своего угла и вдруг задал странный вопрос:

— А вы чего сюда пришли?

Вот это маленькое словечко «а» впереди фразы и особое ударение на местоимение «вы», главным образом, и

поразило меня. Благодаря этому фраза приобретала определенную окраску: «Я, мол, пришел сюда потому, что иначе не могу, а какие дьяволы тебя принесли в такое место?»

— Я зашел случайно — люблю понаблюдать низы,— вежливо отвечал я на его странный вопрос.— И потом, не находите ли вы, что в этой грязи и отчаянности падения есть своего рода живописность?

— Не правда ли? — ответил он, забирая свою бутылку вина и перекочевывая к моему столику.— Но на этакую картину ни кармина, ни берлинской лазури не потребуется ни капельки — сплошная сепия и терр-де-сиена, с щедрой примесью жженой кости!

— Вы художник?

— Художник. Слушайте, будем пить и разговаривать — у меня есть деньги, я вас угощу. Только, пожалуйста, разговаривайте, разговаривайте больше!..

— Что это у вас как будто странное настроение? — с любопытством спросил я.

— Ничего не странное! Ничуть не странное — самое обыкновенное! Но... будем разговаривать! Говорите что-нибудь — не могу выносить молчания.

Я принялся рассказывать ему какой-то вздор, и он слушал меня с интересом, даже иногда оживлялся, но сейчас же потухал, и уголки его губ опускались самым демонски угрюмым образом.

«Черт его знает,— подумал я,— не убил ли нынче этот Веласкес какого-нибудь человека?»

— Слушайте,— вдруг спросил я, оглядываясь на шумевшую сзади толпу оборванцев, среди которой я чувствовал некоторую опору в безумной смелости моего вопроса.— Вы сегодня никого не убили?

Нисколько не удивившись моему дикому вопросу, он болезненно поморщился и заторопился:

— Нет, тут не то. Это совсем другое! Впрочем, о смерти не стоит. Вы же сейчас говорили об Анатоле Франсе! Вернемся к Анатолю Франсу.

Вернулись мы к Анатолю Франсу, потом перешли к Малларме, переехали на Барбе д'Оревильи — всех трех странный художник знал превосходно.

Особенно взволновала и растрогала его история, которую я незадолго до этого прочитал во французских газетах: однажды на рассвете на скамейке одного из бульваров Парижа нашли мертвого старика, как потом оказалось, поэта. И в кармане его ничего не обнаружили —

ни денег, ни документов,— кроме трех вещей: свертка рукописных стихов, штопора для откупоривания бутылок и пряди тонких женских белокурых волос, завернутых в полуистлевшую бумажку. Вот что было в кармане трупа на бульварной скамейке. Смерть настоящего поэта!

— Вот это я понимаю,— воскликнул художник, выслушав историю парижского поэта.— Да, это так! Он был настоящий поэт, как и я, может быть, настоящий художник!

Я огляделся: трактир уже опустел, так как незаметно нахлобучилась на беспокойную голову столицы сырая петербургская ночь.

Слуга, изжеванной судьбой наружности, усыпанный веснушками, как паркет маскарадного зала — конфетти, подошел к нам и твердо предложил:

— Идите домой. Заведение закрывается.

— Голубчик, мы еще немножко... Еще полчасика посидим. Я заплачу́!

— И что это вы за господин такой! — угрюмо и подозрительно проворчал слуга.— И вчера не хотели уходить, и позавчера... У нас с полицией строго — такой час, что закрываем!

— Может, кабинетик какой есть или вообще комнатка?.. Вы бы нам — полдюжины вина, телятинки холодной и свечей пару! Ничего больше не потребуется, и можете спать...

— Собственно, и мне пора домой,— нерешительно пробормотал я.

— Дорогой, милый — ни за что! Останьтесь. Вы еще расскажете что-нибудь, выпьем вина — хорошо? Не оставляйте меня одного!

Я не совсем благосклонно пожал плечами и по темной скрипучей лестнице поднялся следом за ним наверх.

Уселись. Выпили еще вина.

Только наш неожиданный, причудливый, призрачный Петербург может щегольнуть такой зловещей комбинацией: мрачная сырая комната без всякой мебели, кроме тяжелого стола, покрытого сырой дырявой скатертью, комната, где будто застоялся запах старого убийства; за окном густая, как кисель, сырая ночь, дышащая в лицо тифом, а против меня — тускло освещенный единственной свечкой человек, из опущенных углов рта которого вопияла смертная тоска, а глаза испуганно, умоляюще вонзались в меня с молчаливым криком: не умолкайте! Говорите о чем угодно, но не молчите!

Однако наступил момент, когда я совершенно иссяк и умолк, устало прикрыв глаза веками.

— Ваши родители живы? — вдруг спросил меня художник вне всякой связи с предыдущим разговором.

— Отец жив, мать умерла.

— Умерла?!! Неужели? А что ж вы с ней сделали, когда она умерла?

— Да что ж с покойницей делать? Как полагается — похоронили честь честью.

— А как?!! Как это делается? Расскажите!

Я невольно отодвинулся от него к окну. Мелькнула мысль: сумасшедший.

— Вы думаете, я сумасшедший? Даю вам слово — нет. Тут не то. Тут другое. Не знаю, поймет ли кто-нибудь меня...

Я решительно встал с места.

— Вот что, дорогой маэстро! Если вам мое общество приятно — вы сейчас же немедленно расскажете мне, что с вами такое делается! Если нет — сейчас же ухожу! Ну вас к черту с вашими истерическими вопросами и с тоскующими глазами птицы Гамаюн! В чем дело?

Он подошел к окну и, вперив в него лицо, долго вглядывался в серую слепую сырую слизь, которая в Петербурге пышно именуется «ночь».

Потом отвечал. Не мне, а этой унылой ночи:

— У меня умерла жена.

— Это огромное несчастье,— деликатно ответил я.— Но нельзя же быть таким... странным!

— Я знаю. Но у меня нет мужества вернуться домой... И потом — не смейтесь! — я не знаю, как это делается!!

— Что делается?!

— С покойниками. Первый раз в жизни. Пятые сутки брожу по трущобам. Дома не был.

— А жену когда похоронили?

— Не хоронил еще. Дома лежит. Слабое сердце. Получила телеграмму о смерти отца — не выдержала. Упала. Разрыв сердца.

— Безумец вы! Пять дней — и она лежит непогребенная?! Почему не похоронили?!

— Поймите — мы здесь одни жили: без друзей, без знакомых... Ну, вот — смерть. А как с ней обращаться, со смертью-то,— не знаю. Первый раз в жизни. Ушел я из дому и... не могу туда вернуться. И страшно, и не знаю: что делать с ней. Жену я очень любил — поймите.

А там... ведь это обмывать как-то нужно, свечи разные. Псалтырь читать — откуда я все это знаю? Вот и отдаляю момент возвращения. Пью. Страшно там, поди. На полу так и лежит. Пять дней. И чем дальше, тем все страшнее пойти.

— Знаете что? Стол этот достаточно большой. Ложитесь-ка на нем до утра. А мне дайте ваш адрес, ключ, я все устрою — потом вернусь за вами, когда уже будет готово...

Он поглядел на меня, как на Бога, благоговейно сложив руки, и покорился во всем, как дитя. Лег на стол, положив под голову пиджак, вздохнул и сказал извиняющимся тоном:

— Я над ней больше суток просидел. Пожалуй, даже не плакал — все смотрел на мертвое лицо. А когда обоняние мое почувствовало странный и неприятный запах, совсем жене не присущий — испугался и убежал из дому.

Было уже светло. Я заехал к себе домой, захватил там квартирную хозяйку, старуху, очень понимающую во всех этих погребальных штуках, потом в участок, взял околоточного и доктора, вошли мы в мастерскую художника. Действительно, на полу лежит женщина, и первый, кто устроил ей погребальный обед, были крысы, порядком объевшие покойницу. Да... Нелегко дышалось в этой комнате!

К вечеру вся процедура была закончена, мастерская проветрена, покойница запрятана в мокрую зловонную трясину, именуемую в столице кладбищенской могилой, и я торжественно ввел во владение мастерской художника, терпеливо дожидавшегося меня в трущобе на Обводном канале. И что ж вы думаете? Когда он вошел в мастерскую, первым долгом поглядел на то место на полу, где лежала жена, благодарно поцеловал меня, пробормотал: «Сейчас буду писать ее в раю, куда она, я полагаю, попала»,— и, как ни в чем не бывало, принялся загрунтовывать свежий холст. Писал до вечера. Это он хорошо делал. Потом я видел картину... Прекрасная! Этакая мистическая вещь. На выставке была.

Мотылек обвел удовлетворенным взглядом притихших слушателей и добавил:

— А что вы думаете, Меценат! Этот непрактичный художник, это Божье дитя любил «живую жизнь» еще больше, чем мы с вами!

— Ты меня обокрал, Мотылек! — печально улыбнулся Меценат.— Я хотел рассказать историю в том же грустном зловещем стиле, а ты меня опередил!

— О, милый Меценат,— поощрительно возразила Яблонька.— Вовсе не обязательно, чтобы история была веселая. Мотылек, например, очень угодил мне своим рассказом во вкусе Гойи. Начинайте и вы!

— Яблонька может вертеть мной, как ребенок погремушкой. Тряхнула — и я начинаю греметь. Позвольте мне назвать свою историю —

О сумасшедшем, которого обманули

Два года тому назад проживал я летом в одном из своих имений... Река, сенокос, парк, огромный плодовый сад — хорошо! Приехал ко мне в гости приятель, кандидат прав — Зубчинский. Уселись мы с ним на веранде, увитой диким виноградом, играть в шахматы — оба были страстные шахматисты. Сбоку столик, на столике белое вино со льдом, ягоды, бисквиты — хорошо! Передвигаем фигуры, болтаем о том о сем, вдруг он, сделав удачный ход, на минутку призадумался, посмотрел на меня странными глазами и говорит:

— Что если шахматного коня сеном накормить? Можно тогда партию выиграть?

Шутка была глупая. Я пожал плечами, снисходительно усмехнулся и говорю:

— Что за дикая мысль пришла тебе в голову?

— Нет, не дикая! (И смотрит на меня нехорошими глазами.) Нет-с! Не! Дикая! Сено — великая вещь. Если теноров кормить сеном, они как соловьи будут петь. А вам все жалко?! Лошади у вас живут без сена — безобразие!

— Николай Платоныч,— испуганно говорю я.— Что это ты, от жары, что ли? Опомнись!

Завизжал он дико, пронзительно:

— Не потерплю! У самого сенокосы по пятьсот десятин, а он лошадей с голоду морит!! Во мне, может быть, душа лошади — и я страдаю!! Подлецы!!

Волосы у него сделались влажными, стали дыбом.

Я его взял за руку, а он, как обожженный, отскочил, закричал, перекинулся через перила веранды и давай по клумбам сигать, точно жеребенок...

— Ход коня! — кричит снизу.— Видишь? Парируй, подлец!

Прыгал он, прыгал, наконец, очевидно, острый пароксизм прошел, утомился, притих, улегся на ступеньках веранды и принялся тихо, жалобно плакать.

Я долго стоял над ним в раздумье. Положение было жестокое и глупое. Что Зубчинский мой сошел с ума — я, конечно, не сомневался. Но что с ним делать дальше? Помешательство, очевидно, буйное. Связать его и запереть в сарай — жаль. Все-таки приятель. До ближайшего доктора двадцать верст, до губернского города, в котором была и лечебница для умалишенных — около тридцати. Но как довезти его туда, этакое сокровище? Сумасшедшие необычайно подозрительны, хитры, и, конечно, мой Николай Платоныч сразу догадается, куда я его везу... И догадается — страшных вещей может наделать. Силища у них в этом состоянии непомерная — и Телохранителю, пожалуй, не справиться.

Пока я стоял так над ним в раздумье, приблизился мой управляющий — человек со светлой головой, бывший провинциальный актер, потянувшийся за мной на лоно природы. Он из окна своего флигеля видел, какие курбеты выделывал на клумбах мой кандидат прав, и поспешил на помощь.

Я отвел его в сторонку, посвятил в двух словах во всю эту глупую историю, спрашиваю:

— Что делать?

— Не иначе, как в город везти нужно, в сумасшедший дом.

— Да ведь как его отвезешь-то? Ведь он тут все переломает и нас перекалечит.

— Хитростью надо взять.

Призадумался я — и вдруг, как птица крылом по воде, зацепилась у меня в мозгу мимолетная, но очень светлая мысль.

— Вот что...— сказал я.— Вы можете часа на четыре притвориться сумасшедшим?

Смотрит на меня управляющий умными глазами, ухмыляется:

— Конечно, могу. Актером я был неплохим.

— Ну и ладно. Попробую подловить на это беднягу. Сядьте-ка там за столом и стройте физиономию по возможности наиболее идиотскую. А я с ним поговорю.

А Николай Платоныч плакал, плакал и затих. Задремал, что ли... Сел я около него на ступеньки веранды, потряс его за плечо и говорю:

— Николай Платоныч, а Николай Платоныч!

Поднял он измученное осунувшееся лицо и спрашивает:

— Что тебе?

— Послушай... У меня, брат, большое несчастие!

— А что такое?

— Мой управляющий с ума сошел.

В его тусклых глазах блеснул интерес.

— Да что ты? Гаврилов? С ума сошел? С чего же это он?

— А черт его знает. Понимаешь, стал уверять, что он нынче утром крысу проглотил.

— Вот дурак-то! Как же это человек может проглотить крысу?

— То же самое и я ему говорю! Никаких резонов не принимает — сидит внутри крыса, да и только!

— А знаешь, что? Дай я с ним поговорю. Может, урезоню.

Подошел к управляющему. Стал разглядывать его с огромным интересом и сочувствием.

— Послушайте, что с вами случилось?

— Крыса внутри сидит. Нынче нечаянно проглотил.

— Ну, Гаврилов, голубчик! Подумайте сами: ведь это вздор. Как это человек может проглотить крысу? Ведь вы человек интеллигентный, знаете строение гортани, пищевода...

У моего Гаврилова лицо до того тупо-идиотское, что смотреть противно.

— Раз я вам говорю, что у меня внутри крыса, значит, она там. Вот приложите руку к животу — слышите, как скребет когтями внутри?

— Поймите, что никакое живое существо не выдержит температуру желудка...

— Не морочьте голову... Вы подкуплены хозяином.

Плюнул Николай Платоныч, отошел ко мне:

— Форменный сумасшедший! Я ему логически доказываю, что не может быть живая крыса в человеческом животе, а он черт его знает что несет. Послушай... Давай его полечим, а?

— Чем же его лечить?!

— Покормим сеном. Живые соки, которые находятся в стебельках свежего сена, могут оказать очень благодетельное действие на серое вещество мозга. Понимаешь — сочное сено! Накормим его, а?

Я сделал вид, что размышляю.

— Сено, конечно, очень полезная вещь. Но как его

дозировать? Очень сильная доза может оказаться убийственной. Здесь без доктора не обойдешься.

— Так отвезти его в сумасшедший дом, там его поставят на ноги.

— Я бы и отвез, но одному трудно. Друг Николай Платоныч, выручи! Давай его вместе отвезем.

— Послушай... А вдруг он догадается, куда мы его препровождаем?

— А ты с ним поговори. Соври что-нибудь.

Николай Платоныч сомнительно покачал головой, приблизился к Гаврилову и сказал, хитро на меня поглядывая:

— Вот что, друг Гаврилов! Мы обсудили этот вопрос с крысой и решили вас везти в город на операцию. Раз крыса в желудке, нужно его вскрыть и извлечь оттуда инородное тело. А потом уж я буду долечивать вас сеном — согласны?

— Я боюсь докторов! Вообще же есть у меня один приятель-доктор, да он в доме умалишенных служит.

Глаза сумасшедшего радостно блеснули.

— Ну, вот мы вас к нему и отвезем. Конечно, знакомый доктор лучше!

Он подошел ко мне на цыпочках и подмигнул на Гаврилова с дьявольски лукавым видом:

— Все устраивается как нельзя лучше. Этот болван со своей глупой крысой внутри сам лезет в лапы психиатров. Вели закладывать лошадей — мы его живо домчим.

И вот, когда мы уселись в экипаж, нужно было видеть, с какой трогательной заботливостью относился настоящий сумасшедший к поддельному. Он закрывал ему ноги пледом, хлопотливо засовывал за жилет клок сена («Жизненная эссенция сена очень хорошо размягчает инородные тела внутри организма...»), изредка во время пути обращался к Гаврилову, сочувственно кивая головой:

— Ну, что, Гаврилов?.. Успокоилась крыса?

— Нет, ворочается, проклятая.

— Ах ты ж, история какая. Ну, потерпи, голубчик... вот привезем тебя, сделаем операцию, и все как рукой снимет.

Приехали. У ворот дома умалишенных Зубчинский заботливо помог Гаврилову выйти из экипажа и, деликатно поддерживая под локоть, стал всходить с ним по ступенькам лестницы.

Я шел сзади, а сердце отчего-то тоскливо ныло.

На наше счастье, в приемной находился в тот момент доктор с ассистентом и два здоровенных служителя в белых халатах.

— Чем могу служить? — деловито спросил доктор.

Оставаясь благоразумно около входных дверей, я сделал незаметный знак доктору и сказал:

— Да вот приятель у меня захворал. Не можете ли вы его освидетельствовать?

— Понимаете, доктор,— развязно вступил в разговор Зубчинский.— Вообразил он, что в его животе сидит крыса, и...

— Дело, собственно, не во мне,— вежливо шагнул вперед, кланяясь и делая знак доктору, Гаврилов.— А мы привезли к вам господина Зубчинского...

Доктор опытным взглядом окинул лица обоих и сразу понял, в чем дело.

— То есть он шутит,— насильственно улыбаясь и странно дрожа, сказал заискивающе Зубчинский.— Если крыса действительно сидит внутри, то препарат свежего сена...

— Хорошо, хорошо. Но вы, господин Зубчинский, пока отдохните, вы устали с дороги. Уведите этого господина в восьмой номер!

Глаза Зубчинского странно округлились, он дернулся вперед, но четыре могучие руки уже клещами держали его сзади. Он увидел ясно сразу, все в один момент: Гаврилова, деловито что-то шепчущего на ухо доктору, и меня, отворачивающего от него смущенное лицо, меня, который уговорил его помочь, меня, который уже взялся за ручку двери, чтобы уйти, покинуть его.

И страшный, как лязг железа, стон прорезал застоявшийся больничный воздух:

— Обманули!!! Доктор, они меня обманули!! Погиб!

Не помня себя, я выскочил из приемной, кубарем скатился с лестницы и опомнился только тогда, когда Гаврилов догнал меня на улице, усадил в экипаж и мы выехали снова на степной простор среди желтеющих полей. Гаврилов молчал, но, если бы даже он заговорил, я бы не слышал его голоса. Все заглушалось этим до сих пор звенящим в ушах пронзительным криком, в котором слилось все человеческое отчаяние, ужас, страшный упрек и огромное страдание при столкновении с подлостью людской:

— Обманули!!!

Рассказ произвел большое впечатление. После общего молчания лежащий около Яблоньки Новакович вздохнул своей могучей грудью так, что даже приподнялся корпусом, и сказал задумчиво:

— Эти две истории — ваша, Меценат, и Мотылька — навалились на меня, как две надгробные плиты. Я возлагаю большие надежды на Яблоньку в смысле освежения этой склепообразной атмосферы. Рассказывайте что хотите, Яблонька, и если даже вы заткнете какой-нибудь иллюминатор дельфином, все равно окружающие будут в восторге.

Яблонька погладила нежной, как лепестки розы, рукой огромную голову белого медведя и, сжав значительно губки, погрузилась в задумчивость... Потом тряхнула жидким золотом своих растрепавшихся волос.

— История моя так же коротка,— улыбаясь, сказала она,— как и случай с двуногой собакой, хотя я и не так ленива и односложна, как ее автор Кузя. Так как у нас уже установилось правило, чтобы давать рассказываемым историям заглавия, то моя история должна называться несколько легкомысленно —

Связался черт с младенцем

Два года тому назад жила я с родными на даче. При даче был небольшой парк, который непосредственно переходил в лес, отделяясь от него деревянным высоким забором. По сю сторону забора стояла скамья, на которой я любила сиживать с томиком Тургенева или Гончарова, пригретая солнышком. Обвеянная смолистым ароматом деревьев...

Сижу однажды, читаю, вдруг — слышу за забором шорох. Сначала я подумала, что это пробирается кто-нибудь из гуляющих дачников, переждала немного, опять углубилась в чтение, вдруг ухо мое ясно уловило за забором чье-то дыхание. Человек всегда инстинктивно чувствует, что за ним наблюдают, и я это сразу почувствовала: за забором в щель меня кто-то разглядывал...

— Кто там? — строго спросила я.

И вслед за этим услышала шорох чьих-то быстро удаляющихся шагов.

Тут же этот пустяк сразу и вылетел из моей головы, но вечером, когда я вернулась с прогулки по озеру в свою комнату, мне в глаза бросилась странная вещь: на туалетном столике, прислоненный к зеркалу, стоял образ

святителя Николая Чудотворца в золоченой ризе. Вне себя от удивления, я позвала прислугу, опросила всех домашних — все выразили полное недоумение: такого образа ни у кого в доме не было и в мою комнату никто не заходил, тем более, что дверь была мною заперта.

Мы все в душе немного Шерлоки Холмсы, поэтому я, оставшись одна, стала на колени и внимательно освидетельствовала ковер. Следов, конечно, никаких не было, но по линии от раскрытого окна до туалетного столика я обнаружила несколько песчинок, лежавших небольшими островками на определенном друг от друга расстоянии. Конечно, это мне ничего не объяснило, так как и сама могла занести на подошвах эти песчинки — пришлось предать чудотворный случай с Николаем Чудотворцем забвению.

Но дня через два повторилось то же самое: утром чье-то дыхание за забором и шорохи, вечером на туалетном столике я обнаружила флакон французских духов, уже откупоренный и начатый.

Я опять взяла всех на допрос, и снова все отозвались полным незнанием, а горничная посоветовала запирать мое окно, выходящее в сад.

Я так и сделала, но на четвертый день окно оказалось открытым, а на столике лежало несколько книг в великолепных переплетах, но по содержанию их подбор был самый странный: два тома «Энциклопедического словаря», том стихов Бодлера, роскошное издание «Бабочки Европы» Мензбира и «Семь смертных грехов» Эжена Сю в русском переводе...

Мне сделалось не по себе. Очевидно, кто-то через окно являлся в мою комнату, как к себе домой, и хотя ничего не уносил, а, наоборот, одаривал меня же, но, согласитесь, неприятно чувствовать, что «мой дом — моя крепость», это фундаментальное правило англичан, уже кем-то неоднократно нарушено.

На другое утро я, не переставая размышлять об этой дурацкой истории, захватила томик Бодлера и «Бабочки Европы» — с целью рассмотреть все это и направилась к своей любимой скамейке. Снова за забором шорох и чье-то дыхание... Я подождала немного, сделала вид, что всецело погружена в разглядывание раскрашенных политипажей, и вдруг, как молния, внезапно обернулась назад. Взгляд мой успел схватить чью-то рыжую голову в жокейской фуражке, при моем движении вдруг провалившуюся вниз с легким восклицанием.

— Послушайте, молодой человек,— строго сказала я.— Подглядывать неблагородно. Лучше уж покажитесь, чем прятаться за забором, как заяц.

— Я не прячусь,— сконфуженно пробормотал рыжий «молодой человек», снова выглянув из-за забора.— Я тут... вообще на сад любуюсь.

Вдруг взгляд моего нового знакомца упал на книгу Мензбира, которую я держала в руках, и лицо его засияло от удовольствия.

— Понравилось вам, барышня? — спросил он, указывая грязной рукой на книгу.— Книжонка, кажется, стоящая. А? Чудеса, можно сказать, природы!

И тут я сразу догадалась, кто был автором всех этих нелепых подношений.

— Значит, это вы лазите через окно в мою комнату? — сурово спросила я, еле удерживая улыбку при виде его смущенного лица.

— Простите, барышня. Я ж ничего и не взял у вас. Наоборот, презентовал кой-чего на память.

— Зачем же вы это делаете?

— Очень вы мне приятны, лопни мои глаза! На вас и поглядеть-то — одно удовольствие. Сломайте мне два ребра, ежели вру!!

Объяснение в любви от такой нелепой рожи не могло польстить моему женскому тщеславию, и я сказала еще суровее:

— Чтоб этого больше никогда не было, слышите? И потом я не хочу, чтоб вы тратили деньги на подобные глупости!

— Тю! Кто это? Я трачу? Об этом не извольте беспокоиться — ни копеечки-с! Все задаром. А образок я вам, как говорится, на счастье. А ежели что не нравится, так мигните — все настоящее предоставлю: из материи что али из брошков, с браслетов...

— Да вы что, купец, что ли?

— Так точно,— хитро ухмыльнулся он.— Почти что купец. Некупленным товаром торгую.

Я хотя и девушка, почти не знающая жизни, по сразу сообразила, что это за купцы такие, которые «некупленным товаром торгуют».

— А что, если я на вас полиции донесу?!

— Ни в жисть не донесете,— спокойно сказал он, пяля на меня свои глупо влюбленные глаза.— Не такой вы человек, чтоб другого под монастырь подвести. Нешто такие беленькие доносят?

Этот вор был большим психологом. Я помолчала.

— Что же вам от меня нужно?

— Разик на вас глазом глянуть да презент какой исделать — больше мне ничего и не требуется. Уж такая вы барышня, что прямо на вас молиться хочется. Два ребра сломайте, ежели вру!

— Молиться, говорите, а сами для меня вещи воруете.

— Зачем специально для вас? Я кой-что и для себя делаю.

Посмотрела я на его рыжую расплывшуюся физиономию, и почему-то жалко мне его стало.

— Слушайте, голубчик... Если я вас о чем-то попрошу, вы сделаете?

— В один секунд! Голову себе или кому другому сверну, а добуду! Два ребра!..

— Вы меня не поняли!.. Я прошу вас о другом: бросьте это ваше... занятие!

Он призадумался, изящно почесывая оттопыренным большим пальцем рыжую голову.

— «Работу» бросить? Гнилой это плант ваш, прекрасная барышня. Делу я никакому не приучен — только «работать» могу. Да кто меня и возьмет на дело? Извольте полюбоваться на личность — прямо на роже волчий паспорт нарисован, за версту от меня вором пахнет.

Ах, бедняга! В этом он был категорически прав, даже не клянясь двумя сломанными ребрами.

Представьте себе, долго я с ним беседовала, и хотя, несмотря на все доводы, не могла направить его на правильный путь, но расстались мы друзьями. Он даже дал слово не таскать мне в окно «презентов», вымолил только разрешение «чествовать меня лесными цветочками».

Я видела, что встречи со мной доставляют ему огромную радость, и думаю я, что, помимо этого невинного удовольствия — никаких утех в его горемычной жизни, исключая пьянство и чужие сломанные ребра,— никаких других утех не было!

Приходил он к забору в течение лета несколько раз. Я ему связала в «презент» гарусный шарф, а он перекидывал мне через забор «лесные цветочки», но и тут раза два по своей воровской натуре сжульничал, потому что он однажды презентовал мне цветущий розовый куст, выдернутый с корнем, а другой раз преподнес букет великолепных оранжерейных цветов, бешено клянясь при этом всеми сломанными ребрами мира, что сорвал в ле-

су. Дикий человек был (закончила Яблонька с ясной светлой улыбкой) — что с него взять!

— Где же он теперь, этот ваш рыцарь без страха, но с массой упреков?..— ревниво спросил Новакович.

— Ах, я боялась этого вопроса,— уныло, со вздохом прошептала Яблонька.— Конец этой истории такой грустный, что я хотела не наводить на вас тоски... но раз вы спрашиваете — закончу: когда я уже жила в Петербурге, мне однажды какой-то оборванец принес безграмотную записку на грязном клочке бумаги. Недоумеваю, как он узнал мой адрес... В записке значилось: «Если вы точно что ангел, то не обезсудьте, придите проститься. Очень меня попортили на последней работе — легкие кусками из горла идут. Повидаться бы!! Лежу в Обуховской больнице, третья палата, спросить Образцова... Ежли ж когда придете — уже помру — извините за беспокойство».

— Что ж... пошли? — тихо спросил Меценат.

— Конечно! Как же не пойти. Труд небольшой, а ему приятно. Засиял весь, как увидел. Этакий рыжий неудачник, прости его Господи. При мне же и умер... Сдержал-таки свою любимую клятву «сломанными ребрами»; доктор говорил — три ребра сокрушили ему.

Вдруг Яблонька вздрогнула и, отдернув руку, лежавшую около Куколки, поднесла ее к лицу.

— Кто? Что это? Неужели Куколка? То, что вы поцеловали мою руку — так и быть, прощаю вам, но что на ней ваши слезы — нехорошо. Мужчина должен быть крепче.

— Господи! — в экстазе вскричал Куколка, приподнявшись с ковра на колени и молитвенно складывая руки.— Неужели такие женщины существуют? Как же, значит, прекрасен Божий мир!!

Мгновенную легкую неловкость развеял Мотылек:

— А ваша история, чувствительная куклиная душа?! Вы должны ее рассказать — чтоб мне два ребра сломали!!

— О друзья! Позвольте мне ничего не рассказывать... После истории Яблоньки все другие истории покажутся шакальим воем. Да если вы хотите — самая чудесная история в моей жизни — это та, которую вы знаете: знакомство с такими замечательными людьми, как вы, и та сила, та мощь, которую вы в меня вдохнули; и которая,

я чувствую, сыграет огромную роль в моей жизни!! Последний бокал пью за ваше здоровье и счастье, мои родные друзья! Уже поздно. Не пора ли спать? Этого вечера я никогда не забуду!..

Домой шел Куколка, пышно освещенный полной луной. Глаза его, полные слез, были обращены к небу, и там в неизмеримой роскошной глубине он видел прекрасного Бога, окруженного сонмом сверкающих серафимов, и не чувствовал в этот момент Куколка под собой земли, потому что, когда наткнулся на уличную проститутку, то даже вопреки своему обыкновению не извинился.

Глава XIV

Куколка входит в моду

Случаются в Петербурге такие воскресные дни, когда воздух делается как-то чище и светлее, небо ярче и солнце светит, точно праздничная русская девушка в алом сарафане, идущая в церковь под бурный и радостный колокольный звон,— солнце светит тоже по-праздничному... Тогда будни уползают, как серые старые змеи, куда-то далеко, и на душе весело, радостно. Тогда музыка городской суеты звучит ленивее и гармоничнее, а золотые пылинки в дружески теплом луче солнца, протянутом от неплотно задернутой портьеры до узорчатого ковра над кроватью, пылинки пляшут особенно беззаботно и лихо...

Хоровод этих крошек особенно затанцевал и закружился, когда Куколка потянулся в своей постели и раскрыл сонные глаза.

Утренний церковный благовест разлился круглыми, тугими, упругими, как литые мячи, звуками, и несколько таких медных мячиков-звуков запрыгало в Куколкиной комнате, схватившись за руки с пляшущими золотыми пылинками.

Этот веселый утренний бал окончательно вернул Куколку от сна к жизни.

Он бодро вскочил, накинул халатик, заказал хозяйке кофе с филипповскими пирожками, принял ванну и, освеженный, особенно благодушный в предвкушении праздничного дня, важно развернул свежую газету. В отделе литературной хроники было написано и о нем:

«Входящий в известность писатель В. Шелковников

едет в скором времени в Италию на Капри, где будет работать над задуманным им романом».

Куколка улыбнулся и с дружеским упреком покачал головой.

— Ах, Мотылек, Мотылек! Вечно он что-нибудь выдумает... Впрочем, это он для меня же. Какой-такой роман? И в голове даже не было. А роман хорошо бы написать. Толстый такой. В трех частях.

Снова гулко и тяжело грянули воскресные колокола; Куколка при этих звуках вдруг бросил газету и всплеснул руками.

— Боже ты мой! А помолиться-то я и забыл!..

Очевидно, для Куколки это было важное упущение («Пойди-ка потом исправь! Как исправишь?»), потому что он немедленно же опустился перед образом на колени и вознес к Богу ряд мелких и крупных молитв, где причудливо смешались воедино прошения и благодарения за посланное свыше: молился он за мать, за Россию, за Мецената и Мотылька, за Кузю и Новаковича — его новых, таких преданных друзей; за то, чтобы тираж «Вершин», где он секретарствовал, вырос вдвое, благодарил Бога за ниспосланный ему талант, вознес самую пышную гирлянду лучших отборных молитв за прекрасную, чудную Яблоньку, а вспомнив кстати и о ее знакомом рыжем воре, испросил и для него у Господа Бога мирного упокоения в селениях праведных.

Чистая душа был этот Куколка, и сердце его возносилось с просьбами ко Вседержителю с такой же сыновней простотой, с какой мальчишка выпрашивает у матери лишнюю горсть орехов.

Покончив с религиозными хлопотами и заботами, Куколка бодро нырнул в светские дела, а именно: выпил большую чашку кофе с двумя популярными филипповскими пирожками, еще тепленькими, и принялся писать матери в провинцию восторженное письмо о своих блестящих шагах на поприще литературной славы, о верных друзьях меценатовской плеяды, о Яблоньке, которая, по его меткому утверждению, была лучшим божьим созданием на земле, о романе в 3—4 частях, который он предполагает писать (так здоровое зерно, брошенное в черноземную почву, немедленно дает роскошные ростки), о взаимоотношениях редактора и издателя «Вершин», о своей квартирной хозяйке — о многом писал Куколка, много зернистых мыслей и сведений опрокинул со дна чернильницы на бумагу, много дряни и трухи втиснул ту-

да же, инстинктивно памятуя, что родительский желудок все, все, решительно каждую крупицу с жадностью поглотит и все с благодарностью переварит...

Только что окончил Куколка письмо, как в дверь постучали.

— Пожалуйста, войдите,— разрешил Куколка.

Господин с жесткой щетиной на лице и искательными глазами, в узкой, отлакированной временем, венскими стульями и пивными столиками без скатерти визитке, в брюках, чудовищно вздутых на коленях, будто он сунул туда два футбольных мяча,— такого вида господин вошел в комнату и поклонился с принужденной грацией щедро получившего на чай трактирного слуги.

— Простите, что врываюсь. Праздник. Отдых. Знаю. Но пресса безжалостна. Чудовище. Сжевывает зубами в конце концов всего человека.

К новоприбывшему чудовище-пресса, однако, отнеслась довольно милостиво: кроме наполовину сжеванного галстука и объеденного низа брюк, он почти не пострадал от зубов прессы.

— Да, насчет прессы вы верно отметили,— благосклонно согласился Куколка.— Чем вообще могу служить?

— Я от редакции «Вечерняя Звезда». Прислан. Интервьюировать. Вас. Разрешите!

Сердце Куколки бешено забилось и сладко, как на качелях, опустилось вниз, чтоб сейчас же еще слаще взлететь в поднебесье.

— Да что вы... Мне, право, так неловко. Зачем же вам беспокоиться... Я бы сам пришел, если нужно.

На лице щетинистого изобразился благоговейный ужас.

— О, что вы! Как же мы осмелились бы беспокоить такого масти... (он чуть не сказал «маститого», но, взглянув на юное простодушное лицо Куколки, спохватился) такого... популярного человека! Итак, разрешите?

— Извольте! — засуетился Куколка.— Да вы не хотите ли кофе выпить?.. Вот и булочки, масло, пирожок есть.

— Я, собственно... уже завтракал,— пробормотал интервьюер «Вечерней Звезды», в то же время обрушиваясь на предложенные продукты с такой яростью, что его слова о съеденном завтраке должны были бы относиться к эпохе семидесятых годов.— Эх, под такой бы пирожок бы да рюмочку бы водки... двуспальную!

На лице Куколки отразилось совершеннейшее отчаяние.

— Ах ты, несчастье какое, Боже мой! Водки как раз и нет! И как это я упустил?! Впрочем, есть красное вино. Вы выпьете красного?!

Интервьюер закивал головой и промычал набитым ртом так энергично, что было очевидно — окраска предложенного напитка являлась для него мельчайшей деталью.

Наконец, отвалившись от стола, он допил последнюю каплю вина и сказал в виде оправдания своему хищному поведению:

— Прогулка, знаете, дьявольски развивает аппетит! Где родились?

— В Симбирске.

— Хороший город. Непременно побываю. Так и запишем: «Место рождения — Симбирск». Учились?

— Учился.

— И правильно. Ученье, как говорится, свет. Почему начали писать?

— Тянуло меня к литературе.

— Благороднейшая тяга! Другого паршивца к бильярду тянет, ботифончик этакий заложить, а избранные натуры непременно к литературе взор свой обращают или там к музыке какой ни на есть. На какие языки переведены?

— Собственно, еще ни на какие...

— Так и запишем: «Две поэмы вышли в английском переводе в «Меркюр-де-Франс».

Репортер откинул назад голову и с такой восторженной любовью и гордостью артиста поглядел на четко выписанное им в памятной книжке название иностранного журнала, что у Куколки не хватило духу протестовать.

— Кого из классиков лично знали: Тургенева, Достоевского, Гончарова?..

— Помилуйте, меня и на свете тогда не было.

— Прискорбно. Строк тридцать похитила у меня эта ваша молодость. Впрочем, черкнем штришок: «В бытность свою в Симбирске великий Тургенев взял однажды на руки Шелковникова — тогда еще малютку — и пророчески воскликнул: «Вот мой продолжатель!»

— Но... ведь этого... не было!

— А почем вы знаете? Вдруг было, да вы по младенчеству не обратили внимания. Ваш любимый писатель?

— Пушкин.

— Так и занесем: «Пушкин и Достоевский». Говорят, роман пишете?

— Видите ли... я еще не знаю...

— Так-с. Тайна. Понимаю. Тайна — святое дело. Из какого быта? Я полагаю, насчет оскудения интеллигенции. Э!

— Как вам сказать...— в отчаянии пробормотал Куколка.

— Так и запишем: «В будущем произведении жестоко бичуются уродливости русских Рудиных, оторвавшихся от земли...» Курите?

— Ну, это такая деталь, что стоит ли указывать...

— Нет, мне бы, мне папироску. Ужасно курить хочется! Я в том смысле. Скажите еще что-нибудь копеек на тридцать! Для округления.

Куколка беспомощно взглянул на него. Что ему сказать? У бедняги даже мелькнула мысль предложить интервьюеру эти недостающие тридцать копеек наличными, но тот уже вдохновенно перебил его:

— Спортом занимаетесь? Вы, по-моему, хороший боксер легкого веса. Нет? Ну, все равно, займетесь на свободе. «Наш собеседник очень увлекается кроме литературы и той отраслью спорта, о которой еще знаменитый Расплюев отзывался: «Просвещенные мореплаватели и вдруг бокс». Тот Расплюев, который в изображении артиста Давыдова вырастает в....» Ну, во что он вырастает, я после допишу. Дома.

Он перечитал написанное и вытянул губы трубочкой.

— Гм... суховато немного вышло. Ну, я дома еще иллюминую; красочкой кое-где трону. Ну, я побежал. Еще один фрукт на очереди. Посланник. Балканский вопрос. Рубля на четыре. Счастливо оставаться. Еще папиросочку? Можно? Три? Ну, три! Или пять? Для округления. Так, в Саратове родились? Чудный город. Обязательно побываю. Так сказать, на месте преступления. Чудно! Пляж. Фактории. «Эх ты, Волга»,— как говаривал покойный Степан Разин. Эпос, а? До скорейшего!

Этот бедный поденщик пользовался в литературных кругах популярностью за одну свою странную особенность: получив в конце месяца из редакции деньги — рублей пятьдесят,— он вместо того, чтобы освежить свой туалет или расплатиться с пребывавшей в хронической панике квартирной хозяйкой, вместо этого он брал лихача на дутых шинах, мчался в «Аквариум», заказывал великолепный ужин в ложе, выходящей к сцене, пил шампан-

ское, закуривал «гавану» и, купив у продавщицы пук красных роз на деньги, оставшиеся после уплаты по счету, барским жестом швырял цветы какой-нибудь пляшущей на сцене испанке, после чего пешком возвращался домой, опустошенный, но бодрый, бормоча себе под нос:

— По-великокняжески провел вечер! Ай да мы, Пегоносовы! Вот это жизнь! Красота! Ракета!

Манера разговаривать у него была тоже особенная, никому другому не свойственная. Мотылек почему-то называл эту манеру «фонетическим методом».

При встрече с Мотыльком он еще издали кричал:

— Здравствуйте, красавец! Зарабатываете? Красота! А галстучек-то! Мода! Король Эдуард пуговицу на жилетке для моды расстегивал! Англичане! Гибралтарский вопрос! Думаю в Испанию поехать — кастаньеты, танцовщицы, в «Аквариуме» давно были? Осетрина беарнез чудная! Рыбный вопрос! Думаю рыбной ловлей заняться! Море — Черное — Каспийское — Нефтяные вышки — Нобель — керосиновый король — красавец — зарабатывает!!

Эта бесконечная лента могла тянуться полчаса.

Теперь, когда он вышел от Куколки, Куколка минут пять сидел оглушенный, будто его посадили под жерлом пушки и выстрелили.

Но не успел он прийти в себя, как в двери снова постучали.

— Можно?

— Можно.

Вошел седобородый старец, казалось, весь сделанный из мягкого серебристого плюша, благостный, импозантный, в сером сюртуке и с плюшевой шляпой в руке.

— Жаждал познакомиться...— мягким серебристым баском проворковал он, окружая руку Куколки двумя пухлыми ладонями, будто пуховой периной.— Вот вы какой!.. Совсем молодой. А мы уже старики-с! Да-с... На исходе. Вы в гору, мы под гору. Вот и зашел посмотреть, чем молодежь дышит.

— С кем имею честь?..— пробормотал Куколка.

Посетитель назвал свою фамилию, и Куколка так и отпрянул в благоговейном ужасе: носитель фамилии был крупный по петербургскому масштабу писатель, гремевший своими романами в прошедшем десятилетии.

Что его привело к бедному, в шутку раздутому, «как детский воздушный шар», по выражению Мотылька, Куколке? Захотелось ли ему при взгляде на Куколку вспом-

нить себя самого — молодым, входящим в моду, «взбирающимся на высокую гору»? Или уж очень он боялся отстать от века? Или захотел старый литературный слон, грешным делом, заручиться признательностью и дружбой будущей знаменитости? Бог его знает. Темны и извилисты пути артистической души на закате!..

— Боже ты мой! — засуетился радостно смущенный, растерянный Куколка.— Я даже не знаю, какое кресло вам предложить! Ведь вы наш учитель! На какое почетное место посадить вас?!

— Э! Все равно в конце концов в калошу посадите, хе-хе. Впрочем, шучу. Вы имеете, кажется, отношение к редакции «Вершин»?

— Да... я там... секретарем.

— Хороший журнал. В моду входит. Я вам, кстати, чтоб не с пустыми руками заходить, вещицу принес. Кажется, удалась. Хотите, берите для журнала!

Куколка бросил косой взгляд на извлеченную из сюртучного кармана трубкообразную «вещицу» и, хотя был он восторжен и неопытен, как дитя, но не мог не заметить, что «вещица» уже бывалая. Следы ее путешествий ясно обозначались в виде истертых, потрепанных краев и карандашных ядовито-синих, не поддающихся резинке пометок на обложке: «К возвр.».

Тем не менее Куколка вещицу благоговейно взял и тут же заверил, что, со своей стороны, приложит все усилия, чтобы в ближайшее время... и так далее.

Был он еще мягок и сердечен, резко отличаясь от старых очерствевших редакционных тигров, жестоких палачей, живодеров, убийц и крушителей как робких, радостно начинающих, так и угрюмо кончающихся дарований.

— Ну, теперь я пойду... А то вы тут, может, творили что-нибудь... хе-хе... вечное, а я, старый брюзга, мешаю.

Еще раз Куколкина рука нырнула, как в душную пуховую перину — в две чисто вымытые пухлые ладони, и плюшевый мягкий старик вышел, покачивая серебристой бородой, опираясь на трость с серебряным набалдашником.

После его ухода Куколка посидел еще немного в задумчивости, перечитал письмо к маме, дописал несколько строк и сказал сам себе, потирая лоб:

— Что-то мне еще нужно сделать?.. Неприятное, но необходимое... Гм! Со вчерашнего дня собираюсь. Ах, да! Разыскать Мецената и поговорить с ним.

Куколка с гримаской почесал затылок, вынул из ящи-

ка письменного стола какую-то светло-фиолетовую записочку, перечитал ее, вздохнул и, энергично одевшись, решительно вышел из дому.

Глава XV
Мат Меценату

Изменял ли жене Меценат? Никто из клевретов не мог сказать об этом ничего положительного или отрицательного. Вообще эта сторона жизни Мецената была окутана абсолютным мраком. В орбите его разнообразной жизни вращались кроме клевретов и несколько очень недурненьких девушек сорта, совершенно противоположного Яблоньке, но у Мецената к ним отношение было более отеческое, чем галантное. На ухаживание за ними вездесущего Мотылька Меценат смотрел сквозь пальцы, сам же ограничивался благодушным подшучиванием над всеми этими Мусями и Лелями, подкармливая Мусю и Лелю ужинами при упадке их личных дел и снабжая малой толикой деньжат под деликатным предлогом, что «мне твоя красная шляпа, Муся, действует на нервы. Возьми себе бумажку и купи что-нибудь менее кровавое!»

И Муси жались к нему при всяких невзгодах, как попавшие под ливень пичуги к могучему гостеприимному дубу.

И сегодня — в этот воскресный день — Меценат тоже кейфовал не один, а обсаженный с двух сторон Мусей и Лелей. Сидели они в том самом кабинете кавказского погребка, где не так давно праздновался день рождения Принцессы, столь прекрасно воспетой Кузей в его импровизации о красоте лени.

Муся сидела справа от Мецената, Леля слева.

Леля была брюнетка в серой шляпе, Муся — блондинка в черной, с эспри. Кроме этого ничем они друг от друга не отличались. Муся как Леля, Леля как Муся. Одним словом, девушки как девушки.

— Понимаете, Меценат,— рассказывала, волнуясь, Леля.— Когда мы познакомились, он уверял меня, что учится студентом в Лесном институте, а оказался простым приказчиком на дровяном складе вовсе. Как это вам покажется?

— Отчаяние и ужас,— серьезно сказал Меценат,

прихлебывая белое винцо.— Я бы не пережил этого удара.

— Знаете, я поэтому с ним и разошлась.

— Надеюсь, он не перенес разлуки и покончил с собой?

— Какое! Я сама так думала, а он за Дусей от «О бон гу» стал бегать, да еще и смеется вовсе!

— Смеется?! Возмутительный цинизм. Я бы его на вашем месте забыл.

— Я уже и забыла.

— Ну и умница. Почирикайте мне еще что-нибудь.

— Ха-ха! Что ж вы нас, за птиц считаете, что ли? — кокетливо рассмеялась Муся.— Ужасно обидно, что вы нас даже, кажется, не считаете за интеллигентных вовсе. А я даже слушала курсы повивальных бабок!

— Святое призвание. Даю вам слово, если у меня родится ребенок, вы будете первая бабка, которая повьет его.

— Да я не кончила курсы. Все из-за того Гришки, который был инструктором на скетинге. Из-за него и курсы бросила, а потом долго плакала вовсе.

— Значит, ты, Муся, пожертвовала карьерой ради сердца... Такая жертва угодна Богу.

— Какой вы странный, Меценат. Говорите серьезно, а будто смеетесь вовсе.

— Смех сквозь невидимые миру слезы. Ну, чирикните еще что-нибудь.

Муся надула губки:

— Да что мы вам, люди или птицы?!

— Конечно, люди! За убийство каждой из вас убийца будет осужден на такой же срок, как за убийство Льва Толстого. Значит, с точки зрения юриспруденции вы имеете такой же удельный вес, как и Лев Толстой.

— А у меня есть открытка Льва Толстого.

— Быть не может! Повезло старику.

— Меценат, а кто вам больше нравится — Муся или я?

Но этот рискованный вопрос остался без ответа, потому что в ту же минуту из-за портьеры, заменявшей дверь, выглянуло смущенное лицо Куколки.

— Простите, Меценат... Я, право бы, не решился, но я думал, что вы один. Почтенная Анна Матвеевна сказала, что вы сюда поехали... Я думал, с вами наши...

— Да чего вы там на пороге бормочете извинения?! Входите. Вот познакомьтесь с этими барышнями: ле-

вая — Муся, правая — Леля. Пожалуйста, не перепутайте только, это очень важно.

— Какой хорошенький,— проворковала Муся, косо, как птичка, поглядывая на Куколку.— Прямо куколка.

— Да его Куколкой и зовут,— рассмеялся Меценат.

— Неужели?.. Какая странная фамилия.

— Видите, собственно, моя фамилия Шелковников. Имя мое — Валентин, отчество...

И Куколка добросовестно выложил всю подноготную, благо тут не было Мотылька, который никогда не давал ему закончить полного своего титула.

— Но я вас буду лучше называть: Куколка. Можно? Вы актер?

— Нет, я поэт.

— Как чудно! Напишите мне стишки.

— С удовольствием,— с невозмутимой вежливостью, характеризующей его в отношениях ко всем окружающим, согласился Куколка.— Выберу свободный час и напишу.

Потом обратил свое лицо, на которое налетело неуловимое облачко заботы, к Меценату.

— Простите, милый Меценат, но я, собственно, к вам по делу. Поговорить бы нужно. Очень серьезно.

Брови Мецената дрогнули от легкого удивления и какого-то тайного смущения, но он сейчас же деловито кивнул головой Куколке и встал.

— Это легко устроить даже сейчас. Тут рядом свободный кабинет. Перейдем туда. А вы, миледи, попросите еще вина и фруктов — позабавьтесь минутку без меня. Наболевший вопрос о предателе — приказчике дровяного склада еще не обсужден вами с исчерпывающей ясностью.

По искусственной веселости Мецената было заметно, что он немного внутренне сжался перед «серьезным разговором», потому что в его грешной голове сразу же мелькнула мысль: уж не открылась ли вся «Кукольная комедия» и не предстоит ли щекотливое объяснение по поводу жестокой шутки «в космических размерах».

Но о том, что случилось на самом деле, бедный Меценат и не догадывался и не мог бы догадаться, если бы ему дали на догадки три года сроку.

В пустом кабинете электричество не горело и весь источник света заключался в небольшом запыленном окне, помещавшемся высоко, а на улицу выходившем низко — в уровень с тротуаром. Солнце золотило пылин-

ки на окне, но они не танцевали, как давеча в комнатке Куколки, а притихли, прижавшись к стеклу и чего-то выжидая. Скатерть со стола была снята и на голой столовой доске ясно обозначилась цифра «8», получившаяся из двух следов от стоявших рядом мокрых стаканов с вином. На стене висела преглупая картина «Отдыхающая одалиска» — полногрудая женщина, играющая с ручным леопардом на пестром ковре.

Все вышеописанные подробности Меценат заметил не сразу, а втиснулись они в его мозг лишь тогда, когда случилось «это», и осели в мозгу на всю будущую жизнь. Даже запах — причудливая смесь из зеленого лука, лимона, тертого сухого барбариса и острого овечьего сыра,— даже этот специфический аромат, въевшийся в стены комнаты, долго потом преследовал Мецената.

Когда они вошли в кабинет, Куколка повернулся лицом к свету и, положив свою изящную тонкую руку на могучее плечо Мецената, сказал с некоторым волнением:

— Верите ли вы мне, Меценат, что я люблю вас больше, чем всех остальных?

— Верю,— немного колеблясь, ответил Меценат.

— Очень хорошо. Тогда мне легче говорить. Верите ли вы, что я сейчас обращаюсь именно к вам, потому что вы самый умный, самый добрый и вообще... Вы мне напоминаете доброго Бога-Отца, к которому всякий человек имеет право обратиться со всякой просьбой, за всяким — самым даже диким — советом. Верите?

Такое лестное сравнение немного испугало Мецената, и он с трудом преодолел себя, чтобы скрыть смущение:

— Куколка! Да что же случилось?

— У меня нет никого, кроме вас, старше меня и умнее, к кому бы я мог обратиться за советом по самому неприятному для меня поводу. Дело чрезвычайно деликатное. Со мной это впервые случилось.

— Вам нужен совет? — облегченно вздохнул Меценат.— Говорите смело. Что будет в моих силах...

— Меценат! Вы... не считаете меня фатом?..

— Боже сохрани!

— За это спасибо. Иначе бы я не мог и рта раскрыть. Слушайте же! Одна женщина призналась мне в любви и... как бы это сказать?.. немного даже преследует меня. А я, видите ли, ее не люблю. Признаюсь уже во всем:

мне нравится другая. А эта первая... она хоть и красавица, да не по душе мне.

И доверчиво закончил:

— Это бывает, Меценат?

— Бывает,— усмехнулся мудрый конфидент.— Скажите, Куколка, а вы давали первой женщине... какой-нибудь повод?

— Ни малейшего. Я только был вежлив, как со всеми прочими... А случилось другое. Согласитесь сами, разыгрывать Прекрасного Иосифа — роль чрезвычайно глупая, но что ж делать, когда у меня совсем другие мысли и... стремления. Вы умный и опытный, посоветуйте, как это ликвидировать?

— Гм!.. Если вы мне так доверились, так доверяйтесь до конца! Чтобы дать вам толковый совет, я должен знать: кто эта первая? Эта жена Пентефрия? А?

— Я думал, вы сами догадаетесь? Впрочем, уж буду говорить все прямо, как на исповеди: Ее Высочество.

Меценат в недоумении поглядел на него.

— Какое... Высочество?

— Ах, Боже мой, да та красавица, которая была с нами в прошлом месяце в этом ресторане. Еще Новакович рассказывал, что она на воздушном шаре от отца бежала... Ну... Принцесса, одним словом!

Потолок был и без того низкий, а в этот момент он спустился еще ниже, с треском ударил Мецената по темени, пригнул его и расплющил... Меценат молча покачнулся, уцепился за спинку стула и осел, будто из него кто-то волшебной силой сразу вынул костяк.

— Что с вами, Меценат? Вы как будто чем-то поражены? Может, мне не следовало этого говорить?

— Нет, ничего, ничего,— замахал трепещущей рукой Меценат.— Это я просто, кажется, выпил вина больше, чем полагается... Подождите!

Он отошел к окну, поднял локти, оперся о подоконник и долго и внимательно разглядывал пылинки, осевшие на стекле.

Мысли у него были разорванные, растрепанные, как облака после бури...

«Вот эта дождевая засохшая клякса чрезвычайно напоминает очертание Африки,— подумал Меценат.— Да... Африка! Туда мы не доехали... Поленилась Принцесса. А будь мы в Египте — ничего бы этого и не случилось... Восемь лет!.. И как легко их составить, эти восемь: след от двух пустых осушенных винных стаканов рядышком —

вот тебе и восьмерка. Гм... Ленивая одалиска... Пожалуй, что и не ленивая. И одалиска не ленивая, и леопард — не леопард...»

— Я с ним и в цирк, и в кинематограф, как порядочная, а потом его товарищ, знаешь, брюнетик такой, Вася, говорит: «Да какой он студент Лесного института?! На дровяном складе служит. Доски записывает вовсе».— «Что вы ко мне со своими досками лезете»,— говорю я, а сама плачу, плачу, как дура, верное слово, плачу,— доносилась из-за стены монотонная, печальная повесть Лели.

Меценат вдруг оторвался от окна и обратил совершенно спокойное лицо к Куколке.

— Ф-фу! Прошло. Ну, теперь рассказывайте, севильский обольститель, как же это все случилось?

— Да вот — в самых кратких словах,— потому что вас там дамы ждут, неловко оставлять их скучать! На другой день после знакомства заехал я к ней просто из вежливости, думал, не застану дома, оставлю карточку. Вдруг говорят: «Вас просят». Ну, выпили мы чаю, посидели... то есть сидел я, она лежала... Поговорили. Ухожу я, а она говорит: приезжайте еще на днях, привозите стихи, почитайте. Я думал, она стихами заинтересовалась! Приехал вторично, стал ей читать, а она, представьте, заснула, кажется! Очень странная дама. Потом, когда я кончил, очнулась и говорит: «Что вы там сидите, сядьте около меня!» Присел я на кушетку, а эта самая... Принцесса стала мне волосы гладить. Я думал все-таки, что кое-что из моих стихов ей понравилось и она... одобряет, а она обняла меня за шею и говорит вдруг: «Поцелуйте меня!» Я немножко испугался и ушел. Потом она два раза вызывала меня к телефону... Сама заезжала в экипаже... Кататься на Острова приглашала... Я один раз по слабости характера поехал, потом стал отказываться... Неприятно, знаете, когда человек все время говорит: «Вы меня разбудили, вы меня разбудили».

— Да... неужели... она заезжала за вами?!

— Ей-Богу.

— Но ведь эта... Принцесса... ленива, как сотня сытых кошек!

— Не знаю, что с ней сталось — совсем не такая, как первый вечер... Глаза сверкают, румянец во всю щеку, и губы облизывает, как вампир, ищущий крови. Я ее даже, знаете ли, немного боюсь. Вчера вечером четвертую записку от нее получил. Звонит, пишет, заезжает...

— Что ж вы от меня хотите? — странным голосом спросил Меценат.

— Вы с ней... ближе знакомы, чем я. Посоветуйте, как всю эту историю ликвидировать? Чтобы было не обидно для нее и чтоб мне не терять мужского достоинства. Такая неприятность, знаете! В первый раз у меня это. Впрочем, простите, Меценат... но, может быть, мне было бы лучше посоветоваться по этому поводу не с вами, а... с Новаковичем, например? А то вы... какой-то странный!

— Нет, нет. Вы как раз обратились по настоящему адресу. Умнее ничего нельзя было придумать! А сделайте вы, чтобы выйти с честью, вот что... Возьмите портрет той особы, которую вы любите, напишите на обороте: «Моя невеста»,— да и пошлите ей без всякого письма. Она поймет, и все кончится красиво.

— Вы думаете? А это... удобно?

— Чрезвычайно. Я вам советую, как лицо... не заинтересованное.

За портьерой вдруг послышался мужской смех, возня и крики.

— Да куда это они уединились?! Телохранитель! У Куколки с Меценатом секреты — не подкапывается ли Куколка под нас? Не хочет ли понизить наш курс в глазах Мецената?!

Кузя и Мотылек под предводительством Новаковича бесцеремонно ворвались в кабинет с одалиской и леопардом на стене и остановились, удивленные: на них в упор смотрели черные неподвижные глаза Мецената и... никогда еще клевреты не видели такого странного взгляда.

— Простите, Меценат... Если вы еще не кончили, мы подождем.

— О нет! Мы уже свободны. Куколка читал мне по секрету свою новую поэму и... это... оказалось... дьявольски сильная вещь!!

— Закончили поэму? — осведомился профессиональным тоном Мотылек.

— Да! Закончу,— твердо отвечал Куколка.— Сегодня же.

Глава XVI

Самая короткая глава этой книги

В нарядном будуаре Веры Антоновны сидел Новакович, почти расплющив своим мощным телом хрупкий воздушный пуф, и говорил:

— Недоумеваю, за каким чертом Меценат не сам к вам явился, а послал меня. Такая простая вещь... Говоря кратко — он просит у вас отпуск.

— Какой отпуск? Боже, как это все... утомительно.

— Для нас? Нисколько не утомительно. Он собирается ехать на Волгу — от Рыбинска до Астрахани и обратно — и берет с собой Мотылька, Кузю и меня.

Вера Антоновна полузакрыла засверкавшие глаза и сонно спросила:

— Конечно, и Куколку берет?

— О нет! На что нам этот юродивый... Он забавен только в столице, как объект Мотыльковых затей. Так как же... даете Меценату отпуск?

— О Боже мой... когда же я его удерживала! Пусть едет. Желаю вам веселиться. Ох, как я устала!

Исполнив поручение, Новакович сидел и томительно молчал. Хотя был он человек разговорчивый, но знал — с мраморной статуей не разговоришься.

— Да... такие-то дела,— пробормотал он, собираясь встать.— Так-то, значит. Вот оно каково.

И вдруг странный вопрос Принцессы пригвоздил его к месту.

— Скажите, Телохранитель... Эта ваша знаменитая Яблонька — очень красивая?

— О, описать ее красоту так же трудно, как...

Вдруг его взгляд упал на одно место огромного ковра, покрывавшего пол, и фраза осталась незаконченной.

— Ну, чего ж вы замолчали? Говорите!

— Так же трудно описать Яблоньку, как...

— Ну?!

— Так же трудно... как...

— Боже, какой вы нудный!!

Но Новакович не слушал: он наклонил корпус и впился ястребиным взглядом в часть пушистого ковра около кушетки...

— Так же труд... Боже мой, да вот ее кусок!.. Что это?

Быстрее молнии он упал на колени и поднял запутавшийся между бахромой края ковра кусок фотографической карточки.

— С ума я схожу?! Ведь это часть лица моей... нашей любимой, неповторяемой Яблоньки! Глаз ее! Кусочек ее капризной нижней губки... Принцесса! Что случилось?

Принцесса вдруг уткнулась лицом в подушку так бы-

стро, что ее бурные, как черный вихрь, волосы разметались во все стороны. Поглядывая одним сверкающим глазом из этого водопада темных струй, она вдруг спросила сурово, почти грозно:

— Вы ее любите, Новакович?

— Правду вам сказать? Больше света Божьего!

— Так и ступайте вон! Дурак вы! И вообще все вы дураки!

Плечи ее затряслись, она конвульсивно изогнулась, как раненая королевская тигрица; она извивалась, заглушая подушкой еле слышные стоны.

— Истерика или нет? — спросил сам себя Новакович, вертя в руках обрывок карточки.— Пожалуй, что нет. С жиру бесится наша Принцесса! Нет, на истерику не похоже. Обыкновенный дождик без грома и молний. Что бы это значило?

— Уходите! Скорей!! Сейчас же... отсюда!

Он пожал плечами и на цыпочках вышел из комнаты.

Глава XVII

Крылья Куколки

Меценат в одиночестве шагал по своей огромной гостиной, как дикий зверь в клетке, отталкивая ногой стулья и делая такие резкие повороты, будто он оборачивался на чей-то невидимый удар сзади.

Но, когда в дверь постучали, он отпрыгнул в сторону, повалился на диван и сказал равнодушным сонным голосом:

— Ну, кто там? Войдите. А! Ты, Кузя!

— Вы, кажется, спали? Я вас разбудил?

— Наоборот.

Кузя с треском опустился в свое обычное кресло и, не обращая внимания на загадочный ответ Мецената, погрузился в мрачное молчание.

— Что с тобой, Кузя?

Кузя промолчал.

— Что-нибудь случилось?

Кузя помолчал и вдруг прорвался, точно вода из проткнутой гвоздем пожарной кишки:

— Меценат! Да ведь он форменный мошенник! Правда, я с вами проделал почти такую же штуку при первом знакомстве, но... я ведь профессионал! Мне простительно! А тут... этакое грязное животное!

— В чем же дело, Кузя? Ты сегодня разговариваешь так много, что из твоих слов я могу извлечь чрезвычайно мало.

— Проиграл!!

— В шахматы?

— А то во что же? Все свои личные деньги, да еще ваших малую толику прихватил, что вы давеча дали на покупку чемоданов! Уехали мы, чтоб его нечистый взял!!

— Проиграл?! Кому?

— Кому же, как не этому дьявольскому Куколке! Видали вы такого мерзавца?! Ясные детские глазки, серебристый, как у девчонки, голосок, а сам форменный бандит с большой дороги.

«Я, видите ли, дилетант (совсем непохоже передразнил Кузя), мне с вами, с маэстро, куда ж тягаться!.. Я давно не играл...» Не играл ты давно? Чтоб на том свете черти твоим черепом так давно не играли!! Показал он мне старушку в кадушке! Я ему свои гамбитики, да дебюты пешки, а он... черт его знает, как парирует... Гляжу — ан королеве моей деваться и некуда! А на четвертой партии такой гамбит показал, что уж не знаю, как его и назвать... Гамбит Чертовой Куклы, что ли?! Меценат! Дадите свеженьких денег на чемоданы? Если нет, так выгоняйте уж сразу! Чтоб не мучиться.

По странному совпадению клевреты стали слетаться «на огонек» — один за другим.

Вторым влетел Мотылек:

— А я к вам на огонек... Куколки не было?

— Нет, этой Чертовой Куклы не было,— мрачно пробурчал Кузя.

— Почему Чертовой? — живо обернулся Мотылек.— Ты тоже, значит, все узнал?!

— Кое-что узнал...

Мотылек завизжал:

— Ну, как вам это понравится!! Когда я нынче прочел, что издательство «Альбатрос» купило его книгу — лучшее издательство! — я чуть не упал на улице под копыта лошадей!! Болваны! Они моим заметкам поверили! Старушки в кадушках на подушках заскачут теперь по всей России! Подумайте! Я собрал том стихов — ожерелье чистейшего жемчуга,— и это «ожерелье» валяется у меня в столе, мертвое, неподвижное, будто оно из свинцовых пуль, а этот болотный пузырь со своими «Зовами утра» выскочил и — пожалуйте!! Ну, пусть же книжонка

его выйдет — хохот, треск и скандалище пойдет на всю Россию!! О дурачье! О, трижды идиоты!!

— Кто трижды идиоты? — спросил Новакович, входя без стука и поймав на лету последнюю энергичную фразу.

— Пожалуй, что и мы. А ты из нас первый. Черт тебя наддал притащить тогда эту чертову Куколку! Сколько я из-за него крови испортил!! Сидит он теперь на моем секретарском месте и небось смеется, подлец, в кулак. Ведь, не будь его, меня бы снова, может быть, позвали в «Вершины» секретарствовать!

— Не будь его — я бы сегодня не проиграл кроме своих денег еще и Меценатовых чемоданов,— меланхолически добавил Кузя.

Новакович поглядел на Кузю с любопытством:

— Неужели Куколке проиграл? В шахматы? Однако! Да, вот что, Меценат... Я сейчас от Великолепной! Отпуск вам милостиво разрешен. Да-с, да-с, да-с... вы не можете, Меценат, объяснить мне одной дьявольщины: каким образом в будуар Принцессы попала Яблонька?! Вот кусочек ее спас... В клочья разорвана.

— Так это... Яблонька?! — ахнул Меценат, и тут же в душе вздохнул Меценат, и, забыв о собственных переживаниях, уныло пробормотал Меценат: — Бедный Телохранитель!

— Что вы там бормочете?

— Это я стараюсь догадаться, в чем дело! Действительно, за каким чертом попала карточка Яблоньки к моей жене? Да еще разорванная. Уж не приревновала ли меня Принцесса к Яблоньке?..

— Иначе я и не могу объяснить,— угрюмо пожал плечами Новакович.— Хотя вы ведь никакого повода не давали. А? Меценат?

— Ни малейшего.

— На обороте ничего не написано? — спросил Мотылек.

— Ах, я даже не посмотрел! Вот тут... Гм!.. Странно! «Моя не...» Дальше оторвано. Удивительная загадка!

— Почему ж ты не спросил у Принцессы?!

— Пойди-ка спроси! Истерика у нее, у вашей Принцессы! Дураком меня назвала и выгнала,— с досадой сказал Новакович.

Мотылек сморщил лицо.

— Мы с Принцессой почти сошлись во взглядах: она

назвала тебя дураком, когда ты выходил от нее, я — когда ты входил к нам.

— Да почему же именно я дурак? Я от Куколки не потерпел урона, как ты с Кузей! Мы с Меценатом остались неуязвимы! Правда, Меценат?

Меценат, не отвечая, отошел в угол, уткнулся в него и, кажется, засмеялся... По крайней мере, плечи у него дрожали, как у смеющегося.

— Да,— искоса поглядывая на странно смеющегося Мецената, покровительственно говорил Новакович.— Ты сам, Мотылек, виноват в отношении Куколки. Заварил эту кашу с газетной рекламой, да и не знаешь, как ее теперь расхлебать. Как неопытный спирит, вызвать призрак — вызвал, а как теперь его спровадить обратно — и не знаешь. Теперь уж машина завертелась без тебя! Не читали интервью с Куколкой в «Вечерней Звезде»? Это уж помимо вас кто-то постарался. И где родился, и как родился, и почему родился, и все такое...

— Да ведь лопнет же все это! — завопил Мотылек.— Не может не лопнуть! Ведь если выйдет книжка — старушку в избушке никуда не спрятать. Черным по белому! А стоит только этой дурацкой старушке выглянуть из избушки, как все полетит к черту!

— Стучала я, стучала,— сказала, входя, Яблонька,— а вы так тут кричите, хоть из пушек пали. «Здравствуйте, разбойнички», как говорит няня. А Куколки еще нет?..

— И вы насчет Куколки? — горько усмехнулся Новакович.

— Да... он мне сказал, что сейчас придет. Чего это вы все носики повесили?

Яблонька была по-прежнему ласкова и тепла, как солнечный луч, но наблюдательный Меценат заметил, что в ее ясных глазах мелькало какое-то легкое и милое смущение.

— Куколка, Куколку, Куколкой, о Куколке,— продекламировал Кузя.

В дверь постучали.

— А! Вот и Куколка. Комплект полный!

— Друзья! — с порога закричал Куколка.— Я так счастлив, так счастлив и за себя и за вас, Мотылек!! Вы снова можете занять ваше секретарское место!!

— Что такое! — с тайной радостью спросил Мотылек.— И вас так же «ушли» из редакции, как меня?

— Наоборот! Все складывается наилучшим образом. Помните, я вам говорил, что редактор переходит в еже-

дневную газету? И знаете, кого издатель пригласил на освободившееся место редактора? Меня! Премилейший человек. И подумать только, что всем этим я обязан вам!

— А правда ли,— спросил Кузя вместо Мотылька, который при последних словах Куколки странно хрюкнул, завалился за спинку дивана и затих,— правда ли, что «Альбатрос» издает вашу книгу?..

— Да,— сияя прекрасными светлыми глазами, радостно подтвердил Куколка.— Можете поздравить. Да у меня с собой, впрочем, и корректурные листы.

— Где?! — взвился из-за дивана, как пружина, Мотылек.— Покажите!!

— Да вот они. Я уже и корректуру продержал.

Мотылек лихорадочно, дрожащими руками рылся в длинных полосах бумаги и, странно дрожа, допрашивал:

— А старушка где? Старушка есть? А? Есть? Старушка в избушке? Где она? Куда вы ее тут засунули?..

— Я совершенно не понимаю,— искренно удивился Куколка,— почему вам так исключительно нравятся эти стихи? Я их сюда и не включал.

Мотылек подскочил к Куколке и принялся трясти его за плечи:

— Как не включили? Почему нет?! Ведь вы же написали эти стихи или не вы?!

— Я-то, я... Но, спросите, когда? Это старый грех. Мне тогда было лет шестнадцать. Когда Новакович попросил меня прочесть в кафе тогда при первом знакомстве все мои стихи, я и стал читать их в хронологическом порядке. А он вдруг на этой самой несовершенной «старушке» неожиданно пришел в восторг, схватил меня за руку и потащил к Меценату. Да... дом Мецената принес мне счастье, друзья! Но, впрочем, дело и не в литературных успехах. Гм! Теперь вы будете, господа, приятно поражены...

Куколка обвел всех восторженным взором...

— В доме Мецената я нашел самое большое счастье на земле. Позвольте, друзья, представить вам мою невесту!! Чего вы так краснеете, Яблонька? Через месяц наша свадьба, и мы едем во Флоренцию — буду там с вашего благословения новую вещь для «Альбатроса» писать. Роман в трех частях. Уже заказан.

Все окаменели. А Кузя подобрался бочком к комку странных морщин, под которыми с большим трудом можно было разглядеть черты Мотылька, и дружески шепнул ему:

— Подойди же, поздравь, дружище. А то неловко. У тебя лицо, как старый кисет, из которого вытрясли весь табак!

Потом подобрался к закрывшему лицо рукой, будто ослепленному Новаковичу и доброжелательно толкнул его в бок.

— Не горюй, чего там. Мало ли хороших женщин? Я, брат, недавно познакомился с одной — ну точь-в-точь как моя незабвенная вдова, которую вы так неделикатно назвали «затрапезной»,— хочешь, познакомлю?.. Так и быть, забирай ее себе. А я другую для себя пошарю.

Яблонька скорбно и виновато поглядела на Новаковича и вдруг заторопилась:

— Ох, ведь нам уже ехать нужно! Мы на минутку забежали. Вале еще нужно корректуру в типографию отвезти. Валя, поедем! До свидания, разбойнички.

Меценат и клевреты снова остались одни в большой мрачной комнате, окутанной тишиной.

Неслышными шагами вошла Анна Матвеевна и остановилась у притолоки, пригорюнившись:

— Ага! Вся гоп-компания в сборе... Чего это у вас темно так? Сидите, сычи какие словно, нахохлились. Небось коньячище опять хлестать будете, разбойники?! Сюда подать на ковре али по-христиански — в столовую?

Кузя подмигнул Меценату на Мотылька и Новаковича, совсем затушеванных сумерками, и, неслышно подойдя к нему, шепнул:

— Это, пожалуй, лучший выход из положения. А? Меценат? Коньяк!

Меценат вдруг подпрыгнул на диване и выпрямился — старый, дряхлеющий, но все еще мощный лев.

— Ну, ребята, нечего нюнить!! Гляди весело!! Ходи козырем! Выпьем нынче, чтоб звон пошел, а завтра айда к берегам старой матушки Волги — целой разбойничьей ватагой... Айда! На широкие речные просторы, на светлые струи, куда Стенька Разин швырял женщин, как котят! Куда им, впрочем, и дорога!

— Аминь! — восторженно закричал Кузя.— Долой Петербург, да здравствуют Жигули! Кальвия! Почествуйте волжскую вольницу!! «Что ж вы, черти, приуныли... Эй, ты, Филька, шут! пляши!! Грянем, братцы, удалую — за помин ее души!»

Заключение

О, могущественное Время! Будь ты трижды благословенно. Ты лучший врач и лучшее лекарство, потому что никакие препараты медицинской кухни не затягивают, не закрывают так благотворно глубоких открытых ран, как ты, вечно текущее, седое, мудрое!

Читатель! Если ты через год заглянул бы в — уже так хорошо тебе знакомую — темную гостиную Мецената, ты тихо улыбнулся бы, увидев, что все на своем месте: Меценат в одном углу, одетый в белый полотняный балахон, лепит новый бюст Мотылька, важно восседающего на высоком стуле, в другом углу возится со штангой, выбрасывая кверху свои могучие, будто веревками — мускулами опутанные руки — Новакович; в глубоком кресле мирно покоится, поедая апельсин, Кузя...

А у дверей стоит Кальвия Криспинилла и в тысячу первый раз кротко бормочет:

— Опять ты, разбойник, шкурки на ковер бросаешь?! Управы на тебя нет, на мытаря!..

ПРИМЕЧАНИЯ

Произведения А. Т. Аверченко, включенные в сборник, печатаются по текстам книг и журналов дореволюционного и советского периодов.

Рассказы и фельетоны

Печатаются по текстам следующих изданий:
Аверченко Арк. Веселые устрицы. Спб., 1911.
Аверченко Арк. Круги по воде. Спб., 1912.
Аверченко Арк. О хороших, в сущности, людях. Спб., 1914.
Аверченко Арк. Дешевая юмористическая библиотека «Нового Сатирикона», вып. 15. Спб., 1913.
Аверченко Арк. Грозное местоимение. М., 1927.
Аверченко Арк. Юмористические рассказы. М., 1964.
Аверченко Арк. Избранные рассказы. М., 1985.
Рассказы «Искусство и публика» — журнал «Вопросы литературы», 1986, № 7. «История одного рассказа» — «Вопросы литературы», 1989, № 11.

Новая история

Печатается по книге «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом». Спб., 1910.

Пародийно-шуточная книга «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» была написана сотрудниками журнала «Сатирикон» специально для годовых подписчиков журнала — как бесплатное приложение. Позже она выходила отдельным изданием. Четыре части «Всеобщей истории, обработанной «Сатириконом», написали·

Древнюю историю — Н. А. Тэффи.
Среднюю историю — Осип Дымов.
Новую историю — Аркадий Аверченко.
Русскую историю — О. Л Д'Ор.

В «Новой истории» А. Т. Аверченко цитирует учебник истории Д. И. Иловайского или ссылается на тексты учебника. То же делают и другие авторы «Всеобщей истории».

Дмитрий Иванович Иловайский (1832—1920) — русский историк, публицист, даровитый ученый, много сделавший для народного просвещения. Он обладал талантом популяризатора, внимательного и серьезного исследователя истории. По его учебникам учились многие поколения русских школьников, в том числе и сам Аркадий Аверченко, получивший домашнее образование.

Экспедиция в Западную Европу сатириконцев...

Повесть печатается по тексту книги «Экспедиция в Западную Европу сатириконцев...». Пг., 1915.

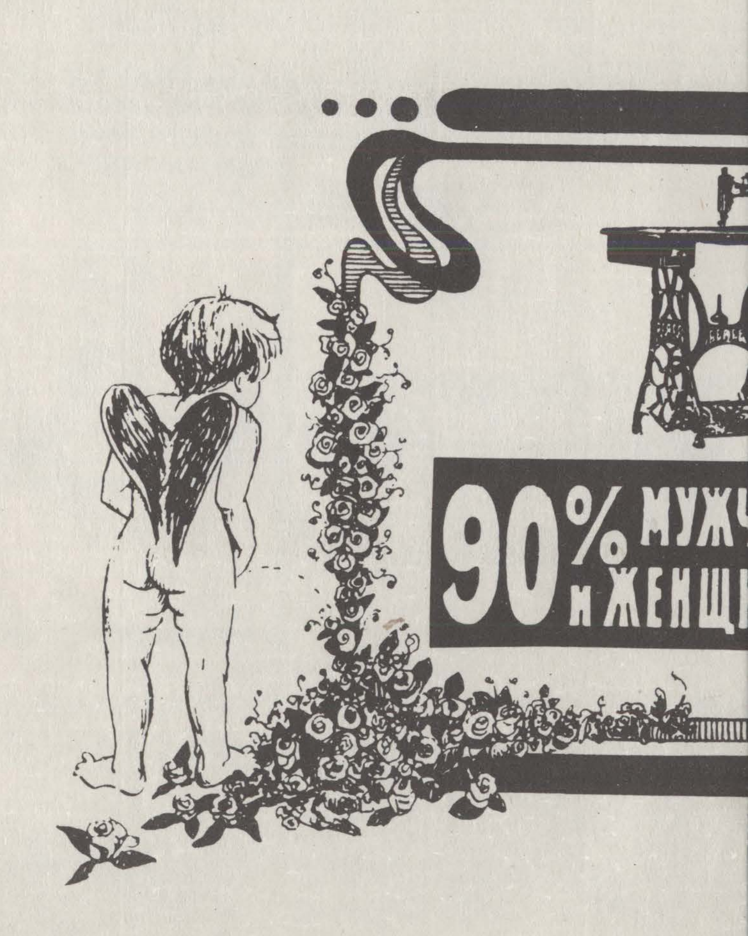
Книга написана на основе впечатлений сатириконцев от поездки в Западную Европу, которую они совершили в 1910 году, в пору расцвета журнала «Сатирикон» и издательского дела М. Г. Корнфельда. В 1911 году вышел большой иллюстрированный альбом с рисунками Н. Ремизова (Ре-ми) и А. Радакова. Текст написали Аркадий Аверченко и Георгий Ландау.

Воспоминания и письма сатириконцев тех лет позволяют раскрыть «псевдонимы» персонажей повести. Южакин — сам Аркадий Аверченко, Сандерс — Георгий Ландау, Мифасов — художник журнала Ре-ми, Николай Ремизов, и, наконец, Крысаков — художник Алексей Радаков, он выступал в качестве поэта, был редактором второго юмористического журнала, выходившего в издательстве М. Г. Корнфельда — детского журнала «Галченок».

Шутка Мецената

Роман печатается по тексту журнала «Дружба народов», 1990, № 1. Роман был написан в Сопоте в 1923 году и издан после смерти писателя,

СОДЕРЖАНИЕ



90% МУЖЧ
И ЖЕНЩ

CRÈM

(КРЕМ

SIMON

МОНЪ)







4 р. 70 к.

ИПЛ